Иностранная литература

1965

9

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — Оле Винкоп (Продолжение) 148

ДЖОН Б. ПРИСТЛИ — Сэр Майкл и сэр Джордж (Окончание) 179

ПОВЕСТИ

ДЮЛА ФЕКЕТЕ — Старый доктор 6

ПЬЕСЫ

ЭЖЕН ИОНЕСКО — Носорог (Послесловие Н. Наумова) 81

СТИХИ

ЗИАНГ НАМ — Деревни ночами не спят 3

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — О любви 222

9

СЕНТЯБРЬ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КРИТИКА

ДУМИТРУ МИКУ, НИКОЛАЕ МАНОЛЕСКУ — Герой — наш современник 230

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОМАНА

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Будущее романа 237
ВИТТОРИО СТРАДА — Мысли об итальянском романе 240
ГЬЕР ГАМАРРА — Заметки романиста 248

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

В. НЕДЕЛИН, С. АПТ — Заметки на полях зарубежных газет и журналов 252

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ХУАН МИГЕЛЬ ДЕ МОРА — Преступление в Санто-Доминго (Раздумья писателя) 261

ОЧЕРКИ

ЭРИК ЛУНДКВИСТ — Мать-Индия (Окончание) 266

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

274

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 275

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

287

НА ОБЛОЖКЕ: Вьетнамский художник ЛЕ ТХАНЬ ДЫК — «Лодки в морском заливе».

ЗИАНГ НАМ

Деревни ночами не спят

Перевод М. ВАКСМАХЕРА

Родная страна

Когда я был маленьким мальчиком, когда я был школьником,
Я очень любил родную страну.
Я раскрывал учебник, а страницы шептали:
«Кто сказал, что мальчишкам тягостно
Весь день, от зари до зари, под безоблачным небом
Пасти медлительных буйволов?»
И мне казалось, что класс
Наполняется птичьим гомоном...
Бывало, я отправлялся в школу, но по дороге сворачивал
в сторону,
И шлепал по лужам, и гонялся за бабочками,
И за этим занятием меня заставала мать,
И тогда, понимая, что неминуема трепка,
Я кричал,
А из соседнего дома выглядывала девчонка,
И лукаво смеялись ее глаза...

Пришла Революция,
За нею — Сопротивление.
Я обнял мать и ушел.
На родную страну легли враждебные тени.
И моя соседка-девчонка
Тоже ушла в партизаны.
Я встретил ее случайно на одной из дорог войны.
Я видел все тот же лукавый смех
В ее черных глазах, молча со мной говоривших.
Я не мог из шеренги выйти,
Я только оглядывался, все оглядывался на нее, пока
Она не скрылась из глаз.
Шел дождь, а в сердце моем было синее небо.

Отгремели бои, я вернулся домой,
К школе, к зарослям тростника.
Я снова увидел соседку.
Смутилась она, и за дверью хотела укрыться,
И засмеялась тихонько, когда я спросил,
Свободно ли сердце ее.
«Не задавай мне таких вопросов...»

Я взял ее руку, погладил горячей ладонью
Ее пугливые пальцы.

Сегодня, любимая, я узнал,
Что они убили тебя,
Убили и бросили тело твое... Куда они тебя бросили?
За что убили тебя?
За то, что в войну ты была партизанкой?
Боль раздирает мне сердце.

Когда я был маленьким мальчиком,
Я любил родную страну —
Буйволов, бабочек, птиц.
Я люблю сегодня родную страну —
Каждую горстку земли.
Каждая горстка пропитана кровью моей любви.

Песня прялки

Он лежит за бугром, затаив дыханье,
И вглядывается в темноту, широко раскрывая глаза.
Вот овраг, там роща кокосовых пальм. Пахнет сеном.
Вот обезьяний мостик: только ступи на него —
Закачается, задрожит.
Это — его деревня.
Он слышит, как звонко смеются дети —
Играют, должно быть, возле тропы.
Он слышит, как женщины толкут на порогах рис.
Он слышит мурлыканье прялки
И до боли кусает губы.
О песня прялки, почему она так печальна,
Так нежна и печальна, словно жалуется на разлуку?
...Деревня не спит.
Это — его деревня.
Это его жена сидит за старинной прялкой
При неверном свете керосиновой лампы,
Его дорогая жена с глазами усталыми.
Это его сынишка играет в войну у тропы
(Если б мог, он играл бы всю ночь...).
Солдат лежит за бугром. Солдату сказали:
«Пусть не дрогнет твоя рука».
Солдату сказали: «Не щади ни единого дома
В этом логове партизанском».
Но в кого же стрелять?
Где же враг?
Не в силах справиться с дрожью, он опускает винтовку.
Он — пленник ночи.
Сзади железный кулак упирается в спину,
Веля совершить преступленье.
Впереди — песня прялки,
Нежная песня, печальная, как разлука.

Светлеет восток. Кричат петухи.
Проступают над кровлями хижин
Силуэты кокосовых пальм.

Снова песню заводит замолчавшая было прялка...
«В атаку!»
Приказ. Курки взведены. Но в кого же стрелять?
Он глядит на солдат, лежащих с ним рядом.
Дрожащие руки. Винтовки уткнулись в траву.
Вскрикнул в деревне ребенок,
До боли знакомая тень метнулась по улице...
«Огонь!» —
«Нет, не стреляйте, братья!»
«Огонь!» —
«Стрелять в наших жен и детей? Никогда!»
Губы прокушены в кровь.
«Огонь!»
И, собравши все силы,
Он кричит:
«Враг у нас за спиной!»
Над ним раскололось небо.
Он умер под песню прялки,
Под нежную музыку, так похожую на голос женщины,
Что в этой же самой хижине
Четверть века назад укачивала малыша...

Деревни ночами не спят,
Слушают древнюю песню прялки...
Нас не сломят враги,
Потому что каждую ночь оживает,
Возрождается песня — вечная песня прялки.

ДЮЛА ФЕКЕТЕ

Старый доктор

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского
Е. МАЛЫХИНОЙ

Друзьям своим посвящаю.

I. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Год от году работы у старого врача все прибавлялось, а сил становилось все меньше. Здоровье его пошатнулось основательно, и однажды, почувствовав себя вдруг особенно худо, он решил проситься на пенсию. Измотанный организм требовал полного покоя и длительного отдыха; следовало избегать всяческих волнений, напряжения, резких изменений давления. По расчетам доктора выходило, что если он будет следить за собой, то протянет еще лет пять-шесть. А может, и больше.

Поначалу он отсыпался. Медленно тянулись дни.

Были когда-то и в его жизни события решающие, менявшие самую судьбу, но все они давно уж отшумели; собственно говоря, к шестидесяти восьми годам роман закончился. То, что должно последовать, заслуживало интереса не более, чем комментарий к чьему-то жизнеописанию.

В это воскресенье старый доктор был на кладбище.

С самого утра он много размышлял о смысле бытия. Никогда до сих пор не приходилось ему задумываться над этим. Постоянная необходимость что-то делать, словно хороший бетон, связывала воедино его дни, не оставляя зазоров, а жизнь увлекала все дальше и дальше к концу, и годы уходили один за другим... А теперь он и сам удивился, что до сих пор просто жил, просто делал, что положено делать, и ни разу не задумался, есть ли смысл во всем этом и какой смысл...

В ночь на субботу умер пенсионер-почтмейстер. Обычно старый доктор не ходил на похороны, но почтмейстера он знал с давних пор, к тому же в войну, в годы гонений тот не раз выручал его — словом, старый доктор проводил давнего своего знакомца в последний путь.

Был май. Погода стояла ласковая, по-весеннему теплая. Дорожки между могилами уже подсохли, вдоль них нежно-зелеными пушком густилась молодая трава.

Церемония окончилась — доброхотные могильщики уже подравнивали желтую призму над свежей могилой,— и все, кто собрался, чтобы отдать последний долг, начали расходиться.

Проводить старого почтмейстера пришли немногие. Больше было старух, никогда не пропускавших похорон, особенно если приходились они на воскресенье. Сейчас, разбившись на группы, старухи засеменили в глубь кладбища, чтобы заодно посетить и милые сердцу могилки.

Старый доктор склонил в знак соболезнования голову, прощаясь с печальным семейством, и вместе с аптекарем Пишколти, тоже пенсионером, направился к выходу.

Отойдя от могилы подальше, Пишколти спросил:

— Собственно, что послужило причиной?.. Я имею в виду непосредственную причину.

Старый доктор заметил, что *того* слова аптекарь не произнес.

— Coronaria...— ответил он, помолчав.

— Ах, ну да!..

Пишколти остановился и зачем-то стал шарить в карманах, задумчиво оглядывая новый погост.

Когда-то здесь было реформатское кладбище. В конце пятидесятых годов отсюда убрали все надгробия, а осевшие, заросшие бурьяном могилы перепахали; с той поры на обратившихся в прах костях несколько лет подряд сажали картошку, кукурузу, бобы. Мертвая деревня питала собой живую. И только нынче по весне здесь снова стали хоронить: в нижнем конце, по официальному соглашению,— католиков, в верхнем — реформатов, посредине — лиц прочих вероисповеданий, а также неверующих. В первом ряду реформатской части пока еще и не было могил, кроме могилы почтмейстера.

— Что ж, скучать ему теперь не придется, как-никак он там не один,— проговорил Пишколти.— Ведь беднягу уже лет десять, как даже картами не удавалось выманить из его берлоги. А было время, мы с ним славно резались в фербли!

— Как это — не один?

— Почем знать, с кем его положили. А только с кем-то рядом он лежит.— Пишколти закурил и глубоко затянулся. Потом заговорил снова, клубами выпуская дым изо рта: — Как раз до гроба какого-то докопались. Цинковый гроб, вот и сохранился. Нечего делать, подсунули ему соседа под бочок... Клянусь богом, будь я на месте сына, непременно колоду картишек бросил бы между ними.

Они зашагали дальше. За пенсионером-аптекарем тянулся ароматный дымок. Он бросил было курить, но с тех пор, как его племянник обосновался в Австралии и время от времени присылал ему хорошие сигареты или сигары, снова пристрастился к курению.

Сделав несколько шагов, Пишколти опять остановился.

— За двадцать лет и этот участок заполнится,— сказал он, озираясь.

— Да... примерно,— кивнул старый доктор. Он вспомнил, что в совете, когда договаривались с церковниками о пользовании новым участком, указали именно двадцатилетний срок. А потом вспашут бывшее католическое кладбище, и деревня сможет снова хоронить там своих покойников... Сидя в совете, он ни о чем подобном и не думал, но сейчас вдруг понял, что двадцать лет — это гораздо больше, чем осталось ему...— Примерно,— рассеянно повторил старый доктор.

Он внимательно оглядел среднюю, самую узкую часть кладбища, отделенную от двух церковных участков невысоким, недавно посаженным кустарником. Тут желтела глиной одна-единственная могила, совсем свежая, двухнедельной давности.

Через двадцать лет здесь не останется ни пяди свободной земли — ни под картошку, ни под кукурузу. Все до самых акаций будет занято могилами.

«Какой вздор,— подумал доктор,— будто на кладбище время останавливается. Напротив, совсем напротив. Нигде время не кажется столь реальным, сущим, как на кладбище... Знай человек заранее, где ляжет его могильный камень, можно было бы просто шагами вымерять свою жизнь: вот, мол, еще сколько у меня впереди...»

Доктор заметил вдруг, что Пишколти разглядывает католическую часть кладбища. Старый аптекарь был католиком.

«Да, да, это чрезвычайно любопытно, я наблюдал это не раз,— снова вернулся к своим размышлениям старый доктор.— В одинаковых положениях человеческий мозг реагирует одинаково.

Да, так о чем это я?.. И ведь как раз что-то важное...

Молодому человеку двадцати лет от роду и в голову не придет искать среди картофельных кустов место для той пресловутой ямы... Это факт... следовательно, не всегда человеческий мозг реагирует одинаково...

Так ли, эдак ли, в конце концов это доказывает лишь... доказывает лишь то...» — Он потерял нить рассуждения, странный привкус которого ощущал ежеминутно: отчего, в самом деле, его мысли кружатся все в том же заколдованном кругу? Этого никогда не бывало с ним прежде.

Он приметил вдруг журавля, первого журавля в этом году. Птица кружила на огромной высоте, почти вровень с мелкими пушистыми облаками, рассеянными по небу.

Чуть слышно поздоровавшись, мимо стайкой прошли молодые женщины.

Пишколти проводил их своими опухшими, в красных прожилках, глазами.

Старый доктор шел к выходу.

Аптекарь догнал его и стал рассказывать о каком-то давнем происшествии, героем которого был почтмейстер. Голос его выдавал самодовольство человека, пережившего своего ровесника. В нем слышалась прорывающаяся сквозь смущение уверенность в себе, свойственная победителю — словно пережить кого-то равносильно победе!

Эти интонации поразили старого врача. За веселым тоном аптекаря он уловил стесненность, однако вдумываться во все это не стал; ему хотелось вернуться к прежним своим размышлениям. «Это доказывает... доказывает...» Но нить мыслей была прервана, он не помнил уже, что и чем доказывалось, да и не считал необходимым вновь отыскивать связь. Вообще ничто сейчас не представлялось ему необходимым.

Они шли уже вдоль старого кладбищенского участка.

Та деревня, какую он застал, приехав сюда двадцать пять лет назад, словно сместилась: большая часть ее перебралась сюда. Он читал имена, и за могильными плитами призрачно проступали давно забытые лица; лица были потные, истерзанные страданием, такими их не признали бы, наверно, и прямые потомки, члены семьи. Да и он помнил не всех, хотя — даже просто по должности — ему полагалось освидетельствовать на смертном одре каждого. И вдруг поразительно ясно припомнилась маленькая девочка, ее раздутое посиневшее тельце. Когда-то — 7 июля 1933 года, как сказано в надгробной надписи,— девочка утонула в колодце на пастбище...

— Сколько ж ему было лет? — спросил Пишколти, имея в виду, конечно, почтмейстера.

— Что-то около семидесяти.

— По-моему, семьдесят два.

— Может быть, и так,— согласился старый доктор.

И подумал, что между шестьюдесятью восемью и семьюдесятью двумя разница — четыре года. С некоторых пор, пожалуй с войны, он, неприметно для себя, вел времени двойной счет, когда речь заходила о возрасте людей старше его или немного моложе. Мысленно он всякий раз измерял разницу, и эта цифра говорила ему куда больше, чем само число лет; собственно, только она и воспринималась по-настоящему.

До сих пор он не думал о том, так ли это у других, и теперь его поразило короткое замечание Пишколти:

— Словом, на два года старше меня.

Перед кладбищем, разбившись на стайки, паслись гусята. Чуть подальше, у рощи, детвора школьного возраста в одних рубашках играла в футбол. Пальто и курточки, набросанные кучками, служили воротами.

Пишколти остановился.

— Разгорячатся, а потом... пожалуйте, простуда! — неодобрительно покачал он головой.— Нынче-то, впрочем, они легко отделываются...

Старый доктор не откликнулся.

— Что правда, то правда, теперь это не твоя печаль,— проговорил Пишколти, по-своему истолковав его молчание.

Две недели назад в деревню прибыл преемник старого доктора — молодой врач, окончивший курс в прошлом году,— и весь участок взял на себя.

Они молча шли по Церковной улице.

На углу Градского переулка старый доктор протянул спутнику руку.

— Пойду взгляну на молодого Ма́рковича.

— Его домой привезли? Как же так? Когда?

— Сегодня утром.— Старый доктор снял очки и тщательно протер их.— Мамаша присылала за мной, она ведь долго служила у нас в доме.

Он уже свернул в переулок, когда Пишколти, шагнув ему вслед, крикнул:

— Дежи! Заглядывай, пехота ждет!

Он всегда так приглашал на шахматы: «Пехота ждет!»

■

Маркович сидел в старом кресле, обложенный подушками, и крутил свой транзистор.

Он не мог не видеть, как старый доктор прошел под окнами и через террасу вошел в дом, и если продолжал возиться с приемником, то лишь затем, чтобы выказать полное безразличие к его приходу.

Мать Марковича еще на кухне выложила доктору свои жалобы и сейчас, стоя в дверях, с тревогой посматривала на сына: не рассердился ли он за это предательство. Она осталась на пороге и держалась так, словно непрошеная явилась в чужой дом.

— Ну-с, как живем, молодой человек, как живем? — спросил старый доктор.

Он остановился у стола в неловкой позе, явно не зная, с чего начать, как приступить к делу, когда нет под рукой привычного саквояжа. Сняв очки, он с чрезмерным тщанием стал протирать их замшей.

Молодой человек только теперь выключил радио.

— Да вот, живу. Живу, к сожалению.

Губы его раздвинулись в кривой усмешке — безразличие, очевидно, давалось с трудом. Нарочитая непочтительность на минуту уступила место давнему, с детских лет впитанному уважению — уважению ребенка, который сидит перед дядей доктором на стуле и, отбиваясь изо всех сил, видит, как дядя доктор сует ему ложку в горло с разбухшими, нагноившимися миндалинами.

Старый доктор и виду не подал, что поведение юнца оскорбляет его.

— Покажите-ка мне заключительный диагноз!

Мать поспешно взяла с комода бумагу, придавленную каким-то кувшином.

— Ведь и не в здоровье дело-то... слава богу, про здоровье худого не скажешь...— снова начала она про то, о чем рассказывала на кухне, но, не договорив, умолкла почтительно, чтоб не мешать доктору изучать документ.

Сын уставился прямо перед собой с тем уже найденным однажды безразличным видом, который вполне отвечал его намерению. Двумя пальцами он снял пушинку с покрывала, подул на нее. Он явно старался не выдать себя, не показать хоть какого-либо признака заинтересованности.

— Дайте-ка ложку,— пробормотал доктор, нащупывая у юноши пульс.

В мгновение ока мать вернулась, обтирая ложку уголком фартука.

Старый доктор посмотрел у больного горло, затем попросил его снять рубашку.

— Не стоит, доктор, жаль ваших трудов,— недовольно проговорил юноша, даже не шевельнувшись. Его раздражал и металлический вкус ложки, и то, что доктор не обратил внимания на его апатию.

— Да нет же, нет! Лечиться надо! — воскликнула мать, ободренная присутствием доктора, и стала расстегивать на сыне ворот. Он неуверенно попытался сопротивляться, но потом сдался и молча позволил матери стянуть с себя рубаху.

Больница порядком его подсушила, но и сейчас бросалось в глаза, какое сильное и мускулистое у него тело. Парень серьезно занимался спортом. Три года назад его называли в числе самых способных пловцов страны, и специалисты ждали от него многого. Но молодой Маркович не оправдал надежд: на отборочных соревнованиях его не включили в команду, готовившуюся к олимпиаде в Риме. Так до конца и не выяснилось, что, собственно, было причиной его заката. Он во всем винил систему тренировок, а тренеры обвиняли его самого, утверждая, что он вел неподходящий для спортсмена образ жизни. После олимпиады Маркович вдруг выдвинулся еще раз, общество, к которому он принадлежал, даже послало его на всевенгерские состязания, и он в двух заплывах занял второе место. А потом начался новый спад: в прошлом году он безнадежно отстал от лучших пловцов страны. Все, к чему он готовил себя с детства, ускользало от него, а осознав однажды, что цель недосягаема, он решил, что бессмысленна и сама жизнь. Маркович стал пить, опустился, возненавидел весь мир и, даже не с отчаяния, а просто в минуту слабости, попытался покончить с собой.

Его мать овдовела, когда ему едва исполнилось семь лет, и с тех пор одна растила его, одевала, учила; он уже зарабатывал и жил самостоятельно, но она раз в две недели непременно посылала ему в город посылочки. А когда сына положили в больницу, не пропустила ни одного приемного дня. И вот, после трехнедельного лечения, привезла его домой, чтобы самой заботиться о нем, пока он окончательно не придет в себя и не встанет на ноги.

Старый доктор, осторожно наклонившись — последнее время ему приходилось опасаться резких движений,— прижал ухо к сильной мускулистой груди юноши и внимательно прослушал сердце. Выпрямившись, он должен был тут же схватиться за стол — все поплыло перед глазами. В последнее время такие головокружения случались с ним довольно часто, и он не слишком этого пугался. Не взглянув больше на

юношу, он вспомнил опять его выпуклые мускулы, упругую гладкую кожу, его молодость и, задумавшись, отошел к окну.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Двадцать три,— с готовностью ответила мать вместо сына.— Нынче весною минуло двадцать три.

— Многие поменялись бы с вами,— проговорил старый доктор.— И я поменялся бы.

— К вашим услугам, доктор!

Старый доктор словно не заметил насмешки.

— Поправитесь вы быстро, но с сердцем еще придется помаяться. Серьезные занятия спортом нельзя обрывать так внезапно, молодой человек.

— Какой смысл? — пожал плечами юноша.— Какой смысл продолжать их?

— А до сих пор? До сих пор смысл был?

— Никакого. Жизнь вообще величайшая глупость.

— Вот видите, господин доктор! — всхлипнула мать. Глаза ее наполнились слезами, она была в совершенном отчаянии.— Да зачем же тогда я спину гнула всю свою жизнь! Даже хлеба кусок... хлеба насущного...

— Хватит тебе, мама! — раздраженно прервал ее сын.— Ты уже не в первый раз сообщаешь мне об этом.

Старый доктор чувствовал себя неловко. Он торопливо потянулся в карман за часами. У него была старомодная, но зато вполне надежная «омега» с серебряной крышкой. Бросив на часы беглый взгляд и даже не заметив, сколько показывают стрелки, он отвернулся от молодого человека и сказал, обращаясь только к матери:

— Ну что же... Особой проблемы нет... в том, что касается здоровья. Беда в другом, и происхождения она давнего.

— О господи!..— испугалась мать.

— Молодой человек любит только себя. Занят исключительно собой. Одним словом, эгоист. Себялюбец.

Маркович насильственно, одними губами улыбнулся. Чуть-чуть повернув голову, он смерил взглядом маленького невзрачного старикашку, которому даже сидя доставал до плеча.

— Но, боже мой, он еще молод,— продолжал старый доктор, не взглянув на него.— Не будем же спешить с выводами, мы ведь тоже были молоды.

— Ну как же, нынешняя молоде-ежь! — пробормотал словно бы про себя Маркович, уже с откровенным вызовом.

— Может, как говорится, переболеет,— закончил старый доктор. В дверях он неожиданно обернулся: — Не следует так презирать старших, молодой человек! Подумайте лучше о том, что мы ведь трижды вынесли те двадцать — двадцать три года, которые вам и один раз оказались не под силу. А сравните те времена и нынешние!..

Последние его слова заглушил треск радио. Маркович с нетерпением ждал, чтобы его оставили одного, и, не успел старый доктор переступить порог, пустил радио во всю мощь — как бы в ответ на сеанс психотерапии.

■

Поведение наглого юнца взволновало старого доктора до глубины души.

Он чувствовал существование какой-то великой — огромной и необходимой людям — истины и был недоволен собою; вспоминая собственные слова, сознавал, что не сумел приоткрыть перед молодым

человеком эту истину. То, что он сказал, было, конечно, справедливо и уместно, но, увы, в ушах такого юноши все это звучит лишь нудным стариковским умничанием.

Он сердился на молодого человека еще и потому, что, идя к нему с визитом, от души жалел его, подозревал за этой попыткой к самоубийству какую-то глубокую трагедию.

«Дерзкий щенок избалован сверх меры,— думал он сейчас с возмущением,— вот и вся беда. Начала мать... что ж, сама заварила кашу, самой и расхлебывать... В прежние времена люди из последних сил бились, только бы достигнуть чего-то, а эти, нынешние... этих государство просто подталкивает, яства всякие им на тарелочке подносит, нынче и министром недолго стать, был бы молодой, вот и довольно. Слюнтяев, неженок воспитывают!.. Прежде ведь кто отраву пил — обманутые влюбленные да безработные пекарские подмастерья... да учителя истории, что снег на улицах расчищали... А нынче и тут одно позерство. Чистая аффектация: мне, видите ли, жизнь надоела, так ее и разэдак... Чудовищно!»

Дойдя до угла, старый доктор глянул в сторону кладбища, но пошел в противоположном направлении, по Церковной. Однако и беглого взгляда было достаточно, чтобы приметить, как славно зазеленели деревья вокруг кладбища, а одна развесистая акация словно бы и зацвела уже. Пройдя несколько шагов, он даже обернулся, чтобы разглядеть ее получше, и понял, что ошибся: акация еще не цвела, просто листья ее желтовато светились в лучах заходящего солнца.

Охорашиваясь под легким ветерком, стояли покрытые молодой листвой деревья, и старый доктор на минутку загляделся на них. Иным виделось сейчас ему кладбище, куда со временем переселятся нынешние обитатели деревни,— оно казалось куда более приятным, спокойным, можно сказать, уютным, чем тесные дворики, где с утра до вечера кудахчут куры, клекочут индюки, а в палисадниках на каждом цветке густым слоем лежит уличная пыль.

В глубокой задумчивости брел старый доктор по улице.

Он собирался заглянуть к Пишколти, сыграть с ним до ужина партию в шахматы. У католической церкви, однако ж, он перешел на другую сторону и повернул домой. Только что пережитое волнение очень его утомило, и он вдруг почувствовал, что не отдыхал после обеда, а ведь с того дня, как его сменил новый врач, он взял себе это за правило.

— Дядя Дежё! Доктор! — услышал он голос молоденькой учительницы.

Йоли распрощалась с кем-то у клуба и уже бежала к нему, словно подросток.

— Дядя Дежё, а к нам вы не заглянете?

Она снимала комнату у Пишколти.

— Ноют старые косточки,— улыбнулся ей старый доктор.— Напоминают, что не прилег после обеда.

— Ой, ну только сегодня, один разочек...— Девушка поправляла растрепавшийся от быстрого бега узел волос, и глаза ее улыбались ему ласково, просительно.— Что ж это будет, если и вы, дядя Дежё, измените мне? Ведь сбегу!

— Ну разве что на полчасика,— сдался старый доктор.

Молча перешли они на другую сторону улицы.

— Вы от Марковичей? — спросила вдруг девушка. В голосе ее было безразличие, но именно этим она и выдала себя. Всякий другой на ее месте не скрывал бы любопытства — о том, что стряслось с молодым Марковичем, говорила вся деревня.

Старого доктора больно кольнуло: значит, ласка, так искренне прозвучавшая в ее голосе, оказалась совсем не искренней или, по крайней мере, относилась не к нему.

— От них,— ответил он коротко.

— И... и что же с ним?

— Ничего. Валяется, радио крутит.

— Да? — проговорила девушка, явно успокаиваясь.— Ну, а почему же... Что было причиной?

— Со скуки, по-моему. Жилось слишком вольготно, вот и соскучился бедняга.

Учительница испытующе взглянула на него.

— Словом, ничего серьезного?

— Здоров, как бык. К тому же грубиян и циник.

Тайное недоброжелательство все-таки прорвалось!.. Старый доктор тут же пожалел, что не удержался.

Девушка вспыхнула и больше ни о чем не спрашивала.

Старый доктор был зол на себя: не следовало так отзываться о Марковиче, да еще в разговоре именно с этой девушкой. Хотя и то правда, что она и он — небо и земля: жалкий расслабленный тип — и простодушное, удивительно сердечное существо, способное разрыдаться, если нужно поставить единицу, и петь от радости, если в классе хорошо написали контрольную по арифметике. И везде-то она успевает: и драмкружок вести в клубе, и зал перед праздниками украшать, а в оставшиеся крохи времени собирать материал для «Социологического исследования нашей деревни». Да такой парень на всю жизнь сделал бы ее несчастной... но вот поди ж ты — это ее личное дело, чужому вмешиваться не пристало.

■

«А почему, собственно, не пристало? — подумал он, уже сидя за шахматами.— Девочка неопытная, а я, повидавший в жизни всякое, должен молчать? Нет, это было бы непростительно, я не могу допустить, не могу молча наблюдать, как этот тип... Но, конечно, нельзя так грубо, с плеча...»

Сперва он прозевал слона, а через несколько ходов и ладью. Партия стала безнадежной, и он сдал ее.

— Я сегодня не в настроении,— пробормотал он невнятно и потер виски.

Пишколти самодовольно похохатывал.

— Нечего увертываться, Дежике, в умении дело-то, в умении! Признайся, ты играешь отлично, а сегодня особенно удачно шла игра, но против более сильного игрока, не правда ли...

Он болтал много и утомительно, с удовольствием разглядывая доску, и уже начал расставлять фигуры для новой партии.

— Нет, я больше не играю.— Старый доктор отодвинул доску и оглянулся: ему показалось, что отворилась дверь.

Но в комнату никто не вошел, лишь донесся запах кофе из кухни.

«Странно,— подумал он.— Я мог бы поклясться, что дверь отворилась».

Минуту спустя и в самом деле появился кофе, но внесла его не молоденькая учительница, а жена Пишколти. Аптекарше, добродушной, полной, еще моложавой на вид женщине, едва перевалило за пятьдесят, она была на шестнадцать лет моложе своего мужа. Прожив с первой женой двадцать пять лет, Пишколти развелся и женился на тогда еще совсем молодой вдовушке, дочери нотариуса из соседней деревни, потерявшей мужа во время войны.

На подносе теснились четыре чашечки.

— Ах, бедный дядя Банди...— со вздохом заговорила аптекарша и без всякого перехода крикнула: — Йоли! — Она поставила чашечку перед гостем: — Пожалуйста, Дежике. Кофе некрепкий, специально для вашего давления.

Почтмейстера она величала дядей Банди, а старого доктора называла просто по имени: ведь он был на два года моложе ее мужа. Так же, по имени, но на «вы» обращалась она и к жене доктора. В кружке стариков ее почитали сравнительно молодой, хотя ни привычками, ни образом мыслей она от них не отличалась.

Вошла учительница с букетом белой сирени, уже в вазе, и поставила цветы на столик перед зеркалом.

— Ах да, что же такое с молодым Марковичем? — тотчас поинтересовалась аптекарша, не совсем случайно вспомнив об этом только теперь.

Старый доктор и не глядя почувствовал, как встрепенулась девушка, расправлявшая букет. Немногословно и тактично рассказал он все, что можно было рассказать о своем визите.

— Что-то за всем этим кроется,— заметила хозяйка, когда доктор умолк. Она отобрала у мужа кофейник и вместе с подносом подтянула к себе.— Пожалуйста, папочка! Хватит на сегодня, уже вечер.

— За всем этим кроется только заблуждение,— сказал старый доктор. Удобно откинувшись в кресле, он играл кистями вязаной скатерти и не смотрел на маленькую учительницу.— Молодые люди считают — о присутствующих не говорят,— слегка поклонился он девушке,— что вместе с совершеннолетием получают и право распоряжаться собой, то есть полностью распоряжаться...

— А кому же распоряжаться ими? — спросила девушка несколько обиженно.

— Родителям, разумеется,— вставила аптекарша.— Родители все же опытней, это и вы должны признать, Йолика. Родители своему детищу зла не пожелают...

Пишколти махнул рукой, усмехнулся:

— В каком мире ты живешь, душенька? Нынешняя молодежь...

— Нет-нет, все это значительно сложнее,— живо прервал его доктор.— Возможно, я недостаточно ясно выразился... речь, естественно, не о том, чтобы ими распоряжался кто-то другой. Я сказал только, что и они не вправе полностью распоряжаться собой.

Пишколти, скучая, перебирал фигуры на доске.

— Я давненько замечаю, Дежи, что ты ударился в философию.

— Мне непонятно это,— покачала головой девушка. Она серьезно, выжидательно смотрела на старого доктора.

— Во-первых, немного математики.— Он обращался к одной аптекарше и на маленькую учительницу не смотрел, хотя улавливал каждое ее движение.— Какой-нибудь толковый экономист мог бы подсчитать, во что обходится ребенок, пока он достигнет совершеннолетия. Это же невероятно! Начать с того, что мать решилась на это, выносила младенца, выстрадала. Какими деньгами оценить такое... даже и не такое, а сколько-нибудь подобные этому осложнения, страдания, неудобства и все, что с этим связано... За какие сокровища согласился бы на это человек, если бы дело шло исключительно на условиях: я — тебе, ты — мне?.. То есть за обусловленную заранее плату, да-да! А ведь мы еще находимся в самом начале счета, дальше последуют кормление, пеленки, заботы матери, которым вообще нет цены, и труды отца до седьмого пота, чтобы содержать семью, чтобы выжить...

— На доктора, на лекарства,— вставил шпильку Пишколти и, оторвавшись от созерцания шахмат, подмигнул учительнице.

— Нынче это сущие пустяки, в каком мире ты живешь! — воскликнула аптекарша. «В каком мире ты живешь» было у них семейной присказкой.

Старый доктор выпил пролившийся на блюдечко кофе. Он чувствовал, что девушка внимательно его слушает.

— Ошибаетесь, сударыня, глубоко ошибаетесь,— заговорил он опять, даже не поставив еще чашку на стол. И продолжал, вытирая рот бумажной салфеткой: — Итак, возьмем то, что выражается в деньгах... Это капиталовложение, однако не исключительно капиталовложение родителей... Скажем, школа, учебники, не так ли? — Тут он взглянул на девушку и почувствовал, что она понимает его.— Родители несут тяготы воспитания, ну, процентов на восемьдесят. Остальные берет на себя общество. И как это ни называй, и то, и другое является капиталовложением или, если угодно, долгосрочной ссудой, выплатить которую — долг человека. Долг номер один.

Пишколти закурил и с наслаждением выпустил ароматный дым.

— Если я правильно понял тебя, Дежике,— сказал он,— нашим восемнадцатилетним согражданам, чтобы иметь право распоряжаться собой, нужно только одно: заполучить в лотерее главный выигрыш. Повезло — выложи его своим кредиторам, родителям и обществу, уплати долг и можешь преспокойно вешаться... это уже никого не касается.

Он довольно хохотнул, его опухшие глаза увлажнились.

— Ох, какой вы циник! — Учительница смотрела на него укоризненно. Шутка оскорбила ее: она думала о молодом Марковиче.

Старый доктор задумчиво потер подбородок.

— Собственно говоря... с бухгалтерской точки зрения, ты прав.

— Конечно, прав! — кивнул шутник-аптекарь.— Я всегда прав. Наконец хоть кто-то признает это!

— Сумма производственных затрат, не так ли... если дозволено мне будет употребить это выражение по отношению к человеку... эти триста или пятьсот тысяч форинтов, ибо, на мой взгляд, если учесть все, именно в такую сумму обходится обществу воспитание восемнадцатилетнего молодого человека... или девушки,— добавил он поспешно, тем самым окончательно выдавая, что имел в виду Марковича.— Итак, допустим, что он выплачивает сумму затрат, и жизнь его отныне никого не касается. Однако же... Даже в этом крайнем случае не так все просто...

Старый доктор почувствовал, что слишком издалека завел речь. Нет, и этим обходным путем он не достигнет цели: с какой стороны ни подступись, глуха молодость к доводам разума! Недовольный, он продолжал, чтобы только не оставить фразу незаконченной:

— Да, не так просто. Ведь он, совершеннолетний гражданин, получил не только материальные блага, более того — как раз не в первую очередь материальные.

— То есть? — поднял Пишколти глаза от шахмат. Он уже почти не следил за разговором и, поглядывая на лежавший перед ним открытый журнал, расставлял фигуры, чтобы решать задачу.

— В конечном счете, Дежё, когда же по вашей теории человек сможет расквитаться с родителями и обществом? — спросила аптекарша, и по ее тону было ясно, что у нее на этот счет есть особое мнение.— Я имею в виду нормальный случай...

— И как будет в том случае, дядя Дежё, если у кого-то... если кто-то к своему совершеннолетию потерял родителей? — По лицу учительницы было видно, что она тут же пожалела о своем вопросе: нехорошо при пожилых людях упоминать о смерти.

— Остается задолженность перед обществом,— произнес старый доктор, задумчиво потирая виски. Все, что он говорил, имея в виду Мар-

ковича, начинало понемногу оформляться в теорию.— Что же касается задолженности перед семьей,— продолжал он неуверенным тоном,— то, я думаю, Йоли, человек погашает ее, не только воздавая родителям должное. То есть какую-то часть родителям, да-да, какую-то часть...

— А остальное? — спросил Пишколти, тихонько подталкивая пальцем фигуру на доске.

— А остальное — собственным детям... конечно, если есть у него дети.

— В таком случае я останусь вечной должницей? — засмеялась аптекарша, но смех ее прозвучал неестественно. У нее не было детей ни от первого, ни от второго брака.

— Ты мне отдашь! — воскликнул аптекарь.— Верно, Дежи? Долг должен быть отдан мужу, будь ласков, подтверди!

— Что ж, нас много таких... должников,— кивнул старый доктор аптекарше. Но это была просто любезность, он-то понимал, что свой долг отдал, вырастил сыновей... Оба они пропали на войне вместе со всем своим штрафным батальоном...

— Если это так,— заговорила учительница, несколько разочарованная,— если все так, как вы говорите, дядя Дежё, значит, совесть у человека никогда не может быть спокойна. Ведь стоит мне задолжать кому-то, и у меня все время неспокойно на душе.

— Вот-вот, Йоли, в том-то и дело! Да только не все столь совестливы,— подхватил старый доктор и тут же пожалел, что ответил слишком быстро.— Между прочим, подобное беспокойство — симптом молодости,— продолжал он.— К старости человек понемногу успокаивается. Какую-то часть своего назначения он выполнил. Большую часть долга отдал.

Пишколти откинулся на стуле, потрещал пальцами.

— Ты, Дежи, неисправимый моралист. А может, просто идеалист? Знаешь, ведь по нынешним временам это почти что реакционер...

— И какой суровый моралист! — подхватила аптекарша. Она явно обиделась, ибо совесть у нее и в самом деле была неспокойна: в свое время она не захотела иметь ребенка, а теперь жалела об этом. Понимала, что, скорее всего, переживет мужа, и боялась остаться на старости лет одинокой, без опоры.— Вот уж не повезло бы нам, если бы на страшном суде Дежё судьей был... Если только это не басни,— кольнула она мимоходом учительницу, убежденную атеистку.— Всех бы в ад отправил.

— Ошибаетесь,— серьезно отозвался старый доктор.— Напротив, по-моему, большинство людей не только выплачивает долг, но и щедро платит проценты. Впрочем, это объективная истина. Если бы люди не отдавали с лихвой... большинство по крайней мере... если бы не давали больше того, что получили, мы еще и сегодня жили бы в джунглях и лазали по деревьям.

В палисаднике хлопнула калитка. Все насторожились.

— Повторяю, речь идет о большинстве. Ибо, конечно, есть и такие, кто любит только получать, а не давать...

Старый доктор умолк, почувствовав, что его не слушают.

— Кто бы это? — сказала аптекарша и вышла.

Пишколти быстренько налил себе полчашечки остывшего кофе и выпил залпом, без сахара.

— Кажется, вы правы, дядя Дежё,— задумчиво проговорила учительница, не спуская глаз с окна,— безусловно правы. Все это очень логично. Даже слишком. По-моему, в этом-то и беда, что слишком уж логично.

— Верно,— поддержал Пишколти и добавил тоном мудреца, знающего цену жизни: — Вы угадали, Йоли, жизнь совсем не так логична.

— По крайней мере, не всегда,— сказала учительница.— И нужно быть снисходительным, дядя Дежё, даже если у кого-то... если не все еще так думают... и надо помогать таким, а не... разве я не права?

— Йоли,— крикнула аптекарша из прихожей,— это к вам!

К учительнице прибежали две девушки: кто-то на кого-то обиделся, отказался от предназначенной ему роли в спектакле, и теперь нужно срочно мирить «артистов» или искать нового исполнителя.

Старый доктор скучал в обществе четы Пишколти, но понимал, что не может сразу же подняться и уйти. Поймут, что он и приходил-то ради учительницы. Рассеянно слушал он аптекаршу, которая тут же стала перемывать косточки Йоли: какая-де она неаккуратная, по нескольку дней туфли не чистит, только вытрет на бегу; а белье сушит на спинке стула или кровати, ночью заглянешь к ней в комнату, у нее во всех углах штанишки мокрые висят, посмотрели бы вы, какой после этого пол наутро!

Удобно расположившись в кресле и вытянув скрещенные стройные ноги, аптекарша с видимым наслаждением пушила свою жиличку; она принадлежала к типу женщин, которые не способны вымолвить ни одного доброго слова о более молодых и хорошеньких представительницах своего пола. Иногда она взглядывала поверх кофейника на мужа (Пишколти окончательно умолк, уныло и бесцельно передвигая по доске шахматные фигуры), и непонятно было, говорит ли она для обоих своих собеседников из привычного женского злорадства, или слова ее предназначены — в десятый, в сотый раз? — только мужу и продиктованы инстинктом женской самозащиты. За все время, что учительница жила у них в доме, Пишколти ни разу не встречался с ней наедине: в доме, во дворе, в любом уголке сада он постоянно ощущал на себе бдительный взор жены.

Воспользовавшись секундной передышкой, старый доктор встал и откланялся.

Перед клубом на площади, освещенной фонарем, собралась молодежь. Доктор сразу увидел, что учительницы здесь нет.

«Девочка пристрастна, это естественно,— размышлял он, ногой нащупывая мосток через канаву на тускло освещенной улице.— Любовь необъективна, как всякая страсть; собственно говоря, влюбленный человек не совсем вменяем. Конечно, человеку предаваться страстям своим свойственно, как утверждают умные люди, хотя что же такое страсть, как не химически чистое проявление безумия?.. А в самом деле, в чем причина, что с определенной, так сказать, поэтической точки зрения, интересен лишь человек, охваченный страстью,— то есть когда он выходит из-под власти разума?.. Да, я непременно должен был сказать, что человек, который живет лишь для себя, есть in concreto et in substantia * полная бессмыслица, чистейшее противоречие, ибо живущий для себя живет для смерти. Он живет, просто живет нынешним днем и вдруг ловит себя на том, что эти его дни на исходе. Такая жизнь, ото всех отгороженная, с отдельным входом, теряет перспективу... да нет, какое там теряет. Все окна забиты... замкнутый круг... Единственная перспектива — уничтожение личности. Частная жизнь — частная смерть, круг замыкается... жизнь, единственная цель которой умереть, поистине бессмысленна... да, так... причинная связь совершенно ясна... и это нужно непременно... непременно...»

Доктор заметил вдруг, что снова вернулся к своим утренним размышлениям. Любая мысль влечет за собой все те же выводы — что это? Быть может, споря о другом, с другими, он все равно старается убедить себя, только себя? Но в чем?

---

* Конкретно и по существу *(лат.)*.

Он миновал уже амбулаторию и остановился перед лестницей на террасу: действительно, в чем? Но завершить рассуждения не успел, в доме включили свет, услышали, должно быть, как потрескивает гравий у него под ногами. На стекле дрогнула занавеска, и Маришка, их управительница, отворила дверь.

■

Маркович сидел в темной комнате, не включая света, и крутил радио. Искал хороший джаз и не находил.

«И чего болтал тут старый брехун,— озлобленно думал он.— Скоты все. Падаль. Вечная трепотня и ложь. Человек не может жить так, как хочет, и никто не живет, как хочет. Все в мире брехня, а любовь — величайшая из всех. Скоты! Ну и ладно. И пусть! Я ведь жить не просился».

Он был зол, никак не мог найти подходящую музыку. Здесь, в деревне, он чувствовал себя как в тюрьме, жалел, что поддался на материнские увещевания, приехал домой. Будь у него под рукой столько снотворного, чтобы хватило для безболезненной смерти, принял бы, не раздумывая...

Залаяли собаки, кто-то прошел мимо калитки.

Донесся собачий лай и до кладбища, но не потревожил царившей здесь тишины и покоя. Только небо с летящими облаками словно двигалось куда-то вдаль с достоинством и неуклонностью. Иногда просвечивал из-за облаков щербатый серп месяца, потом пропадал вовсе, но вдруг, найдя просвет в облаках, изливал на землю свой холодный свет; в такую минуту в чаще могильных надгробий поблескивал черный мрамор плит да на могиле почтмейстера серебряно отсвечивали листья искусственного венка.

На улицах уже никого не было, но окна еще светились повсеместно.

В большой комнате почтмейстерского дома все члены семьи собрались на поминки. С ужином покончили и теперь тихонько беседовали о судьбе вдовы и о доме, доставшемся им в наследство. В меньшей комнате играли дети, привезенные сюда по случаю похорон; игрушек в доме не водилось, и вдова роздала им коллекцию дедушкиных карандашей. Сохраняя подобающую случаю тишину, внуки развлекались, рисуя цветными остро заточенными карандашами расфуфыренных красоток, ракеты, танки и похороны.

Пишколти после ужина не лег, а снова подсел к шахматной доске. Пытаясь играть сам с собой, правой рукой он передвигал черные фигурки, левой — белые.

Вскоре ему это надоело, он погасил свет и осторожно вошел в спальню.

— Что это с Дежё? — спросила аптекарша.— Очень уж он сегодня разговорчивый был.

— Не знаю,— сказал аптекарь.— Не знаю, что это с ним.

Они умолкли и больше уже не разговаривали, хотя еще долго не спали.

Молоденькая учительница в соседней комнате тоже легла и, облокотившись на подушку, читала стихи. Но сегодня почему-то не читалось: она закрыла книгу и тихонько мурлыкала что-то, покачиваясь в такт. Потом погасила свет, легла и затихла. Только дыхание ускорилось от необъяснимого сладкого волнения: она думала о Марковиче и думала о себе, о том, сколько еще всего должно произойти с нею, и сколько у нее дел, и как все необыкновенно интересно.

Ей было жарко, не хватало воздуха. Она легла поверх одеяла и так лежала, улыбаясь в темноте.

После ужина старый доктор решил восполнить несостоявшийся послеобеденный отдых и лечь пораньше. Он надел пижаму, но понял, что спать еще не хочется, и стал неторопливо рыться в книгах.

Книги ему удалось сохранить, они пережили войну.

Старый доктор был еврей; деды его, жившие в Шаторальяуйхее, еще строго придерживались иудейской веры и занимались ремеслом — были красильщиками по тканям; но уже отец «ассимилировался» и прослыл в Мишкольце более или менее просвещенным книготорговцем. Во время войны, когда расистские преследования стали основой правительственной политики, все движимое имущество старого доктора подверглось аресту, его описали и опечатали, а потом и растащили — с разрешения властей и без оного — все, что можно было унести. Вот только книги он загодя укрыл у почтмейстера — того самого, кого хоронили сегодня,— часть же семейных драгоценностей и самые ценные документы доверил Маришке. Она честно все вернула и даже подарка не приняла за сохранение имущества. Все остальное — дорогие врачебные инструменты, мебель, столовое серебро, ковры, одежда — пропало навсегда, остался пустой дом, да и тот в незавидном состоянии. Труба упала от близкого взрыва, снесло и черепицу; односельчане вынули оконные рамы, двери, сорвали полы. Даже выключатели и розетки вывернули из стен.

Пишколти тоже удалось сохранить один его ковер, хотя, как попал к ним этот ковер, так и не выяснилось. В те времена, когда доктору пришлось нашить себе на рукав желтую звезду, аптекарь отдалился от него и откровенно избегал каких-либо отношений с заклейменным семейством. Доктору и в голову не приходило просить его о каком-либо одолжении.

Книги по большей части доставались ему из лавки отца, который умер в начале сороковых годов. Старый доктор набил ими полки, поставив книги в два ряда; в первый ряд попали потрепанные от частого пользования специальные книги и красиво переплетенные собрания сочинений. Старый доктор любил свою библиотеку, хотя времени для чтения — по крайней мере до сих пор — у него почти не оставалось; да он, собственно, и не читал ничего, кроме самой необходимой ему специальной литературы. Теперь, выйдя на пенсию, он частенько подумывал о том, что наконец сможет наверстать упущенное.

Теперь-то свободного времени будет хоть отбавляй.

Не сразу вспомнил он название заветной книги, но потянулся за ней так, как в темноте тянутся к выключателю.

Это был знаменитый роман, переведенный на все языки цивилизованного мира; когда-то его любимый учитель, преподававший литературу, сказал, что, не прочитав этого романа, нельзя относить себя к homo sapiens. Быть может, именно поэтому старый доктор всякий раз откладывал его, ибо ждал от романа слишком многого; хотелось приняться за него в спокойной обстановке, не спеша отдаться долгожданному наслаждению. Но за всю жизнь так ни разу и не выдалось у него свободного спокойного времени...

Он точно знал, где стоит эта книга. И хотя второго ряда не видел, вытащил ее безошибочно из-за позолоченных корешков.

Жена уже раздевалась ко сну. Кушетка застонала под ее грузным телом.

— Смотри-ка, а я было запамятовала,— проговорила она вдруг.— Тёрёков дочка была тут.

— Каких Тёрёков?

— Каких! Дочка у одних только есть. У Тёрёков с верхнего конца нет дочери. Только у Йожи Тёрёка, у знахаря.

— А, знаю,— вспомнил старый доктор. Он устроился в кресле с книгой на коленях и щелкнул выключателем торшера.

— Два раза забегала. Маришка уж говорила ей, чтоб... да она частным образом хочет. В конце концов против одного-двух частных пациентов и я возражать не стану, я тебе сразу так сказала. Их это не касается, а пенсия когда еще будет! Только не увлекайся. Ты ведь ни в чем меры не знаешь, в гроб вгоняешь себя, по-твоему, чужое здоровье важнее собственного. Маришка говорит, девчонка в беду, видно, попала... жених-то у нее второй год в солдатах, да будто в армии и останется, офицером... нынче ведь кого не производят в офицеры... ну, а господин офицер уж по-иному пару себе выбирает, ему недолго и пештскую девицу на крючок подцепить.

После ужина докторша уложила волосы и завязала голову полотенцем. Волосы у нее были редкие, почти седые; несколько десятилетий хлопотной семейной жизни наложили на нее свой отпечаток. Обычно она ездила причесываться в город, собиралась сделать это и теперь, но нужно же было перед поездкой привести себя немного в порядок...

— Жужа, верно? — спросил старый доктор. Он вспомнил наконец девушку; в детстве она много болела, раза два он, можно сказать, вытащил ее из могилы.— Ну да, да, конечно Жужа, я ее пользовал когда-то, она ведь недоношенной родилась. А потом с миндалинами сколько раз...

— Теперь-то у нее не тонзилит, поверь мне,— откликнулась жена.

Она любила употреблять латинские слова. Ее муж, живя среди крестьян, отвык от латыни, она же с самого начала старалась освоить профессиональный язык и до сих пор с особым удовольствием выговаривала по латыни названия болезней.

— Ничего опасного еще быть не должно,— продолжала она, пока муж перелистывал книгу, собираясь читать.— Мы с Маришкой как раз высчитывали, жених-то к пасхе приезжал на побывку.

— Ты вызвала такси? — спросил старый доктор. Он всегда переводил разговор, когда жена вторгалась в его профессиональную сферу.

Заговорив о такси и завтрашней поездке, он вспомнил, что не приготовил необходимые документы. Завтра предстоит встреча с однокашниками — пятьдесят лет минуло, как они получили аттестаты зрелости,— а заодно он похлопочет и о пенсии, сумма которой до сих пор не установлена. Жена, словно угадав его мысли, сказала:

— Ох уж эта пенсия! Как оно завтра обернется все... Хорошо бы мы выглядели,— добавила она,— если бы я заранее не хлопотала... жди, когда власти о тебе позаботятся...

Пока старый доктор рылся среди бумаг в ящике шкафа, на него снова навалилась усталость. Помедлив, он вместе с документами сунул в портфель и роман. Потом лег.

2. ПОНЕДЕЛЬНИК

Подготовку встречи взял на себя Шёпкез, адвокат. Против обыкновения, встреча была назначена на будний день: во-первых, все свободны, все уже вышли на пенсию, во-вторых, в воскресенье город для приезжих скучен — магазины закрыты, знакомые на футбольном матче или в гостях, к тому же и гостиницы набиты до отказа.

Учебный год еще не кончился, так что традиционный осмотр гимназии можно было провести только под вечер. Старый доктор уже знал об этом — на прошлой неделе он говорил с Шёпкезом по телефону — и потому не пошел с утра на условленное заранее место встречи. У вокзала он взял такси, отвез жену в ее парикмахерскую, а сам поехал в центр.

Было еще рано, и старый доктор зашел в кондитерскую.

Ему принесли кофе, а так как утренних газет еще не было, он вспомнил о романе, лежавшем в портфеле. Но доставать его не стал: надоед-

ливо распевало радио, посетители входили и выходили—все это мешало бы читать. С каким-то странным и в то же время издавна знакомым чувством полистал он карманный календарь — таким же tabula rasa * было его первое после аттестата зрелости лето, так начинает он и сейчас последний акт своей жизни. Всего несколько дней, как чувства его и мысли стали приноравливаться к новому положению пенсионера, нащупывать его реальную сущность — внезапное освобождение от тяжких обязанностей. До сих пор все его дни до отказа заполняли неотложные дела и заботы, и в этих условиях не имело ни малейшего смысла планировать что-то заранее.

А сейчас только и заботы...

«Свободно распоряжаться своим временем и собой — да ведь это равнозначно безграничной свободе!» — подумалось ему вдруг. И только где-то, в самой глубине души, смутно нарастало ощущение какой-то потери. К приятному чувству примешивалась неясная тревога; не додумывая своей мысли до конца, он уже понимал со всей определенностью, что «безграничная свобода» не заполнит его жизнь целиком, ему будет недоставать чего-то очень существенного.

«Как и всем, кто ушел на пенсию,— добавил он про себя и снова вспомнил экзамены на аттестат зрелости.— Да, вот и тогда летом... Как раз пятьдесят лет!.. Мальчики, должно быть, уже встретились сейчас перед гимназией!..»

«Мальчики...» — повторил он мысленно и невесело улыбнулся.

Примерно в половине десятого он вошел в районный отдел здравоохранения.

Женщина с взлохмаченной прической, занятая, вероятно, очень важным, не терпящим отлагательства делом, сказала ему с официальной любезностью: «Минуточку. Подождите, пожалуйста, в коридоре!» Однако, когда старый доктор, наскучив ожиданием, опять открыл дверь, она быстренько отыскала его дело.

— Дежё Вайс? — удостоверилась она еще раз и настороженно вскинула глаза.— Ваш вопрос временно... временно отложен.

— Отложен? — Слово это испугало старого доктора своей официальностью.

Женщина пожала плечами, взяла документы и, бросив взгляд на включенный кофейник, шагнула к внутренней двери.

— Подождите, пожалуйста.

«Однако же это немыслимо... это...» Старый доктор встревожился. Он знал, конечно, что серьезных осложнений с пенсией быть не может, но в жизни его столько раз подстерегали горькие неожиданности, что он всегда был готов к самому худшему, самому невероятному.

Не прошло и полминуты, как секретарша возвратилась и пригласила его:

— Войдите, пожалуйста.

Его принял полнолицый молодой человек лет тридцати, а может и сорока. Они уже несколько раз встречались по служебным делам. Выйдя из-за своего стола, молодой человек поспешил навстречу посетителю и предложил сесть, однако сам не садился. Опершись руками о кресло, он озабоченно наморщил лоб.

— Что-нибудь случилось? — спросил старый доктор.

— Нет-нет, все в порядке,— быстро ответил хозяин кабинета. Он пододвинул к гостю сигаретницу, стоявшую на маленьком столике, сам взял сигарету и закурил.— Разумеется, для вашего перевода на пенсию нет никаких официальных препятствий, нет и быть не может, ведь вы...

---

* Чистый лист (*лат.*).

Но проблема, и очень серьезная, возникла совсем с другой стороны, и я непременно хотел переговорить с вами, доктор, прежде чем передать дело по инстанции... минуточку...

Он торопливо подбежал к своему столу и начал рыться в ящике. Старый доктор ждал, чувствуя себя не совсем уверенно.

Молодой человек не нашел того, что искал. Пожав плечами, он рывком задвинул ящик.

— В конечном счете, это неважно...— Он вскинул голову и внезапно, словно рубанув с плеча, спросил:— Уважаемый доктор, вы настаиваете на своем желании уйти на пенсию?

— То есть я еще, конечно...— Вопрос застал старого доктора врасплох.— Однако по состоянию здоровья, видите ли...

— Да, да,— кивнул молодой человек с чуть заметным нетерпением: на его взгляд, в его возрасте, ссылка на здоровье представлялась всегонавсего не слишком ловкой отговоркой.— Разумеется, учитывая возраст почтенного нашего доктора, мы могли бы уменьшить нагрузку... Быть может, перестроили бы участок... изъяли бы из него, скажем, две деревни...

Старый доктор снял очки и долго протирал их.

— Я не понимаю. На прошлой неделе приехал доктор Борбат, принял участок... Он, полагаю, в силах справиться...

— Он временно назначен,— решительно потряс головой молодой человек.— Назначение доктора Борбата не окончательно, именно поэтому и возникла...

— То есть как — не окончательно?

— Увы! — Упитанное лицо склонилось набок, плотные литые плечи вскинулись к ушам.

— Но, насколько мне известно, он имеет назначение...

— Да, да...— и молодой человек продолжал совсем другим тоном: — Положение таково: доктора Борбата затребовали обратно в столицу... немедленно, на этой же неделе...

— Невероятно...— Старый доктор смотрел недоверчиво.— А больные?

— Вот мы и подумали, что, может быть, наш уважаемый доктор... разумеется, временно...

— Это невозможно,— сказал старый доктор.— Невозможно, мне такой гонки больше не вынести.

— Я подчеркиваю, милый доктор, только временно! И дальние деревни мы прикрепили бы к соседним участкам.

— Нет, ни в коем случае. Простите, но я основательно все обдумал, когда... И он мог в таком положении оставить...

Молодой человек отошел к окну, беспомощно развел руками и, помрачнев, сказал:

— В конце концов, я только исполнитель, мои возможности крайне ограничены. Если бы мы разрешили эту проблему... разумеется, временно... Но коль скоро наш уважаемый доктор не склонен...

— Нет и нет,— резко качнул головой старый доктор и вдруг опомнился.— Прошу вас, не говорите со мной в таком тоне. Свой долг... я исполнил, как мог, и не о склонности тут речь...— Он почувствовал, что надо остановиться, собственные слова слишком взволновали его. Поднявшись, чтобы уйти, он закончил с деланным спокойствием:— Недостающие документы я принес и прошу вас немедленно передать мое дело, куда положено. Я ни в коем случае не могу принять сейчас участок. Всему есть границы.

■

Рядом с парикмахерской на углу было эспрессо, там они и договорились встретиться с женой. По дороге старый доктор заглянул еще в центральную аптеку и поинтересовался заграничным лекарством, о котором сообщалось в последнем номере «Медицинского вестника». Заведующего, своего давнего знакомого, он не застал — сегодня утром тот уехал в Пешт по делам,— остальные служащие о новом лекарстве еще не слышали.

Жена с неестественно правильно уложенными седыми волосами уже поджидала его; перед ней стояла пустая кофейная чашка.

Старый доктор расстегнул пальто, посмотрел на карманные часы.

— Собственно говоря, время у нас еще есть,— пробормотал он и, сев на свободный стул, заказал абрикосовый сок.

— Дежё, что случилось? — немного подождав, требовательно спросила жена; она ждала отчета.

Идя сюда, он решил не рассказывать ей о неприятном разговоре, по крайней мере сейчас. Зачем волновать ее понапрасну, пусть дома узнает. Однако увильнуть от прямого вопроса было невозможно, и старый доктор небрежно, как бы вскользь сказал, что получил предложение с уходом на пенсию повременить.

— Я, конечно, не согласился,— сказал он.— Извините, всему есть границы. До сих пор был дураком — ладно, что было, то было,— но и дальше в дураках ходить — это уж увольте!..

Жена и в самом деле разволновалась; она слушала мужа, с сомнением покачивая головой. А когда он кончил, спросила, строго вскинув брови:

— Ты именно так и выразился? По крайней мере, достаточно ясно?

— Еще как! Покрутятся теперь! — ответил старый доктор, и его самого покоробил этот хвастливый тон.— «Прошу передать мое дело, как вам положено по службе. А кого вы поставите на место Борбата, меня не касается...»

Официант принес абрикосовый сок, открыл бутылку и небрежным движением подтолкнул ее на середину стола.

— Будьте любезны, еще один стакан,— чуть ли не с заискивающей улыбкой обратилась к нему докторша. Покачивая головой, она продолжала:— Видно, у этого Борбата и в мыслях не было устраиваться в деревне всерьез. Но чтобы так!.. Вот тебе и социалистическое отношение к своему долгу... Конечно, молодой господин рассчитал недурно: за месяц-другой поднажмется у крестьян, накопит на машину, да и был таков. После меня хоть потоп!..

— Да нет, не думаю,— рассеянно проговорил старый врач. Он отхлебнул соку и, не опуская стакана, уставился на задернутое занавеской окно.— Он уезжает еще на этой неделе.

— Кто? Борбат?

— Да, возвращается в столицу. То ли министерство его отзывает, то ли еще кто...

— Ну и ну!..

За спиной у них лилась из репродуктора негромкая танцевальная музыка. Официантка в белой наколке усилила звук, разговаривать стало невозможно. Старый доктор сердито постучал по стакану, но никто не явился, и он оставил десятифоринтовую бумажку на столе.

— Может быть, все же заглянешь к мальчикам? Не хочешь? — спросил он уже на улице. «К мальчикам» — опять!..

— Боже сохрани! — быстро откликнулась жена.— Я так устала от этой поездки, сейчас мне хочется только... Ох, как ты надел шляпу, просто ужас! Будь добр, поправь сейчас же!

Когда-то жена охотно бывала с ним на подобных вечеринках и встречах. Но постепенно женщины приходили все реже, хотя всякий раз появлялись и незнакомые лица: те из «мальчиков», кто женился вновь, да еще на молодой, не упускали возможности похвастать перед остальными.

Старый доктор снял шляпу, снова надел ее, и они отправились к центру. У какой-то витрины остановились, и старый доктор вдруг улыбнулся.

Жена взглянула на него и одними глазами спросила: что?

— Любопытно...— задумчиво сказал он, глядя на витрину, но не видя ее, не сознавая даже, что на ней выставлено,— любопытно, что как раз сегодня... уже лет десять, как мне не снилось ничего подобного... будто пишем мы контрольную по латыни. Или не по латыни, а, кажется, по математике — по крайней мере, на кафедре словно бы наш математик стоит, старый Штримфли, бедняга... Одно помню ясно, что до звонка остается всего пять минут, а у меня написано только название работы. Все из головы вылетело. И ничего вспомнить не могу, потому что потерял задание, которое он продиктовал. И так стало мне скверно на душе, что я проснулся... Ну и, конечно, сразу почувствовал облегчение, ведь все это сон только. Словом, первое чувство было — облегчение, а потом я вдруг задумался: эх, старый дурак, если б можно начать все сначала, чтобы и не было этих пятидесяти лет!

— Значит, он на этой неделе уезжает? Это точно? — спросила жена.— А что же будет с участком?

Старый доктор недовольно умолк. И только когда двинулись дальше, ответил:

— А ничего с ним ровным счетом не будет! Почем мне знать, что будет с участком...

— Нет, тут что-то не так. Если вы переводите Борбата, извольте позаботиться о его преемнике.

— Прекрасно! Извольте позаботиться о его преемнике,— сердито передразнил старый доктор и даже остановился.— Не мое дело, что будет с участком. Меня участок больше не интересует.

— Но меня, к сожалению, интересует. К сожалению.

Озабоченная, сумрачная, она умолкла, продолжая обдумывать историю с Борбатом. И только у театра замегила, что магазин, куда она направлялась, остался позади.

...Некоторое время старый доктор разглядывал витрины, но скоро ему это наскучило. Внимательно осматриваясь, чтобы не разминуться, он вошел и стал искать жену в толпе покупателей. Она стояла возле прилавка с чулками и как раз обернулась, чтобы посмотреть выбранные чулки на свет.

— Дежи, поди-ка сюда!

Она никак не могла выбрать, потому что привыкла к чулкам со швом, да и нравились они ей больше, но сейчас ведь носят без шва.

Старый доктор пожал плечами. Это было единственное, в чем он никогда не мог понять жену: почему она придает такое значение подобным мелочам? Будет шов на чулке или не будет, большие купить пуговицы или маленькие, деревянные, пластмассовые или перламутровые, шить платье с накладными карманами, французским воротником, пряжкой, манжетами — все это (конечно, в общепринятых пределах) было на его, мужской, взгляд совершенно безразлично. И у него в свое время бывали осложнения с какими-то женскими пуговками, но большие они были или маленькие, это, собственно говоря, никогда не доходило до его сознания...

— Пожалуйста, решайте, очередь ждет,— нетерпеливо поторопила ее молоденькая продавщица.

— Покупай и те, и другие, какая разница!

Старый доктор повернулся, и вдруг в груди у него словно оборвалось что-то, он даже покачнулся. За прилавком в дальнем углу стояла пожилая продавщица и пристально разглядывала его жену. Быть может, он посмотрел в ее сторону случайно, быть может, инстинктивно почувствовал, что кто-то наблюдает за ним, но только сразу увидел лицо этой женщины и сразу узнал ее.

Все это продолжалось одно лишь мгновение, продавщица заметила, что старый доктор смотрит на нее, глаза их встретились, но она тотчас перевела взгляд на покупательницу-крестьянку, выбиравшую нейлоновое белье, которая спрашивала ее о чем-то.

— Ну что вы, это лишнее, совершенно лишнее,— ответила та.

Она вложила розовую комбинацию в прозрачный пакет и, не торопясь, расправила ее; глаз она больше не подымала, на лице застыло полнейшее безразличие.

Волосы у нее, должно быть, начали седеть, недаром она выкрасила их в платиновый цвет, но лицо для ее возраста выглядело поразительно молодо. Старому доктору, правда, не это бросилось в глаза; он, напротив, отметил на этом лице следы прожитых лет — в последний раз они виделись в конце двадцатых годов, да и то лишь мельком. В памяти он сохранил ее девичий облик и в сновидениях своих — уже минули годы с тех пор, как она перестала ему сниться,— видел ее вечно юной, с гладкой свежей кожей, высокой грудью, в цвете восемнадцати лет.

Теперь старый доктор внимательно рассматривал ее. «А может быть, это и не она,— подумал он.— Ведь Андялке теперь тоже под шестьдесят, а этой... Нет, такого быть не может, но если это все же она, тогда это чудо».

И держалась эта женщина молодо, и фигура у нее была хороша (его жена, должно быть, весила килограммов на двадцать больше). А вот движения не напоминали прежней Андялки: она лениво протягивала руку к полкам, со скучающим видом раскладывала перед покупателями товар; как видно, ее нимало не беспокоило, что очередь у прилавка росла.

На темно-синем, отливающем шелком халате над эмблемой магазина пристрочены были ленточки разных цветов с надписью: «Говорит по-французски», «Говорит по-немецки», «Говорит по-английски».

«Она это! Конечно она!» — мысленно воскликнул старый доктор. Он снял очки, протер их, не спуская при этом внимательного взгляда с продавщицы. Ему непременно хотелось взглянуть ей прямо в глаза — почему-то это нужно было, чтобы убедиться окончательно,— но она не смотрела на него, лишь один раз скользнула равнодушным взглядом и отвернулась.

Много лет назад он был практикантом в местной больнице, потом еще несколько раз по разным поводам заменял то одного, то другого врача. Там они и познакомились: Андялка была дочерью какого-то чина в комитатском управлении и приходила в больницу для амбулаторного лечения как частная пациентка главного врача — у нее были, не слишком, впрочем, серьезные, жалобы на сердце.

Нет, она не была у него первой в жизни женщиной и все же в каком-то смысле была первой: ни одна не осталась в памяти так прочно, на долгие десятилетия, и ни одна не нанесла такой мучительной и, казалось тогда, неизлечимой раны. Совершенно неожиданно — между состоявшимся и назначенным свиданием — Андялка укатила с матерью на Балатон, а ее отец довел до сведения начинающего сельского врача, что их семейство не намерено продолжать с ним знакомство. Нет, он не сразу отказался от надежды встретиться с ней, неделю за неделей осаж-

дал ее письмами, даже поехал следом на Балатон (где, кстати, и познакомился с будущей своей женой). Минуло месяца два, не меньше, когда, уже в самом конце лета, на его имя пришел сиреневый конверт; в нем оказалась карточка, уведомлявшая о помолвке Андялки с неким обладателем весьма древнего пышного имени и короны о пяти зубцах.

А на обороте небрежным почерком Андялки стояло несколько шаблонных, приличествующих случаю слов: «Милый Дежё! Такова судьба. Решение мое окончательно — согласитесь же, что тут ничего не поделаешь, да и не нужно. Я верю в Вас, в Вашу корректность и умоляю, не сердитесь на меня. А.».

Старый доктор стоял у колонны, довольно далеко от прилавка и не спускал глаз с продавщицы, стараясь, однако, не привлекать к себе внимания. Он знал уже твердо, что это Андялка, но внутренний трепет, охвативший его в первое мгновение, постепенно утихал. Он вглядывался сейчас в эту женщину глазами не мужчины, а просто много испытавшего на своем веку человека, к тому же врача-психиатра. Он отмечал и флегматичную маску на ее лице, и презрительно поджатые губы, и скучливые движения, выражавшие непобедимое отвращение к тому, что приходится ей делать... И вдруг, в эту самую минуту, он понял то, чего не понимал тогда, но что тревожило его постоянно, даже в самые интимные минуты их любви, и что трудно было выразить словами: тот холодный расчет, с каким она взирала на жертву своими зелеными глазами,— расчет, прикрытый, как каской, красотой ее тела... Старый доктор не задержался на этой мысли, то была скорее лишь смутная догадка, но он уже понимал, что своей первой великой любовью обязан, быть может, лишь праздному любопытству скучающей барышни; и еще каким-то чутьем безошибочно почувствовал, что эта женщина сделала несчастным своего мужа или мужей и всех, кто с искренним чувством когда-либо отдавался ей во власть...

Жена его за это время, постояв в очереди у кассы, уже получила покупки. Как в зеркале, увидел он по лицу Андялки, что жена приближается к нему: продавщица подняла глаза, посмотрела ему прямо в лицо, знакомым движением — движением той, юной Андялки — поправила волосы, потом взгляд ее убежал куда-то в сторону и, остановившись, застыл неподвижно, насмешливый и презрительный.

Доктор отобрал у жены пакет побольше, ласково взял ее под руку, и они направились к выходу. Проходя мимо прилавка с нейлоновым бельем, он даже не взглянул на продавщицу.

— Не выходит у меня из головы этот Борбат,— заговорила докторша, когда они выбрались на улицу.— Как это можно, на кого же деревня останется?..

Старый доктор посмотрел на жену, на ее озабоченное лицо и не нашел ее ни такой старой, ни такой расплывшейся, какой она отразилась только что в зеркале презрительного взгляда. И остро почувствовал вдруг согревающую сердце миротворную близость этой накрепко сплетенной с ним судьбы, близость родной души.

— Участка я не приму, ни в коем случае,— сказал он.— Довольно уж я рисковал, всему есть границы.

■

Их сошлось всего семеро на эту пятидесятую годовщину.

В кабинете «юбиляров» принял один из заместителей директора гимназии: у самого директора важное совещание в совете, он очень сожалеет...

Потом они по традиции прошлись по зданию, осмотрели вывешенные в коридоре портреты, стенные газеты в классах, цветущую пелар-

гонию на окнах, ярко-зеленые кисти аспарагуса; заметили новые царапины на новых партах, смеясь постояли у доски — на ней сохранилась часть какого-то примера по арифметике и рядом поросячья морда. Здание гимназии было прежним, но его столько раз обновляли, перестраивали, подводили фундамент, пробивали новые двери, а старые заделывали, что ориентироваться стало трудно. Ни парт тех времен, ни кафедр не осталось и в помине. Впрочем, сами юбиляры не могли бы уже сказать с уверенностью, где находится их класс. Только нынешний III-й класс был определенно знаком, его узнал Шикабони, бывший актер. Отсюда, с последней парты того ряда, что у окна, и сейчас был виден барочный балкон огромного доходного дома напротив. В те годы этот балкон был связан для них с некоей пятнадцатилетней девушкой, щупленькой да и лицом не слишком красивой, но охотно показывавшейся перед бдительными окнами мужской гимназии. Пожалуй, год-другой не было в городе девушки, о которой грезили бы столько, сколько об этой.

— Мы тогда в седьмом учились,— петушиным голосом проговорил Шикабони. Бывший артист был сухощавый мужчина с длинными седыми волосами. Слезящимися от неумеренных возлияний, стариковскими своими глазками разглядывал он балкон, на котором густо цвели темно-красные, синие, белые и лиловые петунии.— Я точно помню, потому что в седьмом я единственный раз провалился, бедняга Фюлеш засыпал меня по латыни...

В этом классе они ненадолго задержались. Вспоминали.

Между тем судьба словно решила подшутить над ними — на балкон вышла девушка с высокой прической и стала поливать петунию из большого кувшина. Маленькой палочкой она ковыряла землю между цветами и, целиком уйдя в свое занятие, по-видимому, ни о чем ином не думала. Но вот вода у нее кончилась, девушка подняла голову, взгляд ее пробежал по окнам гимназии и тревожно застыл на том окне, из которого, теснясь и выглядывая друг из-за друга, на нее смотрели какие-то старики.

Собственно говоря, балкон остался здесь единственным знакомцем.

Старому доктору тоже помнился этот балкон, и в сердце болезненно встрепенулось какое-то давнее юношеское настроение — оно защемило слегка и тут же рассеялось, как сладостный сон поутру. Вообще же он чувствовал себя тут чужим: парты непривычной формы, на стенах незнакомые портреты, даже двери, окна, цвет стен — все было чужое.

Они двинулись дальше, и тут из соседнего класса вырвался целый выводок встрепанных мальчишек, очевидно, после какого-нибудь кружка или дополнительных занятий. Учитель с совсем еще детским лицом вышел за ними следом, запер дверь на ключ и недоуменно посмотрел на фланировавших по коридору стариканов.

— Вы ждете кого-нибудь? — спросил он официальным тоном.

Ему ответил д-р Шёпкез, адвокат. Ведь он был организатором встречи и, значит, в какой-то мере хозяином дома.

— О, поздравляю вас,— смущенно пробормотал учитель и, вежливо склонив голову, удалился.

Шикабони, бывший артист, поднялся на третий этаж. Он не сказал, зачем ему нужно туда. Уже старшеклассником, он вырезал на подоконнике возле уборной свое имя. Прежде оно еще выделялось отчетливо, но сейчас он искал напрасно: когда здание ремонтировали после войны, маляры зашпаклевали надпись.

Остальные тем временем разбрелись по двору, воспоминания влекли каждого своим путем. Старый доктор стоял один с тем же чув-

ством — все чужое. Не так, как чужд бывает никогда не виденный край, в котором осматриваешься с равнодушным спокойствием,— нет, здесь на каждом шагу возникало ощущение, что когда-то этот двор был постоянным, добрым знакомцем: вон там, у заднего входа, лежит тот самый камень, о который он как-то до крови ободрал колено (как знать, быть может, и сейчас еще он хранит в себе несколько атомов его крови и сохранит ее навсегда в межматериальных пустотах микрокосмоса)... Добрым знакомцем был этот двор когда-то и именно потому сейчас казался более чуждым, чем если бы доктор никогда его не знал: за полстолетия человек и камень окончательно стали чужими.

Так прошла минута, может быть, пять... Старый доктор поймал вдруг себя на том, что он скучает. И снова зашевелились гнетущие ощущения, незаметно накапливавшиеся в душе с самого утра. Несколько человек уже собралось у выхода, и он направился к ним, не думая ни о чем, даже об этих неясных щемящих своих настроениях. На верхней ступеньке лестницы, что вела из заднего двора, он на секунду остановился отдохнуть. И сказал про себя, даже шевеля при этом губами:

— Neuropatia cardiovascularis...

Он подошел к остальным, разговаривал, слушал, как толстяк Лебович рассказывает о частых головокружениях и одышке, а сам в крайнем недоумении размышлял о том, откуда пришло ему в голову это «neuropatia cardiovascularis». Так и не вспомнил, и лишь позднее, когда они сидели в отдельном кабинете ресторана за накрытым столом, вдруг совершенно неожиданно всплыло воспоминание: в свое время профессор написал эти слова на истории болезни Андялки. Диагноз был довольно оригинальный — вместо обычного «neurosis cordis». Профессор считал это последнее выражение неточным, и каждому врачу, который говорил о неврозе сердца, рекомендовал незамедлительно наниматься в батраки к эгерскому капитулу.

Старый доктор сознательно задержался на этом воспоминании, словно убегал от другого. Он до конца понял теперь Андялку, понял, что эта женщина сгубила бы его жизнь, и все же, безо всякой к тому разумной причины, ему было больно. От старой раны? От нахлынувших воспоминаний о невозвратимой молодости?..

Когда все уселись, д-р Шёпкез надел очки, вынул из внутреннего кармана сложенную вдвое тетрадь и встал. То был журнал их класса в год окончания гимназии.

Маленький зал освещался неоновыми лампами, их холодный голубоватый свет размывал тени. Стаканы, тарелки, столовые приборы тускло поблескивали.

Лица у семи стариков были белы, как мел, и губы бескровны. Неоновый свет прояснял, высвечивал на этих лицах карту минувших десятилетий.

Сурово и торжественно, немного церемонно д-р Шёпкез стал читать имена:

— Карой Ардаи!

Все присутствующие знали, что Ардаи погиб еще в первой мировой войне. Адвокат выжидательно взглянул поверх очков и сам ответил:

— Нет в живых.

— Отсутствует по уважительной причине,— заметил артист.

— Имре Балог!

— Умер.

— Ничего подобного,— запротестовал толстый Лебович,— мы повстречались с ним в Боготе недавно, прошлой весной. Он прекрасно выглядит. У него ферма, дом, первоклассная машина, само собой...

— Умер,— повторил Селепчени с застывшим лицом и неподвижным взглядом.— В Вильявисенсио, возле Боготы, как раз в ночь под новый год.

— Миклош Бауман!

— Умер в Австралии.

— Андор Циглер!

— Погиб в Освенциме.

— Ференц Чордаш!

— Здесь.

Чордаш был крупный, высокий. Он хорошо сохранился и в этой компании выглядел моложе всех. Прежде он работал главным инженером какого-то большого завода и, когда ушел на пенсию, был даже представлен к награде.

Официант принес суп и разлил по тарелкам. С минуту он постоял у стола, всем своим видом выражая готовность услужить, но никто не обращал на него внимания, и он, закинув на руку салфетку, удалился. Между тем адвокат подходил уже к концу списка:

— Дёрдь Тоот!

— Умер.

— Лайош П. Тоот!

— Умер.

— Расстрелян.

— Не расстрелян, а повешен.

— Жолт Варади!

— Погиб. Где-то у Дона.

— Дежё Вайс!

— Здесь! — Старый доктор криво улыбнулся.— Пока здесь.

— Ты уж молчи лучше, Вайсик,— проговорил Несведа, совсем сгорбленный и худой, служивший до пенсии писарем в сельском совете. Он хотел еще что-то сказать, но Лебович перехватил слово:

— Дежё, очевидно, знает тайну долголетия, да только выдавать не хочет. Может, по секрету, а, Дежё?

— Мальчики, суп остынет,— сказал Шикабони.

Бульон ели все, но второе и напитки каждый заказывал на свой вкус. Старый доктор ограничился фирменным блюдом — фаршированным яйцом (на ужин он всегда ел мало) и бутылкой персикового сока. Время проходило в оживленной беседе, каждый спешил рассказать про других все, что знал. Вспомнили и учителей: в их прошлой встрече, на сорокалетие, принимал участие учитель греческого. Умер он совсем недавно, на похоронах от имени его учеников выступал Шёпкез.

Лебович, покончив со второй порцией жаркого, осушил до дна бокал и повернулся к старому доктору.

— Да, все-таки класс наш...— сказал он значительно и, оглядывая своими маленькими глазками сотрапезников, небрежно скользнул по Несведе, сельскому писарю.

Шёпкез сидел, откинувшись на стуле, и легонько кивал направо и налево:

— Да, да, несомненно. Это абсолютно бесспорно.

Поговорили о тех однокашниках, кто немало преуспел в жизни. Вспомнили, конечно, и знаменитого химика, лауреата Кошутовской премии, которым все они немножко гордились. После сороковой годовщины никто не видел его, только в газете на фотографии, когда его наградили, и потом, в траурной рамке, когда он умер.

Был у них и еще один известный всей стране однокашник, чье имя даже попало в новейший лексикон. Он все время работал на высоких должностях, а недавно его назначили послом в столицу одной из дружественных стран. Сейчас он как раз в Будапеште, Шёпкезу удалось

связаться с ним по телефону, и посол обещал приехать. Однако не приехал, как, впрочем, не приезжал и на сорокалетие... Словом, это был единственный, кто отсутствовал по «неуважительной причине».

Старый доктор почти не принимал участия в общем разговоре; голова у него гудела, в висках покалывало, словно иголками, длинный день совсем его вымотал. Потом он отодвинулся от стола и стал рассматривать выпускную фотографию. Их класс первым в гимназии сфотографировался вместе после экзаменов, и Шёпкез на каждую встречу приносил уменьшенную копию.

Напрягая зрение, он разглядывал выцветший снимок; прежде всего ему хотелось разыскать тех, чьих лиц он не мог вспомнить, когда Шёпкез читал список. Но первым увидел себя — почти незнакомого юнца с длинной шеей и оттопыренными ушами, глядевшего в аппарат с неподражаемой самоуверенностью окончившего курс школяра.

При первом взгляде все, даже присутствовавшие, показались ему незнакомыми, только лицо Шикабони-гимназиста, завитого и с пышным галстуком, он помнил совершенно отчетливо, лучше, чем свое собственное. И когда присмотрелся к фотографии, показалось вдруг ему, будто в глубине их юношеских глаз замерли в ожидании и вот эти минувшие пятьдесят лет, и даже нынешние их лица, чуть-чуть вибрирующие сейчас в неоновом свете.

Старый доктор понимал, что это ему лишь чудится, и все-таки странным образом был уверен, что ослабевшими своими глазами — нынешними глазами — он мог бы по любой фотографии гимназистов, даже совсем незнакомых, разглядеть предстоящие им пятьдесят лет...

В завитых волосах Шикабони и его улыбке «amoroso» * он видел сейчас не просто будущего артиста, но именно того артиста, который всю жизнь теснился в самом низу театральных афиш, а выйдя на пенсию, так тщательно прикрывает жалкими остатками волос свой сверкающий череп, словно еще ждет от жизни чего-то. У Лебовича все те же хитрые маленькие глазки, лишь глубже ушедшие в лоснящиеся жирные щеки. Он один прибыл сюда в машине — собственной машине: должно быть, выманил у кого-то, как выманивал в свое время шпаргалки по греческому.

Во взгляде вечного отличника Шёпкеза — характерный для него педантизм; вероятно, он и тогда не желал стать чем-то большим, чем стал в действительности. Да, он добился своего, притом вполне корректно. В родном своем городе он признанное светило адвокатуры, председатель какого-то общества, член совета.

Селепчени — неясный образ. В неподвижной позе, запечатленной фотообъективом, угадывался будущий офицер генерального штаба и в то же время отчетливо виделось восковое мертвенное лицо, измененное болезнью Паркинсона. Но никто не угадал бы в нем того, кем он стал,— ночного сторожа, коммивояжера, торговавшего священными картинками, скупщика зелени, бухгалтера в кооперативе...

А вот и Чордаш... Да, это скала, богатырь!

Такого безусловного сходства с собственной юностью не сохранил никто. А тут с первого же взгляда видишь: он — все тот же и почти не постарел, скорее в настоящую силу вошел за эти полстолетия. На карточке он такой же подросток, как и все, только во взгляде непоколебимое спокойствие. С этим же спокойствием глядит он с другого конца стола и теперь, уже миновав полосу опустошительных жизненных бурь. Широкое костистое лицо, чуть грубоватое в юности, смягчилось, приобрело интеллигентность, но во взгляде осталась прежняя сила. Старый доктор вспомнил, как на спортивных состязаниях Чордаш вразвалочку

---

* Первый любовник *(итал.)*.

подошел однажды к соревнующимся и, без тренировок, без всякого стиля, швырнул металлический диск на полметра дальше рекордного броска. Или другое воспоминание — Чордаш у доски: «Правило я не учил, господин учитель. Знаю и так». И действительно знал, знал все, мелок легко постукивал в его руках по доске, хотя за спиной грозно поблескивал очками старый Штримфли. У Чордаша никогда не было отличного аттестата; высших баллов он добивался только от тех учителей, которые злились на него и старались провалить.

Несведу, бывшего сельского писаря, старый доктор нашел на снимке не сразу. Но, присмотревшись внимательней, узнал: восемнадцатилетний Несведа подобострастно смотрел в аппарат, как позднее смотрел, вероятно, в лица сменявших друг друга начальников — сельских нотариусов и секретарей сельского совета,— переминаясь с ноги на ногу у того конца их стола, где не ставятся кресла. И при этом Несведа, добивавший седьмой десяток, словно помолодел с тех пор, как оставил свое извечное место в почтенной конторе сельского совета. Помолодел в сравнении не с самим собой, восемнадцатилетним, но с теми, в чьих глазах светится с этого юношеского снимка — да и со всякого юношеского снимка — самонадеянное осуждение мира, стремление померяться силами с жизнью.

За столом говорил Несведа. Когда-то он твердо и решительно высказал что-то председателю районного совета, «а уж это такой человек, между прочим, ни в чем не знает удержу... перед ним и секретарь совета пасует...»

— Что ж это вы, товарищ председатель, думаете,— цитировал себя Несведа, уставив свои пьяненькие глазки в сидевшего напротив Шикабони, словно он-то и был тем самым председателем,— что ж вы думаете, товарищ председатель, я семинары не посещал, что ли? Не знаю я, что ли...— И он все говорил, упиваясь тем, что однажды позволил себе о чем-то, перед кем-то резко высказаться. История его относилась к началу пятидесятых годов...

Старый доктор слушал Несведу, и, хотя прекрасно понимал, чего стоит похвальба в устах старого писаря, ему показалось вдруг, что этот согбенный старик — единственный среди них, кто получил от жизни больше, чем надеялся в восемнадцать лет.

Конечно, не считая Чордаша. Но Чордаша нельзя мерять той же меркой, что других: он, возможно, никогда и ни на что не претендовал, однако знал всегда, что мог бы и пожелать, и добиться. Вот и сейчас он не старался как-то показать себя — сидел да помалкивал и со снисходительной улыбкой слушал Несведу. Таким он был и прежде, таким был всегда — как скала. Но знал это лишь тот, кто ударился об него или пожелал вдруг столкнуть его с места.

Старому доктору очень нравился бывший главный инженер.

Несведа уже порядком всем надоел. И тут Шёпкез пустил вокруг стола лист бумаги — традиционный «список присутствующих».

— Послушай, Дежё, мне вдруг вспомнилось,— обратился он к старому доктору.— Ты знаешь Марковича Антала?

— Ну, конечно. Спортсмен?

— Он из твоей деревни, пловец, кажется. Доплавался пловец,— пошутил адвокат.

Шёпкез знал о попытке Марковича к самоубийству, но интересовало его другое — когда он вновь будет трудоспособен.

— Дело это меня не как адвоката интересует, а как члена совета,— добавил он.— Тут приходила ко мне молодая женщина из моего избирательного участка, жена Антала Марковича...

— Разве у него жена есть? — опешил старый доктор.

— Да ведь как сказать... и есть, и нет.

Шёпкез придвинул поближе свободный стул и, провожая глазами пущенный по кругу листок, коротко ознакомил доктора с положением дел: весной прошлого года Антал Маркович женился, осенью оставил жену и перебрался к другой женщине, кажется, недавно получившей развод. Тем временем у первой появился ребенок. Вопрос теперь в том, работает ли где-нибудь Маркович и получает ли зарплату, из которой можно удерживать на содержание ребенка.

Артист был уже пьян. Он запел вдруг хриплым, но сильным голосом:

А из праха из его
куст розовый вырос...

Селепчени, который задремал было и пустил слюну прямо на галстук, встрепенулся и непонимающим, застывшим взглядом уставился на артиста.

Они не стали дожидаться закрытия ресторана. Когда расплачивались, Несведа пожелал вдруг непременно взять все расходы на себя и в конце концов действительно заплатил за артиста. Шикабони осталось только дать официанту на чай.

Прощаясь, уговорились встречаться теперь ежегодно. Втиснулись впятером в машину Лебовича, а Шикабони с крепко подвыпившим писарем пешком двинулись в ночь, куда глаза глядят.

■

Женщина с платиновыми волосами стояла у открытого окна и бросала куриные косточки неистовствовавшему во дворе псу. Вот уже третий год, как она жила с отставным ревизором в маленьком доме на окраине города. Нынче с самого утра она поругалась с начальником, и эта перепалка на целый день вывела ее из равновесия; о случайной встрече в магазине она почти забыла.

Лишь поздно вечером, после ужина, когда ревизор начал жаловаться на желудок и на врача из УСС *, она мысленно вернулась к встрече с доктором. Молча слушая жалобы, женщина с платиновыми волосами вспоминала минувшее, вспоминала его, первого в жизни мужчину.

Стоя у окна и подбрасывая собаке кости, она думала о его жене: «Ну и корова, ну и бабища.. Все бы она на себя напялила, никакого вкуса, мерзость! Уток для нее мужики небось по сто лет откармливают... О-ой, докторша на деревне, ничего не скажешь!.. Нет, такая жизнь не для меня... а ведь докторишка этот в меня влюблен был... да, как он, никто уж не влюблялся... а жаль! Никто так, как он... Безобразный старикан, но зарабатывает, видно, прилично... впрочем, кому это интересно! Пусть судьбу благодарит, что тогда... а мне и за это благодарить не приходится, мне вообще не за что благодарить судьбу. Не за что, не за что...»

Время шло к полуночи.

Вечер выдался тихий. В темных подъездах целовались влюбленные.

Писарь и артист досиделись в какой-то корчме до самого закрытия. Обнявшись, заковыляли они дальше по узенькой улочке.

— Ты для меня... ты ж мой единственный...— бормотал Несведа, и из горла у него вырвалось рыдание.

Он так и прилип к Шикабони, пожелав непременно проводить его до дому — чуть не за город, на заводскую окраину, где артиста приютил какой-то старый его приятель. Расчувствовавшись, они прощались долго, с поцелуями и объятиями.

---

* Управление социального страхования.

А потом престарелый писарь в одиночестве заковылял на станцию, до которой от этого заводского района было добрых шесть километров, лег там в зале ожидания на скамью и спал до утреннего поезда.

3. ВТОРНИК

Старый доктор ночь провел плохо, минувший день слишком возбудил его. Он долго ворочался на незнакомой постели. Часа в три проснулся от мучительной головной боли; в затылке невыносимо пульсировало.

За окном было еще темно.

Доктор включил ночник, посмотрел на часы и принял лекарство. Затем встал с кровати и начал ходить взад-вперед по узкой комнатушке, сразу отметив, что пульсация в затылке смягчилась. Вдобавок ко всему спать пришлось непривычно низко — в гостинице на кроватях было лишь по одной подушке; поразмыслив, доктор вытащил из подзеркальника оба ящичка, положил их под подушку и снова устроился в постели, на этот раз чуть не сидя.

И вдруг у него мелькнула мысль: а может ведь случиться что угодно. Пройдут часы, а то и полдня, пока выломают дверь. У него же будут лишь минуты, считанные минуты — разве их растянешь в часы? Дома-то всегда кто-нибудь рядом, уж сколько лет он не спал один.

Когда-то подобные мысли взволновали бы его до крайности — вероятно, он спустился бы и вступил в разговор с портье, а может, поспешно одевшись, просидел бы оставшуюся часть ночи в холле,— сейчас же он преспокойно размышлял о том, что могло произойти. То есть что могло бы с ним быть, судя по наблюдаемым симптомам и человеческому разумению. Он уже свыкся с мыслью о неизбежном. И не столь уж отдаленном. Сознательно приучал себя к этой мысли, опираясь на медицину. Как часто вера дает больному силы вернуться к жизни! Но ему суждено обходиться без этого наиестественнейшего лекарства, ибо он отчетливо ощущал все симптомы, полностью отдавал себе отчет в собственном состоянии и желал лишь предупредить пресловутый circulus vitiosus *, когда больной организм откликается на то или иное явление возбуждением, а чрезмерное возбуждение лишает его остатков сопротивляемости.

Наконец принятая таблетка оказала свое действие — головная боль унялась, хотя он долго еще, сквозь дремоту, ощущал пульсацию в затылке. Собственно говоря, такое состояние не проходило до самого утра, и он как будто плыл между сном и явью...

За ночь он совсем не отдохнул. Руки и ноги онемели, и каждое движение давалось с трудом, словно заржавели суставы.

Лебович сидел в гостиничном ресторане у окна, выходившего на улицу, и читал утреннюю газету.

— Мир сошел с катушек, а я, злорадствуя, слежу за ним,— проговорил он вместо приветствия, когда старый доктор сел к его столику.— Очень сожалею, но меня политики не проведут. Я перешагнул уже за средний возраст, плевать я хотел на супербомбы и не только на супер, но и на экстрасупер, и на ультрасупер — если, конечно, силенок еще на плевки хватит. Хватит, как думаешь?.. Скажи, Дежё, когда медицинская наука дойдет до такого уровня, чтобы можно было высчитать границы, так сказать, возможной жизнедеятельности организма? Ну, скажем, с десяти-двадцатипроцентной ошибкой?

— Никогда,— бесстрастно ответил старый доктор.— Случайные осложнения учесть невозможно. Самое большее, возможен вероятный

* Порочный круг *(лат.)*.

подсчет, но вероятность недействительна для отдельных случаев. Говорить можно, что называется, о среднем возрасте.

— Признайся, вы все же отстали. Не спорю, несколько частных достижений есть, но в целом медицинская наука в наш век атома плетется где-то в хвосте...

— Не думаю,— убежденно отозвался доктор.— Между прочим, и то, чего она достигла, уже чудо, если принять во внимание историю. С тех пор, как мир стоит, на технику убийства употребляется в сто раз больше средств и энергии, чем на технику исцеления... Пятьдесят граммов салями, маленькую порцию масла, чашку какао,— продолжал он без всякого перехода, повернувшись к официанту, который с минуту уже стоял возле их столика.— И, постойте-ка... двести граммов коньяку.

— Дежё, обманщик, ты же вчера не пил!.. Еще один завтрак! — кивнул он официанту, который только что собрал со стола тарелки от его первой трапезы.

— Считай, что каждый новый день — подарок,— вернулся старый доктор к прежней теме, когда официант отошел от стола.— Капитал ты прожил, теперь остаются проценты. По крайней мере, я так отношусь к этому. Теперь я на пенсии... капитал прожит, поживем немного на проценты.

— Легко тебе говорить! — усмехнулся недовольно Лебович: он-то ведь пенсии не получает, ему нужно работать до последнего вздоха.

Старый доктор задумчиво смотрел в окно, на оживленную городскую улицу. Он думал об отъезде Борбата.

— Я, дружище, ничуть не геройствую. Скорее даже, я трус... да, может, и правда, трус. Но быть мучеником — это не по мне, я, в конце концов, свое дело сделал... и сейчас хочу пожить немножко спокойно, сколько уж выйдет.

— Счастливчик...

В заплывших глазках Лебовича пряталось легкое презрение. Потом он посерьезнел и, как вчера, на гимназическом дворе, начал жаловаться на головокружения, на удушья и непонятную тяжесть в области желудка, что беспокоило его, очевидно, больше всего; осторожно, окольными путями старался он выпытать, каковы симптомы рака и существует ли более или менее определенный признак этой болезни в начальной ее стадии. Впрочем, слова «рак» он избегал, неизменно говорил «carcinoma» и вообще время от времени вставлял в свою речь различные профессионально-медицинские выражения.

Старому доктору было ясно, что рак Лебович себе просто придумал. Поэтому он отвечал очень кратко и обобщенно, а когда официант принес им завтрак, попросту перевел разговор:

— А Чордаш? Спит еще?

Лебович почувствовал, что старый доктор неохотно пускается с ним в профессиональную беседу, и недовольно ответил:

— По-моему, Чордаш улепетнул.

Оказывается, Лебович уже заглянул к портье: ключ Чордаша был сдан.

— Впрочем, Чордаш меня не интересует,— сказал он, презрительно оттопыривая губы, и приступил ко второму завтраку.

За соседними столиками никого не было; посетителей в зале вообще было немного, и обслуживал всех один-единственный официант. Он стоял у стойки и вяло ухаживал за буфетчицей, готовившей кофе.

По улице навстречу друг другу, с виду беспорядочно и бессмысленно, шли бесконечные вереницы людей. Глухо протарахтел трамвай.

Лебович разрезал пополам рогалик и, намазывая масло, спросил:

— А ты не подумывал о том, чтоб уехать?

— То есть? Как это уехать? — взглянул на него старый доктор, хотя сразу понял, куда клонит Лебович.

— То есть?! Да проветриться!

— Куда же я мог бы поехать?

Лебович сложил разрезанный только что рогалик, откусил и с нескрываемым наслаждением захрустел, работая своими искусственными челюстями.

— Хороша рогулька. В Венгрии только утром и можно есть рогульки, потому что к вечеру тебе непременно всучат оставшиеся еще с прошлой недели. Особенно в Пеште. А о праздниках уж и говорить нечего, в праздничные дни в Венгрии вообще рассчитывать нельзя на свежие булочки и тому подобное. В Вене можно, в Париже тоже, и в Монтевидео, и на какой-нибудь ферме в Боливии — только в двухмиллионной венгерской столице нельзя! Видишь ли, Вайсик... не сочти бахвальством, но за последние двадцать лет мне довелось побывать там и сям, свет повидать... а ведь к человеку всегда, где б он ни был, что-нибудь да пристанет...

— Естественно,— кивнул старый доктор, раздумывая про себя, как же это удалось Лебовичу столько поездить по свету. Одно ясно: для него ни линии фронта, ни границы мирного времени — не помеха, он везде отыщет щелочку. Ловкач.

— Словом,— продолжал Лебович,— капитал ты отдал, кому отдал, про то говорить не стоит. Да и проценты туда же приложил, и немалую толику, скажем прямо... ты уже сколько лет трубишь с пенсионного возраста, восемь?.. Но последними-то остатками процентов ты можешь ведь распорядиться по-своему?

— Вот-вот, как раз об этом вчера и зашла речь,— живо отозвался доктор.— Им хочется опять навязать мне участок... Видал, дружище? Ну, уж дудки. Будь спокоен, теперь я сам стану распоряжаться оставшимися процентами. На это у меня ума как-нибудь хватит.

На пухлом лице Лебовича промелькнула тень раздражения.

Он залпом выпил оставшийся в чашке кофе, размял короткими пальцами сигару, заранее положенную рядом с прибором, и закурил.

— Привычка. Одну после завтрака,— пояснил он и поглядел в окно. Крохотные его глазки беспокойно бегали, провожая пешеходов.— Не пойми меня превратно, Дежё, я сказал «проветриться» не в том смысле, что... Сказать по правде, эти восемнадцать лет из последних двадцати я не потому вовсе провел за границей, что там лучше или еще что...— Он вызывающе поглядел старому доктору в глаза.— Здесь мне худо, вот в чем дело.

Старый доктор рассеянно крутил в руках салфетку и не отвечал. «Иностранный подданный,— думал он,— за нами вполне могут и наблюдать». Но никого не было видно за соседними столиками, а те, что сидели поодаль, явно не обращали ни малейшего внимания на двух стариков.

«Да,— снова промелькнуло в голове у доктора,— нынче ведь нет тех строгостей. Впрочем, мне-то что, мне до политики нет дела».

Лебович проследил за взглядом старого доктора и уставился на пожилого мужчину, читавшего газету. И тут же подмигнул доктору одним глазом, отчего его пухлое лицо приняло вдруг язвительно-хитрое выражение.

— И не по политическим причинам,— произнес он. Потом затянулся и быстро выдохнул сигарный дым.— Ты не думай, будто у меня какие-то политические причины... Мне кажется, нет сейчас на земле ни одного сколько-нибудь разумного человека, включая, разумеется, и мыслящих капиталистов, кто не понимал бы, что будущее за социализмом. За социализмом в той или иной его форме... иначе говоря: раньше или

позже люди обобществят капитал и власть. Но — и это уж иной вопрос — на Западе многие ведь так рассчитывают: ладно, пусть мой внук ломает себе голову, что ему делать со своими полисами, а мне пока и с дивидендами неплохо.

Старый доктор покачал головой:

— Я политикой не занимаюсь. По крайней мере, в том смысле, что не обсуждаю ни партий, ни власти... и так далее.

— Да и я тоже. И я... Но, возвращаясь к тому, чтобы проветриться... Я не могу выдержать в Венгрии больше одного-двух месяцев... а в Германии, например, могу оставаться не более одного-двух часов... то есть столько, сколько приходится иногда просидеть в ожидании на аэродроме. К слову, я проехал через всю Францию на машине и направляюсь теперь в Польшу.

— Ну да,— кивнул старый доктор. Он знал, что у Лебовича осталась в живых только младшая сестра, у которой он всегда и останавливается. Да еще племянник есть, живет в Израиле.

— Вот тебе и да.

— Ты не женился с тех пор?

— Нет. Не женился с тех пор.

Они помолчали.

Старый доктор поправил очки и взглянул на часы.

— Да, вот так. Нашему поколению, увы, досталось.

— Увы, досталось,— повторил Лебович, и в голосе его звучало раздражение. Он сердито дымил сигарой.— Скажи, Дежё, тебе никогда ничего не приходит в голову относительно твоих пациентов?

Старый врач пожал плечами.

— Разумеется. Но, видишь ли, вообще-то говоря, крестьяне... вообще говоря...

— Вообще говоря! — перебил его Лебович.— Вообще говоря, конечно, да. Ну, а те крестьяне, которые, вообще говоря, нет? И те... крестьяне или не крестьяне... которые особенно нет? Которые, скажем для примера, в свое время совсем иначе стояли перед тобой, чем сейчас, с жалобами на язву или на колики... Вот что мне, видишь ли, любопытно. Весьма и весьма любопытно, сверх всякой меры.

Его пухлое свежевыбритое лицо залилось краской, сигара, зажатая в пальцах, дрожала.

Старый доктор растерянно молчал. Собственно говоря, он не знал, что ответить; ему тоже знакомо было это чувство, когда-то и в нем воспоминания вздымали бурю. Особенно вначале, после войны.

— Врач... врач есть врач,— проговорил он.

— И врач — человек, Дежё.

— Ну, конечно. Именно поэтому... быть может, именно поэтому...

— Э-эх,— злобно махнул рукой Лебович.— Mistification! * — Он криво усмехнулся и продолжал другим тоном, словно желая суммировать все горькие уроки жизни: — Я думаю, что источник всех бед в нашей плохой памяти. Не пойми превратно, речь не о тебе конкретно... я тоже говорю лишь вообще. Я все больше убеждаюсь в том, что правы-то волки... волки правы, всегда и во все времена. Ведь волки и нажрутся хорошо, и хорошо выспятся... ну, потеснят их немного, на худой конец, но потом они опять хорошенько нажрутся да хорошенько выспятся, а угрызения совести — это уж не их сфера. Зато овцы, те спят худо. То есть, конечно, те, которых не было во вчерашнем меню, которые попадут лишь в завтрашнее. И забывают тоже овцы, такова уж их судьба.

— Да, да, вот так,— рассеянно кивал старый доктор.

---

* Заблуждение *(англ.)*.

Странное дело, то, что он слышал, казалось ему одновременно и правдой, и в то же время вовсе не правдой.

— Овцы, само собой, верят в историческую справедливость,— продолжал Лебович все тем же недовольным, усталым тоном.— Волки же, они не такие идеалисты и верят только в ту правду, какую обеспечивают себе сами. И притом тотчас, немедленно, как только у них заурчит в животе.

«Есть и другие хищники, и другие жертвы»,— хотелось сказать старому доктору. Но он промолчал: еще истолкует неправильно его слова.

За соседний столик сели двое пожилых мужчин. Официант принял у них заказ и подошел к старикам, чтобы убрать со стола.

Лебович и старый доктор помолчали. Лебович затушил сигару и, непривычно задумчивый, вертел пепельницу.

— Ах да, о том, чтобы проветриться,— проговорил он после паузы, не спуская глаз с дымящегося конца сигары.— Вчера... ты сидел вчера за столом в уголке... такой молчаливый... что мне подумалось: а ведь они все чужие тебе. Больше того, Вайсик, я подозреваю, что и в родной-то своей деревне ты тоже чужак. Ну да, свой капитал, да с процентами, ты передал всем этим мужикам, страдающим несварением желудка, и взамен получил парочку-другую каплунов... что ж, я не спорю. И знаешь что? Я вообще не хочу с тобой спорить ни о чем. Либо ты все чувствуешь сам, тогда не о чем и говорить, либо не чувствуешь!.. А этого быть не может, конечно чувствуешь! — Брови у него сошлись над переносьем, и от этого улыбка вышла какая-то странная. Он продолжал задумчиво: — Поглядел я на тебя вчера, и, понимаешь... вспомнился мне вдруг один пансион. Недалеко от Стокгольма, на берегу моря, дивный край, местечко в самом деле восхитительное. Парк, пляж, все, что душе твоей угодно. И живут там двадцать четыре человека, старики... не думай, это не какой-нибудь наш отечественный приют для престарелых, нет, обычные курортники, порядочные люди и с деньгами.., обслуживание по высшему классу...— Он вскинул вдруг указательный палец и заговорил серьезно и дружески: — Дежё, не пойми меня ложно! Ни за какие деньги не стал бы я подбивать тебя на что-либо такое... Но, повторяю, вчера мне почему-то пришло это в голову — я, понимаешь, знаком с владельцем курорта... и... и он жаловался мне... вернее, даже не жаловался, а просто упомянул в разговоре, что охотно предоставил бы полное содержание и жалованье, конечно... у них, понимаешь ли, в пансионе жил некий врач, паралитик, кажется, ну, так он то ли умер, то ли еще что... Ну, и старики эти... ты же знаешь, каковы старики — без семьи месяцами живут, не вспомнят, но без врача...

Ни тот, ни другой не заметили вошедшего Чордаша, пока он не остановился у самого их столика.

— Не помешаю?

— А я думал, ты сбежал. Что ты, конечно, не помешаешь,— быстро отозвался Лебович и отодвинулся вместе со стулом, чтобы освободить место.

■

Скорый отправлялся в полдень, в двенадцать с минутами; старый доктор именно к этому поезду просил вызвать такси. Теперь он не знал, чем заняться. Чордаш выпил два стакана молока и сразу заторопился: он едет с тем же поездом, но хочет успеть еще на металлургический завод, повидаться с приятелем инженером. У Лебовича была назначена деловая встреча в винодельческом госхозе. Его кругосветные путешествия были, так сказать, не совсем увеселительными поездками: бензином его снабжали экспортно-импортные фирмы. Прощаясь, он сказал:

— Подумай, Дежё. Все формальности пансион, разумеется, возьмет на себя. Я буду в Пеште еще две недели.

Вырвав листок из блокнота, он записал на нем три адреса: два своих, в Стокгольме и Будапеште, и третий — того адвоката, который быстро и вполне корректно выполнит «все формальности».

Они обнялись. Лебович взглянул на часы, тяжело плюхнулся за руль и, когда мотор взревел, еще раз дружески помахал в окно.

Старый доктор долго стоял у края тротуара. Он никогда еще не видел моря.

«В конце концов, двадцать четыре человека не так уж много,— думал он.— Притом постоянных, и даже не больных... да, вот это главное: больных, он сказал, пансион не принимает...»

До отхода поезда оставалось еще больше двух часов.

Поразмыслив немного, он подозвал такси и поехал в городскую больницу, чтобы с помощью знакомых коллег провести несколько исследований, которые невозможно проделать одному или без необходимых инструментов.

От анализа крови он отказался, потому что, не подумав об этом с утра, позавтракал. Электрокардиограмма не показала существенных изменений по сравнению с последней проверкой, но исследование глазного дна дало довольно удручающие результаты. Главный врач, естественно, не скрыл от своего коллеги, что прогноз стал хуже, и даже порекомендовал лечь недели на две на стационарное лечение. Однако в тоне врача — и это тотчас же безошибочно уловил старый доктор — не было опасения за его жизнь.

— Отдохнуть тебе нужно, старина, очень нужно отдохнуть,— сказал главный врач. Это был худощавый и совершенно седой человек, давно уж за семьдесят, со степенными неторопливыми движениями. По голосу его угадывалось, что ночи он проводит куда спокойнее своего коллеги.

— Ну что ж, высмотрю себе местечко... где-нибудь на берегу моря,— дружески подмигнул старый доктор. Но когда произносил «высмотрю себе местечко», без всякой причины, так как действительно не думал сейчас ни о чем грустном, проявилась из глубины воспоминаний давешняя воскресная картина: он стоит на кладбище вместе с аптекарем и разглядывает новый участок.

— Прекрасная идея, старина, море великолепно успокаивает. Так говорят,— откликнулся главный врач с серьезной миной, с какой люди обычно поддерживают чью-то шутку.

На станцию старый доктор пришел рано. Он заглянул в зал ожидания, в вокзальный ресторан, но Чордаша нигде не было. Скучая, доктор прогуливался вдоль увешанной плакатами и фотографиями стены, и вдруг один плакат, реклама какого-то курорта — загорелая женщина перед прыжком в воду,— напомнил ему молодого Марковича.

«Теперь я просто обязан поговорить с Йоли,— решил он.— Поговорю с глазу на глаз и тактично расскажу ей. Видите ли, Йолика... эх, никаких «видите ли, Йолика», глупости это! Ну, что я могу сказать ей с глазу на глаз? Видите ли, Йолика, этот Маркович такой и разэдакий... Но с какой стати заговорю я с ней об этом?.. Лучше при Пишколти, когда и она будет сидеть с ними вечерком...» — И он надолго ушел в мысли о том, как рассказать Йолике про услышанное от Шёпкеза.

При этом он начисто забыл и о море, и о пансионе. Разглядывая голубые волны на плакате, он думал о мускулистой груди Марковича, о чете Пишколти, о маленькой учительнице, которая прохаживается между партами, или напевает тихонько, или сидит, погрузившись в мечты, в своей комнатушке и не подозревает даже, какие удары готовит ей жизнь... Так смотрел он на волны и совсем не думал о море.

Потом взгляд его упал на плакат «Ибуса»*, и вдруг вспомнилось море, вспомнилось так неожиданно и внезапно, как вспоминаешь утром, что накануне произошло важное и исключительное событие, которое повлияет на всю твою жизнь.

«Готов поклясться, хозяин пансиона сам Бови»,— подумал он.

Лебовича с самого начала, еще с первого класса, все прозвали «Бови» — запомнив словечко из латинской пословицы **,— и это прозвище со временем так пристало к нему, что даже старый Штримфли бессознательно выделял эти два слога, вызывая его к доске: «Лебови-ч!»

■

Оказалось, Чордаш приехал на станцию еще раньше. Он привез на такси два мешка селитры и все это время скитался по бесконечным лабиринтам вокзального здания — взвешивал и оформлял багаж.

Встретились они в последний момент, когда поезд уже подходил к перрону.

Пассажиров в дневном скором было немного, нашлось даже свободное купе. К ним заглянула молодая, очень хорошенькая женщина и прошла мимо.

Чордаш легко забросил в багажник свой чемодан и, когда женщина прошла, задвинул дверь.

— К сожалению, она права,— качнул он головой в сторону коридора и, сев у окна, напротив старого доктора, продолжал тем же тоном: — В Пеште селитры нипочем не достать, я уж полтора года за ней охочусь, и все попусту. Очевидно, министерство сельского хозяйства ведет классовую борьбу против частных собственников вроде меня.

— Ой-ой,— покачал головой старый доктор.— Номенклатурному деятелю, вроде тебя, не положено так разговаривать.

— Говоришь в шутку, а думаешь всерьез,— улыбнулся главный инженер.— А ну-ка, признайся, Дежё, ты ведь в свои слова другой смысл вкладываешь: а я не номенклатурный, мне уж сам бог молчать велел.

Старый доктор тихонько посмеивался. Ему всегда по душе был прямой, открытый нрав Чордаша — таким он был и в гимназии.

— Не люблю я политику,— проговорил он наконец.

Поезд тронулся. Чордаш смотрел в окно и рассуждал вслух:

— Вероятно, я тоже не люблю такого рода политику. Люди гораздо больше похожи друг на друга, чем думают... Послушай, Дежё,— спросил он неожиданно, и его лохматые, с проседью брови сошлись,— сельскому врачу лучше сейчас или раньше было лучше? Только откровенно.

Старый доктор хмыкнул.

— Что до меня... раньше я молодой был и здоровый...

— Я ведь про то, что сам знаю, не спрашиваю,— продолжал Чордаш, будто не слышал.— Но вот врач... тут есть о чем поразмыслить. Раньше, скажем, на тебя приходилось тридцать-сорок членов страховой кассы, сейчас — две тысячи.

— Сейчас ни одного. Но в прошлом месяце было три тысячи сто пятьдесят. Конечно, с членами семей.

— Работы намного больше. Ну, а оплата?

Старый доктор вдруг рассердился и недовольно буркнул:

— На жизнь хватало. И хватает.

— Говорят, врачи много зарабатывают.

— Я мог бы много зарабатывать.— Он смотрел в окно, на мелькавшие за деревьями зеленые склоны холмов.— Да, можно бы, конечно,

---

* Венгерское акционерное общество иностранного туризма (сокращенно JBUSZ).

** Очевидно, имеется в виду известная латинская пословица «Quod licet Jovi, non licet bovi» («Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»).

и полегче жить. Но только если себя не слишком уважать. По-моему, за определенной границей важен вовсе не заработок, а общее самоощущение человека.

— Вот-вот, мы и добрались до главного.— Упершись ладонями в сиденье, главный инженер весь подался вперед и ждал, глядя в упор на старого доктора.

И тот почему-то вдруг понял, что все эти расспросы вполне естественны в устах Чордаша, это тоже в его манере.

— Мое самоощущение начинается с того, что я живу,— ответил он, подумав.

— Со временем это обычно забывается,— сказал Чордаш. Опершись руками о сиденье, он слегка раскачивался в такт движению поезда.— В те времена не слишком докучали тебе? Ценили?

— Что же... врач есть врач.

Чордаш перестал раскачиваться и рассмеялся.

— Ты хочешь сказать, что в твоей деревне нет властей, которые сами не страшились бы смерти? — Он оживился, глаза его весело заблестели; по-настоящему он только сейчас вошел во вкус этого разговора.— А ведь ты абсолютно прав, когда говоришь, что самоощущение... Конечно, без материальной обеспеченности хорошее самоощущение редкость, но сама по себе материальная обеспеченность еще не есть хорошее самоощущение. Поразительно, как многие этого не понимают. Не понимают, что лучше было в сорок пятом, голодному и оборванному, мерзнуть на крыше товарняка, чем в сорок первом или... или в пятьдесят первом, увы... не пойми меня неправильно, я говорю лишь о самоощущении человека, который сытно поел в собственной квартире, а потом в шелковой пижаме и домашних туфлях открывает дверь на неожиданный звонок...

Старый доктор хотел что-то сказать, но Чордаш продолжал говорить горячо и взволнованно:

— И неверно это, что к семидесяти нет уже у человека общественного самосознания, одно только кровяное давление. Напротив! Молодому зачастую довольно ощущения, что он молод, и вся жизнь у него впереди,— само это чувство подчас заменяет ему все. Но старым отставникам, вроде нас, жизнь становится в тягость, если нет хорошего самочувствия — сознания, что мы выполнили то, чего требовала от нас родина... И теперь оставляем линию фронта на тех, кто идет за нами.

— Да-да.. долг свой погасили... ту часть его, что приходилась на нас...

Старый доктор узнал в словах Чордаша свои мысли, но в следующую же секунду понял, что во взглядах их где-то существует какое-то различие, и это смутило, сбило его.

— Не только долг,— подчеркнул главный инженер.— Мы больше отдали.

— Ты в этом уверен? — спросил после некоторого молчания старый доктор.— Не сердись, я просто так интересуюсь, l'art pour l'art *. Уверен ты в этом?

— Уверен. Относительно себя уверен.

Старый доктор молчал. Смутно возникло в воображении далекое и чужое побережье — любопытно, что бы сказал на это Чордаш?

«Конечно, он подошел бы к этому с точки зрения партии,— подумал он.— Социализм, капитализм, империализм и, почем я знаю, что еще».

— Оставим ложную скромность, Дежё,— продолжал бывший главный инженер.— Мы не словами играли, как писатели или политики, у

---

* Здесь. просто ради искусства *(франц.)*.

них-то могут быть угрызения совести, потому что... сознаемся, немало вздору их руками написано, их языками намолото. Я их добрых побуждений не оспариваю, но не добрые побуждения идут в счет, а сила воздействия их слов... кто подсчитает, чего принесли они больше — добра или зла... Но, повторяю, наше оружие — не слова, а логарифмическая линейка или шприц для инъекций. Я проектировал мосты... не знаю сколько, но много... и мосты эти стоят, и это тебе не красивые слова. А ты впихивал обратно душу в своих чахоточных мужиков... может, кто-то из них потом и убивать пошел, но за это уже не ты отвечаешь...

У старого доктора взбежали по лбу морщины.

— Чем ты занимался до сорок пятого?

— Хитрый вопрос! — прищурился главный инженер.

Старый доктор недоумевал — какая здесь хитрость? Он задал вопрос без какой-либо задней мысли.

— И до сорок пятого мосты проектировал,— сказал Чордаш и вдруг стал серьезным, задумался.— Да, ты прав, конечно, инженеры и газовые камеры проектировали. С логарифмической линейкой. И, вероятно, советовались со специалистами-медиками. Более того... сознаемся, мои мосты тоже ведь не столь уж невинная штука. В свое время я крепко этим мучился и даже пытался... пытался возместить тот ущерб, который причинили мои мосты. Клянусь, дурного намерения тут не было, мосты эти только тем причиняли ущерб, что терпеливо переносили на себе и танки, и эвакуирующиеся военные эшелоны.— И он добавил по видимости равнодушно: — Иногда приходится строить мосты, а иногда — взрывать их.

Оба замолчали; глаза их были устремлены в окно.

Последние слова будто оглушили старого доктора. Ему противно было насилие всякого рода, даже законное и осмысленное — собственно говоря, даже насилие во имя спасения жизни. Необходимость держать ребенка, чтобы сделать ему инъекцию, совершенно выбивала его из колеи, так что у него после этого дрожали руки. К шприцу он прибегал лишь в случаях крайней необходимости.

«Я тоже возводил мосты и раньше, и теперь, но мне не нужно было взрывать их»,— подумал он, и какое-то необъяснимое чувство охватило его при этом.

Он завершил свой трудовой путь — как ни посмотри, уже завершил его,— но никогда не приходило ему в голову, ни разу за все долгие годы, за десятилетия, и, вероятно, не пришло бы до конца дней, если бы слова Чордаша не повернули его мысли по этому руслу,— нет, никогда не приходило ему в голову взглянуть на свое призвание с этой своеобразной точки зрения.

Конечно, о красоте и значении врачебного призвания много говорилось еще в университете — профессора твердили об этом до одурения,— однако, с этой точки зрения, насколько ему помнится, вопрос не рассматривался ими никогда. Крестьянин, засучив рукава, сражался с природой, чтобы прокормить себя и свою семью, но вынужден был — волей-неволей — кормить и графов своих, и охранников, и того самого генерала, который в свое время отобрал и послал в братскую могилу его сына вместе с полумиллионом других таких же сыновей. Шахтер добывал уголь, рабочий плавил металл, а его товарищ отливал из него пули — и гремели залпы! Инженер возводил крепкие мосты, чтобы по ним могли перейти через реку танки, наборщик подбирал одну к другой многотерпеливые буквы, учитель вдалбливал в головы ложь, священник молился за победу сил ада. При дурном режиме каждый несет на себе хоть малую, но вину, и чем лучше выполняет человек свою работу, тем больше его ответственность, ибо тем больше цепей, веревок и пуль придется на долю его ближних. Дурной режим впутывает всех, всех покры-

вает грязью, даже самых заклятых своих врагов, только бы представился случай: ведь призывала же нилашистская* примадонна своих слушателей к тому, что стало гибелью нации, декламируя стихи Петёфи, которые были написаны им, чтобы пробудить, поднять родной народ на борьбу за свободу!

Но что делал и что делает врач, особенно если это ничем не примечательный, обыкновенный сельский доктор? Он лечит людей, а если среди них попадаются и негодяи, то за их действия не он в ответе.

«Вот уж никогда не пришло бы мне все это в голову,— думал старый доктор.— И ведь так оно выходит, что не будь я врачом, мне все равно не пришло бы в голову, что... не пришло бы в голову...»

— Сейчас бы хорошо небольшой дождичек...— проговорил бывший главный инженер.

Над горами собирались тяжелые темные тучи.

Он стал рассказывать о своем саде — сад у него восемьсот квадратных саженей,— о яблонях, виноградной беседке, о розах, которые он вывел и которые цветут с весны до осени. Чего только у него там нет: и клубника, и картошка, и помидоры, перец, зелень всякая — и все не какое-нибудь, а особых сортов; он о каждом растении дневник ведет, испытывает новые методы... Скоро начнутся летние каникулы, приедут внуки. Внуков у него семь — «пока семь»,— каждый только и мечтает о дедушкином саде. Конечно, возни с ними хоть отбавляй, того и гляди, набедокурят, сломают что-нибудь, ну да ведь внукам уж так и положено.

— Ты давно на пенсии? — спросил старый доктор.

Ему не очень хотелось сейчас слушать рассказы о внуках: у него самого внуков не будет... никогда.

— Вот уже три года.

— Сам попросился?

— С общего согласия,— кивнул Чордаш.

Старый доктор задумался.

— Все-таки это слишком большая расточительность. Ты здоров, силы, энергии, жизнелюбия у тебя, как у молодого, а уж опыта — во сто крат больше. Сказать по совести, я даже не понимаю, как это ты, который... который и в политике, что ли, силен...

— Ну и что же...— пожал плечами инженер. Но в глазах у него таилось что-то еще.— Видишь ли, Дежё, те, кто приходит после нас, тоже понимают дело. А если и не все понимают, то научатся. В определенном возрасте человек начинает сознавать, что у него уже недостанет времени, чтобы перевернуть мир,— к тому же судьбу человечества и невозможно разрешить наперед. Ну, а кому все же хочется пережить самого себя... что же, есть ведь на то внуки и сады.

Он помолчал, а потом добавил как бы между прочим:

— А вообще ты ошибаешься... тот, кому есть дело до политики, быстрей вступает в противоречия, скажем, с другими, тоже политиками...

Впрочем, он, конечно, только от штатной работы отказался. А так, в комиссиях разных состоит, ходит туда, советует, ну, а потом уж домой спешит, к своему саду и внукам.

На следующей станции старому доктору нужно было выходить. Он стал собираться, надел пальто.

— Ну, прощай, Фери.

— Всего доброго,— протянул ему руку бывший инженер и добавил, напряженно улыбаясь:— Надеюсь, на будущий год приедешь.

— И я надеюсь,— не без горечи ответил старый доктор.

И опять вспомнилось море — ведь тогда он не сможет приехать на

---

* Нилашисты — члены венгерской фашистской партии «Скрещенные стрелы».

будущий год,— и захотелось вдруг рассказать все Чордашу, спросить его мнение. Но теперь не оставалось времени даже обдумать это: поезд замедлял ход, колеса застучали на стрелке.

Перед вокзалом уже поджидало такси. Доктор сел в машину, но вдруг из окна второго этажа его окликнул начальник станции:

— Дядя Дежё!

Оказалось, у него заболела дочка, простыла на сквозняке, и теперь родители боялись воспаления легких. Старый доктор осмотрел девочку — у нее была ангина.

Домой он приехал уже после трех. И сразу лег, отказавшись от обеда. Поездка очень его утомила.

■

Борбат, молодой доктор, в этот день навсегда покидал деревню.

Такси он вызвал пораньше, чтобы загодя уехать на станцию. В два больших чемодана уместились все его вещи: знал, видно, когда собирался, что не на годы сюда едет. Перед домом старого доктора он остановил такси и зашел попрощаться.

Высокий смуглый молодой человек крепкого сложения, Борбат был хорош собой и одевался со вкусом. Он произвел в деревне благоприятное впечатление свеженькими познаниями и необычайной обходительностью.

— Какая жалость, что я не могу попрощаться с дядей Дежё,— сказал он старой докторше, зайдя в дом,— но ради бога не будите его, ни в коем случае!

Приехав в деревню, молодой врач быстро завоевал симпатию и у докторши, однако сейчас его любезность только раздражала ее.

— Простите, молодой человек, а как же участок?.. Что будет с участком?

Доктор Борбат был явно удивлен. Насколько ему известно, все улажено, сегодня в полдень он даже прикрепил на двери амбулатории объявление: «В среду утренний прием ведет д-р Дежё Вайс». Когда решался вопрос о заграничной стипендии, ему очень помогло — хотя вся процедура проходила без осложнений,— что есть на кого оставить участок.

— Ведь это временно, не так ли,— неуверенно пожал он плечами.

— Муж сказал определенно, что участок не возьмет, даже временно.

— Ну, они там придумают что-нибудь, это же ясно,— пробормотал молодой врач и откланялся.

■

К вечеру того же дня молодая учительница пошла проведать девочку, которая в понедельник не была в школе. Девочка жила по соседству с Марковичем, и на обратном пути учительница увидела его: развалившись на веранде, он барабанил пальцами по стулу.

Йоли остановилась и крикнула через ограду:

— Я вижу, у вас хорошее настроение!

Маркович протянул руку к подоконнику и приглушил радио.

— Глядите-ка... Каким это ветром вас сюда занесло?

По лицу его, правда, было заметно, что он никак не может сообразить, откуда знает девушку. Впрочем, уже начинало темнеть, да и вообще день был пасмурный. Он поднялся со своей кушетки и подошел к палисаднику.

— Ну, конечно, вы меня не узнаете! — укоризненно покачала головой Йоли.

Маркович в самом деле не узнал ее даже теперь, вблизи, но не признался в этом. И только по ходу разговора сообразил, что познакомился

с ней в городе, когда учился там, и даже раза два проводил ее домой. Они еще целовались у нее в подъезде...

Молодые люди постояли у палисадника, поговорили, но недолго, потому что начался дождь.

■

Едва уехал Борбат, как к старому доктору — он еще спал — наведались трое. С эчерской фермы прикатил на мотоцикле парень — ему было наказано привезти к больному молодого доктора. И с нижнего конца деревни прислали — там уже много месяцев хворала старушка, но сегодня ее состояние вдруг резко ухудшилось.

Да опять забегала девчонка Тёрёков.

Дверь в дом была заперта, Маришка не хотела открывать ее, так и вела переговоры через железную решетку: господин доктор хворает, и вообще амбулаторного приема не ведет, пусть привезут врача из какой-нибудь другой деревни. А вспыхивающей то и дело Жуже Тёрёк шепнула, чтоб являлась завтра: она, Маришка, уже все уладила с господином доктором, и он осмотрит Жужу, а волноваться нечего, не такая еще у нее хворь, чтобы срочные меры принимать.

■

Часов в семь вечера старый доктор проснулся, но еще довольно долго лежал не вставая, вновь обдумывая пережитое за день.

«Да, они совсем другие люди, просто не верится, откуда столько энергии, воли к жизни...» — размышлял он, незаметно для себя слив воедино Лебовича и Чордаша. Он полностью отдавал себе отчет, сколь слаба, по сравнению с ними, его воля, как мало у него веры в себя, выдержки, предприимчивости.

«В конечном счете... не нужно себя убаюкивать, сам человек, как таковой, еще ничего не значит. Я вот так и остался Вайсик, маленький Вайс... Так оно и есть, Вайсик, и никак иначе...»

Один подвижный, словно вьюн, другой непоколебимый, как скала... «Но что поделаешь, существуем и мы, те, кому досталось поменьше... да и нас скоро уже не будет».

Еще годика три-четыре от силы... И тут же — короткой вспышкой: «Да, но бесцельных, а следовательно, бессмысленных. Для умирания — много, для жизни — мало».

О море и пансионе он, пожалуй, жене пока не скажет. По крайней мере сегодня: слишком много у него нынче переживаний, трудно все переварить.

Он решил прогуляться немного, наведаться, может быть, к Пишколти. Но за окном вдруг полило из желоба — начался дождь.

Доктор не стал одеваться, просто накинул домашнюю куртку. И уже взялся было за дверную ручку — в соседней комнате обе женщины смотрели телевизор,— как вдруг заметил на столе книгу. За всю дорогу он так и не раскрыл роман. А Маришка, видно, вынула его из портфеля.

Он не пошел в другую комнату и, удобно устроившись в кресле, погрузился в чтение.

4. СРЕДА

Старый доктор лежал в постели с открытыми глазами, раздраженно прислушиваясь к пастушескому рожку. Жена еще спала. На дворе было пасмурно, накрапывал дождь.

Работать он не станет. Ни за что.

Нужно вызвать по телефону область, и как можно скорее. Вполне возможно, что распоряжение уже отдано и только застряло где-то по дороге.

Но и до тех пор он ни за что — уж если только что-нибудь опасное для жизни... ну, да это ведь само собой разумеется.

■

Занималось скучное, дремотное утро. Над деревней, от горизонта до горизонта, опрокинулось низкое серое небо. Но крестьяне радовались дождю и, выгоняя на звук рожка свиней, весело перекликались, желая друг другу доброго утра.

Пишколти еще крепко спали.

Маленькая учительница встрепенулась и, сразу все вспомнив, не могла уже больше заснуть.

«Я знала это, знала,— думала она.— Ой, очень, очень-преочень... ужасно! И только сейчас... Бедненький мой... и неправда все, верно?.. Все-все неправда, только... только... бедненький мой! И я все равно... ни за что... ты только не бойся ничего... нет, нет, нет... Ах, ну очень-преочень...»

Мысли ее проносились бессвязно, не успевая оформиться в разумное целое... и тут же поглощал их бесследно в бешеном своем кручении все сметающий на пути и неизъяснимо сладостный вихрь.

Густо замычала корова, звякнуло ведро, загудел вдали колокол — деревенский день начался.

С кооперативной усадьбы, завывая и утробно урча, выехал грузовик. В прицепе, тесно прижавшись друг к другу, сидели на скамьях люди и громко переговаривались. Грузовик прогромыхал по Главной улице, свернул раз, другой и через Градский переулок укатил в поле.

Промчавшийся под окнами грузовик разбудил Антала Марковича. Сердито поморгав, он взглянул на часы. Просто так, по привычке. Потом повернулся к стене и опять заснул.

На могиле бывшего почтмейстера комки мокрой глинистой земли прибили цветы на венках и даже жестяные лавровые листья. Разноцветные ленты приникли к могильному холму, позолоченные буквы на них постепенно смывались.

По краю неба пролегла светлая полоска; она медленно ширилась, росла.

Около шести из докторского дома вышла Маришка с пустыми ведрами и направилась к артезианскому колодцу. Лишь на обратном пути заметила она на амбулаторной двери — амбулатория была рядом с домом доктора — объявление, приколотое кнопками. Она сняла его, сложила вчетверо и сунула в карман фартука, чтобы показать хозяйке.

В половине седьмого пришла уборщица, открыла амбулаторию, положила перед дверью железную решетку и бросила старый мешок на каменные плитки комнаты ожидания — очень уж грязно было на дворе.

Затем появился первый пациент — паренек в берете, с перевязанной рукой,— и скоро все скамейки были заняты больными.

■

Выпив чашку какао, старый доктор вошел к плачущей жене. Настроение у него тоже было прескверное; повесив голову, он ходил взад-вперед по комнате и устало бубнил:

— Послушай, Эмми, давай договоримся... я ведь тоже не враг себе. И нет у меня никакого желания свалиться прежде времени. Опыта же у меня достаточно, чтобы отдать себе отчет в собственном состоянии.

В мои годы... и в моем положении... каждый день — это подарок, каждый день, когда человек своими силами подымается и по своей же воле ложится. Было бы просто безответственно и по отношению к себе... и по отношению к тебе не думать о границах возможной для меня деятельности и продолжать хищнически транжирить остатки сил и здоровья...

Стало быть, об этом мы договорились. Однако мне хотелось бы также, чтобы ты признала очевидное: я в трудном положении. Из двух зол мне приходится выбирать меньшее. Неужели ты думаешь, что я, когда в амбулатории полно больных или, ну, я не знаю... где-нибудь на соседней улице кто-то умирает,— что я преспокойно усядусь в шезлонг и буду скучать потихоньку, или, скажем, читать любовный роман, или пойду гулять, а не то засяду в шахматы с аптекарем?!

Согласен, мне вредно волноваться, вредны суета, гонка, ежедневные посещения больных — словом, все то, что неизбежно связано с работой. Согласен. И не отрицаю. Ни единым словом не возражаю. Но ты не думаешь о другом — о том, насколько тяжелее для нервов, насколько и физически, и психологически, и вообще больше выматывает сознание, что... что...

Словом, не нервируй меня еще и ты, Эмми. По крайней мере, ты-то могла бы не нервировать меня...

Я, видишь ли, не сентиментален. Я вполне отдаю себе отчет в том, что в настоящий момент работать вместо меня некому... ну, хорошо, хорошо, просто некому работать — и все. Больные страдают, мучаются и не ведают, как им избавиться от своих мук... мне их жаль. Теперь допустим, что я решил не открывать приема,— откуда они узнают, как им быть?.. Ну, хорошо, хорошо, я ведь еще не взялся... Но вполне возможно, что мне достаточно сказать одно лишь слово, сделать один только росчерк пера — и они уже избавлены от страданий... Весь вопрос только в том, произнесу ли я это слово, напишу ли этот рецепт или потащусь к аптекарю играть в шахматы... Ну что, идти к аптекарю? Хорошо, допустим, пошел. Ну? Что же получится в этом случае? Что получится, если я, скажем, развалюсь в шезлонге — просто так, поскучать? Ты думаешь, мне будет так уж хорошо?.. Ну, всем другим пусть плохо, но мне, мне-то, по крайней мере... так ли уж спокойно будет у меня на душе?..

Признай же, Эмми, что мне в сто раз легче... для моего собственного здоровья лучше... сидеть в амбулатории, чем здесь валяться в шезлонге...

И речь сейчас не о том, что легче, а что тяжелее. Речь о том, что для меня... для меня лично влечет за собой большее волнение, нервное напряжение, следовательно, опасность для жизни: если я напишу этот рецепт — или если не напишу его, хотя мог бы написать. Ведь речь идет в первую очередь о моем здоровье, а не о здоровье кого-то другого. Ты, вероятно, неправильно меня поняла... не думай, у меня и в мыслях нет геройствовать или там жертвовать собой. Я прекрасно помню, что, когда мы попали в беду, эти самые больные или отцы их пальцем не шевельнули, чтобы помочь нам,— напротив!.. Конечно, честь и слава тем, кто составлял исключение. Но редкое, очень редкое исключение...

Я прекрасно все помню... и... и довольно вам напоминать мне об этом, вот что... И будь добра передать это Маришке, да-с! И нечего мне твердить без конца, что такие-то и такие-то все розетки из стен вывернули, а такой-то наш пол растащил да свинарник себе сделал... этот одно говорил про меня, тот — другое... как человеку, мне было очень тяжело, после стольких лет работы, целой жизни, можно сказать... Как человеку, слышишь? Но как врачу... как врачу мне нет до этого дела! Кто и как повел себя тогда — вопрос характера... души... а болезни

души ко мне не относятся, мое дело — недуги тела. И я очень был бы обязан также и Маришке, если бы она наконец соизволила принять это к сведению. А я даже семейству Морэ не намерен прописывать цианистый калий вместо кальмопирина!..

Поверь, Эмми, ты раздула все дело из сущих пустяков. Я сказал, что это временно. Кажется, ясно выразился. Речь, по всей вероятности, об одном-двух днях, может, даже только об одном. И я сейчас же вызываю область... Не волнуйся, я уж не проговорюсь!.. Официально я участок не принимаю, о сегодняшнем не обмолвлюсь ни словечком, официально я весь день с утра до вечера валяюсь в шезлонге. А им просто сообщу, что больные остались без врача и каждая минута — на их ответственности.

Простите, скажу я им, но так продолжаться не может. Кто из моих пациентов отдал бы мне хоть один день жизни, чтоб я прожил еще десять лет? Всем своя жизнь дорога... словом, извините, но мне моя жизнь тоже дорога.

■

— Я заранее все тебе говорила, слово в слово... Помнишь, Маришка, что я вчера говорила?.. Ну вот, пожалуйста...

Старая докторша сидела на скамейке, опираясь на кухонный шкафчик, и тихонько всхлипывала. Со вчерашнего дня, с той самой минуты, как уехал Борбат, она непрерывно принимала успокоительное; лицо ее распухло, глаза покраснели.

— Хорош, нечего сказать, наш господин доктор,— вздохнула Маришка, ловко перетирая вымытую посуду.— Сами изволили слышать, еще и на меня сердится... да стоит ли после этого разговаривать с ним?

Стоя под дверью, Маришка слышала каждое слово доктора и не скрывала этого от своей хозяйки. В определенные минуты жизни обе женщины были всегда заодно, как никогда не могут быть заодно муж и жена — это случалось всякий раз, когда старая докторша считала за благо вступить с Маришкой в заговор против мужа во имя истинных его интересов.

Вот и вчера, осуществляя такой заговор, Маришка стойко охраняла доктора от посетителей.

— Видит бог, кое-кто заслуживал бы...— кивала самой себе Маришка.— Уж я-то лучше всех знаю, такое знаю, что...

Она не договорила, только рукой махнула. Маришка все еще злилась на деревню, не за себя, конечно, а за своего хозяина. А он — поди ж ты! — однажды назвал ее за это «сектанткой», глубоко тем обидев: Маришка решила, что нанесли обиду ее вере — она была католичка.

Маришка, плотно сбитая подвижная особа, сама уж не первой молодости, находилась где-то на полпути от пятидесяти к шестидесяти годам. По ее лицу от виска до самой шеи тянулся широкий рубец — когда-то, еще молоденькой девушкой, она опрокинула на себя кипящий сливовый джем. Вылечившись, она стала захаживать к докторше на кухню, помогать: семья у Маришки была бедная и не могла бы иначе отблагодарить за лечение; когда у доктора появились дети, Маришку взяли няней — и с той поры она не покидала уже этот дом, став со временем как бы членом семьи.

— Ох-ох-хо-хо... да стоит ли ради поганцев этаких хоть шаг ступить!..— ворчала Маришка, гремя посудой.— Не хотела я рассказывать, чего уж, думаю, хозяйку расстраивать... Фертик-то наш, доктор молодой, не успел еще толком и физиономию свою парикмахерскую на селе показать, а уж эта дуреха, жена начальника лесопилки, раскудахталась: вот уж, мол, доктор так доктор, ученого человека сразу видно.

он, дескать, и мужу моему вмиг объявил: у вас, говорит, язва... Оно, конечно, дочка ихняя такая барышня, прямо не подступись... даром, что ли, чужим добром пользуются, карманы набивают... да, ничего не скажешь, лихо придумала!.. А теперь пускай посылает ему вдогонку свою замухрышку-дочку да муженька с его язвой знаменитой! А сюда пусть и носу не кажет, потому как я ей прямо в глаза плюну! — И с тем же пылом, хотя и другим уже тоном, спросила: — А обед-то как же теперь? К какому часу готовить?

Старая докторша, сидя на скамеечке, беспомощно всхлипывала.

— Не знаю я ничего,— проговорила она.— Думаю, Ади днем приедет. А то и вовсе к вечеру.

— А вдруг пораньше припожалует?

— Делай, Маришка, как знаешь,— вздохнула докторша и, опершись на шкафчик, тяжело поднялась со скамейки.— А я уж пойду...

Она привела себя в порядок и пошла в амбулаторию — ассистировать. Последние годы она всегда сама выписывала больным рецепты, а перевязки делала ловчей мужа.

■

Старый доктор вызвал по телефону областной отдел здравоохранения, но работника, от которого зависело решение по его делу, на месте не оказалось. Доктору пришлось высказать все свои претензии какой-то секретарше и попросить ее непременно позвонить, когда судьба участка как-то решится.

Только к одиннадцати часам прием подошел к концу.

Последней в кабинет вошла толстая крестьянка, по-праздничному наряженная в черное. Она волновалась, мяла в руках носовой платок и тревожно перебегала глазами с одного инструмента на другой.

— А, это вы, Чохань! До каких же пор толстеть собираетесь, хозяюшка?

— Богом клянусь, господин доктор, почти ведь и не ем ничего, словно птичка небесная,— запричитала толстуха.— Бывает, конечно, потянет на что-нибудь этакое, тогда уж, конечно, не удержишься... да ведь, говорят, господин доктор, ежели очень чего захочется, так оно повредить не может...

Доктор неодобрительно покачал головой и поглядел на жену.

В начале сороковых годов произошла с этой Чохань памятная история. Ее муж батрачил в имении, когда же его призвали, она стала работать вместо него. И тут ей переехала ногу груженая телега — всю стопу раздробила. Бедняга свалилась в самую страду, управляющий отказал ей от места. Прошло немало времени, является она к доктору — уже на своих ногах — и жалуется, что осталась калекой с тремя детьми на руках,— как прожить на одно пособие за мужа! Тогда он написал ей справку о проведенном лечении и добавил от себя: «Поскольку несчастный случай произошел во время работы, считаю справедливым, чтобы имение со своей стороны...» и так далее. Управляющий бумагу прочитал и написал на обороте: «Советую доктору Вайсу в чужие дела носа не совать, у доктора Вайса никакого права на это нет, а главное — пусть доктор Вайс поостережется народ бунтовать!» Это троекратное «доктор Вайс» звучало очень многозначительно в те времена...

— Ох, господин доктор, беда моя пришла, прямо ума не приложу, с чего это меня так схватило, — заговорила толстуха. Она проковыляла к стулу, церемонно уселась и, немного успокоившись, продолжала: — Так, бывает, стрельнет в голове... гляньте-ка, вот здесь примерно...— она неуверенно повела рукой вокруг затылка.— Просто не знаешь, куда деваться, особливо утром, прямо можно сказать, что каждое божье утро...

— Спасибо, Эмми, я уже кончаю.— Старый доктор взял у жены из рук бланк для рецепта.— Поди домой да позвони оттуда на почту, скажи, чтобы переключали на квартиру, если из области позвонят.

Толстуха посмотрела на них и продолжала неуверенно:

— И еще, господин доктор, одышка мучит. Чуть что — и задыхаюсь... Особливо, как от реки подымаюсь... по правде сказать, и сюда-то с грехом пополам добралась, два раза останавливалась, отдыхала... кто ж это видел когда, чтобы я да отдыхала?..

Поняв, что ее не слушают, она умолкла.

Старый доктор смотрел на жену. В нем накипало раздражение — жена и не собиралась уходить. Теперь вот она начала прибирать в шкафу, неторопливо перекладывая с места на место инструменты и медикаменты.

Заметив, что пациентка умолкла, старый доктор велел ей снять кофту и раскрыл футляр тонометра, лежавшего на стеклянном столике. Рука у пациентки была толстая, и манжета никак не хотела обхватить ее, однако, когда жена попробовала помочь, старый доктор, не в силах сдержать раздражение, даже прикрикнул:

— Я ведь сказал, кажется, Эмми, что закончу сам. Будь добра, оставь возню, есть ведь кому прибраться, и позвони, пожалуйста, на почту. Очень прошу тебя.

Жена хотела возразить, но сдержалась и, встревоженно посмотрев на мужа, вышла.

У толстухи оказалось очень высокое давление.

— Голова часто болит, верно? — спросил старый врач.

— Верите ли, господин доктор, ведь все, кажется, испробовала. И аспирин уж принимала, да не помогает.

— Утром и просыпаетесь от этой боли, не так ли?

— Чуть свет просыпаюсь, господин доктор. Иной раз темно еще, хоть глаз выколи, а мне прямо-таки конец, нипочем больше не засну.— Она заговорила совсем доверительно: — Мне, господин доктор, овсяный отвар пить посоветовали... Оно, может, и помогло бы, да только мне так худо от него стало, что я уж и не решилась пить-то...

— С такими вещами надо поосторожней,— проговорил старый доктор и уже не вопросительно, а утверждающе добавил: — Вы страдаете также головокружениями.

— Да как часто! Я вам еще не сказала...

— И не то чтобы завертелось вдруг все перед вами, а иначе — словно мельтешит в глазах, верно?

— Так и есть.— Она глядела на него, ошеломленная.

— А если приподыметесь, сядете в постели, пульсация в затылке как будто уменьшается?

— Истинно так, господин доктор!

— Иногда в голове гудит, как на ярмарке.

— Истинно так..

— Тошнота. Позывы к рвоте.

— Верно,— пробормотала Чохань.— Точь-в-точь все так и есть, господин доктор.

— А руки, ноги? Не жалуетесь?

— Так ведь болеть-то не болят. Того не скажу, чтоб болели... а только иной раз как бы мурашки по ним... вот так как-то...

— Словно они не ваши.

— Вот-вот. Словно бы и не мои.

— А если сделаете вот так,— и старый доктор показал, как он упражняет и растирает пальцы,— если так сделаете, чувствительность восстанавливается, верно?

— Так... оно так,— уважительно произнесла Чохань.

Взяв стетоскоп, старый доктор выслушал сердце, расспросил о характере одышки. Затем прописал рецепт и назначил строгую диету: велел обходиться без жиров, соли употреблять поменьше и вообще как можно меньше есть.

Все назначения старого доктора Чохань выслушала, согласно кивая; у нее явно полегчало на душе. Однако больничный лист — она работала поварихой в столовой сельхозартели — оказался для толстухи полной неожиданностью и явно ее обеспокоил.

— А вот это бы и ни к чему, господин доктор, там-то я все больше сижу,— сказала она.— И помощники есть у меня, с работой справляюсь. Вот от головы б только... я ведь заплачу́, со всей охотой... вы уж от головы пропишите что-нибудь.

Старый доктор сердито переставил с места на место тонометр.

— Нет таких денег, дражайшая Чохань!.. Нет таких денег, чтобы избавить меня, вас от этой головной боли и чтобы в остальном мы продолжали вести прежний образ жизни... Да-с! И вы жестоко заблуждаетесь, ежели думаете, что какие-то пилюли вернут вам здоровье. Вот если б они могли вернуть хоть десять—пятнадцать лет... Словом, лекарства принимать регулярно, полный покой, отдых, никаких волнений, строгая диета — и притом немедленно, не то быть беде, большой беде!..

По лицу Чохань было видно: она уже жалеет, что пришла. Неловко поерзав на стуле, жалобно заскрипевшем под нею, она беспокойно проговорила:

— Господин доктор, вы уж не давайте мне, миленький, больничного листа этого, пожалуйста, не давайте, если только можно. Я все выполню, что еще скажете, я ведь не дитя малое, понимаю... А я и там, на кухне у себя, проживу потихонечку... вот если бы только голова хоть чуточку... и ведь сколько ни отдыхай, господин доктор, миленький... ведь стареем мы, дело известное, молодость-то все одно не вернешь...

— Но вы же сами понимаете, дорогая Чохань, не на пользу вам эти ежедневные заботы да хлопоты на кухне. Ответственность-то все равно на вас,— прервал ее старый врач. Теперь он говорил гораздо спокойнее.— Поверьте, отдых — единственно верное лекарство. Честно говоря, я даже думаю, что рано или поздно, если положение ваше существенно не изменится, мы будем просить...— Он вспомнил вдруг, что так пристало говорить его преемнику, а не ему, и, странно, эта мысль была сейчас неприятна.— ...Нужно будет просить о пенсии. Независимо от вашего возраста. У вас есть все основания...

Реакция на эти слова была для доктора неожиданной. Повариха притихла и сидела молча.

— Ах ты, господи...— вздохнула она, очень взволнованная.— А ведь как хорошо это, пенсия... В старости есть на что опереться...

«А с другого конца поглядеть,— про себя продолжала Чохань,— ну, что мне делать дома-то? Мамаша пока жива, бодрая еще, слава богу, хоть и семьдесят второй пошел; невестка, как второй ребеночек народился, работает в кооперативе только летом. Дел по хозяйству немного, две бабы в полруки переделают. Вот если б можно было и пенсию получать, и на кухню общественную ходить по-прежнему!..»

— Оно ведь тоже нехорошо, господин доктор,— медленно проговорила она вслух,— когда от человека никому никакого проку, только под ногами у людей мешается. Уж лучше живому да в гроб... чем жить безо всякой пользы...

— Ни к чему эти жертвы, милейшая Чохань! — неожиданно рассердившись, воскликнул старый доктор.— Живет человек один раз, и не так уж невыносимо долго. Следить за собой — его обязанность, в конце концов!

Задребезжал телефон, но вызывали не из области. Звонил секретарь совета соседней деревни, которая входила в участок старого доктора: что случилось, почему нет врача — уже и в понедельник не было амбулаторного приема.

Старый доктор вкратце рассказал — звонок застал его уже дома,— что участок остался без врача, а сам он с минуты на минуту ждет распоряжений из области. На просьбы секретаря пообещал днем приехать в обычное время и провести прием, но с условием, что пришлют машину.

Повесив трубку, он снова прилег на диван. Трудовое утро утомило его, особенно последняя пациентка. Толстуха чем-то его раздражала, хотя он и не сумел бы, пожалуй, назвать непосредственную причину своего раздражения.

Какие-то неопределенные чувства теснились в нем, необъяснимые и сложные чувства, выражающие в общем одно и то же настроение: все нехорошо. И ехать куда-то в таком возрасте нехорошо, но нехорошо и оставаться с сознанием, что можно было бы поехать. Работать тоже нехорошо — по обязанности, по приказу, до полного изнурения,— но нехорошо и отдыхать просто так, только ради отдыха, а не затем, чтобы, набравшись сил, снова приниматься за любимую работу... Любимую или не любимую, во всяком случае, привычную. Ту, что накрепко спаяна со всею его жизнью, как имя или фамилия.

У толстухи — там все иное. Просто себялюбивая баба, упрямо, до последнего, цепляется за то, чтобы непременно самой солить суп, самой жарить хворост, чтобы только ее кухню хвалили все, от председателя совета до учителей («Обязательно нужно будет переговорить с Йоли») и до кооперативного агронома,— все, кто по тем или иным причинам не готовит себе дома. А уж шоферы, колесящие по стране во все концы, и прочий командировочный люд — эти с особым удовольствием заезжают в деревню в обеденный час, чтобы отведать «гуляш мамаши Чохань».

Вероятно, нашлась бы другая женщина на место этой Чохань, которая взялась бы готовить нехитрые деревенские блюда. Может, поначалу у нее получалось бы не так вкусно, да научилась бы! Если уж можно научиться мосты строить, то готовить и подавно. Более того: тысячелетняя практика доказывает, что каждое новое поколение, конечно, взятое в целом, не только осваивает опыт предков, но и добавляет что-то из собственного опыта.

Так цепляться за что бы то ни было — будь то логарифмическая линейка, поварешка или шприц — не что иное, как эгоизм.

«Я-то не цепляюсь,— мелькнула поспешная мысль, как бы вдогонку этим раздумьям.— Я не по своей воле, это же очевидно... Нет, я не эгоист, но и жертвой быть не желаю...

Хорошенькое дело — жертвовать собой... хотя в шестьдесят восемь лет терять в сущности остается не так уж много... но ко мне это не относится... Жертвовать собой? Во имя кого и чего?..

Не потомок я и не предск... никому не знакомец, не близкий...
Я чужой всем, чужой, чужой...

Хорошее стихотворение. Эндре Ади, если не ошибаюсь.

Социализм?.. Да, они действительно хотят чего-то, и замыслы их безусловно хороши — это факт, и так оно и есть на деле. А что не всегда получается, как задумано, это уж вопрос другой. Прививка новых идей — ох, как это не просто!

Кое-что, конечно, удалось; вот и сын этой поварихи на собственном мотоцикле разъезжает... Впрочем, что ж... я ведь не состою в партии...»

— Раз... два... три...— начал он считать, надеясь заснуть. Но не дошел и до двадцати, как мысли нашли себе другую лазейку.

«Область конечно молчит. Так ведь им это ничего не стоит.

Вот и Эмми... не понимаю, она-то что себе вообразила. Да у меня в мыслях нет ничего такого. Оставим жертвы и подвиги героям репортажей.

Да-да... лезть в раскаленную печь и героически сжигать себя заживо, чтобы на полчаса раньше выдать сталь... Безумие. Я бы таких под замок, немедленно... Да ведь этак всех пенсионеров — в интересах государственной экономики — вздернуть следует на крепком суку!

И, конечно, мы, старики, тоже стоим на страже мира — с мешками под глазами, с хлюпающим носом...

Нынче, правда, редко пишут про такое, хотя с чего бы это редакторы умней вдруг стали... Теперь чаще про другое в газетах речь: в пространнейших статьях излагают, что людям социализма пристойно сидеть только в наимоднейших, «конструктивных» креслах. И что человек эпохи социализма носит пиджаки с тремя пуговицами, а не с двумя, потому что такова мода с самой весны.

А я тогда кто же? Со своим комбинированным шкафом и в пиджаке об одной пуговице, что, как известно, три года назад вышло из моды?.. Значит, я сектант и догматик... Или хулиган... А это хорошо, однако: доктор Вайс — хулиган!

Чохань уж во всяком случае эгоистка...

Конечно, понять ее можно. Когда профессия становится для человека самой жизнью, чуть ли не формой существования... как стала для нее профессия поварихи... такой человек, конечно, цепляется за свою профессию из последних сил. В конечном счете, за самую жизнь цепляется. Может быть, это эгоизм, а иными словами — инстинкт жизни».

Долго размышлял старый доктор. Он почувствовал — именно сейчас почувствовал впервые,— что в положении пенсионера существует какое-то противоречие, коренящееся в самой духовной сути человека, но разобраться в нем все еще не мог.

Ведь вот Чордаш, он-то разрешил это противоречие!

Тысячи, десятки тысяч людей разрешают его вообще без какого бы то ни было внутреннего кризиса. Между тем отнюдь не все они чиновники по натуре, способные отложить карандаш на середине фразы, если истекло рабочее время. Но положение о пенсиях в нынешнем виде, собственно говоря, рассчитано именно на них, на чиновников. Ибо тот, у кого профессия прочно срослась с жизнью, не успокоится никакой пенсией, и порвать его связь с работой — все равно что оборвать нить его жизни.

«Но тут должно быть что-то еще, не всегда ведь это так. Взять того же Чордаша. Да и я охотно оставил бы свою работу...» С этой мыслью пришло вдруг ощущение страшной усталости и захотелось, очень захотелось спокойного, ничем не ограниченного отдыха.

■

Внучатая племянница докторши Ади приехала сразу после полудня на двухместной спортивной «шкоде» вишневого цвета.

Маришка ее не узнала.

— А это ж кто? — спросила она, выглядывая из кухонной двери.

В прошлый раз волосы у Ади были тускло-серые и длинные, а сейчас стали иссиня-черные и к тому же короткие, как у мальчика. Изменилась и машина, но как раз в другую сторону: теперешняя была куда длиннее предыдущей.

Старая докторша обрадованно поспешила навстречу.

— Я шикарно доехала! Эта «шкода» — шикарная машина,— заявила, целуясь с теткой, Ади.— Но вы-то, тетя Эмми, как молодо выглядите!.. У вас шикарный вид, я вполне серьезно.

Она взяла с сиденья свою сумку, заперла машину на ключ.

— Дядя Дежё?

Докторша открыла уже было рот, но передумала: не стоило начинать рассказ здесь же, во дворе.

— Погоди, расскажу после. И ты пока не зови его, он и не знает о твоем приезде.

— Ну, как я выгляжу? — Ади заговорщически улыбнулась.

На ней были штаны в крупную, кричащих тонов, клетку и пушистый кардиган. Осторожно обойдя лужу, она оглядела свою машину сзади.

— А погодка-то совсем никуда, завтра попрошу вымыть мою «Бэби». Мы ведь ее «Бэби» окрестили, это же такая душка, правда?

— Почему ты опять без мужа приехала? Мы до сих пор даже незнакомы.

Ади, поддерживая старую докторшу под локоток, помогла ей подняться на террасу.

— По правде сказать, на этот раз я и приглашать-то его не стала, он, бедняжка, ужас как занят. А вообще, муж он шикарный, и я счастлива, и все такое.

Ади явилась неспроста — ее приезд тоже был результатом маленького женского заговора.

Старая докторша позвонила своей внучатой племяннице — и единственной наследнице — еще в понедельник, когда старый доктор остался в городе ради встречи с однокашниками. В поезде, по дороге домой, у нее было достаточно времени, чтобы обдумать сложившееся положение. Борбат уезжает, но больные остаются, и, в самом деле, куда им, беднягам, деваться, стрясись какая-нибудь беда. Тут ни пенсионное свидетельство не поможет, ни Маришка, охраняющая двери... даже если к другому участку прикрепят их деревню, и это не поможет, потому что в беде человек бросается туда, где ближе. Конечно, в виде исключения можно и полечить кого-то, но ведь поможешь одному — потянутся и другие, даже те, у кого просто живот заболит... А отказать в помощи... Ну, такого еще не бывало, чтобы муж ее вдруг кому-нибудь отказал. Не такой он человек, ее муж.

Выход один — уехать отсюда.

В последний свой приезд Ади сама завела об этом разговор. Сельский совет охотно купил бы их дом, под квартиру для врача, а они — конечно, добавив кое-что — могли бы купить в Буде небольшую виллу с садиком, разумеется, скромную, но все же такую, чтобы в дальнейшем, в перспективе, так сказать, она могла перейти к наследнице. Возможно, Ади прибавила бы немного денег для покупки, тогда можно было бы сразу записать виллу на ее имя. А им, старикам, довольно и права пользования.

Однако в тот раз дальше разговоров дело не продвинулось, поскольку выход на пенсию откладывался на неопределенное время. Правда, старый доктор был тогда лишь пассивным слушателем и не скрывал, что не радуется предполагаемому переезду, как, впрочем, не радовался он и самой Ади.

Звонок докторши застал Ади дома. Она тут же пообещала, что в среду выкроит время и после обеда непременно приедет — «давно уж пора обсудить наше дело, право!»

— Может, скушали бы чего, Агика? — спросила Маришка с несколько принужденной улыбкой, когда хозяйка и гостья удобно расположились в комнате и старая докторша, держа наготове носовой платок, начала перечислять свои беды и горести.

Никакими доводами нельзя было убедить Маришку, что имя Агнеш — Аги — можно произносить и через букву «д»... Она считала это просто господской блажью — вроде того как Пишколти называет иногда свою благоверную Бижу. Разговаривая с хозяйкой о ее родственнице, Маришка тоже называла ее Ади, но в глаза величала не иначе, как Аги — правила, которые она неукоснительно соблюдала, не допускали со стороны «прислуги» никакого панибратства.

■

Йоли, молоденькая учительница, выскочила из школы и лицом к лицу столкнулась со старым доктором.

После уроков, попросив ключ от книжного шкафа в учительской, она долго рылась в новехоньких книгах, стоявших в два ряда, и отобрала три из них: сборник «Лучшие стихотворения мировой литературы о любви» и два романа, конечно, тоже о любви. Сумка ее распухла от тетрадок с контрольной, поэтому книги пришлось нести под мышкой.

Снова стал накрапывать дождик, но настроение у Йоли было самое лучезарное: и книги ей удалось отыскать хорошие, и контрольную, судя по всему, ребята написали хорошо...

— Дядя Дежё! Куда это вы?

— К девочкам,— пошутил доктор, искренне обрадованный встречей. И тут же вспомнил про Марковича. «Надо бы все-таки сказать ей... Нет, нет, сейчас такой разговор невозможен!»

— Ах, вот как! — строго отозвалась девушка.— Ну что же, так и запишем.

Старый доктор смотрел на завернутые в целлофан книги.

— Вечерняя программа?

— О, я уже читала это...— Девушка покраснела и неловко, только бы уйти от расспросов, перевела разговор.— Вот моя вечерняя программа,— запинаясь, проговорила она,— сумка до отказа тетрадками набита... И знаете, дядя Дежё, по-моему, эта контрольная удалась ребятам... по крайней мере, хорошие ученики справились превосходно. Ой, милый доктор, вы только вообразите, хозяин-то мой со скуки и меня заарканил... в шахматы взялся учить... Ну, и разбивает, конечно, вдребезги...

— Ничего, вот я приду как-нибудь и воздам ему,— прощаясь, пригрозил доктор.— Сегодня-то вряд ли, но как-нибудь вечерком загляну непременно.

Маленькая учительница заторопилась домой. Пообедав, она заботливо поправила перед зеркалом прическу и понесла книжки Марковичу.

■

Старый доктор осторожно шел по скользкой дорожке и улыбался.

«Какая она живая, эта девушка! — думал он.— Сама жизнь... Будь я скульптором, непременно вылепил бы ее... так и назвал бы — «Жизнь». Хотя мне вряд ли удалось бы выразить эту будничную простоту. Впрочем, я ведь не скульптор... да и врач уже только по необходимости... Помаленьку-потихоньку превращаюсь просто-напросто в прототип досье, что хранится в картотеке Института социального обеспечения».

О вчерашнем вызове с нижнего конца деревни домашние ему не сказали, но сегодня опять прибегали оттуда, просили непременно быть. Он знал эту больную, совсем уже старуху. Очевидно, дела ее были плохи.

У больной был рак, inoperabilis *; старый врач понимал, что спасти ее невозможно. Он сделал укол морфия, прописал сильное болеутоляющее средство и откровенно сказал членам семьи, что наступает последний этап болезни и больной осталось жить недолго, может быть,

* Неоперабельный *(лат.)*.

несколько дней, неделю. Во время разговора его неотступно преследовало одно воспоминание. Дело было в тридцатые годы и происходило в этом самом доме, кажется, на этом же широченном супружеском ложе: тогда умирала другая старуха, родная мать нынешней больной. Иссохшая сейчас, до костей обглоданная болезнью, тогда она была в самом соку, и доктор отчетливо помнил даже выражение ее лица, когда она, стоя на пороге — не прикрыв за собой дверь, не понизив голоса,— воскликнула, кивнув на мать: «Ох, батюшки, до коих же пор, прости господи, жить-то она собирается?!»

Старый доктор видел теперь чистые простыни, искреннюю тревогу на лицах всех членов семейства, видел внука-студента, вызванного из столичного университета телеграммой,— но знал он и о том неотвратимом, что ждет больную, и думал: «Жизнь несправедлива. Это судия могущественный, но пристрастный, и нет в его поступках никакой последовательности. Смерть — иное дело. Смерть демократична».

Он посетил в этом конце деревни еще двух лежачих больных. А когда сел, наконец, в такси, опять погрузился в круговорот тех мыслей, с которыми жил все последние дни.

«Вернее, смерть — высшее судилище, да, да. Каждый может быть спокоен: в окончательном приговоре не будет места пристрастию.

Глупости, с чего тут быть спокойным. Напротив, хуже судьи не придумаешь: ни одного дела до конца не доводит, так, нерассмотренными, все в архив сует. Апелляции не подлежит».

Он подумал вдруг о том, как бесплодна и обманчива игра мысли. Насколько жизнь сложнее самой сложной мысли! И тут же, оттолкнувшись от слова «сложный», стал формулировать, складывать в уме новый афоризм, рожденный из обрывков давешних настроений. «Жизнь каждого человека — это каждый раз новый гордиев узел... да, так оно и есть. И всякий раз приходит Александр Великий — смерть со своею косой... вот только не следует думать, будто она хоть что-нибудь разрешает... Хотя, впрочем, и нерешенным ничего не оставляет...»

Видно, размышления для него теперь — что шахматы для Пишколти. «Чудит старикан!» — отмахиваются живые от такого вот «живого трупа» и даже не догадываются, что для него чудачества эти — все равно что доска для утопающего...

«Да, так оно и есть, второе детство,— тянулись мысли.— Чем-то нужно играть человеку и в старости... жизненная потребность. А ведь и я ни за что не поверил бы, что Пишколти... Люди походят друг на друга больше, чем думают... А Чордаш замечательный человек... почему мне не дано стать таким?»

И ему представился Чордаш в саду, среди цветущих деревьев... А уж отсюда до моря — и вовсе рукой подать.

«Сегодня вечером намекну Эмми. Но только осторожно, очень осторожно — ведь, если она загорится, мне с ней не сладить. На подготовку понадобится по крайней мере месяц, и адвокат за месяц все успеет... Бови сказал, что на формальности уйдет три недели. А государству даже лучше — одной пенсией меньше».

На прием собралось много народу, затем был еще вызов на дом. Потом он поехал в третью деревню, входившую в его участок, потом — на эчерскую ферму. Амбулаторного приема нигде не было, только вызовы.

Домой старый доктор прибыл, вконец вымотавшись; было уже темно, он даже не заметил чужой машины во дворе.

Войдя в дом, он холодно прикоснулся губами к щеке подлетевшей к нему с поцелуями Ади, взял кусочек печенья, спросил:

— Не звонили?

— Как же, жди теперь,— укоризненно проговорила жена.— Мы вот как раз говорили с Ади...

— Не сердитесь, я окончательно выдохся,— прервал ее старый доктор.— Утром... утром увидимся...

Он кивнул гостье и ушел в другую комнату. Женщины разочарованно смотрели ему вслед.

Минуту спустя к нему вошла Маришка.

— Хозяйка велела здесь постелить вам, господин доктор.— И шепотом добавила: — Ох, может, хоть сюда ужин вам принести? Салат свежий у нас, только что с грядки...

Но старый доктор ужинать не пожелал. Впрочем, он всегда ел мало.

Ловко и быстро взбивая подушки, Маришка рассказала, что после обеда опять прибегала девчонка Тёрёков. «Уж так мне жалко ее сделалось, господин доктор!» А вечером снова наведается узнать, когда ей можно прийти.

— Ладно, завтра после приема осмотрим ее,— сказал старый врач.

Маришка ушла, и доктор, приняв лекарства, лег в постель.

5. ЧЕТВЕРГ

Рассвет еще только занимался, и старый доктор включил лампу. Начатый роман с вечера был положен так, чтобы быть под рукой. Однако он не прочитал и нескольких страниц, как в затылке началась пульсация.

Переложив закладку, он поглядел на цифру внизу: шестьдесят восемь. Старый врач заставил себя почитать еще, ему не хотелось кончать именно на шестьдесят восьмой странице. Дочитал до семьдесят пятой. Теперь боль в затылке билась невыносимо, он уже не понимал прочитанного, фразы распадались на прыгающие, танцующие, ничем друг с другом не связанные слова.

Он закрыл книгу и огляделся, припоминая, где оставил вчера лекарства. Все нужные на первый случай медикаменты лежали обыкновенно в коричневой пластмассовой коробочке.

Коробка оказалась на курительном столике, чтобы взять ее, нужно было встать.

Но едва он ступил на ковер, очертания мебели сместились, перед глазами поплыл туман, что-то замелькало, запестрило, он ухватился одной рукой за подушку и вместе с подушкой полетел куда-то.

Без сознания старый доктор пролежал на полу недолго — секунду, может, чуть больше,— потому что, придя в себя, ощутил холодок подушки, еще не согревшейся под рукой. Он перевел взгляд на окно — по-прежнему чуть брезжил рассвет.

Очки отлетели далеко под стол. Он не стал тянуться за ними, осторожно пошевелил руками, ногами, затем — следя за каждым своим движением — поднялся и снова лег на застеленный диван.

Сильно саднило локоть — очевидно, ударился, падая. Больше нигде не болело, мучительная головная боль прошла совершенно. Только бешено колотилось сердце.

«Опасности нет... все в порядке»,— внушал он себе, стараясь сосредоточить все внимание на том, что руки и ноги двигаются, что он видит, слышит, осязает — следовательно, опасность позади.

Потому ли или по другой причине — быть может, организм еще в состоянии был справиться с приступом,— но пульсация начала утихать, хотя потребовались долгие минуты, чтобы она улеглась окончательно.

Он лежал, не шевелясь, и наблюдал, вслушивался. Вслушивался в самого себя.

Обдумывал происшедшее как врач. Разобрался в новых симптомах; он точно знал причину и возможный исход каждого из них. Собственно, возможностей оставалось все меньше и меньше, в его положении каждый из этих симптомов раньше или позже должен почти наверное привести к смерти. Он мог бы просто заранее заполнить все рубрики свидетельства о смерти...

Сообразив все это, старый доктор вдруг успокоился. Так успокаивается солдат, окруженный сотней кровожадных врагов и понявший, что спасения ждать неоткуда.

«Во всяком случае, следует отдохнуть,— подумал он без всякого убеждения. Спокойно и бесстрастно нанизывал слова, одно за другим, как в детстве, бывало, машинально бормотал вечернюю молитву:— Только не валяться день-деньской без дела да скучать, это не годится, тогда уж всякой сопротивляемости конец! Вот на море мне будет хорошо. Несомненно хорошо. А работать час-другой совсем не трудно, это тот же отдых...»

Тем временем рассвело. Начиналась прелюдия дня, утренний концерт просыпающейся деревни.

Старый врач долго лежал, не шевелясь. Потом даже задремал, а проснувшись, почувствовал себя свежим и отдохнувшим. Он открыл окно, прошелся по комнате и решил, что ни словом не обмолвится жене о море, пока здесь наследница—«эта механизированная ангорская кошка».

Но как только она уедет, непременно поговорит с женой. И судьбу участка выяснит сегодня же.

■

Утренний прием оказался легче, чем вчера.

То ли народу пришло меньше, то ли время летело быстрее,— старый доктор охотно шутил со знакомыми, расспрашивал их о родственниках: «Ну, а мамаша как, все мается с желудком?» «Малыш-то ест теперь? Помогло лекарство?» Он не искал популярности и спрашивал скорее по привычке: ведь он вот уже несколько десятилетий держит в памяти истории болезней всех жителей деревни.

Приходили и дети — он раздал уже все коробочки из-под лекарств.

Иногда откуда-то из глубины сознания наплывало вдруг мучительное ощущение, испытанное нынешним утром, но так просто, так естественно было все в мире — он жив еще и дышит, кто-то вскрикивает от боли, а кого-то уж и похоронили,— что ощущение это быстро рассеивалось. Оставался пинцет, позвякивающий о стекло столика, запах эфира, солнечный свет из окна, и оставались больные (которые уже перепахали дедовские могилы, чтобы своевременно и по плану заготовить место для себя).

Следующей по очереди была молодая бабенка, лет двадцати трех, с ячменем на глазу; она просила какой-нибудь мази.

— Ну, как, Юлишка,— спросил старый доктор,— зудит еще мизинчик-то, когда к муженьку притрагиваетесь?

— Ой, это когда уж было-то,— посмеиваясь, отвечала молодуха.

А старый доктор, выписывая рецепт, продолжал:

— Ведь оно, знаете, как бывает... поначалу-то даже в кончике мизинца мурашки бегают, а потом уж и рука ничего такого не чувствует, потом, потом, потом... дальше не скажу, потому что рецепт готов... потом и вовсе мурашки пропадают, и нет их.

Молодуха кокетливо поиграла глазами:

— Ох, да как же вы все знаете, господин доктор!

— К сожалению,— отозвался доктор и начал было объяснять, как пользоваться мазью, но тут зазвонил телефон.

На почте включили область и соединили со здравотделом.

Главврача области, который был сейчас на другом конце провода, старый доктор знал: когда-то они даже работали вместе несколько недель в городской больнице.

Голос прозвучал так чисто и так громко, что старый доктор отставил от уха трубку. Он не признался, что ведет прием больных и даже ездил в соседние деревни.

— Только в особо острых случаях,— сказал он.— Как, например, в моем собственном. Сегодня на рассвете я получил визитную карточку...

Телефон:— Какую визитную карточку?

— Некоей пренеприятной особы, которая всех нас навещает, когда наступает черед.

Пауза.

Телефон: — Слушай. Дежё... в самом деле, как ты там?..

— Вообще хорошо. Мог бы посчитать себя восемнадцатилетним, если бы не знал наверное, что мне на пятьдесят больше.

Телефон:— Сердишься ты напрасно, мы действительно в тяжелом положении. Сам знаешь, у доктора Варнаи и так огромный участок...

— А Сакач?

Телефон:— Сакач с понедельника заменяет другого своего соседа... на две недели. С доктором Балла другие сложности, я не хочу об этом по телефону... Во всяком случае, Дежё, если дело так серьезно... ну, вот что, я сейчас же распоряжусь. Еще до обеда, сегодня же.

Долгая пауза.

Пациентка, которая ожидала, скучливо уставясь перед собой, вздохнула, села опять на стул и принялась разбирать рецепт.

Телефон: — Алло?!

— Что ты собираешься делать?— хрипло спросил доктор.

Телефон: — Понятия не имею. Как гром среди ясного неба... Ну, в конце концов, это будет, увы, не первый участок без врача, когда людям приходится по десять-двадцать километров шагать, чтобы попасть на прием...

— Не совет же страдает, верно? Страдают больные... А потом смотри статистику смертности, число безнадежных больных и так далее...

Телефон:— За меня теперь принялся? Но не могу же я, в конце концов, делать врачей из ничего... Может быть, временно... мы придумаем что-нибудь, и временно...

— Что значит временно? Точнее?

Телефон: — Не волнуйся, всего неделю-другую. Самое большее один-два месяца, но это уж максимум. Из дипломников этого года непременно... и летом приедут врачи на практику... Так, значит...

— Постой! — резко крикнул в телефон старый доктор. И договорил уже спокойнее: — Снимите с меня периферию. Свою деревню берусь обслуживать.

Молчание.

— Алло?.. Без периферии! Без периферии возьмусь.

Телефон:

— Видишь ли... это, конечно, большое облегчение, но... а ты сможешь, Дежё?.. Я не потому спрашиваю, свое состояние ты знаешь лучше...

— Да, знаю. На том и договорились,— сказал старый доктор и, положив трубку, тем же тоном обратился к пациентке: — Чистой ваткой оберните спичку и будете смазывать по нескольку раз в день.

За дверью дожидалось еще трое мужчин, он пригласил всех троих.

Прием продолжался. Доктор шутил, расспрашивал. Его не покидало хорошее настроение. Более того, он чувствовал в глубине души какое-

то облегчение, но причины доискиваться не стал. О том, что произошло утром, он забыл начисто.

Закончив прием, старый доктор пошел домой. «Разве мог я поступить иначе? — раздумывал он по дороге.— Очень жаль, но положение таково, общее положение... и море пока неактуально. *Покаместь,* сказала бы Маришка...»

Ади проснулась поздно, и к тому времени, как оделась и припомадилась, старый доктор был уже в амбулатории. Маришка, убиравшая постель, уголком глаза следила, как Ади вертелась перед зеркалом. Сперва она расчесала волосы, потом быстрыми пальчиками принялась взбивать и растрепывать короткие черные космы, пока не стало казаться, что расческа, по крайней мере, уже несколько дней не касалась ее головы. Маришке доводилось видеть точно такие всклокоченные головы по телевизору — да и некоторые деревенские девчонки так ходили,— но до сих пор она и не подозревала, что это тоже прическа и что она вообще требует забот.

Ади была очень миленькая, хорошенькая и какая-то молодая; казалось, вся она излучает радость, и радость эта заливала сейчас квартиру, так давно не слышавшую в своих стенах молодых голосов.

Ей было уже за тридцать, но в своих нарядах, в поведении, в образе мыслей она ориентировалась на более молодое поколение — в этом она была полной противоположностью жене Пишколти, которая под влиянием окружения и сама как бы состарилась. Ади ориентировалась на «молодых» прежде всего с внешней стороны, даже образ их мыслей перенимала чисто внешне, и притом на таких «молодых», которые везде — будь то на улице, в учреждении, в увеселительных заведениях или в газетных фоторепортажах — сознательно стремятся лишь к одному: привлечь к себе внимание. Она не замечала этого, а если бы и заметила, то поступала бы точно так же, ибо привыкла уже, что в жизни, по крайней мере в ее жизни, важнее всего «фасад», внешний вид.

Старая докторша и не подозревала, что ее внучатая племянница просто ставит себе целью быть современной и молодой. Она без всяких задних мыслей восхищалась ею, наслаждалась близостью молодого, ухоженного тела, близостью родственницы как-никак, радовалась новым краскам, звукам, запахам, поселившимся, хоть ненадолго, среди старой надоевшей мебели. Ложечкой помешивала она пенящийся кофе, приготовленный в честь гостьи, слушала ее болтовню, странные словечки и находила племянницу очаровательной и очень-очень молоденькой.

Дела, касающиеся мужчин, они обсудили уже вчера.

О первом браке Ади речи не было, тогда она и в самом деле несколько поторопилась, вышла замуж за студента-однокурсника, а через несколько месяцев — без особых бурь и драм — каждый из них пошел своей дорогой. Второй муж был зубной врач, и хотя ему исполнилось тогда сорок, но никто не дал бы ему больше тридцати пяти. Старая докторша была с ним знакома и в те времена считала его очень элегантным, корректным и симпатичным человеком, выглядевшим вполне аристократично. Тем большим разочарованием было для нее услышать сейчас, как отвратительно вел себя этот второй муж: «Ах, тетя Эмми, миленькая, про это знаю я одна... ах, да что говорить... и он оказался не лучше других мужчин...» Очевидно, у него была какая-то женщина, возможно, его ассистентка, если на четвертом году совместной жизни «из-за чепуховины», «из-за дурацкой и смешнейшей ерунды» он способен был развестись с женой, такой красивой, обаятельной — «не правда ли?» — которая, как ни говори,— «правда же, тетечка?» — немалую принесла жертву, выйдя за него: ведь она пятнадцатью годами моложе!

О третьем своем муже Ади не очень распространялась. Он — директор большого предприятия, «чуточку старше второго, но это абсолютно неважно во всех отношениях», зарабатывает прекрасно — «у моего мальчика столько шикарных рационализаций!» — очень отзывчивый, не придира и вообще... Ади показала цветные фотографии. Третий благоверный оказался невысоким плотным мужчиной, уже с животиком, скорее за пятьдесят, чем под пятьдесят.

О делах, связанных с недвижимым имуществом, они переговорили вчера же и прекрасно друг друга поняли. Домик этот нужно срочно продать совету и вообще распродать все лишнее. Ади тем временем расшевелит своего мужа, и они присмотрят на проспекте Пашарети небольшую хорошенькую виллу. «В настоящий момент» они с мужем могли бы помочь в покупке — добавить, скажем, тысяч пятьдесят-шестьдесят; дом, естественно, будет записан на Ади — все равно в свое время он перейдет к ней, зачем же зря тратиться потом на переоформление,— а право пользования останется за стариками.

Это была во всех отношениях честная сделка, удобная для обеих сторон: обладатели наследства получают в полное распоряжение до конца жизни виллу, превышающую их средства на пятьдесят-шестьдесят тысяч, к тому же в прекрасном спокойном районе, что уже само по себе неоценимо; наследница же заранее сберегает расходы по переоформлению, обеспечивает себе право владения будущим наследством, вкладывает в недвижимость свободные деньги.

Все это они обсудили вдоль и поперек, а когда улеглись, каждая обдумала все еще раз самым доскональным образом — так что сейчас, попивая кофе и закусывая только что испеченным калачом с изюмом, Ади болтала о самых пустячных вещах, явно убивая время. Иногда она нервно поглядывала на часики — докторша уже несколько раз посылала Маришку поглядеть, ждут ли еще в приемной, много ли больных,— и наконец встала, объявив, что идет готовить машину. Нет, нет, обедать она не останется ни в коем случае, ей нужно быть сегодня к концу дня в Пеште «по совершенно неотложному официальному делу».

Тут как раз и явился старый доктор. Пока он бегло просматривал немецкий иллюстрированный журнал, который привезла Ади, жена вкратце доложила ему все, что знала об Адином муже, потом рассказала и о пятидесяти-шестидесяти тысячах — мол, это и было причиной неожиданного визита, поскольку Ади с удовольствием вложила бы свои свободные деньги в небольшую виллу с садиком на проспекте Пашарети.

— Слушай, Дежё,— шепотом добавила она,— тогда не пришлось бы продавать участок в Таполце. Остался бы нам про запас... нужно ведь иметь что-то про запас.

— Пока... пока что...— рассеянно начал доктор, потом, разглядывая фотографию какой-то «звезды» в купальном костюме, пробормотал: — Ну вот, и лето на носу. Замечаешь, как изменилась сегодня погода?

— Что значит это «пока»? — заподозрила недоброе жена.

— А то, что надо обдумать все хорошенько... да-а, подумать следует... И ты, будь добра, пока что не бери на себя никаких обязательств.

Докторша сразу расстроилась. Лицо ее нервно задергалось — верный признак закипающих слез.

— Ты скажи прямо, до каких пор ты намерен думать? Другой на твоем месте только радовался бы, что наконец... В самом деле, всю-то жизнь живешь словно в тюрьме, в этой... — В дверях показалась Ади, и докторша понизила голос.— Хоть бы под старость... в покое пожить... хоть немножко...

Ади с одного взгляда оценила положение. Она старалась держаться по-прежнему весело и как ни в чем не бывало, однако хотела все же дать понять старикам, что чувствует себя обиженной.

— А я уж думала, что так и не увижусь с вами, дядя Дежё... разве что больной представлюсь...

Впрочем, она тут же сменила интонацию: выразила сожаление, что не привезла с собой мужа — дядя Дежё непременно сошелся бы с ним, потому что муж точно так же, как дядя Дежё, горит на работе... ну, ничего, как-нибудь в другой раз. Дядя Дежё не связан теперь ни временем, ни местом — ведь он выходит на пенсию,— и если ничто не помешает, можно будет видеться чаще, вот и с тетей Эмми они только что беседовали об этом... и так далее и тому подобное.

Старая докторша заметила вдруг, что с мужем ее племянница говорит совсем по-другому, не так, как с ней. По-прежнему весело и самоуверенно, однако без всяких «чепуховин» и «волынок», и мужа своего «мальчиком» не называет. Впрочем, она и тут была естественна, непосредственна, более того, эта новая Ади в глазах докторши казалась еще привлекательней и милей. Впрочем, мнение ее осталось бы таким же, меняй Ади свой стиль хоть ежечасно — старая докторша уже не способна была выйти из-под ее обаяния.

Ади, по-видимому, без какой-либо цели, начала рассказывать об одном их общем знакомом, который тоже вышел на пенсию года два назад и сейчас переживает вторую молодость среди плодовых деревьев в собственном садике на проспекте Фаркашрет в Буде.

Она даже принесла карманный альбомчик с фотографиями и продемонстрировала его: на одном из цветных фото среди огромных, в кулак величиной, персиков улыбался пожилой мужчина.

— Вот и однокашник мой тоже...— кивнул старый доктор на фотографию и добавил, словно между прочим: — Но, конечно... что до меня, то я не стремился бы под занавес, так сказать, менять жизненное поприще. А потом, есть люди, которым трудно сжиться с мыслью, что они уже лишние. Особенно если и правда они лишние. А это твой нынешний муж? — спросил он без всякой задней мысли, указывая на другую фотографию и не подозревая даже, как глубоко уязвил таким вопросом молодую гостью.

— Вы неисправимы, дядя Дежё,— недовольно вздохнула Ади и стала собираться в дорогу.

Вошла Маришка: что, мол, сказать девчонке Тёрёк — она опять явилась, возле дома дожидается.

Старый доктор взглянул на нее и сказал рассеянно:

— Через десять минут.

Докторша сердито затрясла головой и сурово поджала губы, чтобы призвать мужа к порядку. Но старый доктор, по всей вероятности, и не заметил этого. Он задумчиво глядел в окно.

— Что область? — спросила докторша.— Не звонили?

— Да, я ведь и забыл,— вышел из задумчивости доктор.— Как же, как же, звонили.

— И?..

— Ничего особенного. Несколько дней, может, неделя-другая. И только эта деревня... От периферии я, разумеется, отказался. Не беспокойся, им крепко досталось.

— Я наперед знала,— воскликнула докторша. Но на душе у нее сразу стало легче: она решила, что муж только из-за этого и откладывает вопрос о переезде.

Тёрёк держалась совершенно так же, как держится в подобных случаях большинство женщин: стыд, ужас и надежда одновременно выражались на ее лице.

У нее было оформившееся уже, развитое тело и красивая мордашка, и все же девушка казалась какой-то нескладной. Чтобы быть по-настоящему красивой, ей не хватало, по крайней мере сейчас, того единственного свойства, которое подымает девушек — даже дурнушек,— делает их словно бы на голову выше окружающих. Всякая красота — это сила, но в красоте молоденькой девушки, в самом ее девичестве заложена сила особая — какое-то обещание? Ожидание? Вот так и бутон в саду прелестнее стоящего в вазе цветка. Именно этого и не было в облике Тёрёк, и если бы даже никто не подозревал ничего, все равно недоставало бы в ее повадке гордого сознания девичества.

Старый доктор улыбнулся про себя и в то же время пожалел девушку.

Исследование подтвердило предварительный диагноз.

— К сожалению, Жужика,— сказал он, хмуря лоб,— к сожалению... Как врач я говорю — на девяносто девять процентов. А вообще, можем считать, на все сто процентов. Увы, это так.

Девушка расплакалась. Она старалась сдержать рвавшиеся из горла рыдания и судорожно всхлипывала.

— А ведь я... господин доктор... ведь я... не хотела,— шептала она сквозь рыдания.— Господи боже ты мой, я ведь не... И ничего такого не было, господин доктор, я правду вам говорю, хоть я и невестой ему была, другие чего только не позволяют...

— Ну, ладно, ладно уж, Жужика,— проговорил доктор, но не нашел слов, понятных девушке. Только сейчас, кажется, твердо знал, что надо сказать ей — в самом деле, раз уж беда случилась, зачем осложнять ее еще одной глупостью! — но новая догадка смешала прояснившиеся было мысли: каждый сам, на свой страх и риск, разбирается в жизни, толкует ее, и эта вот девушка, и молодой Маркович, и маленькая учительница. Или та же Ади. Всем им, как и сменяющим их поколениям, приходится начинать как бы сначала и — словно так предназначено судьбой,— ранить и ранить себе ноги обо все придорожные камни, которые он, старик, уже научился осторожно перешагивать; они спотыкаются и падают носом в каждую яму, которую он — с его шестидесятивосьмилетним жизненным опытом, претворившимся уже в инстинкты и разум,— непременно обойдет.

Но нет, начинают они вовсе не с того же самого, с чего начинали в свое время их отцы и деды... Желая зажечь свет, они и не подумают воспользоваться кремнем и трутом, а просто подойдут к выключателю и даже не удивятся всему тому, что готовым получили в руки. Телевизор, межпланетная ракета, пенициллин и другие антибиотики — для них это все так же само собой разумеется, так же вливается в их общее представление об окружающем мире, как, скажем, акация или плакучая ива. Вот и для этой девушки кооператив, в котором она работает, нечто привычное и уже обыденное, как и туфли на шпильках и тонкое кружевное белье, и она не знает даже (да и не очень интересуется, впрочем), что в ее годы собственная ее мать ходила в домотканой рубахе да босиком...

Девушка, всхлипывая, одевалась.

Старый доктор неторопливо мыл руки, глубоко уйдя в свои мысли. Он дважды возвращал к жизни эту девочку и теперь чувствовал себя ответственным за ее судьбу.

Но что он может сказать ей? Да и найдут ли они общий язык?

«В чем-то все-таки каждый начинает всегда с самого начала... и именно в самом главном: каждое поколение и каждый человек сам должен найти свое место в мире... в своем собственном мире. Да, да, это так... ибо ребенок без труда привыкает пользоваться электричеством или кремнем, но в том мире, к которому принадлежат все эти вещи, в обществе, их породившем, каждому поколению приходится самому — самому и

с самого начала — искать свое место, а это одинаково трудно было пять тысяч лет назад и будет через пять тысяч лет... Да, вот так!..

Кто-то нажал на дверную ручку. Старый доктор повернул ключ в замке и выглянул. Это была уборщица.

— Сейчас кончаем,— сказал он ей, ни на секунду не забывая, что набрел только что на очень важную мысль. Он опять запер дверь и захотел эту мысль продолжить. «Да, вот так... Именно так...» — твердил он про себя последние оставшиеся в памяти слова. Но, как часто случалось с ним последнее время, оборванная нить мысли была потеряна.

Сохранилось лишь смутное чувство — как некий зачаток мысли, не более,— что он мог бы снабдить это милое создание великолепнейшими лекарствами, но не в силах передать ей чего-то иного, что для нее сейчас было бы важнее любых лекарств. А между тем сам он, при своем шестидесятивосьмилетнем жизненном опыте, обладает этим «чем-то» в избытке, но не может, не в силах передать его другим. Да и не так это просто, как, скажем, передать технологию фармакопии, или технические чертежи кибернетических машин, или любые самые сложные достижения техники.

А все же не следовало бы успокаиваться на этом, только существует ли оно вообще, какое-то решение?

«Надо будет сказать как-нибудь Йолике,— думал он,— что есть предмет, во сто крат важнее и труднее математики... и к тому же часто не поддающийся усваиванию. Эту науку нужно уметь переводить, причем для каждого поколения особо — хотя бы то, что переводимо. Вот Йоли и есть переводчица жизни... нет, не думаю, чтобы это приходило ей когда-либо в голову, но побуждения у нее хорошие... В этом смысле музыка, искусство, литература — сплошной перевод, художественный перевод... но, конечно, еще вопрос, кто и что переводит...»

— Итак, подозрение на аппендицит,— сказал он с ударением, когда девушка оделась.— Нужно еще несколько деньков подождать. Только ни в коем случае не грызть себя, слышишь! Нет в том позора, что человек здоров. И ни о чем не думай, все будет хорошо.

Дома жена и Маришка с нетерпением ожидали старого доктора. Стол был уже накрыт к обеду. Доктор сделал вид, что не замечает вопросительных взглядов, и только после супа бросил вскользь:

— Бедняжка испугана насмерть... девочка эта, Тёрёк... Ничего особенного... думаю, придется прооперировать по поводу аппендицита.

■

После основательного послеобеденного отдыха — теперь уж он будет всегда следить за тем, чтобы не переутомляться вконец,— старый доктор написал Лебовичу письмо, на его пештский адрес. Путешествие пока неактуально, из-за объективных обстоятельств. Впрочем, не будь этих объективных обстоятельств, вопрос все равно решить было бы нелегко.

«Видишь ли, Бови — не сердись, само выскочило из-под пера,— ты ведь тоже только там чувствуешь себя хорошо — я хотел сказать, сравнительно хорошо,— где и капитал твой, и проценты с него у тебя под рукой. Вот и со мной точно так же. А что будет потом, когда мы вообще никак не будем себя чувствовать, об этом и заботиться нет нужды... и в Швеции точно так же перепахивают кладбища. А здесь — здесь, пожалуй, добрых две улицы можно заселить людьми, которых я своими руками вернул к жизни, они и сами-то почти все забыли об этом. Я мог бы сказать тебе так, и ты уж прости мне сей скромный поэтический пафос: у меня нет потомства, дарованного природой, ибо погибли мои сыновья, но я из мести, с помощью шприца, в других людей влил собственную свою жизнь, и через тысячу лет у меня будет в тысячу раз больше потомков, чем у тех, кто погубил моих сыновей.

Игра слов, скажешь ты? Возможно, но когда человеку под семьдесят, очень и очень ободряющая игра, по крайней мере, для меня.

К тому же, есть причины — сегодня утром прибавилась еще одна — написать тебе это письмо. Что же касается твоих взглядов — как я понял их в общих чертах,— то допускаю, что во многом ты прав. Хотя сам я этому не верю. Никак, никоим образом не верю, и так тому и быть, тебя же я отнюдь убеждать не собираюсь. Да и не сумел бы — ведь в нашем возрасте человек с трудом воспринимает истину, которая могла бы перечеркнуть всю его жизнь...»

Выйдя из дому, он зашел на почту и сдал письмо.

Вызовов было немного, но все по дальним адресам; пришлось исходить чуть не всю деревню. Впрочем, сегодня он мало двигался, небольшая прогулка полезна для здоровья.

Уже вечерело, когда старый доктор, побывав с визитом чуть не у самого кладбища, неторопливо зашагал домой. Свернув в Градский переулок, он увидел, что окна в доме Марковичей открыты настежь. В комнате горел свет. Наружу вырывался сильный голос молодого спортсмена, должно быть, он рассказывал что-то смешное и сам смеялся; и еще показалось доктору, что к его баритону примешивалась музыка чистого сопрано... впрочем, старый доктор не был в этом уверен.

«На сегодня довольно,— подумал он,— я хорошо погулял, так что засну быстро. Но завтра непременно зайду к Пишколти».

■

С той минуты, как приехала наследница, Маришка словно воды в рот набрала. Пока все вертелось вокруг Ади, ее молчания никто не замечал, однако после обеда старая докторша вдруг обратила внимание, что Маришка не вторит ее жалобам и озабоченным вздохам.

Так же безмолвна была она и за ужином, подавала, принимала — все было бы хорошо, если б не это ее молчание, мешавшее насладиться приготовленными по случаю приезда гостьи пирожными и печеньями.

Старый доктор едва притронулся к еде, докторша торопилась отужинать, так как по телевизору сегодня обещали хороший фильм. Маришка тоже любила фильмы, но на этот раз сесть к телевизору не пожелала. Она вымыла посуду, поджарила кофе, подтерла на кухне пол и к тому времени, как кончился фильм, успела прибраться и в ванной.

Старая докторша подержала лицо над паром и наложила маску на ночь особенно толстым слоем. Немного спустя на кухню вышел старый доктор, уже переодевшись в пижаму, и попросил стаканчик содовой. Пока он медленно, глоток за глотком, пил воду, Маришка стояла перед ним с сифоном в руках, готовая тут же налить еще, и вдруг спросила:

— Господин доктор, мне-то как быть... на что рассчитывать, значит?

Старый доктор отдал ей стакан, знаком показав, что напился. Он, очевидно, не понял вопроса или не был уверен, что понял правильно, и поэтому выжидательно молчал.

— Оно ведь, конечно, если вы отсюда уедете...— продолжала домоправительница, решившись, должно быть, высказаться до конца; на побледневшем лице ее особенно четко обозначился лиловый след ожога, от виска до шеи.— Вы уж в мое положение войдите, мне-то ведь тоже есть о чем подумать... заранее... я ведь... Сами знаете, с тех пор как... я, сами знаете...

Голос у нее прервался, она умолкла, усилием воли подавив непрошеные слезы.

— Вот что, Маришка,— сказал доктор задумчиво и налил себе еще полстакана содовой,— вот что я хочу вам сказать... Насколько мне известно, я не давал повода к недоверию. Можете быть совершенно спо-

койны, я о вас всегда позабочусь, это первое. А второе... отсюда я только в одно место перееду...

— Ох, господин доктор, зачем это вы так...— Маришка явно успокоилась и заговорила вдруг тем доверительным шепотом, каким разговаривала с хозяйкой в их маленьких заговорах против самого доктора.— А только хозяйка-то... очень уж она про это думает... хочется ей...

— Да, да,— пробормотал доктор недовольно.

Он допил остатки содовой в стакане и пошел в спальню.

Вскоре Маришке пришло на ум вычистить несколько пар туфель. Они стояли в той самой комнате, где накануне спал доктор. Нашлись здесь у нее и другие дела. За стеною, в спальне, сперва было тихо. Потом хозяйка что-то сказала — Маришка не расслышала,— а хозяин в ответ стал сердито поминать какую-то «мадам Трабан», которая затем превратилась в «мадам Шкоду», а, впрочем, вполне могла бы переименоваться и в «мадам Волгу», пожалуй, к тому оно идет, тем более что ей совершенно неважно, если «доктор Волга» окажется еще на десять-пятнадцать лет старше «доктора Шкоды».

6. ПЯТНИЦА

Всю ночь напролет гудел за окнами ветер, шумел только что распустившейся молодой листвой, подсушивал колею на дороге, всю в лужах после дождя, прошедшего в среду.

К утру ветер начал стихать, по небу с запада на восток стремительно неслись легкие облака. То одно, то другое облачко вдруг словно бы останавливалось, замирало над грядою дальних гор, но тут же снова пускалось в путь следом за подгоняемым порывами ветра стадом.

Утром старый доктор решил, что с нынешнего дня организует свою жизнь иначе: всю работу по возможности перенесет на первую половину дня, постарается сразу же после амбулаторного приема покончить и с визитами на дом. Стало быть, после полудня он освободится и сможет располагать своим временем как угодно — отдыхать, гулять, развлекаться, конечно, если не окажется срочных вызовов. Впрочем, при сокращенном участке и они не очень утомительны.

Шесть часов — работа, восемнадцать часов — отдых.

«Да, это вполне выносимо,— думал он.— Труд в определенных границах скорее освежает, нежели утомляет... отдых, разумеется, тоже освежает, но лишь тогда, когда есть после чего отдыхать. В противном случае отдых, отдых как самоцель,— это агония и только... по крайней мере, инкубационный период агонии.

Иначе говоря,— продолжал он свои размышления, уже не без иронии,— утром наслаждаешься работой, а после полудня и до следующего утра — отдыхом... не жизнь, а сплошное наслаждение... до самой могилы».

Он строил планы будущей жизни так, чтобы уже не менять их. Понимал, что придется как-то убедить жену. И умышленно забывал о том, что через каких-нибудь несколько недель его заменит на участке свежеиспеченный врач. В душе он считал, что и тогда все как-то образуется, что и в этом случае он будет придерживаться только что выработанного распорядка дня.

■

Рано утром животновод кооператива выехал на своем новеньком мотоцикле на эчерскую ферму, но налетел по дороге на груду гравия, перевернулся и сломал себе руку. Животноводу было лет пятьдесят с лишком, мотоцикл он купил недавно, весною, и еще не очень уверенно

владел им. Как потом выяснилось, он сел на мотоцикл, не умея ездить даже на велосипеде. В амбулаторию его привезли на кооперативном грузовике. Кроме перелома у пострадавшего было еще несколько тяжелых ушибов.

Других достойных упоминания случаев в это утро больше не произошло.

Старый доктор предполагал, что насыщенное трудами утро должно утомить его. Однако он не устал, даже не вспомнил об усталости и только позднее, за обедом, вдруг удивился: дневная норма позади, а он чувствует себя по-прежнему свежим и бодрым. Хорошее душевное и физическое состояние он отнес за счет правильного распорядка дня, однако тут же вынужден был признать, что его умозаключение несколько хромает — ведь новый распорядок дня, установленный сегодня утром, пока ничем не отличался от старого.

Когда он ушел к себе, собираясь прилечь — обязательным пунктом нового распорядка был послеобеденный отдых,— вошла жена и шепотом спросила:

— Ты говорил что-нибудь Маришке?

— Ничего особенного,— пожал плечами старый доктор, но в глазах его появилось смятение, с каким смотрит ребенок, уличенный в дурном поступке.

— Все-таки что-то ты сказал ей! — В тоне докторши звучало явное подозрение.

Она уже не сомневалась, что домоправительница получила вполне определенные и удовлетворившие ее разъяснения.

Старый доктор снял очки, положил их на курительный столик и стал развязывать шнурки на ботинках.

— Ну, видишь ли, вчера вечером... Я видел, какая она была вся поникшая... в конечном счете, у нее нет для этого ни малейшей причины.

— О, я уж не знаю, что она только воображает себе! — раздраженно воскликнула докторша, позабыв, что надо говорить шепотом.— Да найдется ли во всей округе другая прислуга, которая получала бы столько, сколько она?! Вон у нотариуса девушка и сейчас на триста форинтов меньше получает... А подарки, а все остальное!..

— Нотариусова девушка и в ряд не идет с Маришкой. А ты не только что за триста, и за шестьсот форинтов не сменяешь Маришку на ту девчонку.

Такая защита интересов Маришки окончательно вывела докторшу из себя, пухлое лицо ее пошло красными пятнами. Она взяла сигарету, хотя курила редко — разве что в компании или вот так, рассердившись.

— Только того и не хватало, чтобы ты ее поддерживал! — воскликнула она.— Впрочем, у меня нет решительно никаких возражений против Маришки, и она очень ошибается, если считает, будто я что-нибудь такое... про нее... Слышала она от меня когда-нибудь дурное слово?.. Но пусть и Маришка будет добра уразуметь, что в Будапеште мы, к сожалению, не сможем вести такое хозяйство — на одну только пенсию, без клиентуры. Хорошо еще, если приходящую сможем нанять.

Старый доктор не ложился. Он выжидательно сидел на краю дивана и упорно рассматривал лежавшие на столике очки, избегая взгляда жены.

— Мы ведь пока что не в Будапеште,— произнес он нехотя.

Жена тоже опустилась на стул, приготовясь к долгому разговору.

— Дежё, скажи мне откровенно,— беспокойно заговорила она.— Сколько времени ты намерен здесь оставаться?

— Это не от меня зависит.

— А от кого же?

— Не от меня. И потом, ведь нет точного срока...

— То есть как нет срока?

— Я не знаю, когда они пришлют...

— Еще вчера ты знал это. Говорил, неделя-другая! — Она продолжала расспрашивать, подозревая уже, но все еще не угадывая истину.— Я очень прошу тебя, Дежё, будь со мной совершенно откровенен. Каковы намерения в области?

— Это несущественно.

— Неважно, существенно или нет. Каковы их намерения?

Старый доктор задумчиво смотрел в окно. В саду под окном расцветала белая сирень.

— Послушай, Эмми,— начал он, видимо с трудом,— я знаю, что ты мечтаешь выбраться отсюда... В какой-то степени это и понятно... с твоей точки зрения, так сказать... И все же я прошу: потерпи немного.

— Но ради бога, Дежё, до каких пор? До каких же пор ты хочешь еще?..

Она совсем расстроилась и, то и дело сморкаясь и всхлипывая, тоже стала смотреть в окно. На лице ее застыла упрямая и жалобная гримаса.

— Боюсь, что недолго. Насколько могу судить, недолго уже... А после — после у тебя еще будет время... не пойми меня превратно, но мы не дети, поговорим же начистоту... тогда уж, после, тебе не нужно будет ни к кому приноравливаться. Возможно, с моей стороны это лишь гадкий эгоизм, но я все же хотел бы, чтобы ты некоторое время еще приноравливалась ко мне, считалась со мной, что ли... И давай снимем с повестки дня тему о переезде. Сейчас я не могу этим заниматься.

Потрясенная, старая докторша не могла сперва вымолвить ни слова. Потом хлынули слезы.

— Значит, ты думаешь... что я,— прерывающимся от слез голосом заговорила она,— думаешь... что я из-за себя... Да ведь именно тебе нужно... нужен покой... хоть немного...

— Ну, хорошо, хорошо, нужен, конечно... и оставим это, если так,— проговорил старый доктор с явным раздражением. Подтянув клетчатое одеяло, он расправил его и лег.— Для меня будет лучше всего, покойнее всего, если мы навсегда оставим эту тему. А сейчас тем более, очень прошу тебя, оставим это, я устал.

Его и правда сильно вымотал этот разговор, больше, чем проведенное с больными утро.

Старая докторша вся в слезах ушла в другую комнату и заперлась там.

■

Погода в этот день стояла прекрасная.

Солнце грело совсем по-летнему, но жары не было — она растворялась в прохладе свежей весенней листвы и парующей земли.

Сегодня девушки в первый раз нарядились в новые летние платья. И сразу у всех нашлось множество дел на улице — одна бежала в лавку, другая спешила к артезианскому колодцу, третьей нужно было срочно сообщить что-то бабушке; многие в обновках отправились на работу в сады и там, скрывшись за кустами бузины, переодевались с таинственно-манящими вскриками.

Вышла на работу и Жужа Тёрёк, только была она в прошлогоднем платьишке. Жуже все казалось, что платье тесно ей в талии, и она, улучив минутку, нет-нет да одергивала его торопливо. Конечно, девушка ничуть не потолстела по сравнению с прошлой весной и платье совсем не было ей тесно, но так уж ей казалось...

Она работала молча, ловко орудуя мотыгой. Прислушиваясь к всплескам голосов за спиной, к щебету далеко отставших от нее това-

рок, Жужа сердилась: все им хиханьки да хаханьки, в работе от них больше вреда, чем пользы. Из-за всякой глупости так и прыскают, слушать тошно...

На соседнем участке работали мужчины, сняв пиджаки.

Те, что помоложе, сбросили и рубашки, подставив солнечным лучам широкие голые спины.

После обеда маленькая учительница тоже надела новое летнее платье и, избегая взгляда аптекарши, ушла из дому. На этот раз она не свернула к Марковичам, только окинула тихий переулок быстрым взглядом и поспешила дальше, прямо к кладбищу.

Выстроившиеся вдоль дороги акации серебристо отсвечивали под солнечными лучами. Над их кудрявыми душистыми цветами с жужжанием кружились пчелы.

Чуть дальше, за кладбищем, протекала река, на том берегу ее широко раскинулись неровные, в кочках, луга. Дальше поднимался крутой холм, поросший кустарником, густые заросли терновника и шиповника по склонам надежно укрывали от глаз крохотные прогалины. Эту часть деревенских угодий — луга и кустистый холм — называли здесь Берек.

Молодая учительница обошла кладбище, глубоко вдыхая запах акаций. Глаза ее разбегались — ей хотелось все увидеть, все вобрать в себя: козу, вставшую передними лапами на ограду и пощипывающую молодую листву, ее козлят, нескладно прыгавших вдоль канавы, вспорхнувшую с дерева пичугу и аистов, величественно круживших над Береком. И кладбище тоже было красиво. Легкий ветерок лохматил светлые шапки маслин, раскачивал длинные плети плакучих ив. На аккуратно прибранных могилах весело играли живые краски распустившихся цветов.

Йоли видела и надгробные плиты, и поникших над могилами каменных ангелов, но не замечала их. В той картине, что улавливали ее чувства, фигурировали лишь душистые акации, раскачивающиеся плети ив, взлохмаченные маслины, пионы, все самое прекрасное из прекрасного, но ни могилам, ни печальным надгробиям не было места в ее душе, как и гниющим в земле костям и доскам.

Она готовилась к экзаменам и шла сейчас на Берек, чтобы пополнить свой гербарий. Пестрый ковер цветов виден был издалека, их множество было и на лугу, а особенно вдоль реки и еще дальше, у подножия холма, где расцветали желтые лютики. Лиловыми пятнами просвечивали в траве шалфей и ломонос, ярко светились белоснежные лепестки ромашек.

Йоли сорвала несколько растений и положила себе в папку, отделяя их друг от друга листами газеты.

Уже подымаясь по склону холма, она нашла и ландыши, и фиалки. В гербарии фиалки были и раньше, и она стала собирать их просто так, в букетик. А потом вдруг увидела того, кого ждала, и спряталась за кустом, наблюдая. Немного погодя, не высовываясь из-за куста, она подняла руку с букетиком фиалок и помахала.

Над рекой, облокотившись на перила моста, стоял молодой Маркович с неизменным своим транзистором через плечо. Он неуверенно озирался и долго не замечал призывных взмахов руки.

Все еще бледный, он уже заметно набрался сил, а главное — чему не уставала радоваться мать,— за последние дни в нем опять проснулась жажда жизни.

■

День склонялся уже к вечеру, когда старый доктор проснулся. Он выпил на кухне полстакана молока и, прихватив начатый роман, напра-

вился в сад. Утром жена выходила понежиться на солнышке: шезлонг стоял в саду, под кустом сирени, в самом конце дорожки.

Солнце замерло над вершиной ближней горы, его лучи уже не грели. Странные тени ползли по стене, а стена была розовая, как сбежавшиеся над самым горизонтом барашковые облака.

Дул приятный легкий ветерок, теплый и нежный; он едва шевелил листочки на березе. Сильно пахло акацией.

Положив книгу на колени, старый доктор откинулся на спинку, осмотрелся. Легкие глубоко вбирали душистый воздух.

Вдоль забора прошла пожилая женщина в широких юбках. Из-за реденькой еще листвы старому доктору хорошо видна была улица, и он сразу разглядел женщину. Долго, десятки лет она была лютая его ненавистница, даже к мужу, к смертному его ложу, вызывала врача из соседней деревни — и лишь недавно стала ходить к нему в амбулаторию со своим ревматизмом, получив через кооператив соцстраховскую карточку. Собственно говоря, ненависть к нему она унаследовала от матери, которая слыла на селе знахаркой. Когда старый доктор — тогда еще двадцатипятилетний молодой человек, только что окончивший курс,— приехал в деревню, знахарка, лечившая от чего-то мальчонку, сына батрака, занесла ему своими грязными притираниями столбняк. Доктор заявил на нее. Вот и пошла вражда.

Пробежали школьницы. Перебивая друг друга, они оживленно обсуждали что-то, очень их волновавшее.

Старый доктор не узнал девочек, хотя обе они, конечно, не раз попадались ему с воспалением легких, ветрянкой или еще с чем-нибудь — и уж во всяком случае являлись на обязательные прививки. Немногих детей он помнил в лицо, дети ведь так быстро растут, так меняются, за ними не уследишь.

Несколько минут улица была пустынна.

Затем на другой стороне появились два паренька. Они шли в ногу, плечом к плечу, молчаливые и заносчивые. Оба приоделись — где-то, должно быть, уже поджидают их девушки. У того, кто шел ближе к доктору, мать еще до замужества подхватила tbc, но доктору удалось вылечить ее, хотя тогда в помине не было изониципда. А другого паренька чуть не унесла дифтерия — было ему в то время годика четыре, может, пять, и родители умолили выпустить старого доктора из гетто, так как поблизости не оказалось другого врача. Мальчонка был уже при последнем издыхании — лежал без сознания, задыхался. Этот случай старому доктору особенно памятен: к больному его сопровождали два жандарма и, пока длился визит, дожидались на кухне...

Старый доктор сидел в шезлонге и, провожая глазами прохожих, неторопливо рылся в воспоминаниях.

Нежно повеяло запахом сирени, потом опять все заглушил аромат акаций.

Откуда-то донесся хриплый рев — по радио передавали концерт.

Сад можно засадить так, чтобы он все время цвел. Старому доктору приходилось слышать о таких садах, где с марта и до ноября расцветают цветы и где, с ранней черешни и до поздних, зимних уже яблок, непрерывно созревают плоды.

А без ухода и деревья болеют...

Заболеет дерево — садовник опыляет его или оперирует с помощью садовых ножниц... немного знал старый доктор о садоводстве, но что деревья тоже болеют и садовники опыляют и обрезают их, знал твердо. Да-да, садовники лечат деревья, пересаживают, подрезают их, охраняют от вредителей... а потом садовник умирает, но деревья продолжают жить.

Вот Чордаш, тот точно знает, когда и зачем нужно подрезать дерево, сделать прививку, опылить; он рассказывал, что сам и деревья сажает. Не для себя же сажает — это ведь из простого расчета ясно. Впрочем, деревья за десять-двадцать лет вырастут, а Чордаш еще такой крепкий, что твой дуб, столько-то вполне проживет.

«Удивительный человек, вот ведь и деревья сажает,— думал старый доктор.— И почему я не мог стать таким же?..»

Быстро смеркалось.

По улице двигались бесформенные пятна, и от березки остался лишь белый ствол да темный силуэт ее реденькой кроны — вечером, когда наплывали густые сумерки, старый доктор видел совсем плохо. Он уже привык к этому, то был один из симптомов, которые вкупе дали ему возможность поставить себе диагноз, и не слишком огорчался. Не углубляясь в размышления, он просто ждал, когда глаза привыкнут к темноте.

Мутный неверный туман, только что закрывавший все вокруг, мало-помалу рассеялся. Очертания забора, дома, деревьев, кустов отделились друг от друга, прояснились. Высоко над березкой старый доктор уже и раньше заметил Полярную звезду. А потом и другие звезды прорезали черноту неба; луна еще не появлялась, а может быть, уже скрылась.

И странное настроение охватило вдруг доктора.

Он явственно ощутил связь цветов, березы, деревни и свою собственную связь с возникающими на небе звездами — ощутил во всем этом неразрывность единого целого: небесные тела, в миллион раз превосходящие Землю, бесшумно проносятся в беспредельности, они мчатся со скоростью молний вот уже миллиарды лет, раскаленные, пылающие, ослепительные солнца, в безмерной дали от ближайших своих соседей, одинокие и, по видимости, всему чужие, независимые от всех близких и дальних солнц, мчатся по своему собственному пути. Но это лишь видимость. В действительности они не одиноки, не отделены от всего мира — нет, каждый из них является лишь частью великой Вселенной, пребывающей в непрерывном движении, и та же система сил, которая предначертала путь Полярной звезде, держит на ветвях листочки березы. Комар взлетит с крохотной травинки — и сдвинется со своей орбиты Земля, и Солнечная система, и все сотни миллиардов звезд, вот только кто скажет, насколько?..

Старый доктор задумчиво созерцал немое сияние небес, и ему вдруг представилось, что там, между плавящимися солнцами, мчатся своими путями еще иные миры, темные, не видимые человеческим глазом,— остывшие солнца, сжавшиеся, обращенные в камень.

Это мертвые солнца, но они такие же элементы мироздания, как и пылающие их собратья, и они тоже влияют на окружающие их звездные миры.

С точки зрения великого Целого минутное состояние и форма материи не имеет ни смысла, ни значения, ибо в системе сил, связывающих воедино мироздание, играют роль лишь атомы материи, и живое и мертвое с одинаковой силой притягивает Земля.

«Шестьдесят четыре кило материи, в ее минутной форме и состоянии... вот что я такое»,— думал старый доктор. Он думал об этом без всякой иронии, с тем не проясненным в словах, но отчетливым ощущением, что лишь для существ, одаренных способностью мыслить, «минутная форма» представляется важной — особенно «минутная форма» строительного материала собственного тела,— но формы эти не имеют ни малейшего смысла в великом мироздании в целом.

Человек заносчив, он давно уже утерял чувство времени и меры. Он придумывает себе уютные райские кущи где-то там, меж звездами, он устанавливает мраморные памятники на родной планете, здесь, внизу.

Любой ценой тщится он жить вечно, по крайней мере в имени своем, в славе своей. Он создает кибернетические машины, но сам никак не хочет додумать до конца, что же означает во временном течении мирозданья ничтожная сотня тысяч земных лет — пусть даже миллиард, какая уж тут разница?!

Бесконечно малые величины, даже увеличенные во сто крат, остаются бесконечно малыми: жизнь — это одно мгновение, и жизнь мраморных памятников не более чем мгновение. Человек избавился бы от многих несчастий, иллюзий, если бы уразумел наконец границы «мгновения» — границы, которые можно расширить, но в которых невозможно пробить брешь.

«Оно, конечно,— размышлял доктор, уже с привычной иронией,— границы эти легче уразуметь тому, кто их уже нащупывает. Сорок лет назад не этим была занята у меня голова в такие вот летние вечера...

Итак, логически мы приходим к выводу, что единственно разумный образ жизни — ловить мгновение, жить сегодняшним днем... и ничего более. Однако же такая жизнь совершенно бессмысленна и бесцельна».

Он вспомнил, что в другом случае, идя другим путем, пришел однажды к тем же выводам. Но когда это было и в связи с чем, уже забылось.

Было ветрено, шумели деревья. Сияли звездные поля. Теплый воздух приятно овевал кожу.

Вероятно, он задремал, потому что услышал вдруг совсем рядом скрип гравия.

Старый доктор не пошевелился, только открыл глаза.

На дорожке, в двух шагах от него, стояла Маришка. Она стояла неподвижно и смотрела, оцепенев. И даже в вечерних сумерках различима была в ее глазах тень страха и инстинктивное отвращение...

■

Мнения в деревне разошлись. Многие привыкли к старому доктору, как привыкают к мебели, жалели, что он выходит на пенсию, и радовались, узнав, что пока все-таки остается. Привязывали их к старому доктору большей частью какие-нибудь давние воспоминания: у одних он быстро вылечил ребенка от воспаления легких, у кого-то когда-то — может быть, двадцать лет назад, но ведь о таком не забывают до конца жизни — не взял денег за визит. А некоторым помнились его шутки или просто доброе слово: кого-то он похвалил за мужество, дивился, что тот умеет молча терпеть боль.

Другим же — и было их ничуть не меньше — быстро пришелся по нраву молодой врач, и они сожалели о его отъезде. Возможно, за две недели, что он прожил в деревне, им и не довелось побывать у него на приеме, но все же он понравился, потому что был молод, силен, здоров, казался симпатичным на вид и больных навещал, разъезжая на мотоцикле.

Кроме того, Борбат не успел еще обзавестись врагами в деревне. А у старого доктора враги были и недоброжелатели тоже.

Например, железнодорожник, который жил возле станции, был уверен, что именно из-за старого доктора его избили весной сорок пятого народные дружинники. Этот железнодорожник был в свое время нилашистом. Когда на станцию пригнали этап с «желтыми звездами», он плюнул в людей с маневрового состава и попал в старого доктора. Из всей группы, которую распихали тогда по вагонам, вернулись только старый доктор да его жена. И железнодорожник был убежден, что избили его из-за доктора.

Женщина с Приреченской, жена дорожного рабочего, не могла ему простить, что в начале пятидесятых годов у нее внезапно скончался сынишка — ясно, что старый доктор прописал ему не то лекарство!..

А у дочери бывшей знахарки ненависть к нему уже наследственная.

Словом, недруги были всякие...

По деревне пошли разговоры, и даже в совете поговаривали о том, что из-за старого доктора в деревню не дают нового, молодого. «Давно уж не убивался он так из-за денег,— качали головами кумушки у колодца,— а только для кого копит, ведь нет у него никого, зачем же так цепляется, до последнего?..»

Придя в пятницу к Пишколти гладить белье, их приходящая работница охотно выложила все сплетни, за ужином аптекарша пересказала их мужу. Оба они знали в общих чертах о том, что творится в доме у старого врача — докторша охотно доставляла им все сведения вместе с новейшими рецептами,— но разговоры эти гвоздем засели в голове у Пишколти.

— Что-то здесь есть, нет дыма без огня.

— Не верю я, чтобы Дежё...— проговорила аптекарша.— Хотя, конечно, нелегко ему. Тому, кто всю жизнь не знал никаких забот, нелегко урезывать себя.

Они еще сидели за столом, когда вернулась Йоли с гербарием под мышкой и заглянула в кухню поздороваться.

— Уж мы ждали, дождаться не могли,— укоризненно сказала аптекарша, с любопытством оглядывая девушку.— Скорее же, не то хворост простынет.

— Спасибо, тетя Бёжи, я... сейчас я не голодна, спасибо.

— Уж не поссорились ли? — внезапно спросила аптекарша. Она инстинктивно чувствовала, что причиной поздних прогулок Йоли должен быть молодой человек, хотя никаких сплетен до нее еще не дошло.

Девушка взялась было за ручку двери. Но услышав вопрос аптекарши, оглянулась и покраснела, смутившись.

— С кем?

Аптекарша смеялась до слез, так что груди ее сотрясались.

— Кое с кем... То-то!.. Ага! Ага!

Открытие не давало ей покоя. Когда девушка закрылась у себя в комнате, аптекарша к ней постучала.

— Не ложитесь, Йоли, наш докторчик придет!

Тишина.

— У меня голова болит, тетя Бёжи, я сейчас... нет, нет, сейчас я не могу,— ответила Йоли после паузы, но дверь так и не открыла.

Часов около девяти пришел старый доктор. Он был невесел: жена все еще дулась на него из-за послеобеденного разговора, и он даже не поужинал.

— А Эммике? — поинтересовалась аптекарша.

— Мы с ней в состоянии войны.

Хозяева не стали допытываться, что случилось, они знали причину. После обеда, когда старый доктор еще дремал, докторша забегала к ним поменять очередной иллюстрированный журнал.

Пишколти в ожидании партнера уже расставил на доске фигуры. Пока они разыгрывали начало партии, хозяйка сварила кофе.

Старый доктор от кофе отказался и неторопливо отхлебывал малиновый сироп, да и то понемножку. Аптекарша пододвинула к нему серебряный ящичек для сигар.

— Может, попробуете, Дежё... ну чистая роза! Даже я пробовала.

В ящичке лежали крохотные, немногим больше сигареты сигары из лучшего кубинского табака. Пишколти получили его в посылочке из-за границы.

— Спасибо, я ведь не курю,— проговорил старый доктор рассеянно. Он на одну лишь секунду оторвал глаза от доски и тут же, чтобы подстраховать слона, продвинул крайнюю пешку.

— А ты вообще курил когда-нибудь сигары? — спросил аптекарь.

— Нет. Как будто нет.

— Ну, а пьяным был?

— Однажды. Но уж крепко пьян был.

— А на скачках бывал?

— Нет. Еще не бывал.

— Что значит «еще»? Собираешься побывать?

Старый доктор следил за доской и лишь головой мотнул, показывая, что побывать на скачках уже не хочет.

«Любопытно было бы,— подумал он, укрепив заодно позицию ладьи,— любопытно было бы, если б человек заранее знал: вот этого уже не будет, никогда в жизни не будет, а это сейчас происходит в последний раз. В самый последний раз».

— А море ты видел?

Старый доктор опять покачал головой и посмотрел на Пишколти испытующе. Но старый аптекарь, конечно, и не подозревал о предложении Лебовича и спросил о море совершенно случайно.

Пишколти готовился атаковать конем.

— Скажи мне, Дежё, откровенно, что же все-таки было в твоей жизни. Про то, что у тебя были женщины, и женщины необыкновенные, можешь не говорить.

Аптекарша, склонившись над полученным сегодня от докторши иллюстрированным журналом, напряженно слушала их беседу.

— Не было у меня необыкновенных женщин,— сказал старый доктор.— Хотя... в те годы каждая женщина — необыкновенная.

— Но-но! Я ведь помню одну, блондиночку... ты пользовал ее некоторое время.

— Ты об Андялке? — улыбнулся старый доктор.

Но рассказывать о неожиданной встрече в городе не стал. Нехорошо получилось бы, ведь он и жене не рассказал ничего.

— Во всяком случае, скучать мне не приходилось,— добавил он, отводя ферзя в безопасное место. С тех пор как они знают друг друга, аптекарь вечно жаловался ему на скуку.

Они разменяли фигуры, Пишколти отбил атаку пешек. Ничья.

— На этот раз ты выплыл,— сказал Пишколти, хотя в конце партии именно он оказался в трудном положении. И торопливо, дрожащими пальцами расставляя фигуры, по своему обыкновению болтал: — Говорят, Дежё, это ты выставил отсюда Борбата...

Старый доктор потер пальцами виски, улыбнулся, но промолчал.

— Разговоры-то идут, а знаешь ведь, нет дыма без огня...— Старый аптекарь, значительно кивая, бережно повернул доску.

— Что уж с них взять, деревня... не обращайте внимания, Дежё! — проговорила его жена, не поднимая глаз от журнала.

Только сейчас старый доктор понял, что это не шутка. Вокруг губ у него залегли горькие складки.

Все внимание он сосредоточил на шахматной доске: ему неприятно было бы думать сейчас о чем-нибудь другом.

— Ничего не поделаешь, Дежё, приходится уступать свое место, таков порядок в этом мире,— расфилософствовался Пишколти.— Люди тянутся к молодым, присмотрись хоть к женщинам, я-то давно уж это подметил...

Старый доктор, не отвечая, сделал ход, на королевском крыле позиция развивалась недурно. Потом спросил:

— А что Йоли?

Аптекарша ждала этого вопроса и торопливо начала рассказывать новости: Йоли обзавелась кавалером, вот и сегодня дотемна собирала где-то ландыши, да только неизвестно, было ли кому фонариком светить. На лбу у нее выступила испарина, пухлое лицо, белая шея раскраснелись: ее явно волновала возможность посплетничать о маленькой учительнице, у которой появился кто-то. Аптекарше перевалило за пятьдесят, однако женщина она была здоровая и во всех смыслах слишком молода для Пишколти.

— У меня есть подозрение, Дежё, мое личное, так сказать, наблюдение...— добавила она тут же шепотом, но передумала.— Пока ничего не скажу, а там увидим. Одно точно — ландыш этот на двух ногах ходит!..

Сплетня взволновала старого доктора, он угадал, что аптекарша намекает на молодого Марковича. Непременно нужно будет поговорить с Йоли. Хотя бы и наедине. Если сегодня ничего не выйдет, то завтра надо будет просто заглянуть к ней в школу.

В прихожей отворилась дверь, вошла Маришка. Больной, у которого подозревают тиф, чувствует себя очень худо, господина доктора просят прийти, помочь чем-нибудь.

Старому доктору жалко было бросать неоконченную партию: наступление на королевском фланге разворачивалось прекрасно. Он окинул последним взглядом расположение фигур и сказал:

— Завтра продолжим. Мой ход.

■

Окно было темное — окно в комнатке Йоли.

Маленькая учительница слышала, как старый доктор прощался, но все внешние звуки пропадали для нее, она вслушивалась сейчас только в себя. Сбросив одеяло, она лежала в темноте на постели, укачиваемая гулкими смятенными ощущениями. Молодое тело напружинилось, пронзенное воспоминанием о мужской руке, блуждающей по нему, оно напружинилось, оно горело — и Йоли была сейчас совершенно и бесконечно счастлива.

Потом вдруг в мыслях ее пронесся образ удаляющегося старика, и, непонятно почему, душой ее овладел незнакомый и странный страх: долго ли будет так, как сейчас, и что будет потом?

7. СУББОТА

Чуть не в полночь возвратился вчера с ночного вызова старый доктор. Тяжелый случай растревожил его, измотал, он принял снотворное, сразу две таблетки, и лег.

«Господин доктор ведь не из страховой кассы? Это молодой доктор был, верно, из страховой кассы?» — спросила хозяйка, мать больного, когда доктор после осмотра мыл руки на кухне.

Ему неприятен был этот вопрос. Последнее время почему-то многое было ему неприятно.

«Ну, а утром почему я не устал? — думал он, уже лежа в постели.— Ведь совершенно не устал, совершенно».

В голове что-то напряглось — так бывало и прежде,— потом в области затылка пробежали мурашки, и старый доктор заснул.

Проснулся он от возбужденных голосов. Было темно.

Приглушенный голос, очевидно, Маришки, спорил с кем-то на террасе. Гудел ветер, и ничего нельзя было разобрать.

Он включил ночник. Четверть третьего.

Жена уже сидела в постели.

— Вот видишь, Дежё,— сказала она с укором.— Да если и назна-

чат сюда кого-нибудь, все равно все останется по-прежнему. Не найдут дома нового врача, куда ж и бежать, как не к тебе!

Голова у жены была обвязана полотенцем. С тех пор как здесь побывала Ади, докторша стала иначе укладывать волосы на ночь. Комната благоухала запахом нового крема.

Маришка заметила, вероятно, что в спальне проснулись, постучала и приоткрыла дверь. Снаружи, с террасы, донесся мужской голос:

— ...а несчастная женщина, что же, пусть так и мучается? Да чем же она виновата?..

Маришка сказала с порога:

— Господин доктор, я ему твержу, что господин доктор болен и спать ему не дали ни минуточки, а только ничего на него не действует, все понапрасну...— У Маришки было строгое выражение лица и подобающий случаю тон.— Это от Морэ приехали, с эчерского хутора...

Старый доктор встал, набросил на себя купальный халат и вышел в прихожую. Коротко расспросил о больной, чтобы взять с собой все необходимое.

Приехал за ним молодой Морэ на мотоцикле с коляской. Это был широколицый приземистый мужчина лет тридцати, говорил он торопливо, захлебываясь — возможно, просто от волнения. Он уже побывал на соседнем участке у доктора Сакача, но не застал дома; они, должно быть, просчитались, записали жену в районную больницу на следующий месяц... а может, не приведи господи, с ней другая какая беда, но только вечером часов в восемь боли у ней начались. Ну и подумали, что теперь уж все равно, судьба, видно, дома родить, да и повитуха прежняя тут же, на хуторе проживает, вот он теперь и не знает, что там сейчас, одно только знает, что кричит сильно жена, очень мучается, а в полночь уж и повитуха сказала, чтоб немедля привезли доктора.

— Мы ведь заплатим, господин доктор, не хуже других,— договорил он наконец.

— Платить вы мне не будете,— раздраженно ответил доктор.

Семейство Морэ навевало на него дурные воспоминания.

Он молча оделся. С женой не попрощался — она тем временем уснула или сделала вид, что уснула. Зашел в амбулаторию за недостающими инструментами. Возможно, придется в самых примитивных условиях делать разрезы или кесарево сечение — ведь нужно иметь в виду и самые тяжелые осложнения. Женщина, очевидно, уже в таком положении, когда переправлять ее в больницу рискованней, чем провести операцию на месте.

Маришка ждала у двери с шерстяным пледом в руках.

— Вы вот что, слышите! — сурово обратилась она к молодому человеку, оправляя плед у доктора на коленях.— Нынче вот тоже кто-то руки-ноги себе поломал на этой дороге, так что не гоните... не дай бог, с господином доктором какая беда приключится, тогда вам не сдобровать, слышите?!

Молодой Морэ был согласен на все и только что не кланялся. Он бросился вдруг к мотору, покопался там, затем поспешно вскочил на сиденье и, повернувшись к своему пассажиру, сказал неуверенно, с явным желанием расположить к себе:

— Жена-то, бедняга, право... Мы ведь все люди, господин доктор. А вы свою шляпу-то придерживайте. Ветровое стекло вроде защищает, а только надежней будет придерживать немного.

Старый доктор ничего не ответил, даже не взглянул на него, только взялся за край шляпы. Он был раздражен, он очень устал. В голове стоял гул, в висках кололо, словно иголкой. Впрочем, не в первый раз...

Рев мотора заглушил завывания ветра. Молодой человек ехал не слишком быстро, но казалось, что он мчится вовсю. Из тьмы вырыва-

лись внезапно то стена дома, то придорожное дерево — и так же внезапно исчезали.

Ветер задувал за передний щиток, по-настоящему, всей кожей скорость ощущаешь только на мотоцикле.

«Надо сказать ему,— решал про себя старый доктор,— сказать, чтоб не гнал...» Но так ничего и не сказал молодому Морэ. Хотя было жутко. Он напряженно всматривался в дорогу, почти не видя ее, и изо всех сил сжимал в руке край шляпы.

Когда промелькнул Градский переулок, доктор подумал, что сегодня непременно поговорит с Йоли, и тут же вспомнил вчерашний разговор у Пишколти, который так больно ударил его в самое сердце.

С горьким привкусом во рту он ушел ненадолго в мысли о вчерашнем. Таковы люди — и сегодня, да и завтра, вероятно,— на тысячу людей, может, только десяток таких и наберется, которые готовы для других на все. Вот он — Народ, без всяких громких фраз... Точь-в-точь такой, как и сам Человек: тихо дремлют в нем все и всяческие свойства, от кровожадности до способности к самопожертвованию, а какое из них возьмет верх, зависит лишь от обстоятельств.

«Вот я и говорю... потому именно я и говорю... — вертелось у него в голове без начала, без конца. Дорога сделала крутой поворот, и мысли тоже изменили направление: — Да, да, потомки. Вовсе не обязательно, что из вчерашних десяти на все готовых людей завтрашние десять... а может, завтрашние пять — потомки их по крови... Вот и этот Морэ... Может, и он готов на все... хотя откуда я знаю...»

Мысли разбежались, некоторое время он уже ни о чем не думал, только по-прежнему крепко держал свою шляпу.

Булавочные уколы в висках немного утихли, но нервы по-прежнему были напряжены до предела и гудели, как провода. И — поначалу едва заметная — все разрасталась в затылке пульсирующая боль.

Шшш... шшш... шшш...— со свистом проносились, отставая, шелковицы. Ветер становился все задиристее, холоднее, вероятно, надвигалась гроза. Небо еще с вечера нахмурилось, только на юге у самого горизонта тускло мигало несколько звезд.

Слева блеснула зарница. Где-то очень далеко была гроза.

Пахну́ло влажной свежестью, воздух был напоен запахом дождя и акаций. Затем снова обволокло парами бензина. Доктора отчаянно трясло — гусеничные тракторы совсем разбили дорогу.

Головная боль все усиливалась, тряска была крайне неприятна. Старый доктор старался об этом не думать, отвлечься чем-нибудь более важным: «Утром буду спать, уж это наверное... а прием перенесем на вторую половину дня. Маришка все уладит. И обязательно поговорю с Эмми о Маришке, а может, и черным по белому документами оформим... слишком уж Эмми влюбилась в свою наследницу, какое вообще мне дело до этой особы...»

Сильно болела голова.

«А с Жужей Тёрёк... ну да видно будет. На той неделе увидим, и анализы будут уже готовы...

Я все захватил... обойдется и без больницы... должно быть, начались роды... я-то прихватил все, что нужно... Раньше, чем через четверть часа, мне не прийти в себя, кошмар эта тряска...»

Завывал ветер. Вдали пока еще беззвучно вспыхивали молнии.

На эчерском хуторе перед какой-то конюшней горел свет. В новом жилом районе не видно было даже домов, такая стояла кругом тьма, и только два квадратных окна были ярко освещены. Они еще издали бросались в глаза.

Старая повитуха не сразу распознала неправильное положение плода. К тому же роды начались прежде времени, но домашние вначa-

ле не сказали ей об этом, так как и сами толком ничего не знали. Молодая женщина убирала в доме и подняла кушетку, чтобы не поцарапать пол,— тут, очевидно, и стряслась беда.

Случай оказался не слишком тяжелый, старый доктор приготовился к худшему. В конце концов удалось спасти и ребенка — часам к пяти утра родилась девочка. На лице и на грудке у нее были кровоподтеки, но она была жива и казалась жизнеспособной.

Повитуха занялась младенцем, а старый доктор, осмотрев мать, попросил теплой воды и помылся. Бессонная ночь и длительное нервное напряжение лишили его последних сил, только сейчас он почувствовал, как бесконечно устал. А ведь придется побыть здесь еще час, не меньше, только тогда он сможет препоручить больную заботам домашних.

— Попрошу глоток воды,— сказал он.

— У нас немного кофе есть... если не побрезгуете, господин доктор. Или, может, лучше чаю заварить?

— Нет, спасибо. Принесите воды.

Морэ-старшая, свекровь роженицы — костлявая крестьянка лет пятидесяти, совсем уже старуха, с жидким пучком волос — торопливо бросилась на кухню. Она налила воды в стакан, но внесла не сразу, так как заметила на полке синюю эмалированную кастрюлю на пять литров. Спрятав ее подальше от глаз, в шкафчик, переставила туда же из буфета три одинаковые фарфоровые чашки с золотым ободком и только после этого понесла доктору воду.

Между тем новорожденную обмыли, на сморщенном личике ясней проступили кровоподтеки.

Морэ-старшая разложила на столе заранее приготовленные пеленки. Повитуха поднесла младенца. Девочка плакала и сучила ручками-ножками. Бабушка, наклонившись к ней, загулькала и стала бережно пеленать.

— Ах, боже мой, да что ж это? — Она только теперь заметила кровоподтеки.

Подхватив младенца вместе с пеленками, старуха протянула его к старому доктору.

— Поглядите, господин доктор, вы поглядите только... да неужто так оно и останется?

В тоне ее старый доктор почувствовал обвинение. Она призывала его к ответу! Гнев охватил его вдруг с такой нежданной силой, что он способен был ударить старуху. Но он не успел даже ответить: беспокойный младенец выскользнул вдруг из рук бабки — если упадет, конец! — и старый доктор, испугавшись, стремительно, инстинктивным движением подхватил его. Морэ испугалась тоже: «Ох, господи!» — воскликнула она, потом нежно обняла, прижала к себе девочку, повернулась с нею к столу — и тут услышала за спиной шум падения.

— Господин доктор!..

Толстая повитуха попыталась поднять его, но не справилась одна. Вдвоем тоже ничего не вышло, позвали из соседней комнаты мужчин. Они уже вспрыскивали там новорожденную — им сказали, что родилась девочка.

С дивана все убрали, хозяйка принесла подушку, и старого доктора уложили. Под голову ему сунули сложенное вдвое полотенце, чтобы не испачкал подушку кровью, стекавшей по лицу: то ли очками поранился, то ли ударился о ножку стула.

Повитуха подержала его запястье, но нащупать пульс не смогла.

— Доктора нужно бы. И поскорее. Или скорую помощь вызвать из района...

Старая Морэ заторопилась к плачущей малютке и стала ее пеленать.

— Может, отлежится немного да и поднимется...

— Доктора Сакача нет дома, я ведь к нему сперва поехал. Его хотел сперва вызвать.— Молодой отец с беспокойством смотрел на жену.— А может, на мотоцикле довезем... Перину какую-нибудь подстелим...

— Добряк же ты!

— Удар у него, я уж вижу,— сказал старый Морэ. Он стоял в ногах у дивана, и глаза его поблескивали от вина.

Маленький неказистый старичок неподвижно лежал на диване. Лицо у него было пепельно-серое, только от глаза сбегала к шее кровавая лента шириной в палец. Левая ступня странно свисала.

Повитуха расстегнула на нем рубашку, ей не приходило в голову, что бы можно было сделать еще.

— Поезжайте скорей на мотоцикле, разбудите Маришку. Она знает, куда звонить.

— Так ведь она меня винить станет. Зачем повез, мол.

Молодой отец еще раз взглянул на жену и, недовольный, вышел.

Все молчали, только малютка, туго спеленутая, отчаянно уакала.

Минуту спустя под окном взревел мотор.

Старуха Морэ поглядела на лежавшего в беспамятстве доктора и проговорила тихо:

— Вот оно как все... вот уж правда, до последнего цеплялся и нового доктора тоже... — Она поднесла малютку поближе к свету, чтобы рассмотреть кровоподтеки. — Ну, можно ли такое, чтобы доктор все-таки... сплошная рана... ах ты душенька, бедняжечка моя... Чтобы такое...

Морэ закурил сигарету.

— Его и раньше-то немногие приглашали...

Роженица тихим голосом попросила пить. В стакане осталось еще до половины воды, но она не стала пить после доктора. Повитуха принесла из кухни чистый стакан и напоила страдалицу: у молодой матери еще дрожали руки.

— Славненькая девочка, — шептала повитуха ей на ухо. — Теперь-то уж все позади, и слава богу...

— А тебе здесь делать нечего, уйди от греха! — напустилась на мужа старуха. Она взяла внучку на руки и покачивала ее. убаюкивала, расхаживая взад и вперед по комнате. Потом остановилась у дивана: — Ох, господи, грехи наши... Мало нам своих бед...

■

Старый доктор дышал тяжело, неровно. Бескровные губы его раскрылись, изо рта потекла слюна. Он мучительно застонал, бессильный хрип застрял в горле. На лбу выступили капли пота. И лицо стало серым, как земля. Только под глазом еще краснела ранка, но кровавая лента, что сбегала по искаженному изменившемуся лицу и уходила под расстегнутый ворот рубахи, уже почернела: кровь свернулась.

А левая ступня по-прежнему странно свешивалась с дивана, словно нога в лодыжке была сломана.

Долго стояла старая женщина над диваном. Стояла, покачивая внучку, прислушиваясь к отдаленным раскатам грома, и смотрела на доктора.

— Эх, бедняга ты, бедняга! — вздохнула она вдруг. — А ведь и то сказать — хороший был человек.

■

Старый доктор открыл глаза, смутно разглядел незнакомый потолок, незнакомые занавеси на окнах. Снова закрыл глаза. В голове — чудовищное давление, тело одеревеневшее, чужое, и где-то в глубине громы-

хает земля... Только что был и свет, но это не настоящий свет. И голоса слышны, но не настоящие голоса. Все ненастоящее, и тело тоже, только пульсация и страшное давление в голове. Бьется, пульсирует все вокруг, гудит-ворчит земля — и так долго-долго, и нет ничего другого. Потом внезапный грохот — гром: где-то поблизости ударила молния, но и это отмечено не сознанием, а инстинктом. Однако сознание уцепилось за нечто определившееся: где-то поблизости ударила молния, значит, пришла гроза. Надо сказать Маришке, не забыли бы в саду шезлонг...

Он опять открыл глаза. Все вокруг словно в каком-то тумане, вибрируют, колышутся линии потолка. Но занавески на окнах чужие, это несомненно... Нужен свежий воздух, только быстро, быстро! Свежий воздух и свет, потому что ничего не видно. Слышны голоса — словно из подвала доносятся, — кто-то говорит, но так невнятно... Потом вдруг откуда-то издалека, из другого мира, тоненький, как ниточка, голосок.

Мозг понемногу начинает работать. Из серой мглы прорезалась первая ясная мысль: двигаться нельзя. Почему-то ему нельзя двигаться, это сейчас самое важное.

Так он лежал и ждал чего-то...

На голову нужно положить мешочек со льдом...

И кровь нужно пустить, немедленно, сейчас же. У него в саквояже есть шприц...

Он попытался приподнять руку. Не вышло. На него словно навалилась огромная тяжесть. И самое тело тоже тяжесть, чужая тяжесть... левую сторону он совсем не чувствует.

Ему удалось шевельнуть правой рукой. Хотелось крикнуть — тем, кто только что разговаривал здесь. Из горла вырвался хриплый чужой звук.

Он видел головы над собой, незнакомые неясные лица колыхались, то приближаясь, то удаляясь. На носу какой-то женщины росла черная бородавка, из нее вились черные волоски, рот у женщины двигался, но голос ее донесся по-прежнему издалека: «...господи, да у него половина лица раздулась!..»

Теперь он знает, что с ним. От страха сердце заколотилось отчаянно, оно бьется все сильнее, сильнее, и вот уже ничего больше нет, кроме этого биения. Это очень скверно, сейчас это хуже всего, нельзя этого — все равно...

Сказать бы им, что нужно делать. Кровь, кровь, шприц ведь здесь же, в саквояже... И холодной воды, если нет льда, да и откуда быть здесь льду...

Он отчетливо услышал, услышал свой собственный голос: «Холодную мокрую тряпку, скорей, скорее!»

Но они не слыхали или не поняли, потому что сильная чья-то рука вдруг приподняла его с дивана. «Нельзя!» — замер в нем собственный крик.

Когда он снова пришел в себя, то почувствовал, что лежит уже на подушке. Надо бы сказать им, что делать, но говорить не было сил. Да и забыл он вдруг, что именно нужно делать, а ведь знал, только что еще знал...

Тело совсем чужое.

«Теперь уж наверное, теперь наверняка, — думал он. — Еще бы чуточку только».

Он не желал многого, но хоть час, один только час! Ведь ни разу не додумывал он этого до сих пор, вот до сих пор, а сколько раз рассуждал про себя, играл словами, но так, до самого конца, не додумывал никогда — и вот оно, пришло...

Он задыхался, дышал со свистом. Свежий воздух, много, много воздуха!

Немыслимо — вот так, сейчас, сразу. Ему следовало бы приготовиться, ведь столько осталось неоконченных дел, все не окончено...

Он попытался противостоять надвигающемуся, противостоять немыслимым напряжением всех сил. Противостоять все нарастающему отчуждению тела — ради минут... секунд. «Ох, господи, да ведь он...» — заплакал над ним кто-то. Кто-то жалел его, горестно всхлипывал.

Но вскоре он устал бороться и от сознания того, что больше не может и, значит, всему конец, успокоился. Не все ли равно, раньше или позже. Они прошли, эти шестьдесят восемь лет, и больше ничего не будет. Живые возьмут его тело, разденут, с содроганием обмоют, думая, что это он. Но он не будет иметь никакого отношения к этой чуждой материи. Разлагающаяся материя как отрезанный палец. Оно ампутировано, все его тело.

«И не останется ничего недоделанного, — думал он. — Что нужно, сделают живые. А то, что нужно было сделать мне, я сделал, и очень хорошо, что случилось все вот так... Ведь то же самое могло произойти и на берегу моря, но там я не был бы спокоен, а сейчас я спокоен совершенно. Да, совершенно спокоен, и это очень, в самом деле очень хорошо... нет, не думал я, что вот сейчас... так...»

В голове нарастала тяжесть, а тела он не чувствовал больше, оно исчезло.

«Вот оно! Вот оно... уже все!» — сверкнуло в последний раз в затухающем мозгу, и он вдруг полетел куда-то, и открылась под ним земля.

■

Два дня спустя деревня похоронила старого доктора.

Акации, выстроившиеся вокруг кладбища, сияли белым цветением. Упоенные ароматом, кружились вокруг них пчелы.

Маленькая учительница вела уроки во второй смене и не смогла пойти на кладбище. После занятий она надела новенькое легкое платье и, избегая встречи с аптекаршей, ушла из дому.

И Жужа Тёрёк не была на кладбище, она с раннего утра работала в кооперативных садах, как всегда ловко орудуя лопатой. И как всегда, сердилась на веселых своих товарок, вечно занятых девичьими глупостями и хохочущих над каждым пустяком.

Весь день дул сильный ветер, гудел в молодой листве деревьев, высушивал колеи после субботнего ливня.

В нижнем конце деревни умирала от рака старуха. Она была все время без памяти, металась и бредила.

К вечеру ветер утих, легкие облака стремительно бежали по краю неба, розовевшему от закатного солнца. В воздухе похолодало, березка то и дело вздрагивала каждым листочком.

Шезлонг сложили, прислонили к беседке. Маришка, сидя на скамеечке, плакала. Посидела она недолго, потом отнесла шезлонг под навес и поспешно вернулась на кухню — пора было засыпать в суп коренья. Придут Пишколти, да и пештская наследница с мужем здесь.

По улице сновали прохожие. Девушки поодиночке пробегали за водой к артезианскому колодцу, а возвращались парочками. Пьянящий аромат акаций струился над садом; над березкой зажглась Полярная звезда. Где-то по соседству загромыхало ведро: поили корову.

И никто уже не думал о тех трепетных жизнях, начало которым положили руки старого доктора. Они незаметно вливались в будничный вечер и продолжали жить — до истечения срока, отмеренного человеку.

ЭЖЕН ИОНЕСКО

Носорог

ПЬЕСА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ
И ЧЕТЫРЕХ КАРТИНАХ

Перевод с французского
Л. ЗАВЬЯЛОВОЙ
Под редакцией
М. П. БОГОСЛОВСКОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В ПОРЯДКЕ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ НА СЦЕНЕ:

ЛАВОЧНИЦА.
ЖАН.
БЕРАНЖЕ.
ОФИЦИАНТКА.
ЛАВОЧНИК.
ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА.
ЛОГИК.
СТАРЫЙ ГОСПОДИН.
ХОЗЯИН КАФЕ.
ДЭЗИ.
ДЮДАР.
БОТАР.
МОСЬЕ ПАПИЙОН.
МАДАМ БЕФ.
ПОЖАРНЫЙ.
Старичок — МОСЬЕ ЖАН.
ЖЕНА МОСЬЕ ЖАНА.
ГОЛОВЫ НОСОРОГОВ.

Действие первое

Площадь в провинциальном городке. В глубине — двухэтажный дом; на первом этаже — витрина бакалейной лавки. В бакалейную ведет стеклянная дверь, перед ней порог в две-три ступеньки. Над витриной крупными буквами выведено «Б а к а л е я». На втором этаже — два окна, по-видимому, квартира хозяев магазина. Вдалеке над лавкой высоко уходит в небо шпиль колокольни. Между лавкой и левой стороной сцены видна убегающая вдаль узенькая улочка. Слева, наискосок — витрина кафе. Над кафе — еще этаж с одним окном. На террасе кафе несколько столиков и стульев выдвинуты почти до середины сцены. Возле столиков на тротуаре — серое от пыли дерево. Синее небо, яркий свет, очень белые стены. Время около полудня, воскресный день, лето. Жан и Беранже усядутся за столиком перед кафе.

До того как поднимется занавес, будет слышен звон колоколов; он затихнет через несколько секунд после того, как поднимут занавес. И в этот момент по сцене слева направо молча проходит женщина; в одной руке у нее пустая корзинка для продуктов, другой она прижимает кошку, которую несет под мышкой. В то время как она проходит, Л а в о ч н и ц а открывает дверь и следит за нею взглядом.

Л а в о ч н и ц а. Вот тоже! *(Мужу, который находится в лавке.)* Гляди, как загордилась! Не желает у нас больше покупать.

Лавочница исчезает за дверью. Несколько минут сцена пуста. Слева появляется Ж а н. В это же самое время справа появляется Б е р а н ж е. Жан одет аккуратно, тщательно — коричневый костюм, красный галстук, пристежной крахмальный воротничок, коричневая шляпа, желтые сверкающие

ботинки. У него красноватое лицо. Беранже не брит, без шляпы, волосы не причесаны, пиджак и брюки сильно измяты — общее впечатление неряшливости, вид у него усталый, невыспавшийся, он то и дело зевает.

Жан *(идет по сцене слева)*. А, вы все-таки пришли, Беранже!

Беранже *(идет по сцене справа)*. Здравствуйте, Жан.

Жан. Конечно, как всегда с опозданием! *(Смотрит на ручные часы.)* Мы с вами условились на половину двенадцатого. А уже скоро двенадцать.

Беранже. Простите меня. Вы давно ждете?

Жан. Нет, как видите, только что пришел.

Идут к столикам на террасе кафе.

Беранже. Ну, тогда я чувствую себя не таким виноватым, если... вы сами...

Жан. Я — другое дело. Я ждать не люблю, не могу зря время терять. Я знаю, вы никогда вовремя не приходите, и нарочно задержался, чтобы прийти, когда вы уж наверняка будете здесь.

Беранже. Вы правы... вы совершенно правы, но все-таки...

Жан. Вы же не можете утверждать, что пришли вовремя.

Беранже. Конечно... Этого я не могу утверждать.

Жан и Беранже усаживаются.

Жан. Вот видите.

Беранже. Что вы будете пить?

Жан. А вам с самого утра уже хочется пить?

Беранже. Жара такая, все пересохло...

Жан. Умные люди говорят, чем больше пьешь, тем больше пить хочется...

Беранже. Вот если бы ученые додумались нагонять на небо искусственные тучи, не было бы такой засухи и жажда так не мучила бы.

Жан *(рассматривая Беранже)*. Вам бы это не помогло. Ведь вы не воды жаждете, дорогой Беранже...

Беранже. Что вы хотите этим сказать, дорогой Жан?

Жан. Вы прекрасно понимаете. Я говорю о вашей сухой глотке. Вот уж ненасытная утроба!..

Беранже. Ваше сравнение кажется мне...

Жан *(прерывая)*. Вы скверно выглядите, друг мой.

Беранже. Скверно? Вы находите?

Жан. Я не слепой. Вы едва на ногах держитесь, опять всю ночь кутили; зеваете не переставая, вот-вот свалитесь и заснете.

Беранже. Голова немножко побаливает.

Жан. От вас спиртом разит!

Беранже. Меня, правда, после вчерашнего немножко мутит...

Жан. И это так каждое воскресенье и в будни тоже.

Беранже. Ну нет, в будни не так часто, служба...

Жан. А где же ваш галстук? Потеряли во время дебоша!

Беранже *(проводит рукой по шее)*. Правда, вот странно, куда это я мог его девать?

Жан *(вытаскивает галстук из кармана)*. Нате-ка, наденьте.

Беранже. Вот спасибо, премного вам обязан. *(Завязывает галстук.)*

Жан *(пока Беранже возится с галстуком)*. А на голове что делается?

Беранже проводит рукой по волосам.

Вот вам гребенка! *(Достает из другого кармана гребенку.)*

Беранже *(берет гребенку)*. Благодарю вас. *(Кое-как причесывается.)*

Жан. Небритый! Посмотрите, на что вы похожи. *(Достает из внутреннего кармана зеркальце и протягивает Беранже, тот разглядывает себя, высовывает язык.)*

Беранже. Язык у меня весь обложен.

Жан *(берет у него из рук зеркальце и кладет обратно в карман)*. Ничего удивительного!.. *(Беранже протягивает ему гребенку, он тоже прячет ее в карман.)* Кончится тем, что цирроз печени наживете.

Беранже *(забеспокоившись)*. Вы так думаете?..

Жан *(видя, что Беранже собирается вернуть ему галстук)*. Оставьте себе, у меня их много.

Беранже *(восхищенно)*. Вот заботливый человек!

Жан *(продолжая разглядывать Беранже)*. Костюм у вас весь измят, смотреть страшно, сорочка грязная, ботинки...

Беранже пытается спрятать ноги под стол.

Ботинки не чищены... Этакая распущенность! А спина...

Беранже. Что такое с моей спиной?

Жан. Повернитесь. Да повернитесь же. Вы, верно, прислонились к стене.

Беранже растерянно протягивает руку к Жану.

Нет, щетки я с собою не ношу. Чтобы не оттопыривать карманы.

Беранже все так же растерянно похлопывает себя по плечам, стряхивая мел. Жан отшатывается.

Ого... Где это вы так изгваздались?

Беранже. Не знаю.

Жан. Ужасно, ужасно. Мне стыдно, что у меня такой друг.

Беранже. Вы уж очень строги ко мне...

Жан. А разве с вами можно иначе?

Беранже. Но послушайте, Жан. У меня здесь нет никаких развлечений; в этом городе дохнешь от скуки; не могу я жить только работой, корпеть изо дня в день на службе восемь часов, и за целый год всего-навсего три недели отпуска летом! В субботу вечером я чувствую себя совершенно вымотанным; ну и вот, чтобы разрядиться, вы понимаете...

Жан. Все, дорогой мой, работают, и я тоже работаю, как все, изо дня в день восемь часов в конторе; и у меня тоже всего три недели отпуска в году, и, тем не менее, посмотрите на меня... Нужно немного силы воли, только и всего!..

Беранже. О, не у всех такая сила воли, как у вас. А я вот не могу. Не могу приспособиться к этой жизни.

Жан. Каждый должен приспособиться. Подумаешь — избранная личность.

Беранже. Я не претендую...

Жан *(перебивает)*. Я, знаете, не хуже вас и даже, чего там скромничать, много лучше. Избранная личность — это человек, который выполняет свой долг.

Беранже. Какой долг?

Жан. Ну, свой долг... скажем, долг служащего.

Беранже. Ах, да, свой долг служащего.

Жан. А где же вчера все это происходило, эти ваши ночные возлияния? Или вы уже не помните?

Беранже. Мы справляли день рождения Огюста, нашего друга Огюста...

Жан. Нашего друга Огюста? А меня вот не пригласили на день рождения нашего друга.

В эту минуту издалека доносится какой-то быстро приближающийся шум, сопение, тяжелый топот бегущего громадного зверя, протяжный рев.

Беранже. Я не мог отказаться. Это было бы невежливо...

Жан. Но ведь я-то не пошел?

Беранже. Может быть, потому, что вас не пригласили!

Официантка *(выходя из кафе)*. Добрый день, месье, что вам будет угодно выпить?

Шум становится очень громким.

Жан *(к Беранже, стараясь перекричать шум, которого он умышленно не замечает)*. Нет, правда, я не получал приглашения. Мне не оказали такой чести... Однако, можете мне поверить, если бы даже меня пригласили, я бы все равно не пошел, потому что...

Шум становится оглушительным.

Что это такое происходит?

Теперь уже совсем близко слышен топот мчащегося громадного грузного зверя, его шумное прерывистое дыхание.

Да что же это такое?

Официантка. Да! Что же это такое?

Беранже, все так же апатично, будто и не замечая никакого шума, спокойно отвечает Жану насчет приглашения; он шевелит губами, но голоса его не слышно. Жан внезапно вскакивает, роняя стул, заглядывает направо за кулисы, показывает на что-то пальцем, Беранже продолжает сидеть с осовелым видом.

Жан. Ах! Носорог!

Топот и шум быстро стихают, и в дальнейшем слова уже можно расслышать — вся эта сцена перебрасывания репликами должна быть разыграна в очень быстром темпе.

Ах! Носорог!

Официантка. Ах! Носорог!

Лавочница *(высунув голову из дверей магазина)*. Ах! Носорог! *(К мужу, который находится в магазине.)* Скорее иди смотри — носорог!

Все смотрят вправо, откуда еще доносится топот удаляющегося животного.

Жан. Он мчится сломя голову, сшибает лотки.

Лавочник *(из магазина)*. Где? Где?

Официантка *(упершись руками в бедра)*. Ну и ну!

Лавочница *(к мужу, который все еще в лавке)*. Иди же скорей!

Лавочник *(высовывает голову)*. Ах! Носорог!

Логик *(очень быстрым шагом, чуть ли не бегом появляется справа)*. Носорог там прямо по тротуару мчится!

Все эти реплики, начиная с возгласа Жана «Ах, носорог!», почти одновременны. Слышится возглас женщины: «Ах!» Она появляется справа, выбегает на середину сцены — это Домашняя хозяйка, в руке у нее корзинка, она ее роняет, покупки разлетаются во все стороны, бутылка разбивается, а она стоит, зажав под мышкой кошку и не выпуская ее.

Домашняя хозяйка. Ах! Ох!

Элегантно одетый Старый господин — белые гетры, шляпа, трость с костяным набалдашником — появляется вслед за Домашней хозяйкой, бросается в бакалейную лавку, отталкивает лавочника и скрывается в глубине. Логик стоит, прижавшись к стене дома, справа от входа в лавку; у него седые усики, пенсне, шляпа-канотье. Жан, Официантка и Беранже, который сидит все с тем же безучастным видом, образуют вторую группу. Справа доносятся возгласы «Ох!» и «Ах!», слышно, как разбегаются люди. Пыль, поднятая промчавшимся животным, распространяется по сцене.

Хозяин кафе *(высовывая голову из окна над кафе)*. Что там такое творится?

Старый господин *(протискиваясь между хозяевами лавки)*. Извините.

Лавочница *(которую он толкнул, задевает мужа и говорит Старому господину)*. Осторожней, вы, с вашей тростью!

Лавочник. Да, уж вы как-нибудь поосторожней!

Голова Старого господина показывается из-за спин хозяев лавки.

Официантка *(Хозяину кафе)*. Носорог!

Хозяин кафе *(из окна, Официантке)*. Да что вам, приснилось, что ли? *(Увидев носорога.)* Ах! Вот так история!

Домашняя хозяйка. Ах!

Возгласы за кулисами как бы вторят ее возгласу. Домашняя хозяйка, у которой выскользнула из рук корзинка с покупками, не выпускает кошку, зажатую под мышкой.

Бедная киска, она так испугалась!

Хозяин кафе, все так же высунувшись из окна, следит глазами за убегающим животным; рев и топот доносятся уже издалека. Беранже слегка отворачивается, он совсем осовел, ничего не говорит, только морщится.

Жан *(возбужденно, тоже отворачиваясь от облака пыли)*. Вот так история! *(Чихает.)*

Домашняя хозяйка *(повернувшись вправо, посреди сцены, на которой валяются рассыпавшиеся покупки)*. Вот так история! *(Чихает.)*

Старый господин и хозяева лавки *(распахивая стеклянную дверь, которую Старый господин захлопнул за собой)*. Вот так история!

Жан. Вот так история! *(К Беранже.)* Вы видели?

Топот и рев носорога утихают вдалеке; люди, не сходя с места, продолжают следить за ним глазами, за исключением Беранже, который сидит, по-прежнему ко всему безучастный.

Все *(кроме Беранже)*. Вот так история!

Беранже *(Жану)*. Да, кажется, носорог! Какую пыль поднял! *(Достает платок, сморкается.)*

Домашняя хозяйка. Вот так история! Боже, как я испугалась!

Лавочник *(Домашней хозяйке)*. Ваша корзинка... покупки...

Старый господин подходит к Домашней хозяйке и нагибается, чтобы подобрать свертки. Сняв шляпу, он вежливо кланяется даме.

Хозяин кафе. Все-таки как же это может быть...

Официантка. Да уж, действительно.

Старый господин *(даме)*. Разрешите вам помочь собрать ваши покупки?

Домашняя хозяйка *(Старому господину)*. Спасибо, мосье. Пожалуйста, наденьте шляпу. Ах, как я испугалась.

Логик. Страх иррационален. Разум должен его преодолевать.

Официантка. Его уже не видно.

Старый господин *(Домашней хозяйке, указывая на Логика)*. Мой друг — Логик.

Жан *(к Беранже)*. Нет, что вы об этом скажете?

Официантка. Вот быстро бегает скотина!

Домашняя хозяйка *(Логику)*. Очень приятно, мосье.

Лавочница *(мужу)*. Так ей и надо. Она это не у нас все понакупила.

Жан *(Хозяину кафе и Официантке)*. Что вы об этом скажете?

Домашняя хозяйка. А кошечку мою я все-таки удержала.

Хозяин кафе *(в окне, пожимая плечами)*. Не каждый день такое увидишь.

Домашняя хозяйка *(Логику, пока Старый господин собирает свертки)*. Вы не подержите ее минутку?

Официантка *(Жану)*. В жизни такого не видела.

Логик *(берет кошку на руки)*. Она не злая?

Хозяин кафе *(Жану)*. Точно комета пронеслась.

Домашняя хозяйка *(Логику)*. Что вы, она такая ласковая. *Обращаясь к остальным.)* Вино-то мое! Оно сейчас так дорого стоит!

Лавочник *(Домашней хозяйке)*. Чего-чего, а вина у нас хватает.

Жан *(Беранже)*. Нет, что вы об этом скажете?

Лавочник *(Домашней хозяйке)*. Высшего качества.

Хозяин кафе *(Официантке)*. Хватит лясы точить. Займитесь делом, примите у них заказ. *(Показывает на Жана и Беранже; затем втягивает голову в окно.)*

Беранже *(Жану)*. О чем это вы говорите?

Лавочница *(мужу)*. Поди принеси ей другую бутылку.

Жан *(Беранже)*. Да о носороге, о носороге!

Лавочник *(Домашней хозяйке)*. У меня есть превосходное вино в небьющихся бутылках. *(Скрывается в магазине.)*

Логик *(лаская кошку)*. Кисонька, кисонька, кис-кис!

Официантка *(к Беранже и Жану)*. Что вам угодно?

Беранже *(Официантке)*. Тминной, две.

Официантка. Сейчас, мосье. *(Уходит.)*

Домашняя хозяйка *(собирая свертки с помощью Старого господина)*. Вы очень любезны, мосье.

Официантка *(входя в кафе)*. Две тминной!

Старый господин *(Домашней хозяйке)*. Ну, стоит ли об этом говорить, мадам.

Логик *(Старому господину и Домашней хозяйке, подбирающим покупки)*. Кладите аккуратно, по порядку.

Жан *(к Беранже)*. Нет, что вы об этом скажете?

Беранже *(Жану, не зная, что сказать)*. Да... ничего. Пыль какая поднялась!

Лавочник *(выходит из лавки с бутылкой вина, обращается к Домашней хозяйке)*. У меня есть лук-порей. Не угодно ли?

Логик *(продолжая гладить кошку)*. Киска, киска, кисонька!

Лавочник *(Домашней хозяйке)*. Сто франков литр.

Домашняя хозяйка *(отдает деньги Лавочнику, потом обращается к Старому господину)*. Вы так любезны. Вот французская вежливость. Не то что современная молодежь.

Лавочник *(беря деньги у Домашней хозяйки)*. Вам лучше покупать у нас. И улицу переходить не надо. И вот таких встреч можно не бояться. *(Возвращается в лавку.)*

Жан *(он снова уселся и не перестает думать о носороге)*. Но ведь это все-таки что-то совершенно невероятное!

Старый господин *(приподнимает шляпу и целует руку Домашней хозяйке)*. Весьма счастлив был с вами познакомиться!

Домашняя хозяйка *(Логику)*. Благодарю вас, мосье, за то, что вы подержали мою кошечку.

Логик передает кошку Домашней хозяйке.
Официантка возвращается с заказом.

Официантка. Вот ваше винцо, месье.

Жан *(к Беранже)*. Вы неисправимы!

Старый господин *(Домашней хозяйке)*. Разрешите вас проводить?

Беранже *(указывая Жану на Официантку)*. Я заказывал минеральную воду. Она ошиблась.

Жан презрительно и недоверчиво пожимает плечами.

Домашняя хозяйка *(Старому господину)*. Меня ждет муж, мосье. Мерси. Как-нибудь в другой раз.

Старый господин *(Домашней хозяйке)*. Буду надеяться, мадам.

Домашняя хозяйка *(Старому господину)*. Я тоже. *(Делает ему глазки и уходит направо.)*

Беранже. Пыль-то улеглась.

Жан опять пожимает плечами.

Старый господин *(Логику, провожая глазами Домашнюю хозяйку)*. Прелестна.

Жан *(к Беранже)*. Носорог! Просто опомниться не могу.

Старый господин и Логик медленно уходят налево, откуда они потом снова появятся. Они мирно беседуют.

Старый господин *(Логику, кинув последний взгляд вслед Домашней хозяйке)*. Очаровательна. Не правда ли?

Логик *(Старому господину)*. Так вот, я вам сейчас объясню, что такое силлогизм.

Старый господин. Ах да, силлогизм.

Жан *(к Беранже)*. Опомниться не могу. Это что-то уму не постижимое.

Беранже зевает.

Логик *(Старому господину)*. Силлогизм состоит из двух исходных суждений и вывода.

Старый господин. Какого вывода?

Логик и Старый господин уходят.

Жан. Нет. Просто никак не приду в себя.

Беранже *(Жану)*. Оно и видно, что вы не можете очнуться. Ну что? Носорог... да, носорог!.. Но он уже далеко... Он далеко.

Жан. Но вы подумайте только! Ведь это же неслыханно. Носорог на свободе бегает по городу. И вас это не удивляет? Как это можно было допустить!

Беранже зевает.

Да вы хоть рукой закрылись бы...

Беранже *(продолжает зевать во весь рот)*. Да... д... да... Конечно, этого не должны были допускать. Это опасно. Я как-то не подумал об этом. Но вы не волнуйтесь, нам здесь ничто не грозит.

Жан. Надо заявить протест городским властям. О чем они там думают в муниципалитете?

Беранже *(зевает и тут же поспешно прикрывает рот рукой)*. Ах, виноват... А может быть, он из зоологического сада убежал, этот носорог.

Жан. Вы, верно, стоя спите!

Беранже. Я сижу.

Жан. Стоя или сидя — не все ли равно!

Беранже. Все-таки есть разница.

Жан. Не об этом речь.

Беранже. Да ведь вы же сами сказали, не все ли равно — сидит человек или стоит.

Жан. Вы не так поняли. Сидя или стоя, это все равно, если человек спит...

Беранже. Да, верно, правду сказать, сплю... Жизнь — это сон.

Жан *(продолжает)*. Конечно спите, раз вам приходит в голову, что носорог из зоологического сада убежал...

Беранже. Я сказал — может быть.

Жан *(продолжая)*. ...ведь у нас в городе нет зоологического сада с тех пор, как чуть ли не все животные передохли от чумы. А было это когда-то давным-давно...

Беранже *(так же равнодушно)*. Ну, может быть, он убежал из цирка.

Жан. Из какого же это цирка?

Беранже. Да я почем знаю... ну, из какого-нибудь бродячего цирка.

Жан. Вы прекрасно знаете, что мэрия запретила бродячим труппам останавливаться на территории нашего округа. Никаких цирков здесь не было с тех пор, как мы еще ребятами были.

Беранже *(силится подавить зевоту, ему это не удается)*. В таком случае, он, может быть, скрывался с тех пор где-нибудь поблизости — в чаще или болотах.

Жан *(вздымая руки к небу)*. Поблизости! В чаще, в болотах! Несчастный! Это, верно, вы в чаще... винных паров.

Беранже *(простодушно)*. Да, правда... они прямо так и подступают откуда-то из желудка...

Жан. Должно быть, они вам мозги заволокли. Где же вы видели у нас поблизости болота и чащи... Нашу провинцию прозвали «Маленькая Кастилия», песок да камни, сущая пустыня.

Беранже *(выведенный из терпения, устало)*. Ну почем я знаю? Может быть, он прятался под камнем? Или свил себе гнездо на каком-нибудь суку?

Жан. Если вы думаете, что это остроумно, то ошибаетесь, позвольте вам заметить. Вы просто нелепы с этими вашими парадоксами! Я вижу, вы не способны говорить серьезно!

Беранже. Сегодня — да, только сегодня... из-за этой... потому что у меня... *(Расслабленным жестом показывает на голову.)*

Жан. Сегодня так же, как всегда!

Беранже. Ну, не совсем так же...

Жан. Остроты ваши никуда не годятся.

Беранже. Я вовсе и не собирался...

Жан *(перебивает его)*. Терпеть не могу, когда надо мной издеваются!

Беранже *(кладя руку на сердце)*. Дорогой Жан, да я никогда себе не позволил бы...

Жан *(перебивая его)*. Да, дорогой Беранже, вы себе позволяете...

Беранже. Нет-нет, я этого себе не позволяю.

Жан. А я говорю да, вы только что себе позволили.

Беранже. Как вы можете так думать?..

Жан *(перебивает его)*. Я думаю то, что есть...

Беранже. Уверяю вас...

Жан *(перебивая его)*. Что вы надо мной издеваетесь!

Беранже. Ну и упрямец же вы!

Жан. Не хватает того, чтобы вы меня назвали ослом. Видите, как вы оскорбляете меня.

Беранже. Да мне и в голову не приходило...

Жан. У вас ее нет!

Беранже. Тем более, значит, мне это и не могло прийти в голову.

Жан. Есть вещи, которые даже безголовым приходят в голову.

Беранже. Это невозможно.

Жан. Почему это невозможно?

Беранже. Да потому, что невозможно.

Жан. А вы объясните мне, почему это невозможно, если уж вы считаете, что можете объяснить все.

Беранже. Никогда в жизни этого не считал.

Жан. А тогда чего же вы на стену лезете? Я вас спрашиваю, почему вы оскорбляете меня?

Беранже. Я вас не оскорбляю. Напротив, вы знаете, с каким уважением я к вам отношусь.

Жан. Если вы меня уважаете, так чего же вы спорите и говорите, что нет ничего опасного, если в самом центре города бегает на свободе носорог, да еще в воскресенье, когда на улицах полным-полно детей и... взрослых...

Беранже. Сейчас многие в церкви. Там их никто не тронет.

Жан *(перебивая его)*. Позвольте... сейчас самая торговля.

Беранже. Да я вовсе не говорил, что это не опасно позволять носорогу

бегать по городу. Я просто сказал, что как-то не думал об этой опасности, не задавался таким вопросом.

Жан. Вы никогда ни о чем не думаете!

Беранже. Ладно, согласен. Конечно, это не годится, чтоб носорог бегал на свободе.

Жан. Таких вещей не должно быть.

Беранже. Согласен. Не должно быть. Скажу больше, в этом есть даже что-то бессмысленное. Хорошо, но ведь это все-таки не причина, чтобы нам с вами ссориться из-за какого-то зверя. Охота вам затевать спор из-за какого-то непарнопалого, которое случайно пробежало мимо. Глупое четвероногое, которое не стоит того, чтобы о нем говорили. Да еще к тому же хищное... И ведь оно исчезло, его уж нет больше. Стоит ли разговаривать о животном, которого больше нет. Поговорим о чем-нибудь другом, дорогой Жан, поговорим о другом. У нас найдется, о чем поговорить... *(Зевает, берет свой бокал.)* За ваше здоровье.

В эту минуту Логик и Старый господин снова появляются слева; разговаривая, они направляются к кафе и садятся за столик в глубине террасы, довольно далеко от Жана и Беранже и несколько правее их.

Жан. Поставьте бокал. И не пейте.

Жан отпивает большой глоток и ставит на стол наполовину пустой бокал. Беранже продолжает держать бокал в руке, не опуская его на стол, но и не решаясь пить.

Беранже. Но не оставлять же хозяину? *(Подносит к губам и как будто собирается выпить).*

Жан. Поставьте бокал, говорят вам.

Беранже. Хорошо.

Хочет поставить бокал. В этот момент по сцене слева направо проходит машинистка Дэзи, молоденькая блондинка. Увидев Дэзи, Беранже вскакивает, задевает бокал, он падает, вино проливается на брюки Жана.

Ах, Дэзи!

Жан. Осторожнее! Вот нескладный!

Беранже. Это Дэзи... Простите, пожалуйста... *(Он прячется, чтобы не попасться Дэзи на глаза.)* Мне не хочется, чтобы она меня видела... в таком состоянии.

Жан. Вы просто невозможны, совершенно невозможны! *(Провожает взглядом Дэзи, пока она не скрывается из глаз.)* Что это она вас так напугала, эта девушка?

Беранже. Молчите, молчите!

Жан. И на вид она совсем не злая.

Беранже *(возвращаясь к Жану, когда Дэзи скрылась из виду)*. Еще раз прошу вас, пожалуйста, простите меня за то, что я...

Жан. Вот что значит пить. Вы уже не способны управлять своими движениями, руки у вас ослабли, вы совсем одурели, опустились. Вы, милый друг, сами себе роете могилу, губите себя.

Беранже. Да я вовсе не так уж люблю пить. Но вот, когда я не пью, мне все как-то не по себе. Будто я чего-то боюсь, вот я и пью, чтобы перестать бояться.

Жан. Бояться чего?

Беранже. Да сам не знаю. Тоска какая-то, трудно даже и сказать, как-то не на месте себя чувствуешь, и в жизни и среди людей, вот и пропускаешь стаканчик. Это успокаивает, размягчает, и обо всем как-то забываешь...

Жан. Просто вы спьяну забываетесь.

Беранже. Устал я, уже много лет чувствую себя усталым. С трудом собственное тело таскаю, тяжесть такая.

Жан. Это у вас алкогольная неврастения, меланхолия пьяницы.

Беранже *(продолжает)*. Я постоянно чувствую собственное тело, точно оно налито свинцом или точно я тащу кого-то чужого на своей спине. Все как-то не могу свыкнуться с собой. Не знаю, я ли это. А выпьешь немножко, и тяжесть исчезает, узнаешь себя, становишься самим собой.

Жан. Все это самокопанье, Беранже. Посмотрите на меня. У меня вес побольше вашего. А я чувствую себя легко-легко, удивительно легко. *(Машет руками, словно порываясь взлететь.)*

В эту минуту Старый господин и Логик проходят, беседуя, мимо Жана и Беранже. Жан, размахивая руками, толкает Старого господина так, что тот чуть не падает на Логика.

Логик *(продолжая разговор)*. Вот вам пример силлогизма...

Старый господин чуть не падает на него.

Ох!..

Старый господин *(Жану)*. Осторожней. *(Логику.)* Извините.

Жан *(Старому господину)*. Извините.

Логик *(Старому господину)*. Ничего, ничего.

Старый господин *(Жану)*. Ничего, ничего.

Старый господин и Логик усаживаются за столик позади Жана и Беранже, несколько правее от них.

Беранже *(Жану)*. Вы сильный.

Жан. Да, я сильный. Я сильный по многим причинам. Я сильный, во-первых, потому, что у меня есть сила. Затем я сильный потому, что у меня есть моральная сила. И еще я сильный потому, что не отравлен алкоголем. Я не хочу вас обидеть, дорогой друг, но должен сказать, что алкоголь в самом деле давит на человека.

Логик *(Старому господину)*. Вот вам пример силлогизма. У кошки четыре лапы. У Фрико и Исидора у каждого по четыре лапы. Следовательно Фрико и Исидор — кошки.

Старый господин *(Логику)*. У моей собаки тоже четыре лапы.

Логик *(Старому господину)*. Следовательно, это кошка.

Беранже *(Жану)*. А у меня едва хватает силы жить. Мне кажется, у меня пропала всякая охота жить.

Старый господин *(после долгого размышления)*. Значит, логически выходит, моя собака — кошка.

Логик *(Старому господину)*. Логически — да. Но и противное тоже справедливо.

Беранже *(Жану)*. Одиночество тяготит. И люди тоже.

Жан *(к Беранже)*. Вы сами себе противоречите. Что вас тяготит — одиночество или толпа? Считаете себя мыслителем, а логики ни на грош.

Старый господин *(Логику)*. Замечательная вещь — логика!

Логик *(Старому господину)*. Если ею не злоупотреблять.

Беранже *(Жану)*. Жить — противоестественно.

Жан. Наоборот! Что может быть естественнее. И вот вам доказательство — все живут.

Беранже. Мертвых больше, чем живых. И число их все увеличивается. А живых становится все меньше.

Жан. Мертвые не существуют — вот уж можно точно сказать. Ха-ха-ха!.. *(Хохочет.)* А они тоже вас тяготят? Как может тяготить то, что не существует?

Беранже. Я сам иногда спрашиваю себя: существую я или нет!

Жан *(к Беранже)*. Вы, дорогой мой, не существуете, потому что вы не думаете. Думайте — и будете существовать.

Логик *(Старому господину)*. А вот вам еще силлогизм. Все кошки смертны. Сократ смертен. Следовательно, Сократ — кошка.

Старый господин. И у него четыре лапы. А ведь верно, моего кота как раз и зовут Сократ.

Логик. Вот видите...

Жан *(к Беранже)*. А на самом деле вы просто кривляка. И враль. Вы говорите, вас жизнь не интересует. А меж тем кто-то вас интересует.

Беранже. Кто же это?

Жан. А вот эта ваша сослуживица, девочка, которая только что прошла. Вы же влюблены в нее.

Старый господин *(Логику)*. Значит, Сократ был кошкой!

Логик *(Старому господину)*. Так нам сейчас доказала логика.

Жан *(к Беранже)*. Вам не хотелось, чтобы она вас увидела в таком виде?

Беранже кивает.

Это доказывает, что вам не все безразлично. Но о чем же вы думаете, разве Дэзи может прельститься пьяницей?

Логик *(Старому господину)*. Ну, вернемся к нашим кошкам.

Старый господин *(Логику)*. Я вас слушаю.

Беранже *(Жану)*. Да, по-моему, она уже кого-то себе приглядела.

Жан *(к Беранже)*. Кого же это?

Беранже. Дюдара. Сослуживца нашего. Он юрист, у него диплом доктора права. Ему будущее обеспечено — и по службе, и в сердце Дэзи. Где уж мне с ним тягаться.

Логик *(Старому господину)*. У кота Исидора четыре лапы.

Старый господин. Откуда вы знаете?

Логик. Это дается в посылке.

Беранже *(Жану)*. Он и у начальства на хорошем счету. А у меня, у меня никакого будущего, я человек без образования. У меня никаких перспектив.

Старый господин *(Логику)*. Ах, в посылке.

Жан *(к Беранже)*. И вы вот так и сдаетесь...

Беранже. А что же мне делать?

Логик *(Старому господину)*. У Фрико тоже четыре лапы. Сколько же лап у Фрико и Исидора?

Старый господин *(Логику)*. Вместе или порознь?

Жан *(к Беранже)*. Жизнь — это борьба, только трусы отказываются бороться.

Логик *(Старому господину)*. Вместе или порознь — это зависит от точки зрения.

Беранже *(Жану)*. Что же делать, я безоружен.

Жан. Вооружитесь, дорогой мой, вооружитесь.

Старый господин *(Логику, после мучительных размышлений)*. Четыре, четыре лапы.

Логик. Логика учит нас вычислять в уме.

Старый господин. Да, многогранная вещь — логика.

Беранже *(Жану)*. А где взять оружие?

Логик *(Старому господину)*. Логика не имеет границ.

Жан *(к Беранже)*. В себе самом. Усилием воли.

Беранже *(Жану)*. Что это за оружие, как им вооружиться?

Логик *(Старому господину)*. Вот вы сейчас увидите...

Жан *(к Беранже)*. Вооружиться терпением, культурой, вооружиться умом. *(Беранже зевает.)* Станьте остроумным, блестящим. Не отставайте от времени.

Беранже *(Жану)*. Как это не отставать от времени?

Логик *(Старому господину)*. Если у этих кошек отнять две лапы, сколько лап останется у каждой?

Старый господин. Это очень сложно.

Беранже *(Жану)*. Это очень сложно.

Логик *(Старому господину)*. Напротив, проще простого.

Старый господин *(Логику)*. Может быть, это для вас просто, но не для меня.

Беранже *(Жану)*. Может быть, это для вас просто, но не для меня.

Логик *(Старому господину)*. Пошевелите же мозгами. Сделайте усилие.

Жан *(к Беранже)*. Пошевелите же лапами. Сделайте над собой усилие.

Старый господин *(Логику)*. Не понимаю.

Беранже *(Жану)*. По правде сказать, не понимаю.

Логик *(Старому господину)*. Вам все надо разжевать.

Жан *(к Беранже)*. Вам все надо разжевать.

Логик *(Старому господину)*. Возьмите лист бумаги, сосчитайте. У двух кошек изымают две лапы. Сколько лап остается у каждой кошки?

Старый господин. Подождите... *(Достает из кармана листок бумаги и начинает высчитывать.)*

Жан. Вот с чего надо начать: одеться прилично, бриться каждый день, ходить в чистой сорочке.

Беранже *(Жану)*. Стирка, знаете, дорого обходится...

Жан *(к Беранже)*. Экономьте на вине. А за внешностью надо следить — шляпа, галстук, приличный костюм, вычищенная обувь.

Перечисляя предметы одежды, Жан самодовольно показывает на свою шляпу, галстук, сверкающие ботинки.

Старый господин *(Логику)*. Здесь возможно несколько решений.

Логик *(Старому господину)*. Говорите.

Беранже *(Жану)*. А дальше что делать? Говорите...

Логик *(Старому господину)*. Я вас слушаю.

Беранже *(Жану)*. Я вас слушаю.

Жан *(к Беранже)*. Вы человек робкий, но не лишены способностей.

Беранже *(Жану)*. У меня способности?

Жан. Их надо уметь применять. Включитесь в жизнь. Следите за культурными и литературными событиями нашего времени.

Старый господин *(Логику)*. Первая возможность: у одной кошки может быть четыре лапы, у второй — две.

Беранже *(Жану)*. У меня так мало свободного времени. Ведь я чиновник!

Логик. У вас есть способности. Нужно только уметь их применять.

Жан. Надо уметь с толком использовать свободное время. Нельзя плыть по течению.

Старый господин *(Логику)*. У меня никогда не было свободного времени. Я чиновником был.

Логик *(Старому господину)*. Для ученья всегда можно найти время.

Жан *(к Беранже)*. Всегда можно найти время.

Беранже *(Жану)*. Слишком поздно.

Старый господин *(Логику)*. Поздновато, пожалуй, для меня.

Жан *(к Беранже)*. Никогда не поздно.

Логик *(Старому господину)*. Никогда не поздно.

Жан *(к Беранже)*. Ваш рабочий день восемь часов, как у меня, как у всех. А воскресенье? А вечера? И наконец, три недели отпуска летом? Этого достаточно, если следовать правилам.

Логик *(Старому господину)*. Ну, а другие решения? Не забудьте правила, правила...

Старый господин снова принимается высчитывать.

Жан *(к Беранже)*. Послушайте, вместо того, чтобы пить да хандрить,

не лучше ли вставать с утра свежим, бодрым и всегда чувствовать себя прекрасно, даже на работе? А тогда можно и свободное время проводить разумно.

Беранже *(Жану)*. Как же именно?

Жан *(к Беранже)*. Ходить в музеи, читать литературные журналы, посещать лекции. Это вас излечит от ваших страхов и тоски, воспитает вас. Через какие-нибудь три-четыре недели вы станете культурным человеком.

Беранже *(Жану)*. А ведь вы правы!

Старый господин *(Логику)*. Тогда выходит, что у одной кошки будет пять лап.

Жан *(к Беранже)*. Вот видите — сами это признаете.

Старый господин *(Логику)*. А у другой одна лапа. Но тогда будут ли это по-прежнему кошки?!

Логик *(Старому господину)*. Почему же нет?

Жан *(к Беранже)*. Вместо того, чтобы тратить все имеющиеся деньги на спиртные напитки, не лучше ли покупать билеты в театр, ходить на интересные спектакли? Бывали ли вы когда-нибудь в этом новом передовом театре, о котором сейчас столько говорят? Видели пьесы Ионеско?

Беранже *(Жану)*. Нет, к сожалению. Только слышал о них.

Старый господин *(Логику)*. Если отнять у двух кошек две лапы из восьми...

Жан *(к Беранже)*. Сейчас одна из них у нас идет. Пользуйтесь случаем.

Старый господин. ...можем получить одну кошку с шестью лапами...

Беранже. А ведь правда, хорошо было бы познакомиться с сегодняшней театральной жизнью.

Старый господин *(Логику)*. ...и одну совсем без лап.

Беранже. Вы правы, вы правы. Я включусь в жизнь, вы верно говорите.

Логик *(Старому господину)*. В таком случае, у нас получится одна привилегированная кошка.

Беранже *(Жану)*. Обещаю вам.

Жан. Обещайте самому себе, главное — самому себе.

Старый господин. И одна, лишенная лап,— деклассированная кошка?

Беранже *(Жану)*. Даю себе торжественное обещание. И уж себе-то я сдержу слово.

Логик *(Старому господину)*. Это было бы несправедливо, а следовательно — нелогично.

Беранже *(Жану)*. Вместо того, чтобы пить, я буду приобщаться к культуре. Я уже чувствую себя лучше. Даже в голове прояснилось.

Жан. Вот видите!

Старый господин *(Логику)*. Нелогично?

Беранже *(Жану)*. Сегодня же пойду в городской музей. А на вечер возьму два билета в театр. Вы пойдете со мной?

Логик *(Старому господину)*. Ибо справедливость — это и есть логика.

Жан *(к Беранже)*. Надо только проявить настойчивость. Чтобы ваши добрые намерения не разлетелись в прах.

Старый господин *(Логику)*. Понимаю, справедливость...

Беранже *(Жану)*. Я вам обещаю и себе обещаю. Идемте со мной после завтрака в музей?

Жан *(к Беранже)*. После завтрака сегодня я отдыхаю. Так уж у меня заведено.

Старый господин *(Логику)*. Справедливость — это тоже одна из граней логики.

Беранже *(Жану)*. Ну, а в театр-то вы со мной вечером пойдете?

Жан. Нет, сегодня вечером нет.

Логик *(Старому господину)*. Вы начинаете ясно мыслить.

Жан *(к Беранже)*. Желаю вам не отступать от ваших добрых намерений, но сегодня вечером я условился встретиться с друзьями в ресторане.

Беранже. В ресторане?

Старый господин *(Логику)*. Да и, кроме того, кошка совсем без лап...

Жан *(к Беранже)*. Я обещал встретиться. И всегда держу свое обещание.

Старый господин *(Логику)*. ...не могла бы бегать и ловить мышей.

Беранже *(Жану)*. Ах, дорогой друг, вот теперь вы сами подаете дурной пример! Вы же там будете пить.

Логик *(Старому господину)*. Вы уже делаете успехи в логике.

Направо за кулисами снова слышится нарастающий шум — это быстро бежит носорог, но теперь уже в обратном направлении; топот копыт, рев, сопенье.

Жан *(возмущенно, к Беранже)*. Выпить раз, дорогой мой, это не то, что завести привычку. Ничего общего с вами. Потому что вы... вы... другое дело... словом, это не одно и то же.

Беранже *(Жану)*. Почему не одно и то же?

Жан *(кричит, стараясь перекрыть шум, доносящийся с улицы позади лавки)*. Потому что я не пьяница!

Логик *(Старому господину)*. Даже и без лап кошка должна ловить мышей. Это ее природное свойство.

Беранже *(кричит во все горло)*. Я вовсе не говорю, что вы пьяница! А почему я в подобном случае должен считаться пьяницей больше, чем вы?

Старый господин *(кричит Логику)*. Какое у кошки природное свойство?

Жан *(к Беранже, также кричит)*. Потому что все дело в мере! Я человек умеренный, не то что вы!

Логик *(Старому господину, подносит обе руки к уху)*. Что вы говорите?

Страшный шум заглушает слова всех четверых.

Беранже *(подносит обе руки к уху и кричит Жану)*. Не то что я, как, как вы сказали?

Жан *(орет)*. Я говорю, что...

Старый господин *(орет)*. Я говорю, что...

Жан *(догадывается, что это за шум, теперь раздающийся уже совсем близко)*. Что же это происходит?

Логик. Да, что это?

Жан *(вскакивает, опрокидывает стул, заглядывает налево, за кулисы, откуда доносятся топот и рев носорога, бегущего в обратном направлении)*. Ах! Носорог!

Логик *(вскакивает, опрокидывает стул)*. Ах, носорог!

Старый господин *(поднимается, опрокидывает стул)*. Ах, носорог!

Беранже *(остается сидеть, но сейчас он уже не такой осовелый)*. Носорог! Мчится обратно!

Официантка *(выходит из кафе, неся поднос с бокалами)*. Что это? Ах, носорог! *(Роняет поднос, бокалы разбиваются.)*

Хозяин кафе *(выходя из кафе)*. Что это?

Официантка *(Хозяину)*. Носорог!

Логик. Вон там по тротуару носорог мчится.

Лавочник *(выходя из лавки)*. Ах, носорог!
Жан. Носорог!
Лавочница *(высовывая голову из окна над лавкой)*. Ах! Носорог!
Хозяин кафе *(Официантке)*. Это еще не причина бить посуду.
Жан. Мчится прямо вперед, сшибает лотки.
Дэзи *(появляется справа)*. Носорог!
Беранже *(увидев Дэзи)*. Ах, Дэзи!

Слышны шаги убегающих людей, возгласы «Ох!» и «Ах!».

Хозяин кафе *(Официантке)*. Вы мне заплатите за разбитую посуду.

Беранже пытается спрятаться, чтобы его не увидела Дэзи. Старый господин, Логик, Лавочница, Лавочник идут на середину сцены, восклицая:

Все *(вместе)*. Ну и ну!
Жан и Беранже Ну и ну!

Слышно отчаянное мяуканье и вслед за ним душераздирающий женский крик.

Все. Ах!

И чуть ли не в ту же минуту — еще не затих быстро удаляющийся шум, топот и рев — появляется Домашняя хозяйка: она уже без корзинки, а на руках у нее мертвая окровавленная кошка.

Домашняя хозяйка *(причитает)*. Он раздавил мою кошку, раздавил мою кошечку!
Официантка. Он раздавил ее кошку!
Лавочник, Дэзи, Логик, Старый господин *(окружив Домашнюю хозяйку, говорят все сразу)*. Такое несчастье, бедная киска!
Старый господин. Бедная киска!
Дэзи и Официантка. Бедная киска!
Лавочник и лавочница *(в окне)*, Старый господин, Логик. Бедная киска!
Хозяин *(Официантке, указывая на разбитую посуду и опрокинутые стулья)*. Что же вы стоите? Уберите все это!

Жан и Беранже тоже бросились к Домашней хозяйке, которая не перестает причитать, прижимая к себе кошку.

Официантка *(идет к террасе кафе убрать разбитую посуду и поднять стулья, оглядывается на Домашнюю хозяйку)*. Ах, бедная киска!
Хозяин кафе *(Официантке, показывая пальцем на осколки стекла и опрокинутые стулья)*. Вон тут и тут!
Старый господин *(Лавочнику)*. Ну, что вы об этом скажете?
Беранже *(Домашней хозяйке)*. Не плачьте, мадам, у нас прямо сердце разрывается!
Дэзи *(к Беранже)*. Мосье Беранже... Вы здесь? Вы видели?
Беранже *(к Дэзи)*. Здравствуйте, мадемуазель Дэзи, извините, я не успел побриться...
Хозяин кафе *(следит за Официанткой, все ли она подбирает, и мельком поглядывает на Домашнюю хозяйку)*. Бедная киска!
Официантка *(собирая осколки)*. Бедная киска!

Все реплики произносятся очень быстро, почти одновременно.

Лавочница *(из окна)*. Ну это уж чересчур!
Жан. Это уж чересчур!
Домашняя хозяйка *(горько причитает, качая на руках мертвую кошку)*. Бедненькая моя Мицу, бедняжка Мицу!
Старый господин *(Домашней хозяйке)*. Я был бы так счастлив встретиться с вами при других обстоятельствах.
Логик *(Домашней хозяйке)*. Что поделаешь, мадам, все кошки смертны. Приходится с этим мириться!

Домашняя хозяйка *(причитает)*. Моя кисонька, кисонька, киска моя!

Хозяин кафе *(Официантке, у которой полный передник осколков)*. Ступайте бросьте в мусорный ящик. *(Поднимает стулья)*. Тысяча франков за вами!

Официантка *(на пороге кафе, Хозяину)*. Вы только о своих деньгах и печетесь.

Лавочница *(Домашней хозяйке, из окна)*. Не плачьте, мадам.

Старый господин *(Домашней хозяйке)*. Успокойтесь, мадам, дорогая.

Лавочница *(из окна)*. Ясное дело, жаль!

Домашняя хозяйка. Моя кисонька, кисонька, киска моя!

Дэзи. Конечно, жаль.

Старый господин *(ведет под руку Домашнюю хозяйку к столику на террасе кафе. Все остальные следуют за ними)*. Садитесь вот здесь, мадам.

Жан *(Старому господину)*. Что вы об этом скажете?

Лавочник *(Логику)*. Что вы об этом скажете?

Лавочница *(к Дэзи, из окна)*. Что вы об этом скажете?

Хозяин кафе *(Официантке, появившейся в дверях кафе в тот момент, когда все усаживают за столик плачущую Домашнюю хозяйку, которая не перестает качать мертвую кошку)*. Стакан воды для мадам!

Старый господин *(Домашней хозяйке)*. Присядьте, мадам, дорогая.

Жан. Бедная женщина!

Лавочница *(в окне)*. Бедное животное!

Беранже *(Официантке)*. Принесите ей лучше коньяку.

Хозяин кафе *(Официантке)*. Порцию коньяку! *(Указывая на Беранже.)* Платит мосье.

Официантка *(скрывается в кафе со словами)*. Порцию коньяку!

Домашняя хозяйка *(всхлипывая)*. Не надо! Не хочу!

Лавочник. Он уже раз пробежал туда мимо лавки.

Жан *(Лавочнику)*. Это не тот!

Лавочник *(Жану)*. Как так?

Лавочница. Да нет, тот самый.

Дэзи. Он уже второй раз здесь промчался.

Хозяин кафе. По-моему, это все тот же.

Жан. Нет, не тот. У того, который пробежал раньше, было два рога на носу, это был азиатский носорог, а у этого — только один, это африканский!

Официантка выходит из кафе с рюмкой коньяку и подходит к Домашней хозяйке.

Старый господин. Вот коньяк, это вас немножко подбодрит.

Домашняя хозяйка *(в слезах)*. Не-е-т...

Беранже *(с внезапным раздражением, Жану)*. Глупости вы говорите!.. Как это вы успели рога рассмотреть? Он так быстро промчался, что и самого-то его едва можно было разглядеть...

Дэзи *(Домашней хозяйке)*. Ну правда же, вам станет легче.

Старый господин *(к Беранже)*. В самом деле, ведь он так быстро бежал!

Хозяин кафе *(Домашней хозяйке)*. Попробуйте, хороший коньяк.

Беранже *(Жану)*. Как вы успели рога у него сосчитать?..

Лавочница *(Официантке, из окна)*. Заставьте ее выпить.

Беранже *(Жану)*. Ведь пыль столбом стояла, ничего не видно было.

Дэзи *(Домашней хозяйке)*. Выпейте, мадам.

Старый господин *(Домашней хозяйке)*. Один глоточек, дорогая!.. Ну, смелее.

Официантка подносит рюмку к губам Домашней хозяйки, та делает вид, что ее принуждают насильно, но выпивает.

Официантка. Вот и хорошо!
Лавочница *(из окна)* и Дэзи. Вот и хорошо!
Жан *(к Беранже)*. У меня голова ничем не затуманена. Я быстро считаю — у меня мысли не путаются.
Старый господин *(Домашней хозяйке)*. Ну как, лучше?
Беранже *(Жану)*. Ведь он мчался, опустив голову.
Хозяин кафе *(Домашней хозяйке)*. Правда, хороший коньяк?
Жан *(к Беранже)*. Вот тут-то и можно было сразу увидеть.
Домашняя хозяйка *(осушив рюмку)*. Кисонька моя!
Беранже *(Жану, раздраженно)*. Глупости! Глупости!
Лавочница *(Домашней хозяйке, из окна)*. У меня найдется для вас другая кошка.
Жан *(к Беранже)*. Как? Вы осмеливаетесь повторять, что я говорю глупости?
Домашняя хозяйка *(Лавочнице)*. Не нужно мне никакой другой. *(Всхлипывая, качает кошку.)*
Беранже *(Домашней хозяйке)*. Ну, успокойтесь!
Хозяин кафе *(Домашней хозяйке)*. Успокойтесь.
Жан *(к Беранже)*. Я никогда не говорю глупостей!
Старый господин *(Домашней хозяйке)*. Отнеситесь ко всему философски.
Беранже *(Жану)*. Уж очень вы о себе воображаете. *(Повышая голос.)* Подумаешь, ученый...
Хозяин кафе *(Жану и Беранже)*. Господа, господа!
Беранже *(Жану, не унимаясь)* ...ученый, а путает все, чему его учили. Во-первых, это у азиатского носорога один рог, а африканский — двурогий.

Все отходят от Домашней хозяйки и обступают Жана и Беранже, которые продолжают громко пререкаться.

Жан *(к Беранже)*. Ошибаетесь! Как раз наоборот.
Домашняя хозяйка *(одна)*. Какая она была миленькая!
Беранже. Хотите пари?
Официантка. Они уже на пари спорят!
Дэзи *(к Беранже)*. Не горячитесь так, мосье Беранже!
Жан *(к Беранже)*. Не желаю я с вами держать пари. Двурогий! Сами вы двурогий. Азиат несчастный!
Официантка. Ого!
Лавочница *(из окна, мужу)*. Они сейчас подерутся.
Лавочник *(жене)*. Вот тебе и пари.
Хозяин кафе *(Жану и Беранже)*. Никаких скандалов здесь!
Старый господин. А в самом деле... У какой же это породы носорогов один рог на носу? *(К Лавочнику.)* Вы торговец, вы должны бы знать!
Лавочница *(мужу, из окна)*. Ты должен знать!
Беранже *(Жану)*. Нет у меня рогов. И никогда не будет!
Лавочник *(Старому господину)*. Не могут же торговцы все знать!
Жан *(к Беранже)*. Будет!
Беранже *(Жану)*. И никакой я не азиат. Кстати сказать, азиаты такие же люди, как все...
Официантка. Ясно, азиаты такие же люди, как вы и я...
Старый господин *(Хозяину кафе)*. Верно.
Хозяин кафе *(Официантке)*. А вас никто не спрашивает.

Дэзи *(Хозяину кафе)*. Она верно говорит. Они такие же люди, как мы.

Домашняя хозяйка во время этого спора не перестает причитать.

Домашняя хозяйка. А какая она была спокойная, ну совсем как мы.

Жан *(вне себя)*. Они желтокожие.

Логик стоит в стороне между Домашней хозяйкой и группой людей, обступивших Жана и Беранже, он внимательно следит за ходом спора, но не ввязывается в него.

Жан. Прощайте, господа. *(К Беранже.)* А с вами я больше не знаком.

Домашняя хозяйка *(причитает)*. Она так нас любила! *(Всхлипывает.)*

Дэзи. Ну будет вам, мосье Беранже, будет вам, мосье Жан...

Старый господин. У меня были друзья азиаты. Правда, может быть, они были не настоящие азиаты...

Хозяин кафе. Я знавал и настоящих.

Домашняя хозяйка *(продолжая причитать)*. Я взяла ее к себе котеночком.

Жан *(по-прежнему вне себя)*. Они желтые! Желтые! Совершенно желтые!

Беранже *(Жану)*. А вы, вы красный как рак!

Лавочница *(у окна)* и Официантка. Ах!

Хозяин кафе. Это может плохо кончиться!

Домашняя хозяйка *(все так же причитает)*. А уж какая она была чистоплотная! Все свои дела только в песочек делала!

Жан *(к Беранже)*. Ах, так! Ну, больше вы меня не увидите! С таким остолопом только зря время теряешь.

Домашняя хозяйка *(причитает)*. Я всегда ее понимала.

Жан в ярости, быстрыми шагами идет налево, но, прежде чем уйти, оборачивается

Старый господин *(Лавочнику)*. Среди азиатов есть и белые, и черные, и синие, и совсем такие, как мы.

Жан *(к Беранже)*. Пьянчуга!

Все в ужасе переглядываются.

Беранже *(делая шаг к Жану)*. Я вам не позволю!

Все *(поворачиваясь к Жану)*. О-о-о!

Домашняя хозяйка *(причитает)*. Она только говорить не умела, но это нисколько не мешало.

Дэзи *(к Беранже)*. Не надо вам было доводить его до такого состояния.

Беранже *(к Дэзи)*. Я не виноват...

Хозяин кафе *(Официантке)*. Ступайте поищите-ка ящичек для этого бедного животного.

Старый господин *(к Беранже)*. По-моему, вы правы. У азиатского носорога два рога, а у африканского — один...

Лавочник. Мосье утверждал обратное.

Дэзи *(к Беранже)*. Вы оба были неправы.

Старый господин *(к Беранже)*. Нет, кажется, вы правы.

Официантка *(Домашней хозяйке)*. Идемте, мадам, мы сейчас положим ее в ящичек.

Домашняя хозяйка *(плачет навзрыд)*. Никогда! Ни за что!

Лавочник. Извините, но, по-моему, прав был мосье Жан.

Дэзи *(поворачиваясь к Домашней хозяйке)*. Ну успокойтесь, мадам!

Дэзи и Официантка ведут в кафе Домашнюю хозяйку с мертвой кошкой на руках.

Старый господин *(к Дэзи и Официантке)*. Может быть, мне пойти с вами?

Лавочник. У азиатского носорога один рог, у африканского — два. И наоборот.

Дэзи (*Старому господину*). Нет, не стоит.

Дэзи и Официантка, поддерживая безутешную Домашнюю хозяйку, входят в кафе.

Лавочница (*из окна мужу*). Ну ты всегда что-нибудь придумаешь, у тебя все не как у всех!

Беранже (*в сторону, в то время как другие продолжают спор о рогах носорога*). Дэзи права, напрасно я с ним полез спорить.

Хозяин кафе (*Лавочнице*). Ваш муж прав: у азиатского носорога два рога, значит, и у африканского должно быть два. И наоборот.

Беранже (*в сторону*). Он не терпит, когда с ним спорят. От малейшего возражения прямо на стену лезет.

Старый господин (*Хозяину кафе*). Вы ошибаетесь, друг мой.

Хозяин кафе (*Старому господину*). Ну, в таком случае прошу меня извинить.

Беранже (*в сторону*). Вспыльчивость — единственный его недостаток.

Лавочница (*из окна Старому господину, Хозяину кафе и Лавочнику*). А может, они совсем одинаковые, оба!

Беранже (*в сторону*). В сущности, у него золотое сердце, он меня столько раз выручал.

Хозяин кафе (*Лавочнице*). У того должен быть только один рог, раз у этого два.

Старый господин. А может быть, это у второго один, а у того два.

Беранже (*в сторону*). Я теперь жалею, что вовремя не уступил. Но почему же он так упрямится? Я вовсе не хотел выводить его из себя. (*К другим.*) Он готов с пеной у рта защищать самые невероятные вещи! Лишь бы поразить всех своей ученостью! Он даже мысли не допускает, что может ошибиться.

Старый господин (*к Беранже*). А вы можете это доказать?

Беранже. Что именно?

Старый господин. А вот то, что вы сейчас утверждали, из-за чего у вас возник этот неприятный спор с вашим другом.

Лавочник (*к Беранже*). Да! Можете вы это доказать?

Старый господин (*к Беранже*). Откуда вы знаете, что у одного из этих носорогов два рога, а у другого — один? И у какого именно?

Лавочница. Он знает столько же, сколько и мы.

Беранже. Прежде всего совершенно неизвестно, было ли их два. По-моему, был один.

Хозяин кафе. Ну, допустим, их было два. Какой же из них с одним рогом — африканский?

Старый господин. Нет, африканский с двумя рогами. Мне так думается.

Хозяин кафе. Кто-кто с двумя, только не африканский.

Лавочница. Ну вот, опять каждый на своем стоит.

Старый господин. Но все-таки, надо же это выяснить.

Логик (*вступая в разговор*). Извините, что я вмешиваюсь, господа. Но ведь не в этом дело. Разрешите представиться.

Домашняя хозяйка (*в слезах*). Это Логик.

Хозяин кафе. Ого! Логик!

Старый господин (*представляя Логика Беранже*). Мой друг, Логик.

Беранже. Очень приятно, мосье.

Логик (*продолжает*). Логик по специальности — вот мое удостоверение. (*Показывает удостоверение личности.*)

Беранже. Я счастлив, мосье, что мне выпала честь...

Лавочник. Считаем за честь.

Хозяин кафе. Так вот, господин Логик, скажите нам, пожалуйста, один ли у африканского носорога рог.

Старый господин. Или два...

Лавочница. И про азиатского носорога. Он что, с двумя рогами?

Лавочник. Или с одним?

Логик. Да нет, все дело в том, что вы не так ставите вопрос. Вот именно это я и считаю своим долгом уточнить.

Лавочник. А нам именно это и хотелось бы знать.

Логик. Позвольте мне сказать, господа.

Старый господин. Дайте ему сказать.

Лавочница *(Лавочнику, из окна)*. Дайте ему сказать.

Хозяин кафе. Мы слушаем вас, мосье.

Логик *(к Беранже)*. Я обращаюсь главным образом к вам, а также и к присутствующим здесь лицам.

Лавочник. Так же, как и к нам...

Логик. Видите ли, вы как-то незаметно для себя отклонились от того вопроса, из-за которого с самого начала и возник спор. Вы начали с того, что спросили себя: этот носорог, который пробежал только что, тот самый, который пробегал раньше, или нет? Вот на это вам и надлежит ответить.

Беранже. А как?

Логик. А вот так: вы могли дважды видеть одного и того же носорога с одним рогом...

Лавочник *(повторяет, словно стараясь уяснить)*. Дважды одного и того же носорога.

Хозяин кафе. С одним рогом...

Логик *(продолжает)*. ...точно так же, как вы могли дважды видеть одного и того же носорога с двумя рогами.

Старый господин *(повторяет)*. Одного и того же носорога с двумя рогами — дважды...

Логик. Правильно. Кроме того, вы могли видеть первого носорога с одним рогом, а затем второго — тоже с одним рогом.

Лавочница *(из окна)*. Как... как...

Логик. А также первого носорога с двумя рогами.

Хозяин кафе. Точно.

Логик. Так вот: если вы видели...

Лавочник. Если мы видели...

Старый господин. Да-да, если мы видели...

Логик. Если вы в первый раз видели носорога с двумя рогами...

Хозяин кафе. С двумя рогами...

Логик. ...а второй раз носорога с одним рогом...

Лавочник. С одним рогом.

Логик. ...это еще ничего не доказывает.

Хозяин кафе. Почему?

Лавочница. Ну и ну! Я что-то ничего не понимаю.

Лавочник. Мда... мда...

Лавочница пожимает плечами и скрывается в окне.

Логик. Вполне возможно, что носорог, который пробежал первый раз, лишился потом одного из своих рогов, и тогда носорог, который пробежал сейчас, это тот же самый носорог.

Беранже. Я понимаю, но...

Старый господин *(прерывая Беранже)*. Не перебивайте, мосье.

Логик. Возможно также, что два двурогих носорога сломали оба по одному рогу.

Старый господин. Возможно.

Хозяин кафе. Вполне возможно.

Лавочник. Почему бы и нет!

Беранже. Да, но как-никак...

Старый господин *(к Беранже)*. Не перебивайте!

Логик. Если бы вы могли доказать, что в первый раз видели носорога с одним рогом, будь то азиатский или африканский...

Старый господин. Азиатский или африканский...

Логик. ...а во второй раз — носорога с двумя рогами...

Старый господин. С двумя рогами!

Логик. ...неважно, африканский он или азиатский...

Лавочник. ...Африканский или азиатский...

Логик *(продолжает свои пояснения)*. ...тогда можно было бы заключить, что мы имеем дело с двумя разными носорогами, ибо мало вероятно, чтобы сколько-нибудь заметный второй рог мог вырасти на носу носорога за несколько минут.

Старый господин. Мало вероятно.

Логик *(очень довольный своим рассуждением)*. Тогда азиатский или африканский носорог...

Старый господин. Азиатский или африканский.

Логик. ...мог бы стать африканским или азиатским...

Хозяин кафе. Африканским или азиатским.

Лавочник. Мда, мда...

Логик. ...что по законам логики недопустимо, ибо одно и то же существо не может родиться одновременно в двух местах.

Старый господин. Ни даже поочередно.

Логик *(Старому господину)*. Это еще требуется доказать.

Беранже *(Логику)*. Все это я очень хорошо понимаю, но ведь это же не решает вопроса.

Логик *(Беранже, покровительственно улыбаясь)*. Очевидно, дорогой мосье, именно так и только так мы правильно подойдем к постановке вопроса.

Старый господин. Это как нельзя более логично.

Логик *(приподнимая шляпу)*. До свиданья, господа.

Поворачивается и уходит налево, за ним следом идет Старый господин.

Старый господин. До свиданья, господа. *(Приподнимает шляпу и уходит вслед за Логиком.)*

Лавочник. Может, это и логично...

В этот момент из кафе с убитым видом медленно выходит Домашняя хозяйка, она несет коробку; за ней следуют Дэзи и Официантка; это похоже на похоронную процессию; они шествуют к выходу направо.

Лавочник *(продолжая)*. ...оно, может, и логично, но не можем же мы допустить, чтобы наших кошек у нас на глазах давили носороги — с одним рогом или с двумя, азиатские или какие-то там африканские. *(Показывает театральным жестом на удаляющуюся похоронную процессию.)*

Хозяин кафе. Он правду говорит. Это верно. Мы не можем позволить, чтобы наших кошек давили носороги или кто бы там ни был.

Лавочник. Не можем позволить!

Лавочница *(высовывая голову из лавки, к Лавочнику)*. А ну иди, иди в лавку! Сейчас покупатели придут.

Лавочник *(направляясь к лавке)*. Нет, мы не можем этого позволить!

Беранже. Ах, не надо мне было ссориться с Жаном. *(Хозяину кафе.)* Принесите порцию коньяку. Двойную!

Хозяин кафе. Сейчас принесу. *(Идет в кафе.)*

Беранже. Не надо, не надо мне было выводить его из себя.

Из кафе появляется Хозяин с большой рюмкой коньяку.

У меня так тяжело на душе; ну зачем я пойду в музей? Займусь самообразованием как-нибудь в другой раз. *(Берет рюмку, выпивает.)*

Занавес

Действие второе

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Контора какого-нибудь учреждения или частного предприятия, например крупной фирмы, издающей книги по юриспруденции. В глубине посредине — широкие двери, на них дощечка с надписью: «Начальник конторы». Налево, рядом с этой дверью — столик Дэзи, на нем пишущая машинка. У левой стены, между дверью, ведущей на лестницу, и столиком Дэзи,— еще столик, где лежит табель, в котором служащие расписываются, когда приходят. Налево, на переднем плане — дверь на лестницу; видны верхние ступеньки, конец перил, небольшая площадка. Ближе к середине, на переднем плане — стол с двумя стульями. На столе — корректуры, чернильница, ручки. Это стол Ботара и Беранже. Стул Беранже слева, Ботара — справа. У правой стены другой стол — побольше, прямоугольный, он тоже завален бумагами, корректурами и пр. Возле этого стола тоже два стула— один против другого (более красивые, более «солидные»)... Это стол Дюдара и мосье Бефа. Дюдар сядет на стул у стены, лицом к другим служащим; он занимает должность помощника начальника. Между дверью в глубине и правой стеной — окно. В том случае, если в театре имеется оркестровая яма, лучше всего было бы прямо на авансцене против зрительного зала поставить макет оконной рамы. В правом углу, в глубине — вешалка, на которой висят серые рабочие блузы и поношенные пиджаки. Вешалку можно поместить и на переднем плане, поближе к правой стене. По стенам на полках — ряды пыльных книг и папок. В глубине налево, над полками, прибиты таблички: «Юриспруденция», «Кодексы». На правой стене, которая может быть немножко скошена,— таблички «Правительственный вестник», «Система увеличения налогов». Часы над дверью начальника показывают 9 часов 3 минуты.

Когда занавес поднимается, Дюдар стоит у своего стола, в профиль к залу; Ботар — по другую сторону стола, напротив него. Между ними, лицом к залу, тоже у стола — начальник конторы; возле него, слева, немного отступя — Дэзи; в руке у нее листки, отпечатанные на машинке.

В течение нескольких секунд после поднятия занавеса все действующие лица стоят не двигаясь, в той позе, в какой произносится первая реплика.

Это как бы живая картина, так же как и в начале первого действия.

Начальник конторы, человек лет пятидесяти, одет строго, солидно — темно-синий костюм, ленточка ордена Почетного легиона, крахмальный воротничок, черный галстук, темные усы. Его зовут мосье Папийон.

Дюдар — тридцати пяти лет. Может быть в очках, серый костюм, черные люстриновые нарукавники, чтобы не пачкать рукава, довольно рослый; продвигается по службе, будущее ему обеспечено Если начальник конторы станет помощником директора, он займет его место. Ботар не любит его.

Ботар — учитель, вышедший в отставку, держится заносчиво; короткие седые усы; ему лет шестьдесят, отлично сохранился. Все знает, все понимает. Он в берете, в серой длинной рабочей блузе, в очках, нос довольно крупный, карандаш за ухом; такие же люстриновые нарукавники.

Дэзи — молоденькая блондинка.

Позднее появляется мадам Беф — толстая женщина лет сорока-пятидесяти, заплаканная, запыхавшаяся.

Когда поднимается занавес, все действующие лица стоят неподвижно у стола справа. Начальник конторы, вытянув руку, показывает пальцем на газету, лежащую на столе.

Дюдар делает жест в сторону Ботара, как бы убеждая «Вы же видите!»

Ботар — руки в карманах блузы — недоверчиво усмехается, словно говоря: «Меня не проведете»

Дэзи держит в руке напечатанные листки и глядит на Дюдара, как бы поддакивая ему.

Так длится несколько секунд, после чего Ботар начинает:

Ботар. Басни, басни, дурацкие басни!

Дэзи. Да я сама видела, я видела носорога.

Дюдар. Но ведь это черным по белому напечатано в газете. Как же вы можете отрицать?!

Ботар *(с видом глубочайшего презрения)*. Пфф!

Дюдар. Вот, ясно написано. В отделе происшествий заметка «Раздавлена кошка». Прочтите, мосье Папийон.

Мосье Папийон. «Вчера, в воскресенье, в нашем городе, на Церковной площади, в самое оживленное время дня толстокожее растоптало кошку».

Дэзи. Это было не на самой площади.

Мосье Папийон. Вот и все. Больше никаких подробностей.

Ботар. Пфф!

Дюдар. Вполне достаточно. И так все ясно.

Ботар. Как можно верить газетчикам? Все газетчики врут, знаю я их. Я верю только тому, что вижу собственными глазами. Я бывший учитель, я люблю точность, определенность и чтобы было научно доказано. Такой у меня склад ума — точный и методичный.

Дюдар. При чем здесь методичный склад ума?

Дэзи *(Ботару)*. По-моему, мосье Ботар, это совершенно точное сообщение.

Ботар. И это вы называете точностью? А ну посмотрим! О каком это толстокожем идет речь? Что подразумевает автор заметки о раздавленных кошках под словом толстокожее? Он нам этого не говорит. Что он подразумевает под кошкой?

Дюдар. Все знают, что такое кошка.

Ботар. Но все-таки, кошка это или кот? Какой масти? Какой породы? Я вовсе не расист, скорей даже противник расизма.

Мосье Папийон. Позвольте, мосье Ботар, не об этом же речь, при чем тут расизм?

Ботар. Прошу прощения, господин начальник. Вы не можете отрицать, что расизм — это одно из величайших заблуждений нашего века.

Дюдар. Разумеется, и мы все с этим согласны, но ведь не об этом же...

Ботар. Мосье Дюдар, нельзя к этому подходить так просто. Исторические события ясно показывают, что расизм...

Дюдар. Повторяю вам, не об этом же речь...

Ботар. Я бы этого не сказал.

Мосье Папийон. Расизм здесь ни при чем.

Ботар. Нельзя упускать случай изобличить его.

Дэзи. Да нет здесь никаких расистов. И вы совсем не о том говорите. Речь идет просто-напросто о кошке, которую раздавило толстокожее, в данном случае — носорог.

Ботар. Я, знаете ли, не южанин. Это у южан такое богатое воображение. Быть может, это мышь раздавила блоху. А теперь из мыши делают слона.

Мосье Папийон *(Дюдару)*. Давайте попробуем выяснить, как было дело. Так вы, значит, собственными глазами видели носорога, который спокойно прогуливался по улицам?

Дэзи. Совсем он не прогуливался, а бежал.

Дюдар. Я сам лично не видел. Однако люди, вполне заслуживающие доверия...

Ботар *(перебивает)*. Вы же понимаете, что все это пустая болтовня. Вы верите газетчикам, которые сами не знают, что бы такое выдумать для поднятия спроса на свои поганые газеты, и, точно лакеи, стремятся угодить своим хозяевам. Как вы можете этому верить! Вы, мосье Дюдар, вы, юрист, с дипломом доктора права! Нет, это просто смешно. Ха-ха-ха!

Дэзи. А я видела его, видела, сама видела носорога. Могу чем угодно поклясться, голову даю на отсечение.

Ботар. Постыдитесь. Я считал вас серьезной девушкой.

Дэзи. Я не страдаю галлюцинациями, мосье Ботар. И я не одна была, кругом были люди, и все смотрели.

Ботар. Пфф! Наверно, они на что-нибудь еще смотрели. Праздные люди, которые слоняются от нечего делать, бездельники, тунеядцы.

Дюдар. Это было вчера, а вчера воскресенье было.

Ботар. Я, например, работаю и в воскресенье. Не слушаю священников, которые только и думают, как бы затащить людей в церковь, чтобы не дать им заниматься делом и в поте лица зарабатывать хлеб свой.

Мосье Папийон *(возмущенно)*. О-о!

Ботар. Простите, я не хотел вас задеть. Если я, можно сказать, не уважаю их, так это вовсе не потому, что я презираю религию. *(К Дэзи.)* Да вы прежде всего в состоянии сказать, что такое носорог?

Дэзи. Это... это очень большое животное, преотвратительное.

Ботар. И вы еще хвастаетесь, что у вас ясное представление... Носорог, мадемуазель, это...

Мосье Папийон. Надеюсь, вы не собираетесь читать нам здесь лекцию о носороге. Мы не в школе.

Ботар. Очень жаль.

В то время как они перебрасываются последними репликами, на лестнице появляется Беранже. Он крадучись поднимается и осторожно приоткрывает входную дверь, на которой теперь видна дощечка с надписью «Юридическое издательство».

Мосье Папийон *(к Дэзи)*. Ну-с! Уже больше девяти. Убирайте табель, мадемуазель, а если кто опоздал, тем хуже для них.

Дэзи идет налево к маленькому столику, на котором лежит табель, и в эту минуту появляется Беранже.

Беранже *(входит, пока остальные еще продолжают спорить; к Дэзи)*. Добрый день, мадемуазель Дэзи. Я не опоздал?

Ботар *(Дюдару и мосье Папийону)*. Я борюсь с невежеством всюду, где бы я с ним ни сталкивался...

Дэзи *(к Беранже)*. Скорей, мосье Беранже.

Ботар. ...во дворцах или в хижинах!

Дэзи *(к Беранже)*. Скорее, расписывайтесь в табеле!

Беранже. Ах, спасибо! Начальник уже здесь?

Дэзи *(к Беранже, приставляя палец к губам)*. Тс-с-с! Да, здесь.

Беранже. Как? Так рано? *(Бросается расписываться в табеле)*.

Ботар *(продолжает)*. Где бы ни было! Даже в издательствах!

Мосье Папийон *(Ботару)*. Мосье Ботар, мне кажется...

Беранже *(расписываясь, к Дэзи)*. Ведь еще десяти минут десятого нет...

Мосье Папийон *(Ботару)*. Мне кажется, вы переходите границы вежливости.

Дюдар *(мосье Папийону)*. Я тоже так думаю, мосье.

Мосье Папийон *(Ботару)*. Не станете же вы утверждать, что мой сотрудник, ваш коллега, мосье Дюдар, человек с дипломом доктора права, превосходный служащий,— невежда.

Ботар. Я не собираюсь утверждать ничего подобного, хотя все эти факультеты и университеты ни в какое сравнение не идут с обыкновенной школой.

Мосье Папийон *(к Дэзи)*. А где же табель?

Дэзи *(мосье Папийону)*. Вот, мосье. *(Протягивает ему лист.)*

Мосье Папийон *(к Беранже)*. А, вот и мосье Беранже!

Ботар *(Дюдару)*. Людям с университетским образованием много чего не хватает, у них нет ни ясности мысли, ни наблюдательности, ни малейшего практического опыта.

Дюдар *(Ботару)*. Ну как это так!

Беранже *(мосье Папийону)*. Доброе утро, мосье Папийон.

Беранже, пробравшись за спиной начальника и незаметно проскользнув мимо троих разговаривающих, успел подойти к вешалке, где висит его старый пиджак, он снимает выходной пиджак, надевает старый, подходит к своему столу, достает из ящика черные люстриновые нарукавники и, надевая их, здоровается.

Беранже. Доброе утро, мосье Папийон, простите, я чуть было не опоздал. Доброе утро, Дюдар! Доброе утро, мосье Ботар.

Мосье Папийон. Скажите, Беранже, вы тоже видели носорога?

Ботар *(Дюдару)*. Люди с университетским образованием — это люди абстрактного мышления, а в жизни они ничего не смыслят.

Дюдар *(Ботару)*. Глупости.

Беранже *(достает из стола и раскладывает все, что нужно для работы, проявляя при этом чрезмерное усердие, словно стараясь загладить свою вину. Мосье Папийону — непринужденным тоном)*. Да, конечно видел!

Ботар *(оборачиваясь)*. Пфф!

Дэзи. Ага! Вот видите, я не сумасшедшая.

Ботар *(иронически)*. Ах, мосье Беранже говорит это из любезности, он человек галантный, хотя по виду этого и не скажешь.

Дюдар. Это, по-вашему, любезность — сказать, что видел носорога?

Ботар. Конечно. Если это говорится для того, чтобы подтвердить невероятные домыслы мадемуазель Дэзи. Все стараются быть любезными с мадемуазель Дэзи, и оно понятно.

Мосье Папийон. Вот уж это нечестно, мосье Ботар. Ведь мосье Беранже не участвовал в споре. Он только что пришел.

Беранже *(к Дэзи)*. Но ведь вы тоже видели? Мы вместе видели.

Ботар. Пфф! А может быть, мосье Беранже почудилось, что он видел носорога. *(Делает за спиной Беранже жест, намекающий на то, что Беранже пьет.)* При таком воображении, как у него, это возможно.

Беранже. Я был не один, когда видел носорога, а возможно, и двух носорогов.

Ботар. Он даже не знает, сколько он видел носорогов!

Беранже. Я был с моим другом Жаном... и кругом были еще люди.

Ботар *(к Беранже)*. Вы, верно, что-то путаете, честное слово!

Дэзи. Это был однорогий носорог.

Ботар. Пфф! Они просто сговорились посмеяться над нами.

Дюдар *(к Дэзи)*. А мне кажется, это был носорог с двумя рогами, так, по крайней мере, я слышал.

Ботар. Вы бы хоть сговорились.

Мосье Папийон *(взглянув на часы)*. Довольно разговаривать, господа. Время идет.

Ботар. Так вот вы, мосье Беранже, вы видели одного или двух носорогов?

Беранже. М-м... Ну! Если считать...

Ботар. Значит, не знаете. Мадемуазель Дэзи видела одного носорога с одним рогом. А у вашего носорога, мосье Беранже, если только это носорог, у него был один рог или два?

Беранже. Да вот, видите ли, в этом же как раз все и дело.

Ботар. Как-то это очень туманно.

Дэзи. О-о!

Ботар. Уж вы на меня не обижайтесь, но я не могу поверить вашим рассказам. Носороги — у нас, такого никто никогда не видел!

Дюдар! Достаточно, если и один раз кто-то увидал.

Ботар. Никто никогда не видел. Разве что на картинках, в детских учебниках, а ваши носороги, должно быть, пустили ростки в мозгах каких-нибудь кумушек.

Беранже. Мне кажется, выражение «пускать ростки» по отношению к носорогам не совсем удачно.

Дюдар. Вот именно.

Ботар *(продолжая)*. Ваш носорог — миф!

Дэзи. Миф?

Мосье Папийон. Господа, пора приниматься за работу.

Ботар *(к Дэзи)*. Такой же миф, как летающие блюдца.

Дюдар. Но ведь кошку-то все-таки раздавили, вы не станете этого отрицать.

Беранже. Я сам тому свидетель.

Дэзи *(показывая на Беранже)*. Вот и свидетели есть.

Ботар. Тоже мне свидетель!

Мосье Папийон. Господа, господа!

Ботар *(Дюдару)*. Массовый психоз, мосье Дюдар, массовый психоз! Ну вот как религия, которая, как известно, опиум для народа.

Дэзи. А я, например, верю в летающие блюдца.

Ботар. Пфф!

Мосье Папийон *(твердо)*. Ну хватит, довольно, так можно бог знает до чего договориться. Прекратите разговоры. Были они или не были, эти ваши носороги или какие-то там летающие блюдца, а работа не должна страдать. Фирма платит вам не за то, чтобы вы теряли время на разговоры о животных — какие бы они там ни были, настоящие или выдуманные.

Ботар. Выдуманные!

Дюдар. Настоящие!

Дэзи. Самые настоящие!

Мосье Папийон. Господа, я еще раз прошу принять во внимание: сейчас — рабочее время. Извольте тотчас же прекратить этот бесплодный спор...

Ботар *(уязвленный, иронически)*. Хорошо, мосье Папийон. Вы — начальник. Раз вы приказываете, мы обязаны подчиниться.

Мосье Папийон. Поторопитесь, господа. Я не хочу доводить дело до того, чтобы потом пришлось вычитать из вашего жалованья. Мосье Дюдар, как ваши комментарии к закону о мерах по борьбе с алкоголизмом?

Дюдар. Я в них вношу кое-какие исправления, мосье.

Мосье Папийон. Постарайтесь закончить. Это срочно. Мосье Беранже и мосье Ботар, кончили вы читать корректуру регламентации вин с проверенной номенклатурой?

Беранже. Нет, мосье Папийон, но нам не так уж много осталось.

Мосье Папийон. Считывайте вдвоем и кончайте. Типография ждет. Мадемуазель Дэзи, вы принесете письма на подпись ко мне в кабинет. Печатайте их поскорей.

Дэзи. Да-да, мосье Папийон.

Дэзи садится за свой столик и стучит на машинке. Дюдар усаживается за стол и принимается за работу. Беранже и Ботар усаживаются за стол друг против друга, повернувшись в профиль к зрительному залу. Ботар — спиной к двери, ведущей на лестницу. Ботар явно не в духе. Беранже пассивен и вял; он раскладывает корректуру на столе и передает рукопись Ботару; Ботар что-то бормочет себе под нос, в то время как мосье Папийон уходит и захлопывает за собой дверь.

Мосье Папийон. Я вас покидаю ненадолго, господа. *(Выходит.)*

Беранже *(читает вслух и исправляет; Ботар следит по рукописи с карандашом в руке)*. Регламентация вин с проверенной *(поправляет)*... проверенной—два «н», номенклатурой—«е» *(поправляет)* ...номенклатурой, с проверенной номенклатурой Бордосского района, нижней области верхних склонов.

Ботар *(к Беранже)*. У меня этого нет. Лишняя строка.
Беранже. Повторяю: вина с проверенной номенклатурой...
Дюдар *(к Беранже и Ботару)*. Читайте потише, пожалуйста. Только вас и слышишь. Мешаете сосредоточиться.
Ботар *(Дюдару, через голову Беранже, возвращаясь к недавнему спору. Беранже в течение нескольких секунд проверяет один, беззвучно шевеля губами)*. Это просто мистификация!
Дюдар. Что мистификация?
Ботар. Да вот эти ваши рассказы о носороге, черт возьми. Это ваша пропаганда распространяет такие слухи.
Дюдар *(отрывается от работы)*. Какая пропаганда?!
Беранже *(вступает в разговор)*. Никакая это не пропаганда...
Дэзи *(переставая печатать)*. Я же вам говорю, что я видела... видела... мы оба видели.
Дюдар *(Ботару)*. Но это же просто смешно!.. Пропаганда! С какой целью?
Ботар *(Дюдару)*. Да ладно уж! Вы это лучше меня знаете. Не прикидывайтесь дурачком...
Дюдар *(рассердившись)*. Во всяком случае, мосье Ботар, я ни на кого не работаю.
Ботар *(красный от злости, стучит кулаком по столу)*. Это оскорбление. Я не позволю... *(Вскакивает.)*
Беранже *(умоляюще)*. Успокойтесь, мосье Ботар.
Дэзи. Успокойтесь, мосье Дюдар.
Ботар. А я говорю: это оскорбление.

Внезапно дверь кабинета начальника отворяется; Ботар и Дюдар поспешно садятся. В руке у начальника табель. С его появлением сразу водворяется тишина.

Мосье Папийон. Мосье Беф не вышел сегодня?
Беранже *(оглядываясь)*. В самом деле, его нет.
Мосье Папийон. А мне он как раз нужен. *(К Дэзи.)* Он не сообщал, что заболел или где-то задержится?
Дэзи. Он мне ничего не говорил.
Мосье Папийон *(распахивает свою дверь и выходит в общую комнату)*. Если так будет продолжаться, я его уволю. Это уже не первый раз он выкидывает такие штуки. До сих пор я закрывал глаза, теперь довольно... Есть у вас у кого-нибудь ключ от его стола?

В эту минуту появляется мадам Беф. Когда мосье Папийон произносит последние слова, видно, как она поспешно поднимается по лестнице и распахивает дверь. Она запыхалась, у нее перепуганный вид.

Беранже. А вот и мадам Беф!
Дэзи. Здравствуйте, мадам Беф.
Мадам Беф. Здравствуйте, мосье Папийон. Здравствуйте, господа.
Мосье Папийон. Что такое с вашим мужем? Что с ним случилось? Он больше не желает себя утруждать?
Мадам Беф *(едва переводя дыхание)*. Я вас прошу извинить его. Извинить моего мужа... Он поехал на воскресенье к родным и схватил небольшой грипп.
Мосье Папийон. Ах так! Небольшой грипп!
Мадам Беф *(протягивает начальнику бумажку)*. Вот его телеграмма. Он думает вернуться в среду... *(Почти на грани обморока.)* Дайте мне стакан воды... и стул...

Беранже выносит ей на середину сцены свой стул; она почти падает на него.

Мосье Папийон *(к Дэзи)*. Дайте ей стакан воды.
Дэзи. Сию минуту.

Дэзи приносит воду, подает мадам Беф, та пьет, разговор тем временем продолжается.

Дюдар *(начальнику)*. Должно быть, у нее сердце не в порядке.

Мосье Папийон. Это, конечно, очень досадно, что мосье Беф отсутствует, но волноваться тут не из-за чего.

Мадам Беф *(через силу)*. Дело в том... в том... что за мной от самого дома гнался носорог.

Беранже. С одним рогом или с двумя?

Ботар *(прыская со смеху)*. Вы меня уморите!

Дюдар *(возмущенно)*. Дайте ей сказать!

Мадам Беф *(с усилием соображает и показывает пальцем в сторону лестницы)*. Он там, внизу, у входа; я думала, он за мной по лестнице бросится.

В ту же минуту раздается грохот и лестница обрушивается — видно, как проваливаются ступеньки, точно под чудовищной тяжестью. Снизу доносится жалобный рев. Когда пыль, поднявшаяся от рухнувшей лестницы, уляжется, видно будет площадку лестчицы, как бы повисшую в воздухе.

Дэзи. О боже!..

Мадам Беф *(сидя на стуле, хватается за сердце)*. Ох! Ах!

Беранже суетится около мадам Беф, хлопает ее по щекам, поит водой.

Беранже. Успокойтесь!

В это время Папийон, Дюдар и Ботар бросаются влево, к двери и, отталкивая друг друга, выскакивают на площадку лестницы, где висят облака пыли; снизу по-прежнему доносится рев.

Дэзи *(к мадам Беф)*. Вам лучше, мадам Беф?

Мосье Папийон *(на площадке)*. Вон он! Внизу!

Ботар. Ничего не вижу. Это ваша фантазия!

Дюдар. Да вон же он внизу, вон, вокруг дома кружит!

Мосье Папийон. Да, действительно, вокруг дома кружит!

Дюдар. Он не сможет подняться. Лестницы-то ведь нет.

Ботар. Очень странно. Что все это может означать?

Дюдар *(поворачиваясь к Беранже)*. Идите же сюда, посмотрите! Посмотрите на вашего носорога.

Беранже. Иду.

Беранже, а за ним Дэзи бросаются на площадку, покинув мадам Беф.

Мосье Папийон *(к Беранже)*. А ну-ка, посмотрите вы, специалист по носорогам.

Беранже. Я не специалист по носорогам...

Дэзи. О-о! Смотрите... как он кружит. Точно его что-то мучает... Что ему надо?

Дюдар. Можно подумать, он кого-то ищет. *(Ботару.)* Ну как? Теперь вы видите его?

Ботар *(задетый)*. Ну, вижу.

Дэзи *(мосье Папийону)*. Может быть, у нас у всех галлюцинация. И у вас тоже...

Ботар. У меня не бывает галлюцинаций. Но, во всяком случае, за этим что-то кроется.

Дюдар *(Ботару)*. Что кроется?

Мосье Папийон *(к Беранже)*. Но это же действительно носорог, не так ли? Тот самый, которого вы видели? *(К Дэзи.)* И вы тоже?

Дэзи. Конечно.

Беранже. У него два рога. Это африканский носорог или, скорее, азиатский. Ах, я уже совсем сбился, не знаю, два рога у африканского носорога или один.

Мосье Папийон. Он нам сломал лестницу. Тем лучше, я так и ждал, что это случится! Уже сколько времени прошу дирекцию сде-

лать нам бетонные ступени вместо этой старой, прогнившей лестницы...

Дюдар. Еще на прошлой неделе, мосье, я посылал докладную.

Мосье Папийон. Так оно и должно было случиться, должно было случиться. Это можно было предвидеть. Я был прав.

Дэзи *(мосье Папийону, иронически)*. Как всегда.

Беранже *(Дюдару и мосье Папийону)*. Постойте, постойте, для какого же это носорога характерный признак двурогость — для африканского или для азиатского? А единорогость для азиатского или африканского?

Дэзи. Бедное животное, все время кружит на месте и ревет. Что ему надо? Ох, он смотрит на нас. *(Носорогу.)* Котинька, котинька...

Дюдар. Не вздумайте его гладить, вряд ли он ручной...

Мосье Папийон. Да ей все равно до него не дотянуться.

Носорог отчаянно ревет.

Дэзи. Бедненький.

Беранже *(продолжая, Ботару)*. Вы столько всего знаете, скажите, не может ли быть наоборот, что двурогость — это признак...

Мосье Папийон. Вы что-то заговариваетесь, дорогой Беранже. Мосье Ботар прав — вы, верно, не выспались.

Ботар. Как это может быть? В цивилизованной стране...

Дэзи *(Ботару)*. Согласна. Но ведь вот же он здесь, или нет?

Ботар. Это какая-то гнусная махинация. *(Жестом оратора на трибуне тычет пальцем в Дюдара и смотрит на него грозным взглядом.)* Вы за это ответите.

Дюдар. Почему я, а не вы?

Ботар *(в бешенстве)*. Я? Маленькие люди всегда за все в ответе. Но если бы это только от меня зависело...

Мосье Папийон. Интересно, как это мы теперь обойдемся без лестницы!

Дэзи *(Ботару и Дюдару)*. Перестаньте, господа, будет вам! Нашли время!

Мосье Папийон. И все по вине дирекции.

Дэзи. Возможно. Но как же мы спустимся?

Мосье Папийон *(разыгрывая из себя влюбленного, шутливо гладит машинистку по щечке)*. Я вас обниму, прижму к груди, и мы вместе прыгнем.

Дэзи *(отталкивая руку начальника)*. Не смейте царапать мое лицо вашей шершавой рукой, вы, толстокожее!

Мосье Папийон. Я пошутил.

Между тем носорог не перестает реветь. Мадам Беф подымается со стула и присоединяется к остальным. Несколько секунд она внимательно вглядывается в носорога, который продолжает кружить на одном месте, и вдруг начинает вопить не своим голосом.

Мадам Беф. Боже мой! Боже! Не может быть!

Беранже *(к мадам Беф)*. Что с вами?

Мадам Беф. Это же мой муж! Беф, мой бедный Беф, что с тобой случилось?

Дэзи *(к мадам Беф)*. Вы уверены, что это он?

Мадам Беф. Конечно, я его узнаю, узнаю.

Носорог отвечает исступленно-нежным ревом.

Мосье Папийон. Этого еще не хватало. Ну, больше я с ним церемониться не буду, я его выгоню.

Дюдар. А он застрахован?

Ботар *(в сторону)*. Теперь мне все ясно...

Дэзи. А как же в таком случае платят страховые?

Мадам Беф *(теряет сознание, падает в объятия Беранже)*. О, боже!
Беранже. О-о!
Дэзи. Давайте отнесем ее туда.

Беранже, Дюдар и Дэзи тащат мадам Беф к стулу и усаживают ее.

Дюдар *(помогая тащить)*. Не расстраивайтесь, мадам Беф.
Мадам Беф. Ах! Ох!
Дэзи. Может быть, это как-нибудь обойдется...
Мосье Папийон *(Дюдару)*. Ну, а если, скажем, судебным порядком, что тут можно сделать?
Дюдар. Надо справиться в конфликтной комиссии!
Ботар *(замыкает шествие, вздымая руки к небу)*. Сущее безумие! Ну и компания!

Остальные между тем продолжают суетиться вокруг мадам Беф, ее шлепают по щекам, она открывает глаза, у нее вырывается стон «Ах!», снова закрывает глаза, и опять ее хлопают по щекам.

Ботар. Во всяком случае, будьте покойны, наш комитет действий будет обо всем осведомлен. Я не оставлю товарища в беде. Это станет всем известно.
Мадам Беф *(приходя в себя)*. Бедненький мой! Не могу же я его оставить в таком положении. *(Слышен рев.)* Он меня зовет. *(Нежно.)* Это он меня зовет.
Дэзи. Вам лучше, мадам Беф?
Дюдар. Она приходит в себя.
Ботар *(к мадам Беф)*. Можете не сомневаться, наша делегация вас поддержит. Вступайте в члены нашего комитета! Хотите?
Мосье Папийон. И долго это будет продолжаться? А работа так и будет стоять?
Дэзи. Надо прежде всего подумать, как мы отсюда выйдем.
Мосье Папийон. М-да, это проблема. Через окно, по-видимому.

Все направляются к окну, за исключением мадам Беф, которая полулежит на стуле, и Ботара; они остаются посредине сцены.

Ботар. Я знаю, чьи это штучки.
Дэзи *(у окна)*. Высоко очень!
Беранже. Пожалуй, надо пожарных вызвать, чтобы они со своими лестницами приехали.
Мосье Папийон. Мадемуазель Дэзи, пойдите в мой кабинет и позвоните в пожарную команду.

Дэзи проходит в глубине; слышно, как она снимает трубку и набирает номер. «Алло, алло! Пожарная команда?» После чего доносятся какие-то отдельные слова.

Мадам Беф *(внезапно поднимается)*. Нет, я не могу его оставить в таком состоянии.
Мосье Папийон. Если вы думаете развестись... у вас теперь все основания.
Дюдар. И конечно он возьмет вину на себя.
Мадам Беф. Нет! Бедняжка! Разве можно сейчас об этом думать? Как я могу покинуть мужа в таком состоянии!
Ботар. Вы смелая женщина.
Дюдар *(к мадам Беф)*. Но что вы теперь будете делать?

Мадам Беф бросается на площадку.

Беранже. Осторожней!
Мадам Беф. Не могу я его бросить, не могу!
Дюдар. Держите ее!
Мадам Беф. Я сейчас его домой уведу!
Мосье Папийон. Что она собирается делать?

Мадам Беф *(на краю площадки, готовясь прыгнуть)*. Иду, дорогой, иду.

Беранже. Она сейчас прыгнет.

Ботар. Это ее долг.

Дюдар. Не сможет она!

Все, кроме Дэзи, которая продолжает звонить по телефону, собрались на площадке около мадам Беф. Мадам Беф прыгает. Беранже пытается ее удержать, в руках у него остается ее юбка.

Беранже. Не смог удержать!

Снизу доносится нежный рев носорога.

Голос мадам Беф. Я здесь, дорогой мой, здесь.

Дюдар. Смотрите: она села прямо ему на спину, верхом!

Ботар. Да эта женщина амазонка!

Голос мадам Беф. Домой, дорогой мой, едем домой.

Дюдар. Вон они уже несутся галопом!

Дюдар, Беранже, Ботар, мосье Папийон возвращаются в контору, идут к окну.

Беранже. Мчатся во весь опор!

Дюдар *(мосье Папийону)*. А вы, кажется, занимались верховой ездой?

Мосье Папийон. Да, в свое время... немножко. *(Поворачивается к двери своего кабинета, Дюдару)*. Она все еще не дозвонилась!..

Беранже *(следит глазами за носорогом)*. Вон они уже далеко. Скрылись, не видно больше.

Дэзи *(выходя из кабинета начальника)*. Еле добилась, чтобы приехали пожарные...

Ботар *(словно делая вывод из каких-то своих рассуждений)*. Этакая гнусность!

Дэзи. ...еле добилась, чтобы приехали пожарные...

Мосье Папийон. А что, много пожаров в городе?

Беранже. Я согласен с Ботаром. Поведение мадам Беф просто трогательно. Смелая женщина!

Мосье Папийон. Мне придется кого-нибудь взять на его место.

Беранже. Вы думаете, мы в самом деле больше не сможем его дождаться?

Дэзи. Нет никаких пожаров, но все пожарные нарасхват из-за этих носорогов.

Беранже. Из-за носорогов?

Дюдар. Как из-за носорогов?

Дэзи. Да так, из-за носорогов. О них сообщают отовсюду, и все уже в городе знают. Сегодня утром было семь, а сейчас их уже семнадцать.

Ботар. Что я вам говорил!

Дэзи *(продолжает)*. По последним сообщениям, говорят, даже тридцать два. Правда, это еще не официально, но никто даже и не сомневается, конечно все подтвердится.

Ботар *(уже не так убежденно)*. Пфф! Как все преувеличивают!

Мосье Папийон. Но все-таки они приедут, вытащат нас отсюда?

Беранже. Я уже проголодался...

Дэзи. Да, приедут, пожарные уже выехали.

Мосье Папийон. А как же с работой?

Дюдар. Ну, мне кажется, все-таки это совершенно исключительный случай.

Мосье Папийон. Нам потом придется наверстывать эти часы.

Дюдар. Ну как, мосье Ботар, вы все еще продолжаете отрицать очевидность носорожьего явления?

Ботар. Наш комитет протестует против того, чтобы мосье Беф был уволен без предупреждения.

Мосье Папийон. Не я же это решаю... Посмотрим, что скажет комиссия по расследованию.

Ботар *(Дюдару)*. Нет, Дюдар, я не отрицаю очевидности носорожьего явления и никогда не отрицал.

Дюдар. Вот это уже нечестно!

Дэзи. Да, нечестно!

Ботар. Повторяю: я никогда этого не отрицал, я просто решил посмотреть, до чего это может дойти. Но я-то знаю, с чем мы имеем дело. Я не просто констатирую факт. Я разбираюсь в нем, я могу его объяснить. По крайней мере, я мог бы объяснить его, если бы...

Дюдар. Ну объясните.

Дэзи. Объясните, мосье Ботар.

Мосье Папийон. Объясните же, раз сослуживцы вас просят.

Ботар. Я объясню...

Дюдар. Мы слушаем.

Дэзи. Я просто сгораю от любопытства.

Ботар. Я объясню как-нибудь в другой раз.

Дюдар. Почему же не сейчас?

Ботар *(мосье Папийону, угрожающе)*. Нам с вами придется скоро объясниться. *(Обращаясь ко всем.)* Мне известна причина и подоплека всей этой истории.

Дэзи. Какая подоплека?

Беранже. Какая подоплека?

Дюдар. Очень интересно знать, что это за подоплека.

Ботар *(продолжает грозно)*. Мне известны также имена всех, кто за это ответит. Имена предателей. Меня не обманешь. Я вам покажу, какова цель и что собой представляет эта провокация. Я сорву маски с тех, кто ее затеял.

Беранже. Кому же это нужно, чтобы...

Дюдар *(Ботару)*. Вы бредите, мосье Ботар.

Мосье Папийон. Давайте не будем бредить.

Ботар. Я брежу, брежу?

Дезн. Ведь вы только что упрекали нас в галлюцинациях.

Ботар. Да, только что. А вот теперь, видите, галлюцинация превратилась в провокацию.

Дюдар. Как же, по-вашему, произошло это превращение?

Ботар. Ну, это ни для кого не секрет. Только дети могут не понимать, и только ханжи притворяются, будто не понимают.

С улицы доносится пронзительный вой подъезжающей пожарной машины. Она резко тормозит и с оглушительным ревом останавливается под окном.

Дэзи. Вот и пожарные.

Ботар. Но так это не останется. Этого нельзя допустить.

Дюдар. Ничего тут такого нет. Носороги, мосье Ботар, есть носороги — вот и все. И ничего другого это не означает.

Дэзи *(у окна, смотрит вниз)*. Пожарные сюда, сюда!

Снизу доносится шум, суматоха, крики пожарных.

Голос пожарного. Лестницу поднимай!

Ботар *(Дюдару)*. Я постиг смысл происходящего, я могу безошибочно все расшифровать.

Мосье Папийон. Все-таки после завтрака надо бы всем вернуться в контору.

Видно, как к окну приставляют пожарную лестницу.

Ботар. Ничего, дела потерпят, мосье Папийон.

Мосье Папийон. А что скажет дирекция?

Дюдар. Но это же совершенно исключительный случай.

Ботар *(показывая на окно)*. Не могут же они нас заставить влезать сюда через окно. Надо подождать, пока починят лестницу.

Дюдар. Если кто-нибудь сломает ногу, у дирекции могут быть крупные неприятности.

Мосье Папийон. Это верно.

В окне появляется каска Пожарного, затем Пожарный.

Беранже *(показывая Дэзи на окно)*. Пожалуйста, мадемуазель Дэзи.

Пожарный. Идемте, мадемуазель.

Пожарный снимает мадемуазель Дэзи с подоконника, на который она взобралась, и исчезает с ней на руках.

Дюдар. До свиданья, мадемуазель Дэзи. До скорой встречи.

Дэзи *(исчезая)*. До скорой встречи, господа.

Мосье Папийон *(в окно)*. Позвоните мне завтра утром, мадемуазель. Придете ко мне домой и перепечатаете письма. *(К Беранже.)* Мосье Беранже, напоминаю вам, что мы не в отпуске и должны приступить к работе, как только это станет возможно. *(К остальным)*. Вы слышали меня, господа?

Дюдар. Да-да, разумеется, мосье Папийон.

Ботар. Конечно, все соки из нас выжать готовы!

Пожарный *(снова появляясь в окне)*. Кто следующий?

Мосье Папийон *(обращаясь ко всем троим)*. Идите же.

Дюдар. Пожалуйста, мосье Папийон.

Беранже. Вы первый, мосье Папийон.

Ботар. Я после вас, конечно.

Мосье Папийон *(к Беранже)*. Принесите мне папку с почтой, что у мадемуазель Дэзи. Вон там на столе.

Беранже идет за папкой, возвращается и подает ее мосье Папийону.

Пожарный. Давайте поживей. Некогда. Отовсюду вызовы!

Ботар. Что я вам говорил?

Мосье Папийон с папкой под мышкой влезает на подоконник.

Мосье Папийон *(пожарным)*. Поосторожнее, папка. *(Оборачиваясь к Дюдару, Ботару и Беранже.)* До свиданья, господа.

Дюдар. До свиданья, мосье Папийон.

Беранже. До свиданья, мосье Папийон.

Мосье Папийон исчезает в окне; слышно, как он покрикивает.

Голос мосье Папийона. Осторожней, бумаги! Дюдар! Заприте письменные столы на ключ!

Дюдар *(кричит)*. Не беспокойтесь, мосье Папийон. *(Ботару)*. Пожалуйста, идите первым, мосье Ботар.

Ботар. Я иду, господа. И первое, что я сделаю, это сию же минуту свяжусь с влиятельными лицами, которые сумеют во всем разобраться. Я выясню, что это за чудеса! *(Идет к окну.)*

Дюдар *(Ботару)*. А я думал, вам уже давно все ясно.

Ботар *(взбираясь на окно)*. Меня ваша ирония ничуть не трогает. Я хочу представить вам доказательства, документы, да-да, доказательства вашей измены.

Дюдар. Это же абсурд...

Ботар. Ваши оскорбления...

Дюдар *(перебивая)*. Это вы меня оскорбляете...

Ботар *(исчезая)*. Я — я не оскорбляю. Я доказываю...

Голос Пожарного. Поживей, не задерживайтесь.

Дюдар *(к Беранже)*. Что вы собираетесь сейчас делать? Не дернуть ли нам по стаканчику?

Беранже. Увольте. Я хочу воспользоваться свободным временем и навестить моего друга Жана. Мне, знаете ли, хотелось бы с ним помириться. Мы с ним поссорились. Я перед ним виноват.

В окне снова появляется голова Пожарного.

Пожарный. Поживей, поживей...
Беранже *(кивая на окно)*. Пожалуйста, я после вас.
Дюдар *(к Беранже)*. Идите, идите.
Беранже *(Дюдару)*. Нет, сначала вы, а я за вами.
Дюдар *(к Беранже)*. Да нет, идите же, а я за вами.
Беранже *(Дюдару)*. Прошу, прошу вас, я за вами.
Пожарный. Давайте поживей, давайте.
Дюдар *(к Беранже)*. Я за вами.
Беранже *(Дюдару)*. Нет, я за вами.

Взбираются на окно вместе. В то время как Пожарный помогает им спуститься, занавес падает.

КАРТИНА ВТОРАЯ

В квартире Жана. Общее оформление сцены примерно такое же, как и в первой картине второго действия,— иными словами, сцена разделена на две части. Направо — три четверти или четыре пятых сцены, в зависимости от ее размеров, занимает комната Жана. В глубине у стены — кровать, на которой лежит Жан. Ближе к середине сцены — стул или кресло, где будет сидеть Беранже. Справа посередине — дверь в ванную. Когда Жан пойдет в ванную, оттуда будет слышно, как льется вода — из крана и из душа. Слева от комнаты Жана — перегородка, разделяющая сцену. Посреди нее дверь, ведущая на лестницу. При желании можно дать менее реалистическую декорацию, поставить, например, просто макет двери, без перегородки. В левой части сцены видны последние ступеньки лестницы, перила и площадка, на которую выходит квартира Жана. В глубине, на той же площадке — дверь в соседнюю квартиру. Пониже в глубине видна верхняя половина двери со стеклом и над ней дощечка «Привратница». Когда занавес поднимается, Жан лежит на кровати под одеялом, спиной к зрителям. Слышно, как он покашливает. Через несколько секунд появляется Беранже, он идет по лестнице, стучит в дверь. Жан не отзывается. Беранже снова стучит.

Беранже. Жан! *(Стучит опять.)* Жан!

Дверь в глубине площадки приоткрывается, на пороге появляется Старичок с седой бородкой.

Старичок. Что вам надо?
Беранже. Я пришел к Жану, к мосье Жану, моему другу.
Старичок. Я думал, ко мне. Меня тоже зовут Жан; а вы, значит, к тому.
Голос жены Старичка *(из комнаты)*. Кто это, к нам?
Старичок *(оборачиваясь к жене, которой не видно)*. Нет, к тому.
Беранже *(стучится)*. Жан!
Старичок. Я что-то не видел, как он уходил. Я видел его вчера вечером. Мне показалось, он был не в духе.
Беранже. Я знаю почему. Это из-за меня.
Старичок. Может, он не хочет открывать. Постучите еще.
Голос жены Старичка. Жан! Будет тебе болтать, Жан.
Беранже *(стучится)*. Жан!
Старичок *(жене)*. Сейчас. О-ля-ля! *(Закрывает дверь и исчезает.)*
Жан *(лежа спиной к публике, хриплым голосом)*. Что там такое?
Беранже. Это я, дорогой Жан, пришел вас повидать.
Жан. Кто там?
Беранже. Я, Беранже. Я вам не помешаю?
Жан. А, это вы? Входите.

Беранже *(пытается открыть дверь)*. У вас заперто.
Жан. Сейчас. Ох...

Жан встает, он действительно сильно не в духе. На нем зеленая пижама, волосы растрепаны.

Минутку. *(Поворачивает ключ.)* Минутку. *(Снова ложится под одеяло, как прежде.)* Входите.
Беранже *(входит)*. Здравствуйте, Жан.
Жан *(в кровати)*. Который сейчас час? Почему вы не на службе?
Беранже. Вы еще в постели? Не идете на службу? Извините, может быть, я вам мешаю?
Жан *(лежа к Беранже спиной)*. Странно, что-то я не узнаю ваш голос.
Беранже. А я ваш.
Жан *(сохраняя прежнюю позу)*. Садитесь.
Беранже. Вы нездоровы?

Жан что-то невнятно бормочет.

Беранже. Знаете, Жан, очень глупо было с моей стороны ссориться с вами из-за этой истории.
Жан. Какой истории?
Беранже. Да вот вчера...
Жан. Что вчера? Где вчера?
Беранже. Вы уже забыли? Да из-за этого носорога, из-за несчастного носорога.
Жан. Какого носорога?
Беранже. Ну того самого носорога или, если хотите, двух несчастных носорогов, которых мы с вами видели.
Жан. Ах да, припоминаю... Кто вам сказал, что они несчастные, эти два носорога?
Беранже. Да просто я так выразился.
Жан. Ладно. Не будем об этом больше говорить.
Беранже. Вы очень добры.
Жан. Ну и дальше что?
Беранже. Мне все-таки хочется сказать вам, что я досадую на себя за то, что я... с таким упорством... ожесточением... с такой яростью... спорил... словом... словом... это было глупо с моей стороны.
Жан. Вы меня этим не удивите.
Беранже. Простите меня.
Жан. Я что-то себя не очень хорошо чувствую. *(Кашляет.)*
Беранже. По этой причине вы, наверно, и лежите в постели. *(Другим тоном.)* А знаете, Жан, мы, оказывается, оба были правы.
Жан. Насчет чего?
Беранже. Да все насчет... того же. Я еще раз прошу вас, простите, что я к этому возвращаюсь, я постараюсь не распространяться. Но я считаю своим долгом сказать вам, дорогой Жан, что каждый из нас был по-своему прав, словом, мы оба были правы. Теперь это доказано. В городе появились носороги с двумя рогами и с одним.
Жан. Что я вам говорил? Ну что ж, тем хуже.
Беранже. Да уж, хуже некуда.
Жан. Или тем лучше, в зависимости от того...
Беранже *(продолжая)*. Откуда появились те и откуда эти или откуда эти и откуда те, что, в сущности, не имеет значения. Единственно, что, по-моему, имеет значение, это само по себе, так сказать, наличие носорогов, потому что...
Жан *(поворачивается и, откинув одеяло, садится на постели лицом к Беранже)*. Я что-то неважно себя чувствую, неважно себя чувствую.
Беранже. Мне очень жаль! А что с вами?
Жан. Сам не знаю, что-то мне не по себе, совсем не по себе...

Беранже. Слабость?

Жан. Да нет. Наоборот, какое-то возбуждение.

Беранже. Я хочу сказать — приступы слабости. Это может с каждым случиться.

Жан. Со мной — никогда.

Беранже. Тогда, может быть, это от избытка здоровья. Излишек энергии — это тоже иногда нехорошо. Расшатывается нервная система.

Жан. Да ничего у меня не расшатано. *(Голос Жана становится все более хриплым.)* У меня здоровое тело и здоровый дух. И наследственность у меня...

Беранже. Ну конечно, конечно. Но, может быть, вы все-таки простудились. У вас есть температура?

Жан. Не знаю. Да, пожалуй, маленькая есть. Голова болит.

Беранже. Небольшая мигрень. Так я, если хотите, уйду.

Жан. Оставайтесь. Вы мне не мешаете.

Беранже. И вы, кроме того, охрипли.

Жан. Охрип?

Беранже. Да. Немножко охрипли. Вот почему я и не узнал вашего голоса.

Жан. Отчего бы это я мог охрипнуть? По-моему, у меня все такой же голос, скорее это у вас изменился.

Беранже. У меня?

Жан. Почему бы и нет?

Беранже. Впрочем, все может быть. Только я не замечал.

Жан. А разве вы способны что-нибудь заметить? *(Прикладывает руку ко лбу.)* Совершенно ясно — у меня болит лоб. Должно быть, я где-то стукнулся. *(Голос у него становится еще более хриплым.)*

Беранже. Когда же вы стукнулись?

Жан. Не знаю. Что-то не припомню.

Беранже. Но вам же было больно, когда вы стукнулись.

Жан. А может быть, я во сне стукнулся.

Беранже. Вы бы тогда от боли проснулись. Наверно, вам просто снилось, что вы стукнулись.

Жан. Никогда мне ничего не снится...

Беранже *(продолжая)*. У вас заболела голова, когда вы спали, и вы забыли, что́ вам снилось, или, может быть, помните, но не отдаете себе отчета.

Жан. Я не отдаю себе отчета? Я во всем всегда отдаю себе отчет, я не позволяю себе плыть по течению... Я всегда иду прямо, прямо, прямо напролом.

Беранже. Я знаю. Я просто не так выразился. Вы меня не совсем поняли.

Жан. Так выражайтесь яснее. И не говорите мне ничего неприятного.

Беранже. При головной боли бывает такое ощущение, будто ты стукнулся. *(Подходя к Жану.)* Но если бы вы стукнулись, у вас была бы шишка. *(Вглядываясь в него.)* А ведь у вас и в самом деле шишка.

Жан. Шишка?

Беранже. Да, маленькая шишка.

Жан. Где?

Беранже *(дотрагивается до его лба)*. Вот она, торчит над самым носом.

Жан. Нет у меня никакой шишки. Ни у кого в нашем роду никогда не было шишки.

Беранже. Есть у вас зеркало?

Жан. Ну, знаете ли... *(Ощупывая лоб.)* Как, в самом деле? Пойду посмотрю в зеркало в ванной. *(Вскакивает с постели и направляется в*

ванную комнату. Беранже провожает его взглядом. Голос из ванной.) Верно, у меня шишка. *(Возвращается, заметно позеленевший.)* Видите, я же говорил, что я стукнулся.

Беранже. Вы плохо выглядите. Какой-то совсем зеленый.

Жан. Вам очень нравится говорить мне всякие неприятные вещи. Вы бы лучше на себя посмотрели.

Беранже. Простите, я вовсе не хотел вас огорчить.

Жан *(раздраженно)*. Я бы этого не сказал.

Беранже. Вы так тяжело дышите и с таким хрипом! У вас, может быть, горло болит? *(Жан снова садится на постель.)* Не болит горло? Может быть, это ангина?

Жан. Почему у меня должна быть ангина?

Беранже. Но в этом ничего такого нет. У меня тоже бывают ангины. Дайте-ка я пощупаю у вас пульс. *(Встает, подходит к Жану и щупает пульс.)*

Жан *(еще более хриплым голосом)*. Пройдет!

Беранже. Пульс у вас совершенно ровный, без перебоев. Не бойтесь.

Жан. Я ничего не боюсь. Чего мне бояться?

Беранже. Совершенно верно. Полежите несколько деньков, и все как рукой снимет.

Жан. Мне некогда лежать. Я должен добывать себе пропитание.

Беранже. Ну, если у вас есть аппетит, значит, ничего страшного. И все-таки несколько дней не мешает отдохнуть. Из осторожности. Вы вызывали доктора?

Жан. Не нужен мне доктор.

Беранже. Нет, доктора надо вызвать.

Жан. Не смейте вызывать доктора, не желаю я никакого доктора. Я лечусь сам.

Беранже. Напрасно вы не верите в медицину.

Жан. Доктора только придумывают всякие болезни, которых на самом деле даже и нет.

Беранже. Они делают это из добрых чувств. Им доставляет удовольствие лечить.

Жан. Придумывают они всякие болезни, придумывают!

Беранже. Может быть, и придумывают. Но они же и лечат болезни, которые сами придумали.

Жан. Я верю только ветеринарам.

Беранже *(снова берет руку Жана)*. Что-то у вас вены вздулись. Вон как выступают.

Жан. Это признак силы.

Беранже. Конечно, это признак здоровья и силы. Но все-таки... *(Пытается рассмотреть поближе его руку, Жан сопротивляется и, наконец, вырывает руку)*.

Жан. Что вы меня рассматриваете, как какого-то редкого зверя?

Беранже. У вас кожа...

Жан. А вам что за дело до моей кожи? Я вот к вам не лезу с вашей кожей!

Беранже. ...мне кажется... да нет, право же, она меняет цвет прямо на глазах. *(Пытается снова взять руку Жана.)* И становится жесткой...

Жан *(снова вырывая руку)*. Не щупайте меня! Что вы, в самом деле? Вы меня раздражаете!

Беранже *(сам с собой)*. Может быть, это гораздо серьезнее, чем я думал. *(Жану.)* Надо вызвать доктора. *(Идет к телефону.)*

Жан. Оставьте в покое телефон. *(Бросается к Беранже и отталкивает его. Беранже шатается.)* Не лезьте не в свое дело.

Беранже. Хорошо, хорошо. Но для вас же лучше было бы.

Жан *(кашляет и громко сопит)*. Я лучше вас знаю, что для меня лучше.

Беранже. Вы так тяжело дышите.

Жан. Каждый дышит, как может! Вам не нравится, как я дышу, а мне не нравится, как вы дышите. Вы дышите еле-еле, даже и не слышно, можно подумать — сейчас дух испустите.

Беранже. Конечно, у меня нет такой силы, как у вас.

Жан. Но я ведь вас не заставляю идти к доктору! Каждый волен поступать так, как ему нравится.

Беранже. Не сердитесь. Вы же знаете, что я ваш друг.

Жан. Дружбы не существует. Не верю я в вашу дружбу.

Беранже. Вы меня обижаете.

Жан. Нечего вам обижаться.

Беранже. Дорогой Жан...

Жан. Никакой я вам не дорогой Жан.

Беранже. Вы сегодня точно в мизантропы записались...

Жан. Да, я мизантроп, мизантроп, мизантроп! Мне нравится быть мизантропом.

Беранже. Конечно, вы все еще на меня сердитесь за нашу вчерашнюю ссору. Я был виноват, признаю. Я ведь для того и пришел, чтобы извиниться...

Жан. О какой ссоре вы говорите?

Беранже. Да я вам уже напоминал... только что. Из-за носорога!

Жан *(не слушая Беранже)*. В сущности, я даже не ненавижу людей, у меня к ним нет никаких чувств, а если есть, так просто отвращение, но только уж пусть не становятся мне поперек дороги — раздавлю!

Беранже. Вы хорошо знаете, что я никогда не буду препятствовать вам...

Жан. У меня своя цель. Я иду напрямик к цели.

Беранже. Конечно, вы правы. Но, мне кажется, вы сейчас переживаете какой-то душевный кризис.

Жан мечется по комнате, как зверь в клетке, от одной стены к другой. Беранже наблюдает за ним, время от времени увертываясь, чтобы тот на него не наскочил. Голос Жана становится все грубее.

Не надо так из себя выходить, не надо.

Жан. Мне было тесно в костюме, теперь меня давит даже пижама! *(Распахивает и запахивает на себе пижаму.)*

Беранже. Ах! Но что же это у вас делается с кожей?

Жан. Далась вам моя кожа! Что бы вы там ни говорили, это моя кожа, и я ее на вашу не поменяю.

Беранже. Она у вас стала похожа на шкуру.

Жан. Ну что ж, прочнее будет. Не так чувствительна к холоду.

Беранже. Вы становитесь все зеленее и зеленее.

Жан. Вы сегодня просто помешались на цветах. Вам все что-то мерещится, наверно, вы опять пили.

Беранже. Вчера пил, сегодня нет.

Жан. Это результат вашей невоздержанности в прошлом.

Беранже. Я же обещал вам исправиться, и вы это хорошо знаете, потому что я слушаюсь советов таких друзей, как вы, и я не считаю это для себя унизительным, наоборот...

Жан. Плевать я на все хотел, бррр...

Беранже. Что вы сказали?

Жан. Ничего я не сказал. Просто я так сделал: бррр... Мне нравится так делать.

Беранже *(уставившись в глаза Жану)*. А вы знаете, что случилось с Бефом? Он превратился в носорога.

Жан. Что случилось с Бефом?

Беранже. Он превратился в носорога.

Жан *(обмахиваясь полами пижамы)*. Бррр...

Беранже. Не надо так шутить, прошу вас...

Жан. А я вот хочу сопеть. И имею на это полное право. Я у себя дома.

Беранже. Этого я не оспариваю.

Жан. И хорошо, что не оспариваете. Ах, мне так жарко, жарко. Бррр... Минутку. Пойду освежусь.

Беранже *(в то время как Жан бросается в ванную)*. У него жар.

Жан в ванной громко сопит, слышно, как льется вода из крана.

Голос Жана. Бррр...

Беранже. Его знобит. Нельзя его так оставить. Сейчас позвоню доктору. *(Снова подходит к телефону, но, услышав голос Жана, отскакивает.)*

Голос Жана. Так, значит, этот молодчага Беф стал носорогом. Ха-ха-ха... Он просто подшутил над вами. *(Высовывает голову в приоткрытую дверь. Он стал совсем зеленого цвета. Шишка над носом заметно увеличилась.)* Просто прикинулся.

Беранже *(расхаживает по комнате, не глядя на Жана)*. Уверяю вас, это выглядело вполне серьезно.

Жан. Ну что ж, его дело.

Беранже *(поворачиваясь к Жану, исчезающему в ванной)*. Конечно, он сделал это не нарочно. С ним это случилось помимо его воли.

Жан. Много вы в этом понимаете!

Беранже. По крайней мере, надо думать, что это так.

Жан. А что, если он сделал это нарочно? А? Что, если он сделал это нарочно?

Беранже. Я был бы крайне удивлен. Во всяком случае, видно было, что мадам Беф понятия об этом не имела.

Жан *(очень хриплым голосом)*. Ха-ха-ха! Эта толстуха мадам Беф. О-ля-ля! Безмозглая дура!

Беранже. Безмозглая она или нет...

Жан быстро входит, стаскивает с себя пижаму, бросает ее на кровать; в это время Беранже с опаской оборачивается. Жан, у которого и грудь, и спина стали совсем зеленые, снова бросается в ванную. Потом выбегает из нее. Он мечется туда и обратно.

Жан. Беф никогда не посвящал жену в свои планы...

Беранже. Вы ошибаетесь, Жан. Напротив, это такая дружная чета.

Жан. Дружная? Вы уверены? Гм, гм. Брр...

Беранже *(подходит к ванной комнате. Жан захлопывает дверь у него перед носом)*. Очень дружная. Доказательство тому...

Жан *(из ванной)*. У Бефа была своя личная жизнь. Маленький скрытый уголок, который он таил про себя.

Беранже. Нехорошо, что я заставляю вас так много разговаривать. Вам это, должно быть, вредно.

Жан. Напротив, я испытываю облегчение.

Беранже. Ну позвольте, я все-таки вызову к вам доктора, прошу вас.

Жан. Ни в коем случае. Запрещаю категорически. Терпеть не могу упрямых людей. *(Входит в комнату)*.

Беранже в испуге отшатывается: Жан совсем зеленого цвета и говорит с трудом, голос его почти неузнаваем.

Так вот, если он по своей воле или против воли превратился в носорога, может быть, это даже для него лучше.

Беранже. Что вы такое говорите, дорогой друг? Как вы можете так думать...

Жан. Вы во всем видите зло. А если ему нравится быть носорогом, если ему это доставляет удовольствие? Что тут такого особенного?

Беранже. Конечно, в этом нет ничего особенного. Однако я сомневаюсь, чтобы это ему так уж нравилось.

Жан. А почему нет?

Беранже. Мне трудно объяснить почему, но это и так понятно.

Жан. А я скажу, что это совсем не так плохо. В конце концов, носороги такие же существа, как и мы, и они тоже имеют право на жизнь!

Беранже. При условии, если они не посягают на нашу. И потом, вы же представляете себе — как-никак совершенно разная психика.

Жан *(мечется из ванной в комнату и обратно)*. А вы думаете, наша лучше?

Беранже. Во всяком случае, у нас есть своя мораль, которая, по-моему, никак не совместима с моралью животных.

Жан. Мораль! Знаем мы эти разговоры о морали! Хороша мораль! Хватит с меня морали! Надо быть выше всякой морали.

Беранже. А что же вы предлагаете взамен?

Жан *(мечется взад и вперед)*. Природу!

Беранже. Природу?

Жан *(продолжает метаться)*. У природы есть свои законы. А мораль — противоестественна.

Беранже. Насколько я понимаю, вы хотите заменить законы морали законами джунглей.

Жан. И я там буду жить, буду жить.

Беранже Это так только говорится. На самом же деле никто...

Жан *(перебивает его, не переставая метаться)*. Нужно восстановить основы жизни. Вернуться к первобытной чистоте.

Беранже. Я с вами никак не могу согласиться...

Жан *(громко сопит)*. Дышать нечем!

Беранже. Ну подумайте сами, вы же должны понимать, что у нас есть философия, которой у животных нет, и огромное богатство незаменимых ценностей. Они создавались веками человеческой цивилизации!..

Жан *(из ванной)*. Разрушим все это, и всем будет лучше.

Беранже. Вы говорите не серьезно, вы шутите, фантазируете, как поэт.

Жан. Брр... *(Почти рычит.)*

Беранже. Я и не подозревал, что вы поэт.

Жан *(выходя из ванной)*. Брр... *(Снова рычит.)*

Беранже. Я слишком хорошо вас знаю, чтобы допустить, что вы действительно так думаете. Потому что вам не хуже, чем мне, известно, что человек...

Жан *(перебивает)*. Человек... Не произносите больше этого слова!

Беранже. Я хочу сказать, человеческое существо, человечность...

Жан. Человечность свое отжила. Вы старое, сентиментальное чучело. *(Скрывается в ванной.)*

Беранже. Ну, знаете, как-никак разум...

Жан *(из ванной)*. Избитые истины! Чепуха!..

Беранже. Чепуха!

Жан *(из ванной, совсем хриплым голосом, почти нечленораздельно)*. Полнейшая!

Беранже. Меня удивляет, что я слышу это от вас, дорогой Жан. Вы просто не в себе. Вы что же, хотели бы превратиться в носорога?

Жан. А почему бы и нет? Я не страдаю вашими предрассудками.

Беранже. Говорите поясней. Я вас не понимаю. Вы плохо произносите слова.

Жан *(все еще из ванной)*. Откройте пошире уши!

Беранже. Что?

Жан. Уши откройте! Я говорю, почему бы мне и не стать носорогом. Я люблю перемены.

Беранже. Услышать от вас... такое признание...

Беранже не договаривает, потому что вдруг появляется Жан в ужасном виде — он стал совсем зеленый, шишка на лбу почти превратилась в рог носорога.

О-о! Нет, вы, кажется, и в самом деле не в себе!

Жан бросается к кровати, сбрасывает на пол простыни и одеяло, злобно бормочет что-то, произносит какие-то бессвязные слова, издает бессмысленные звуки.

Да не сердитесь же, успокойтесь! Я, право, вас не узнаю.

Жан *(еле внятно)*. Жарко... жарко. Истребить всю эту одежду, от нее чешется, чешется... *(Опускает пижамные штаны.)*

Беранже. Что вы делаете? Я вас не узнаю! Вы всегда были такой... сдержанный!

Жан. В болото! В болото!

Беранже. Посмотрите на меня. Или вы меня больше не видите? Не слышите меня?

Жан. Я вас прекрасно слышу! И прекрасно вижу! *(Бросается на Беранже, опустив голову. Беранже увертывается.)*

Беранже. Осторожней!

Жан *(громко сопит)*. Виноват. *(И тут же со всех ног бросается в ванную.)*

Беранже *(бежит сначала к двери налево, но тут же поворачивается и идет следом за Жаном в ванную, говоря на ходу)*. Не могу же я его оставить в таком состоянии, это мой друг. *(Уже в ванной.)* Я сейчас вызову врача! Это необходимо, необходимо, поверьте мне.

Жан *(в ванной)*. Нет.

Беранже *(в ванной)*. А я говорю: да. Успокойтесь, Жан! Вы чудак! Ах! У вас рог растет прямо на глазах!.. Вы — носорог!

Жан *(в ванной)*. Я тебя растопчу, растопчу!

Страшный шум в ванной, рев, стук падающих на пол предметов, звон и треск бьющегося стекла. Затем появляется перепуганный Беранже и, с трудом преодолевая натиск изнутри, захлопывает и запирает дверь в ванную.

Беранже *(пытаясь закрыть дверь)*. Он уже носорог! Носорог!

В тот момент, когда Беранже удается закрыть дверь, рог носорога вонзается в нее и продырявливает ему пиджак. Дверь трещит от непрерывных ударов и натиска животного, из ванной доносятся шум, рев и отдельные невнятные возгласы: «Негодяй», «Я ему покажу» и т. д. Беранже бросается к выходной двери.

Вот уж никогда от него не ожидал! *(Выбегает на лестницу и изо всех сил стучит в дверь по другую сторону площадки.)* У вас в доме носорог! Зовите полицию!

Дверь открывается.

Старичок *(высовывая голову)*. В чем дело?

Беранже. Зовите полицию! У вас носорог в доме...

Голос жены Старичка. В чем дело. Жан? Почему такой шум?

Старичок *(жене)*. Не понимаю, что он такое плетет. Говорит, будто видел носорога.

Беранже. Да, у вас в доме. Зовите полицию!

Старичок. Что вы, в самом деле, людей беспокоите? Вот невежа! *(Захлопывает дверь перед носом у Беранже.)*

Беранже *(бросается вниз по лестнице)*. Привратница! Привратница! Звоните в полицию, у вас носорог в доме! Привратница!

Видно, как открывается стекло двери из помещения привратницы и оттуда высовывается голова носорога.

Еще один!

Беранже стремглав бросается обратно, наверх. Он хочет войти к Жану, но не решается и снова подходит к двери Старичка. В этот момент дверь Старичка распахивается и появляются головы двух небольших носорогов.

Боже мой! Боже!

Беранже вбегает в квартиру Жана. Дверь ванной комнаты по-прежнему сотрясается от натиска изнутри. Беранже идет к окну. Он совершенно изнемог, чуть не падает и только твердит:

Ах, боже мой, боже мой!

Из последних сил он заносит ногу на подоконник и уже готовится перешагнуть через него, в сторону зала, но быстро отдергивает ногу, так как в эту минуту в оркестровой яме появляются рога носорогов, мчащихся друг за другом из одного конца ямы в другой. Беранже поспешно прыгает обратно и с минуту смотрит в окно.

Их там целое стадо! Армия носорогов! Вон они бегут по проспекту. *(Озирается.)* Как же я отсюда выберусь? Как я выберусь?.. Если бы они хоть шли посередине улицы, а то заполнили тротуар. Как же теперь выбраться? Как выбраться?

В отчаянье он бросается от одной двери к другой, от двери к окну, между тем как дверь ванной трещит и оттуда доносится рев Жана и нечленораздельная ругань. Так длится несколько секунд: всякий раз, когда Беранже, пытаясь бежать, бросается на площадку или вниз по лестнице, в дверях квартиры старичков или на ступеньках лестницы, всюду его встречают ревом носорожьи головы, и он в ужасе отступает. Наконец он последний раз подходит к окну, смотрит.

Целое стадо носорогов! А говорили, будто это животное-одиночка! Неверно! Ошибочное представление — придется от него отказаться. Вот они, все скамейки на бульваре своротили. *(Ломает руки.)* Что делать?

Снова бросается то к одному, то к другому выходу и отступает перед носорогами. Очутившись перед дверью в ванную, он видит, что она уже поддается. Он прижимается к стене, она расступается, и в глубине открывается улица. Беранже бежит и кричит:

Носороги! Носороги!

Дверь ванной с грохотом вылетает.

Занавес

Действие третье

В основном все расположено примерно так же, как и в предыдущей картине. Комната Беранже очень похожа на комнату Жана. Чтобы показать, что это другая квартира, достаточно добавить к обстановке два-три новых предмета и несколько деталей. Налево — лестница, площадка. В глубине площадки — дверь. Привратницкой здесь нет. Беранже лежит одетый на диване, спиной к публике. Кресло, столик с телефоном. Можно добавить еще стул и столик. В глубине открытое окно. На авансцене макет окна. У Беранже завязана голова. Его, по-видимому, мучают кошмары, потому что он мечется и бредит.

Беранже. Нет!

Пауза.

Рога, берегитесь рогов!

Пауза, слышен топот носорогов, пробегающих под окном в глубине сцены.

Нет!

Падает с дивана, отбиваясь от чего-то, что преследует его во сне, и пробуждается. Испуганно подносит руку ко лбу, встает, идет к зеркалу, приподнимает повязку со лба. Видя, что шишки нет, вздыхает с облегчением. Стоит в нерешительности, идет к дивану, ложится и тут же вскакивает. Подходит к столу, берет бутылку коньяку, стаканчик, хочет налить коньяк, колеблется и наконец, поборов себя, ставит бутылку и стаканчик на место.

Силы воли бы мне!

Поворачивается, чтобы пойти к дивану, но тут опять слышится топот носорогов под окном, и Беранже хватается за сердце.

О-о!

Подходит к окну, смотрит, но тут же судорожно захлопывает окно. Шум затихает. Беранже подходит к столику, колеблется с минуту, потом машет рукой, как бы говоря: «Э, все равно!», наливает себе стакан коньяку и залпом выпивает. Ставит бутылку и стакан на место. Кашляет. По-видимому, его кашель внушает ему какие-то подозрения, он опять кашляет и прислушивается. Еще раз глядится в зеркало: кашляя, открывает окно. Оттуда доносится громкое сопенье животных; Беранже снова кашляет.

Нет, не похоже!

Успокаивается, закрывает окно, ощупывает через повязку лоб, идет к дивану, ложится и как будто засыпает. На верхних ступеньках лестницы появляется Дюдар. Он поднимается на площадку и стучит в дверь Беранже.

Беранже *(вскакивая)*. Что, что такое?

Дюдар. Я пришел вас проведать, Беранже, пришел проведать.

Беранже. Кто там?

Дюдар. Это я, я.

Беранже. Кто это я?

Дюдар. Я, Дюдар.

Беранже. Ах, это вы, входите.

Дюдар. Я вам не помешаю? *(Пытается открыть дверь.)* У вас заперто.

Беранже. Сию минуту. Иду! *(Отпирает, входит Дюдар.)*

Дюдар. Здравствуйте, Беранже.

Беранже. Здравствуйте, Дюдар. Который сейчас час?

Дюдар. А вы что же это, забаррикадировались и так и сидите, не выходя? Как вы себя чувствуете, дорогой? Получше немножко?

Беранже. Простите, я не узнал вашего голоса. *(Подходит к окну, открывает.)* Да-да, как будто получше.

Дюдар. По-моему, у меня все такой же голос, ничуть он не изменился. А я ваш сразу узнал.

Беранже. Простите, мне показалось, будто... нет, правда, у вас все тот же голос. И у меня голос тоже не изменился, да?

Дюдар. А почему он должен меняться?

Беранже. Может быть, я чуточку охрип, как, по-вашему?

Дюдар. Да нет... по-моему, нисколько не охрипли.

Беранже. Вот спасибо... Вы меня успокоили.

Дюдар. Да что такое с вами?

Беранже. Не знаю. Ну, мало ли что может быть. И голос может измениться: к несчастью, это бывает.

Дюдар. А вы разве тоже простудились?

Беранже. Надеюсь, что нет... Надеюсь, что нет. Да вы садитесь, Дюдар, устраивайтесь поудобнее. Садитесь вон в кресло.

Дюдар *(усаживается в кресле)*. Вы все еще себя неважно чувствуете? И голова все по-прежнему болит? *(Показывает на повязку.)*

Беранже. Да, голова все еще болит. Но шишки у меня нет, я ни обо что не стукался... а? Как, по-вашему? *(Приподняв повязку, показывает Дюдару лоб.)*

Дюдар. Нет у вас никакой шишки. Ничего не видно.

Беранже. И я надеюсь, не будет, никогда не будет.

Дюдар. Если вы обо что-нибудь не стукнетесь, откуда же у вас будет шишка?

Беранже. Кто не хочет стукнуться, тот и не стукнется!

Дюдар. Ясно. Надо только быть поосторожней. Но что с вами такое? Вы что-то нервничаете, волнуетесь. Это все ваша мигрень, должно быть. Вы бы полежали спокойно, оно бы и обошлось.

Беранже. Мигрень? Не говорите мне про мигрень! Не надо, прошу вас.

Дюдар. А что удивительного, если у вас мигрень, после такого потрясения?

Беранже. Я все еще никак в себя не приду.

Дюдар. Еще бы! Поэтому у вас и голова болит.

Беранже *(бросается к зеркалу и приподнимает повязку)*. Нет, ничего нет... А вы знаете, ведь так оно и начинается.

Дюдар. Что начинается?

Беранже. Я боюсь стать... другим.

Дюдар. Да вы успокойтесь, сядьте. Ну что вы все из угла в угол мечетесь — вы так себя еще больше взвинчиваете.

Беранже. Вы правы, конечно, надо ко всему относиться спокойней. *(Садится.)* А я, знаете, до сих пор опомниться не могу.

Дюдар. Да я знаю, знаю, из-за Жана.

Беранже. Именно. Из-за Жана — и из-за других тоже.

Дюдар. Я понимаю, что это вас не могло не потрясти.

Беранже. Еще бы!

Дюдар. Но, в конце концов, все-таки не стоит так уж преувеличивать, это еще не причина, чтобы...

Беранже. Хотел бы я на вас посмотреть на моем месте! Жан был моим лучшим другом. И вдруг это превращенье у меня на глазах и такая ярость...

Дюдар. Конечно, я понимаю. Так обмануться в человеке! Но больше не надо об этом думать.

Беранже. Как же я могу об этом не думать? Такая человеческая натура, ярый поборник гуманизма! Кто бы мог поверить! И это он-то, он! Мы с ним дружили... с незапамятных времен. Вот уж я никак не думал, что он... и вдруг такая неожиданная эволюция! Я верил ему больше, чем самому себе, я на него полагался больше, чем на самого себя... И так поступить со мной!

Дюдар. Но ведь он же сделал это не назло вам!

Беранже. Во всяком случае, очень похоже на то. Если бы вы видели, до чего он дошел... а выражение лица!..

Дюдар. Да просто потому, что вы в тот момент случайно оказались там. А будь на вашем месте кто-нибудь другой, было бы то же самое.

Беранже. Но при мне-то, при мне, помня все наше прошлое, мог бы он сдержаться!

Дюдар. Вы, видимо, считаете себя центром вселенной! Вы думаете, все, что ни происходит, касается вас лично. Точно все только вокруг вас и вертится.

Беранже. Может быть, вы и правы. Надо постараться смотреть на вещи более трезво. Однако само по себе такое явление... ну, как оно может не пугать? Я, по правде сказать, совершенно выбит из колеи. Как все это объяснить?

Дюдар. Пока что не вижу никакого удовлетворительного объяснения. Я констатирую факты, отмечаю их. Действительно, так оно и есть, а раз так, следовательно, чем-то это должно объясняться. Чудеса природы, странности, капризы, игра — кто знает?

Беранже. Жан был очень гордый человек. А у меня нет честолюбия. Я какой есть, такой и есть, тем и довольствуюсь.

Дюдар. Может быть, он любил деревню, чистый воздух, простор?.. Может быть, ему требовалось как-то дать себе волю? Я, конечно, говорю это не для того, чтобы его оправдать.

Беранже. Я понимаю вас, то есть, вернее, пытаюсь понять. И все-таки, если бы даже мне сказали, что я абсолютно лишен воображения, что

я мещанин, обыватель, который ничего знать не знает за пределами своего маленького мирка, я бы ни от чего не отступился, я бы все равно стоял на своем.

Дюдар. Конечно, мы с вами останемся тем, чем были. Но почему же вас тогда так волнует несколько случаев оносороживанья? Возможно, это своего рода болезнь.

Беранже. Вот это и страшно — а вдруг заразительна?

Дюдар. Ну что об этом думать. Право, вы придаете этому слишком большое значение. Пример с Жаном вовсе не симптоматичен, не показателен: вы ведь сами сказали, что Жан был гордец. Простите, если я говорю дурно о вашем друге, но мне кажется, это несколько дикий, вспыльчивый, эксцентричный человек; а ведь по оригиналам судить нельзя, середина, посредственность — вот что считается нормальным.

Беранже. Тогда я, кажется, начинаю понимать. Видите, вы затруднялись объяснить это явление, а вот сейчас объяснили его — и вполне правдоподобно. Да, наверно, на него что-нибудь нашло. У него был приступ безумия, и от этого он пришел в такое состояние. Но ведь он пытался приводить какие-то доводы, он, по-видимому, думал над этим вопросом и в конце концов постепенно пришел к решению... А Беф, разве Беф тоже был сумасшедшим?.. И другие, другие?..

Дюдар. Остается только предположить эпидемию. Ну вот как, например, грипп. Эпидемии, ведь они разные бывают.

Беранже. Ничего похожего на эту никогда не было. Может быть, ее откуда-нибудь из колоний занесли?

Дюдар. Во всяком случае, вы же не можете думать, что Беф и все прочие, которые сделали то, что они сделали, или сделались тем, чем они стали, поступали так назло вам. Стали бы они из-за этого из кожи вон лезть!

Беранже. Это правда, это очень разумно — то, что вы говорите. Меня это успокаивает... А может быть, наоборот, может быть, все это гораздо серьезнее.

Под окном в глубине слышен топот носорогов.

Слышите? *(Бросается к окну.)*

Дюдар. Да оставьте вы их в покое! *(Беранже закрывает окно.)* Чем они вам мешают? Право, это у вас какое-то наваждение. Вы сами себя взвинчиваете. Конечно, у вас был шок. Так постарайтесь же оградить себя от этого. Вам нужно просто прийти в себя.

Беранже. Я не знаю, как предохранить себя от заразы.

Дюдар. Во всяком случае, эта болезнь не смертельна. Бывают такие, совсем не опасные болезни. Я уверен, что при желании от них излечиваются. Вот увидите, это пройдет.

Беранже. Но какие-то следы останутся. Такая встряска всего организма не может пройти без...

Дюдар. Пройдет через некоторое время, не беспокойтесь.

Беранже. Вы уверены?

Дюдар. Я думаю, мне так кажется.

Беранже. Но если человек не хочет, действительно не хочет поддаться болезни — а ведь это нервная болезнь,— он же не заболеет, правда не заболеет?.. Не хотите ли коньяку? *(Идет к столу, на котором стоит бутылка.)*

Дюдар. Не беспокойтесь, нет, спасибо, я не пью. Но вы на меня не смотрите: если вам хочется, пожалуйста, не стесняйтесь. Но имейте в виду, после этого у вас еще сильнее разболится голова.

Беранже. Спирт очень полезен при всяких эпидемиях: он иммунизирует, убивает, например, микробы гриппа.

Дюдар. Вряд ли он убивает все микробы и бациллы всех болезней. А насчет оносороживанья это вообще пока еще неизвестно.

Беранже. Жан никогда в рот не брал спиртного. Так он, по крайней мере, говорил. Может быть, поэтому он и... может быть, этим и объясняется его поведение. *(Протягивает Дюдару стакан коньяку.)* Вы правда не хотите?

Дюдар. Нет-нет, спасибо, никогда не пью до завтрака.

Беранже осушает стакан и, не успев поставить ни стакан, ни бутылку, закашливается.

Дюдар. Вот видите, видите, вам вредно пить. Сейчас же начинаете кашлять.

Беранже *(забеспокоившись)*. Да, начинаю кашлять... А как я кашляю?

Дюдар. Да как все, когда хлебнут крепкого.

Беранже *(идет и ставит стакан и бутылку на стол)*. А не как-нибудь особенно? Это был обычный человеческий кашель?

Дюдар. Ну чего вы опять добиваетесь? Конечно обычный человеческий кашель. Какой же еще у вас может быть кашель?

Беранже. Не знаю... Может быть, животный... кашель... а что, носороги кашляют?

Дюдар. Послушайте, Беранже, ну право же, это смешно; вы придумываете себе какие-то проблемы, задаете нелепые вопросы. Вспомните, вы же сами говорили: чтобы оградить себя от этого, самое главное иметь силу воли.

Беранже. Да, конечно.

Дюдар. Так докажите, что она у вас есть.

Беранже. Уверяю вас, у меня есть...

Дюдар. ...Докажите это самому себе, ну хотя бы... перестаньте пить коньяк... вы почувствуете себя гораздо увереннее.

Беранже. Вы не хотите понять. Я же объясняю вам, что я пью коньяк только потому, что он предохраняет от другого, еще худшего, да-да, у меня все рассчитано. Вот кончится эпидемия, и я брошу пить. Я еще до этих событий решил бросить, но вот пришлось временно отложить!

Дюдар. Вы просто придумываете себе оправдание.

Беранже. Да? Вы так полагаете? Ну, во всяком случае, это не имеет ничего общего с тем, что происходит.

Дюдар. Кто знает?

Беранже *(испуганно)*. Вы правда так думаете? По-вашему, вино может подготовить почву! Но я же не алкоголик. *(Идет к зеркалу, разглядывает себя.)* А может быть, уже... *(Ощупывает лоб под повязкой.)* Нет, ничего не произошло... коньяк мне не повредил, это доказывает, что он полезен... или, по меньшей мере, безвреден.

Дюдар. Да я пошутил, Беранже. Просто хотел подразнить вас. Вы все видите в мрачном свете. Смотрите, так можно и неврастеником стать. Когда вы придете в себя от вашего потрясения, избавитесь от вашей депрессии и выйдете на воздух, вам сразу станет лучше, вот увидите. Все ваши мрачные мысли мигом рассеются.

Беранже. Выходить? Оно, конечно, придется. Мне страшно об этом подумать. Ведь я безусловно встречу...

Дюдар. Ну и что такого? Только не надо попадаться им на пути. А вообще-то говоря, их не так уж много.

Беранже. А я только их и вижу. Повсюду. Вы, конечно, скажете, что это болезнь.

Дюдар. Они ни на кого не нападают. Если их не трогать, они вас не замечают. Они, в сущности, вовсе не злые. У них даже есть какое-то природное простодушие, чистота. Да я, кстати сказать, всю улицу

пешком прошел, чтобы добраться до вас. И как видите, жив и невредим, и никаких злоключений со мной не произошло.

Беранже. А я как только их вижу, меня всего переворачиваст. Конечно, это нервы. Я не раздражаюсь, нет, я не позволяю себе раздражаться, это может далеко завести, но у меня как будто что-то сжимается здесь. *(Показывает на сердце.)*

Дюдар. Разумеется, это как-то действует, вы правы. Но вы слишком этому поддаетесь. Вам недостает чувства юмора, вот в чем ваша беда, вам не хватает юмора. Надо смотреть на вещи полегче, не принимать близко к сердцу.

Беранже. Я как-то чувствую себя ответственным за то, что происходит: я сам в этом участвую, я не могу относиться безразлично.

Дюдар. Не судите — да не судимы будете... Ну, знаете, если начать печалиться обо всем, что происходит на свете, тогда и жить нельзя.

Беранже. Если бы все это случилось не у нас, а где-нибудь в другой стране, а мы бы узнали из газет, что можно было бы спокойно обсудить, рассмотреть явление со всех сторон, сделать объективные выводы. Можно было бы организовать научные дискуссии, привлечь академиков, писателей, законоведов, ученых, а также художников. Это было бы интересно, увлекательно, из этого можно было бы многое вынести. Но когда мы сами вовлечены в события, когда мы вдруг сталкиваемся с грубой реальностью фактов, нельзя не чувствовать, что все это касается нас непосредственно, и это настолько ошеломляет, что просто невозможно сохранять хладнокровие. Я ошеломлен, ошеломлен и никак не могу прийти в себя.

Дюдар. Я тоже ошеломлен, как и вы. Вернее, был ошеломлен. Теперь я уже начинаю привыкать.

Беранже. Вы человек более уравновешенный, у вас нервы крепче, с чем и поздравляю вас. Но вы не считаете, что это несчастье...

Дюдар *(перебивает)*. Конечно, я не говорю, что в этом есть что-то хорошее. И не думайте, что я как-то заступаюсь за носорогов...

Снова слышен топот бегущих носорогов, на этот раз под окном на авансцене.

Беранже *(вскакивая)*. Опять они! Опять! О нет, я ничего не могу с собой поделать, я не в состоянии к этому привыкнуть. Может быть, я не прав, но я все время только о них и думаю, я даже перестал спать. У меня бессонница. Я засыпаю днем, когда уже просто валюсь от усталости.

Дюдар. Принимайте снотворное.

Беранже. Да это не выход из положения. Когда я сплю, мне еще хуже. Они снятся мне, меня душат кошмары.

Дюдар. Вот это и означает, что вы все слишком близко к сердцу принимаете. Вы любите себя истязать, сознайтесь.

Беранже. Клянусь чем хотите, я не мазохист.

Дюдар. В таком случае примиритесь с фактом и не думайте о нем. Раз оно так случилось, значит, иначе и быть не могло.

Беранже. Это уж фатализм.

Дюдар. Нет, мудрость. Если какое-то явление происходит, значит, на то имеется причина. Вот эту причину и надо искать.

Беранже *(вставая)*. Ну, а я не желаю мириться с таким положением.

Дюдар. А что вы можете сделать? Что вы намерены предпринять?

Беранже. Я еще пока сам не знаю. Подумаю. Пошлю письма в разные газеты, напишу воззвание, добьюсь приема у мэра или у его помощника, если мэр окажется очень занят.

Дюдар. Предоставьте властям самим принимать меры. В конце концов, я не уверен, имеете ли вы моральное право вмешиваться

в это. А впрочем, я и сейчас считаю, что все это не так страшно. По-моему, это просто глупо — сходить с ума из-за того, что несколько человек вздумали сменить шкуру. Им не нравилось в своей. Они вольны распоряжаться собой, это их дело.

Беранже. Надо пресечь зло в корне.

Дюдар. Зло, зло! Пустое слово! Кто это может знать, где зло, а где добро? Одним нравится одно, другим другое. Вы-то главным образом боитесь за себя. В этом все и дело. Но, право же, вы никогда не превратитесь в носорога... У вас к этому нет призванья!

Беранже. Вот-вот! Если наше правительство и наши сограждане все думают так же, как вы, они не решатся действовать.

Дюдар. Не станете же вы к чужеземцам за помощью взывать. Это наше внутреннее дело, оно касается только нашей страны.

Беранже. Я верю в международную солидарность...

Дюдар. Вы Дон-Кихот! Я это вам без зла говорю, я вовсе не хочу вас обидеть! Вы знаете, я стараюсь для вашего же блага, вам просто необходимо успокоиться.

Беранже. Я в этом не сомневаюсь; вы меня простите, я слишком взволнован. Я исправлюсь. Извините, что я вас так задержал и замучил своими разглагольствованиями. У вас, наверно, работы много. Вы получили мое прошение об отпуске по болезни?

Дюдар. Можете об этом не беспокоиться. Все в порядке. К тому же контора еще не приступила к работе.

Беранже. Как, до сих пор не починили лестницу? Какая халатность! Вот поэтому-то все так и идет кувырком.

Дюдар. Ее чинят. Только это ведь быстро не делается. Не так-то легко найти рабочих. Они нанимаются, работают день-другой и исчезают, так больше и не показываются. Приходится искать других.

Беранже. А еще жалуются на безработицу! Надеюсь, по крайней мере, у нас будет теперь бетонная лестница.

Дюдар. Нет, такая же деревянная, только из новых досок.

Беранже. Вот вечно так с этой дирекцией! Бросают деньги на ветер, а когда нужно на что-нибудь затратить, оказывается, нет фондов. Наверно, мосье Папийон не очень-то доволен. Он так надеялся на бетонную лестницу. Как же он к этому отнесся?

Дюдар. У нас нет больше начальника. Мосье Папийон подал в отставку.

Беранже. Не может быть!

Дюдар. Я вам говорю.

Беранже. Вот удивительно! Неужели из-за этой истории с лестницей?

Дюдар. Не думаю. Во всяком случае, он выставил другую причину.

Беранже. Но какую же? Что с ним такое случилось?

Дюдар. Он хочет бросить дела, уехать в деревню.

Беранже. В отставку выходит, совсем? Да ведь ему не так много лет, он мог бы еще стать директором.

Дюдар. Отказался. Говорит, что ему надо отдохнуть от дел.

Беранже. Наверно, дирекция очень недовольна его уходом, ведь его надо кем-то заменить. Для вас-то оно, может быть, и лучше. При вашем дипломе у вас есть все шансы.

Дюдар. Уж не буду скрывать... дело в том... это, конечно, очень смешно, но он тоже стал носорогом.

Вдалеке шум бегущих носорогов.

Беранже. Носорогом! Мосье Папийон стал носорогом! Вот так-так! Ну, знаете, это совсем не смешно! Почему вы мне не сказали раньше?

Дюдар. Да, видите ли, у вас нет чувства юмора. Ну, я и не хотел вам говорить... не хотел вам говорить потому, что ведь я вас хорошо знаю, вот я и опасался, что вам это совсем не покажется смешным, а только еще больше напугает. Вы чересчур впечатлительны!

Беранже *(вздымая руки к небу)*. Нет! Подумать только... Мосье Папийон!.. С его-то положением!

Дюдар. Это, во всяком случае, доказывает полное бескорыстие его превращения.

Беранже. Он не мог этого сделать нарочно, я уверен, что это случилось с ним помимо его воли.

Дюдар. А что мы об этом знаем? Трудно сказать, какие побуждения могут заставить человека на что-то решиться.

Беранже. Во всяком случае, это был неудачный шаг. Наверно, у него были какие-то скрытые комплексы. Ему надо было полечиться психоанализом.

Дюдар. Что ж, даже такой переход из одного состояния в другое тоже ведь может кое-что выявить. Каждый ищет себе облегчения, в чем может.

Беранже. Я уверен, его на это подбили, а он поддался.

Дюдар. Это может с каждым случиться!

Беранже *(испуганно)*. С каждым? О нет, только не с вами, нет, правда, не с вами? И не со мной!

Дюдар. Надеюсь.

Беранже. Ведь не могут же нас... ну, скажите, ведь... правда? Не могут? Не могут?

Дюдар. Ну разумеется, разумеется.

Беранже *(понемногу успокаиваясь)*. Все-таки я думал, что мосье Папийон сильнее и может устоять. Я думал, у него более твердый характер... Тем более я не вижу, какой у него может быть расчет, что ему это дает — материально и морально...

Дюдар. Поступок совершенно бескорыстный. Ясно.

Беранже. Да, конечно. Можно это признать смягчающим обстоятельством или наоборот... отягчающим? Мне кажется, скорее отягчающим... потому что, если он сделал это просто из прихоти... я уверен, что Ботар не мог не осудить его поведение, и притом со всею строгостью. Интересно, что он о нем думает? Что говорит Ботар о своем начальнике?

Дюдар. Бедняга Ботар был страшно возмущен, он был вне себя. Мне редко приходилось видеть человека в таком исступлении.

Беранже. Ну, знаете, на этот раз я его понимаю. Да, Ботар все-таки трезвый ум. А я о нем как-то нехорошо отзывался.

Дюдар. И он о вас не очень-то лестно говорил.

Беранже. Что ж, в данном случае это только доказывает мою объективность. Да вы и сами тоже были о нем не очень-то высокого мнения.

Дюдар. Невысокого... Это, пожалуй, не то слово. Я, надо сказать, редко бывал с ним в чем-нибудь согласен. Мне не нравились его скептицизм, недоверчивость, подозрительность. Да и на этот раз я не мог с ним полностью согласиться.

Беранже. Но уже по причинам противоположного свойства, не так ли?

Дюдар. Нет, не совсем так. Мои суждения, мои взгляды все же не так примитивны, как вам кажется. Дело в том, что у Ботара не было, в сущности, никаких определенных и сколько-нибудь объективных аргументов. Повторяю вам, я тоже не одобряю носорогов, отнюдь не одобряю, не думайте этого, пожалуйста! Но Ботар в этом споре сразу занял бурно наступательную и, как всегда, очень упрощенную позицию. Мне кажется, эта его позиция продиктована исключительно

ненавистью к начальству, ко всем, кто стоит выше него. Словом, здесь налицо комплекс неполноценности, обида. И потом, он всегда говорит какие-то избитые истины, а меня эти его общие фразы мало трогают.

Беранже. А я, уж вы меня простите, на этот раз совершенно согласен с Ботаром. Он честный человек. Да.

Дюдар. Этого я не отрицаю. Но ведь это ни о чем не говорит.

Беранже. Да, честный малый. Не так-то часто можно встретить честного человека, и чтобы он при этом не витал в облаках. Настоящего честного человека, который стоит на земле всеми своими четырьмя, виноват, я хотел сказать, обеими ногами. Я счастлив, что заодно с ним. Увижу его — поздравлю. А мосье Папийона я осуждаю. Его долг в том и состоял, чтобы не поддаться.

Дюдар. Нельзя же быть таким нетерпимым. А может быть, мосье Папийон чувствовал потребность вырваться на волю после стольких лет сидячей жизни?

Беранже *(иронически)*. А вот вы слишком уж терпимы. Скажите, какое великодушие!

Дюдар. Мне кажется, дорогой Беранже, всегда надо пытаться понять. А если хочешь понять какое-нибудь явление и вытекающие из него следствия, нужно приложить усилия и, честно покопавшись, добраться до его причин. И надо во что бы то ни стало постараться это сделать, потому что мы — существа мыслящие. Мне это, повторяю, не удалось, и не знаю, удастся ли. Но, во всяком случае, подходить к этому надо с какой-то более или менее благожелательной позиции или, по меньшей мере, без всякого предубеждения, с полной готовностью идти навстречу, что, в сущности, и характеризует научное мышление. Все логично. Понять — значит оправдать.

Беранже. Вы скоро станете сторонником носорогов.

Дюдар. Да нет же, нет. До этого я не дойду. Я просто пытаюсь смотреть на вещи прямо, непредубежденно. Иметь обо всем реальное представление. И потом, я думаю, не может быть настоящего порока в том, что естественно. Горе тому, кто во всем видит порок. Это черта инквизиторов.

Беранже Так, по-вашему, это естественно?

Дюдар. Что может быть естественнее носорога?

Беранже. Да, но человек, превращающийся в носорога, это уж бесспорно нарушение нормы.

Дюдар. Н-ну, бесспорно!.. Знаете...

Беранже. Да, бесспорное нарушение нормы, нечто совершенно анормальное.

Дюдар. Не слишком ли вы уверены в себе? Кто знает, где кончается нормальное и где начинается анормальное? Можете ли вы определить, что такое нормальное, анормальное? Ни с философской, ни с медицинской точки зрения никто до сих пор не мог разрешить этой проблемы.

Беранже. Может быть, философски этого и нельзя разрешить, но практически легко. Вам, например, доказывают, что движения не существует... а вы ходите, ходите, ходите *(начинает ходить из угла в угол)*... и в конце концов приходите к тому, что говорите себе, как Галилей: «А все-таки она вертится!»

Дюдар. У вас все перепуталось в голове! Нельзя же так смешивать. В случае с Галилеем было как раз наоборот — там теоретическая и научная мысль победила общепринятое и догму.

Беранже *(вспылив)*. Что вы мне такое рассказываете! Общепринятое, догма — все только слова, слова! Может быть, у меня в голове путаница, а вы — вы, по-моему, совсем потеряли голову, перестали

понимать, что нормально, что нет. Вы меня со своим Галилеем совсем с ума сведете... На черта он мне сдался, ваш Галилей?

Дюдар. Да вы же сами на него сослались, и сами же завели этот разговор и доказывали, что последнее слово всегда остается за практикой. Может быть, это и так, но только в тех случаях, когда она опирается на теорию. История науки и мышления это прекрасно доказывает.

Беранже *(еще больше разъяряясь)*. Ничего она не доказывает. Это тарабарщина, ерунда какая-то, сплошная бессмыслица, безумие!

Дюдар. Надо еще знать, что такое безумие!

Беранже. Ха! Безумие — это безумие! Безумие означает безумие — и все. Всякий знает, что такое безумие. А вот носороги — это, по-вашему, практика или теория?

Дюдар. И то, и другое.

Беранже. Как это и то, и другое?

Дюдар. Так — и то, и другое, а может быть, либо то, либо другое. Вопрос спорный.

Беранже. Тогда я... нет... я отказываюсь соображать...

Дюдар. Напрасно вы из себя выходите. Мы с вами не сошлись во мнениях, и почему бы нам не поспорить мирно. Спорить должно.

Беранже *(в страшном смятении)*. Вам кажется, что я вышел из себя? Что я уже становлюсь... вот как Жан. О нет-нет, я не хочу... как Жан. Не хочу быть таким, как он. *(Успокаиваясь.)* Я в философии мало смыслю. Я ведь человек без образования. Это вы, у вас диплом. Вам хорошо спорить, а я не всегда знаю, что ответить, не всегда сразу найдусь.

Шум усиливается, носороги пробегают сначала под окном в глубине, потом под окном на авансцене.

Но я чувствую, что вы неправы... чувствую инстинктивно, ах нет, инстинкт это у носорогов, а я чувствую интуитивно, вот именно, интуитивно.

Дюдар. А что вы понимаете под словом «интуитивно»?

Беранже. Интуитивно это значит... ну как это сказать... Ну просто так, я чувствую, что ваша чрезмерная терпимость, ваша великодушная снисходительность на самом деле — проявление слабости... ослепление...

Дюдар. Это вы так думаете по наивности.

Беранже. Мне с вами, конечно, спорить трудно, но, знаете, я постараюсь разыскать Логика...

Дюдар. Какого логика?

Беранже. Ну, логика, философа, словом, логика... ну вы же лучше меня знаете, что такое логик. Так вот, логик, с которым я познакомился, объяснил мне...

Дюдар. Что он вам объяснил?

Беранже. Что азиатские носороги были африканскими, а африканские — азиатскими.

Дюдар. Я что-то не могу уловить...

Беранже. Ах, нет... нет... Как раз наоборот: он доказал, что африканские были азиатскими, а азиатские... да ... понятно. Но я хотел сказать... Словом, вы с ним разберетесь. Это человек вашего склада, очень серьезный человек, начитанный, тонкого ума.

Шум от бегущих носорогов усиливается, слова действующих лиц заглушаются топотом животных, в какой-то момент слов совсем не слышно, видно только, как шевелятся губы у Беранже и Дюдара.

Опять они! О-о, когда же этому конец! *(Подбегает к окну в глубине.)* Хватит! Хватит, мерзавцы.

Носороги удаляются, Беранже грозит им вслед кулаком.

Дюдар *(сидя)*. Я бы очень хотел познакомиться с вашим логиком. Если он поможет мне разобраться в этих тонкостях, в таком сложном, запутанном вопросе... Я только буду рад, честное слово.

Беранже *(бежит к окну на авансцену)*. Да, я к вам его приведу, он с вами поговорит. Вы увидите, это просто замечательная личность. *(Кричит в окно.)* Мерзавцы!

Дюдар. Оставьте их, пусть бегают. И не мешало бы быть повежливее. Не хорошо так разговаривать с животными... которые...

Беранже *(все еще у окна)*. Вот они опять!

В оркестровой яме, под окном, внезапно появляется шляпа-канотье, проткнутая рогом носорога, он быстро проносится справа налево и исчезает.

Ах! Канотье на носороге! Он его проткнул своим рогом! Да это же канотье логика. Канотье, которое носил логик! Ах, сволочь такая, этакое дерьмо! Логик стал носорогом!

Дюдар. Да это же не причина, чтобы так выражаться.

Беранже. Кому же теперь верить, боже, боже мой, логик стал носорогом!

Дюдар *(подходит к окну)*. А где он?

Беранже *(показывает пальцем)*. Вон он, видите?

Дюдар. Да, единственный носорог в канотье. А знаете, невольно задумаешься. Ведь это действительно ваш логик.

Беранже. Логик... и стал носорогом!

Дюдар. Он все-таки сохранил какие-то следы прежней индивидуальности.

Беранже *(снова потрясая кулаком вслед носорогу в канотье)*. Я за вами не пойду! Не пойду! Не пойду!

Дюдар. Если, как вы говорите, он был настоящим мыслителем, он не мог на это решиться сгоряча, не подумав. Прежде чем сделать выбор, он должен был взвесить все «за» и «против».

Беранже *(продолжая кричать в окно вслед бывшему логику и другим удаляющимся носорогам)*. Я за вами не пойду!

Дюдар *(усаживаясь в кресло)*. Да, тут есть над чем призадуматься!

Беранже закрывает переднее окно и идет к окну в глубине, под которым бегают другие носороги; по-видимому, они кружат вокруг дома. Открывает окно, кричит.

Беранже. Нет, я за вами не пойду!

Дюдар *(в сторону)*. Они бегают вокруг дома. Играют! Большие дети!

Видно, как Дэзи с корзинкой в руке поднимается по лестнице, подходит к двери Беранже, стучит.

К вам кто-то пришел. Беранже, стучат. *(Он дергает Беранже за рукав, тот все еще стоит у окна.)*

Беранже *(кричит вслед носорогам в окно)*. Позор, ваш маскарад — срам!

Дюдар. К вам стучат, Беранже. Вы что, не слышите?

Беранже. Откройте, если хотите. *(Молча следит за удаляющимися носорогами.)*

Дюдар идет открыть дверь.

Дэзи *(входя)*. Здравствуйте, мосье Дюдар.

Дюдар. Как, это вы, мадемуазель Дэзи?

Дэзи. Беранже дома? Ему лучше?

Дюдар. Здравствуйте, дорогая. Так вы навещаете Беранже?

Дэзи. Где он?

Дюдар *(показывает пальцем)*. Вон.

Дэзи. Бедняжка, у него никого нет. А он сейчас хворает. Надо же ему немножко помочь.

Дюдар. Вы хороший товарищ, мадемуазель Дэзи.

Дэзи. Да, правда, я хороший товарищ.

Дюдар. У вас доброе сердце.
Дэзи. Просто я хороший товарищ, и все.
Беранже *(поворачивается, оставив окно открытым)*. О, дорогая мадемуазель Дэзи. Как это хорошо, что вы пришли, какая вы милая.
Дюдар. Этого нельзя отрицать.
Беранже. Знаете, мадемуазель Дэзи, логик стал носорогом!
Дэзи. Знаю, только что его видела, вот здесь, рядом, на улице, когда шла к вам. Он довольно быстро бегает для своих лет. А вы себя получше чувствуете, мосье Беранже?
Беранже *(к Дэзи)*. Голова, по-прежнему голова! Все время болит. Это ужасно. Что вы об этом думаете?
Дэзи. Я думаю, вам надо отдохнуть... посидеть еще несколько дней спокойно дома.
Дюдар *(к Беранже и Дэзи)*. Надеюсь, я вам не мешаю?
Беранже *(к Дэзи)*. Я говорю о логике.
Дэзи *(Дюдару)*. Чем это вы нам можете мешать? *(К Беранже.)* Ах, о логике? А я о нем ничего не думаю.
Дюдар *(к Дэзи)*. Может быть, я здесь лишний?
Дэзи *(к Беранже)*. А что, по-вашему, я должна об этом думать? *(К Беранже и Дюдару.)* Могу вам сообщить последнюю новость: Ботар стал носорогом.
Дюдар. Скажите!
Беранже. Не может этого быть! Он был против! Вы что-нибудь перепутали. Он же возмущался. Дюдар мне только что рассказывал. Не правда ли, Дюдар?
Дюдар. Правда.
Дэзи. Я знаю, что он был против. И тем не менее он стал носорогом, и ровно через двадцать четыре часа после превращения мосье Папийона.
Дюдар. Ну, значит, он переменил свое отношение. Каждый имеет право на саморазвитие!
Беранже. Но тогда, тогда можно ожидать всего!
Дюдар (к *Беранже*). Он честный человек, вы сами это только что говорили.
Беранже *(к Дэзи)*. Я просто не могу поверить. Вам кто-нибудь наклеветал на него.
Дэзи. Это все было у меня на глазах.
Беранже. Тогда, значит, он сам врал или просто прикидывался.
Дэзи. Да нет, у него это было очень искренне, он просто подкупал своей искренностью.
Беранже. Но что же его толкнуло? Он что-нибудь говорил?
Дэзи. Он сказал слово в слово следующее: «Нужно идти в ногу со временем!» Это были его последние человеческие слова!
Дюдар *(к Дэзи)*. Я почему-то был почти уверен, что встречу вас здесь, мадемуазель Дэзи.
Беранже. Идти в ногу со временем! Вот уж действительно придумал! *(Разводит руками.)*
Дюдар *(к Дэзи)*. Вас теперь и не увидишь, с тех пор как закрылась наша контора.
Беранже *(сам с собой)*. Какая наивность! *(Недоуменно пожимает плечами.)*
Дезн *(Дюдару)*. Если вы хотели меня видеть, могли бы мне позвонить.
Дюдар *(к Дэзи)*. Что вы, я человек скромный, мадемуазель, очень скромный.
Беранже. Ну что ж! По зрелом размышлении, выходка Ботара меня не удивляет. Значит, вся его стойкость — это только одна видимость, что, впрочем, не мешает ему быть честным человеком, вернее ска-

зать, не мешало. Из честных людей вышли честные носороги. Да, вот на этой-то своей честности они и попались.

Дэзи. Можно, я корзинку на стол поставлю? *(Ставит на стол корзинку.)*

Беранже. Но хоть он и честный человек, а озлобленный...

Дюдар *(к Дэзи, бросаясь помогать ей ставить корзинку)*. Простите, простите нас, пожалуйста, надо было сразу разгрузить вас от этой ноши.

Беранже *(продолжая)*. ...искалеченный своей ненавистью к начальству, он страдал комплексом неполноценности.

Дюдар *(к Беранже)*. Вы рассуждаете неправильно, ведь Ботар как раз и последовал за своим начальником, за тем самым, кого он называл орудием в руках эксплуататоров. Мне кажется, в данном случае дух коллективизма взял у него верх над анархическими тенденциями.

Беранже. Носороги — они и есть самые анархисты, потому что они представляют собой меньшинство.

Дюдар. Пока, в данный момент.

Дэзи. Довольно-таки многочисленное меньшинство, и растет оно быстро. Мой кузен стал носорогом и его жена тоже. Я уж не говорю о всяких высокопоставленных лицах. Ну вот хотя бы кардинал де Рец.

Дюдар. Прелат!

Дэзи. Мазарини.

Дюдар. Вот увидите, это перекинется и на другие страны!

Беранже. И подумать только, что это зло пойдет от нас!

Дэзи. ...и аристократы — герцог де Сен-Симон...

Беранже *(вздымая руки к небу)*. Как, и классики!

Дэзи. ...и другие. Масса, масса! Пожалуй, около четверти города.

Беранже. Пока еще мы в большинстве, надо этим пользоваться. Надо скорей что-то предпринять, пока всех нас не захлестнуло.

Дюдар. Они очень предприимчивы, очень предприимчивы.

Дэзи. Сейчас прежде всего надо позавтракать. Я принесла всякой еды.

Беранже. Какая вы милая, мадемуазель Дэзи.

Дюдар *(в сторону)*. Да, очень мила.

Беранже *(к Дэзи)*. Не знаю просто, как вас и благодарить.

Дэзи *(Дюдару)*. Вы останетесь с нами?

Дюдар. Я боюсь быть навязчивым.

Дэзи *(Дюдару)*. Ну что вы, мосье Дюдар! Вы прекрасно знаете, что мы вам рады.

Дюдар. Но видите, я бы не хотел мешать...

Беранже *(Дюдару)*. Ну, конечно, оставайтесь, Дюдар. Мы вам рады.

Дюдар. Дело в том, что я немножко тороплюсь. Я должен кое с кем встретиться.

Беранже. Вы только что говорили, что совершенно свободны.

Дэзи *(достает из корзины провизию)*. Вы знаете, очень трудно было что-нибудь достать. Множество магазинов разгромлено — они пожирают все,— другие закрыты и на дверях вывешено: «По случаю превращений...»

Беранже. Их надо было бы поместить в загоны, отвести для них определенные участки и держать под присмотром.

Дюдар. Мне кажется, такой проект вряд ли осуществим. Общество защиты животных первое запротестует.

Дэзи. А с другой стороны, ведь у каждого из нас среди носорогов — у кого близкие родственники, у кого друзья, это тоже все осложняет.

Беранже. Выходит, все в это втянуты.

Дэзи. Все с ними заодно.

Беранже. Но как можно быть носорогом? Это уму непостижимо, уму непостижимо. *(К Дэзи.)* Помочь вам накрыть на стол?

Дэзи *(к Беранже)*. Не беспокойтесь. Я знаю, где тарелки. *(Идет к шкафу за посудой.)*

Дюдар *(в сторону)*. Ого! Она тут как у себя дома...

Дэзи *(Дюдару)*. Я накрываю на троих, вы остаетесь, не правда ли?

Беранже *(Дюдару)*. Оставайтесь, оставайтесь.

Дэзи *(к Беранже)*. Знаете, как-то привыкаешь. Никто не удивляется, что по улицам носятся стада носорогов. Люди сторонятся при встрече с ними, уступают дорогу, а потом идут дальше, кто по делам, кто гуляет как ни в чем не бывало.

Дюдар. Это самое разумное.

Беранже. Ну нет, я к этому никогда не привыкну.

Дюдар *(в раздумье)*. А я вот думаю, не попробовать ли и мне тоже.

Дэзи. Давайте завтракать.

Беранже. Как, вы, юрист, и можете допустить...

Снаружи доносится страшный шум, слышно, как мчится стадо носорогов, ревут трубы, гремят барабаны.

Что такое?

Все бросаются к переднему окну.

Что случилось?

Где-то рядом обрушивается стена, пыль поднимается столбом, окутывает часть сцены, действующих лиц почти не видно, только слышны их голоса.

Ничего не видно. Что случилось?

Дюдар. Ничего не видно, зато слышно.

Беранже. Этого мало.

Дэзи. Все тарелки в пыли.

Беранже. Да, уж это совсем не гигиенично!

Дэзи. Давайте скорей есть. Не стоит обо всем этом думать.

Пыль рассеивается.

Беранже *(показывая пальцем в зрительный зал)*. Они разнесли стены пожарного депо.

Дюдар. Да, правда! Стены обрушились.

Дэзи *(только что отошла от окна и сейчас стоит у стола и вытирает тарелки, затем быстро идет обратно к окну и становится рядом с Беранже и Дюдаром)*. Вот они, все выходят.

Беранже. Вся пожарная команда — целый полк носорогов, и впереди барабанщики.

Дэзи. Запрудили весь бульвар!

Беранже. Это невыносимо, невыносимо!

Дэзи. Вон там из дворов еще носороги вылезают.

Беранже. И из домов лезут.

Дюдар. И из окон!

Дэзи. Они бегут к тем!

Видно, как из двери по другую сторону площадки выходит человек и сбегает с лестницы, потом второй — у них на лбу по большому рогу; за ними бежит женщина с головой носорога.

Дюдар. Пожалуй, их теперь уже больше, чем нас.

Беранже. Сколько среди них однорогих и сколько двурогих?

Дюдар. Наверно, статистики ведут учет. Вот будет материал для ученых споров!

Беранже. Вряд ли удастся установить процентное соотношение, разве только что очень приблизительно. Все совершается с такой быстротой. Как за ними поспеешь? Люди не успевают подсчитывать.

Дэзи. Самое разумное — предоставить статистикам делать свое дело. Идемте завтракать, дорогой Беранже. Вас это успокоит, подбодрит *(Дюдару)* и вас тоже.

Они отходят от окна. Беранже, которого Дэзи взяла под руку, идет покорно; Дюдар, сделав несколько шагов, останавливается.

Дюдар. Мне что-то не очень хочется есть, или, может быть, я не так уж люблю консервы. Я бы, пожалуй, на свежем воздухе поел.

Беранже. Не делайте этого. Знаете, чем вы рискуете?

Дюдар. Нет, правда, я не хочу вас стеснять.

Беранже. Но вам же говорят...

Дюдар *(перебивая Беранже)*. Да нет, я нисколько не церемонюсь.

Дэзи *(Дюдару)*. Ну, если вам непременно надо идти, конечно, мы не можем вас держать...

Дюдар. Я только не хочу, чтобы вы сердились...

Беранже *(к Дэзи)*. Не отпускайте его, не отпускайте.

Дэзи. Я была бы очень рада, если бы он остался... но... в конце концов, каждый волен поступать, как ему нравится.

Беранже *(Дюдару)*. Человек выше носорога.

Дюдар. Я не спорю. Но и не говорю «да». Я не знаю. Это только на опыте можно проверить.

Беранже *(Дюдару)*. Оказывается, вы тоже слабый человек.

Дюдар. Поймите, ведь это на вас просто такой стих нашел, вы сами же потом пожалеете.

Дэзи. Ну, если это просто прихоть, то ничего страшного нет.

Дюдар. Меня мучает совесть. Долг повелевает мне следовать за моим начальником и товарищами и не покидать их ни в радости, ни в горе.

Беранже. Да что вы с ними в брак, что ли, вступили?

Дюдар. Я отказался от брака, единая большая семья лучше маленькой.

Дэзи *(спокойно)*. Нам очень жаль вас, Дюдар, но мы ничего не можем для вас сделать.

Дюдар. Мой долг — не покидать их, я следую своему долгу.

Беранже. Напротив, ваш долг... вы сами не знаете, в чем истинный долг.. ваш долг — противостоять им с полным присутствием духа, непоколебимо.

Дюдар. Я сохраню присутствие духа *(начинает кружиться по сцене)*, полностью. И уж если критиковать, то лучше критиковать изнутри, чем со стороны. Я их не покину, не покину.

Дэзи. У него доброе сердце.

Беранже. Слишком доброе. *(Дюдару.)* У вас чересчур доброе сердце, вы слишком человечны. *(К Дэзи.)* Удержите его. Он сам себя обманывает. Он человек...

Дэзи. Что я могу сделать?

Дюдар открывает дверь и убегает. Видно, как он стремглав сбегает по лестнице, Беранже бросается за Дюдаром и кричит ему с площадки.

Беранже. Вернитесь, Дюдар! Вас любят здесь, не ходите туда! Поздно. *(Возвращается.)* Слишком поздно!

Дэзи. Ну что же тут можно было сделать! *(Закрывает дверь, Беранже бросается к переднему окну.)*

Беранже. Он уже нагнал их. Где он?

Дэзи *(подходя к окну)*. Там, с ними.

Беранже. Который же из них?

Дэзи. Теперь уж не разберешь. Нельзя отличить.

Беранже. Все они одинаковые, все одинаковые. *(К Дэзи.)* Он не устоял. Вы должны были его удержать силой.

Дэзи. Я не решилась.

Беранже. Надо было решиться, вы должны были настоять. Ведь он любил вас, правда?

Дэзи. Он никогда не объяснялся мне в любви.

Беранже. Всем это было известно. Он и сейчас сделал это с досады, от любви к вам. Он был человек робкий. Вот ему и захотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы произвести на вас впечатление. А вас не тянет последовать за ним?

Дэзи. Нисколько. Раз я здесь.

Беранже *(глядя в окно)*. На улицах, кроме них, ни души. *(Бросается к окну в глубине.)* Никого, кроме них. Нехорошо вы поступили, Дэзи. *(Идет снова к окну на авансцене.)* Насколько хватает глаз, ни одного человеческого существа. Они заполнили всю улицу. Однорогие, двурогие, половина на половину. А кроме этого никаких отличительных признаков.

Слышен рев и топот бегущих носорогов. Эти звуки стали несколько более мелодичными. На стене до самого конца действия то появляются, то исчезают искусственные головы носорогов. Постепенно их становится все больше и больше, и, наконец, они покрывают сплошь всю заднюю стену и уже больше не исчезают. Несмотря на всю свою чудовищность, эти головы мало-помалу становятся все красивее и красивее.

Вы не огорчены, Дэзи? Ни о чем не жалеете?

Дэзи. Нет, нет.

Беранже. Как бы я хотел вас утешить. Я люблю вас, Дэзи, не покидайте меня.

Дэзи Закрой окно, дорогой. От них такой шум. И пыль даже сюда долетает. Все будет грязное.

Беранже. Да-да. Ты права.

Закрывает переднее окно. Дэзи закрывает окно в глубине. Они встречаются на середине сцены.

Пока мы вместе, я ничего не боюсь, мне ни до чего нет дела. Ах, Дэзи. Я думал, для меня уже невозможно полюбить женщину. *(Сжимает ей руки, обнимает за плечи.)*

Дэзи. Видишь, оказывается, все возможно.

Беранже. Как бы я хотел сделать тебя счастливой. А можешь ты быть счастлива со мной?

Дэзи. Почему же нет? Если ты счастлив, я тоже. Ты говоришь, что ничего не боишься, а сам всего пугаешься. Что с нами может случиться?

Беранже *(бормочет)*. Любовь моя! Радость моя! Радость моя! Любовь моя! Дай губы, я даже никогда не думал, что способен на такое страстное чувство.

Дэзи. Ты должен быть спокойнее, у тебя должно быть больше уверенности в себе.

Беранже. Да-да. Дай мне твои губы.

Дэзи. Я очень устала, дорогой. Успокойся, отдохни. Сядь в кресло. *(Ведет Беранже к креслу, он усаживается.)*

Беранже. В таком случае, Дюдару незачем было и ссориться с Ботаром.

Дэзи. Перестань думать о Дюдаре. Я с тобой. Какое мы имеем право вмешиваться в чужую жизнь?

Беранже. Ты же вмешиваешься в мою. Со мной ты даже умеешь быть твердой.

Дэзи. Это совсем другое, Дюдара я никогда не любила.

Беранже. Я тебя понимаю. Если бы он остался здесь, он был бы преградой между нами. Да, счастье эгоистично.

Дэзи. Надо защищать свое счастье. Разве не правда?

Беранже. Я боготворю тебя, Дэзи. Я восхищаюсь тобой.

Дэзи. Может быть, когда ты меня узнаешь поближе, ты уже не будешь мне этого говорить.

Беранже. Чем ближе я тебя узна́ю, тем больше буду любить, и ты такая красивая, красивая!

Снова слышен бег носорогов

Особенно, если тебя сравнить с этими... *(Показывает рукой за окно.)* Ты скажешь, это не комплимент, но, право, они как-то еще больше оттеняют твою красоту...

Дэзи. Ты сегодня себя хорошо вел? Не пил коньяк?
Беранже. Да-да, я себя хорошо вел.
Дэзи. Ты правду говоришь?
Беранже. Ну да, правду, уверяю тебя.
Дэзи. А тебе можно верить?
Беранже *(немного пристыженно)*. Да, верь мне, верь.
Дэзи. Ну, в таком случае, можешь выпить стаканчик. Это тебя подбодрит. *(Беранже хочет вскочить.)* Сиди, дорогой. Где бутылка?
Беранже *(показывает на стол)*. Там, на столике.
Дэзи *(направляется к столику, находит бутылку и стаканчик)*. Здорово ты ее запрятал.
Беранже. Чтобы не соблазняться.
Дэзи *(наливает маленький стаканчик и протягивает Беранже)*. Нет, ты правда умник. Ты делаешь успехи.
Беранже. С тобой я еще и не такие сделаю.
Дэзи *(протягивая ему стаканчик)*. На, вот тебе награда.
Беранже *(пьет залпом)*. Спасибо. *(Протягивает ей стаканчик.)*
Дэзи. Ну нет, дорогой. Сегодня на утро достаточно. *(Берет у Беранже стаканчик, относит вместе с бутылкой и ставит на столик.)* Я не хочу, чтобы тебе опять плохо было. *(Возвращается к Беранже.)* Ну, как твоя голова?
Беранже. Гораздо лучше, мой ангел.
Дэзи. Тогда снимем повязку. Она тебе совсем не идет.
Беранже. Нет-нет, не трогай.
Дэзи. Ну что ты, дай я сниму.
Беранже. Боюсь, под ней что-то окажется.
Дэзи *(несмотря на протесты Беранже снимает повязку)*. Вечно у тебя всякие страхи, мрачные мысли. Видишь, ничего нет. Лоб совсем гладкий.
Беранже *(щупает лоб)*. Правда, ты избавляешь меня от моих комплексов. *(Дэзи целует Беранже в лоб.)* Что бы со мной стало без тебя?
Дэзи. Я никогда тебя больше не оставлю одного.
Беранже. С тобой у меня не будет ни тоски, ни страхов.
Дэзи. Уж я-то сумею тебя от них избавить.
Беранже. Мы будем вместе читать. Посмотришь, какой я стану ученый.
Дэзи. А самое главное, в часы, когда на улице становится потише, мы будем с тобой гулять.
Беранже. Да, по берегам Сены, в Люксембургский сад...
Дэзи. И в Зоологический...
Беранже. Я буду сильным и смелым. И я тоже буду защищать тебя от всяких обидчиков.
Дэзи. Тебе не придется меня защищать, милый. Мы с тобой никому не желаем зла, и нам, дорогой мой, тоже никто не желает зла.
Беранже. Зло иногда причиняешь нечаянно, совсем не желая этого, или невольно поощряешь его. Вот ты ведь тоже не любила этого бедного мосье Папийона. Но помнишь, в тот день, когда Беф появился у нас в виде носорога, может быть, тебе не следовало так резко говорить мосье Папийону, что у него шершавые ладони.
Дэзи. Но это же правда, они у него шершавые.
Беранже. Не сомневаюсь, милая. А все-таки ты могла бы сказать ему это не так резко, пощадить его. Ему было очень неприятно.
Дэзи. Ты думаешь?
Беранже. Он не подал виду, потому что очень самолюбив. Но, конечно, он был глубоко уязвлен. И, может быть, это и толкнуло его на такой шаг. Вот видишь, а ты могла бы спасти человека.

Дэзи. Ну, не могла же я предвидеть, что с ним такое стрясется... Он себе слишком много позволял...

Беранже. Я вот себя всегда буду упрекать за то, что не был поласковей с Жаном. Я никогда не мог показать ему так, чтобы он это почувствовал, как сильно я был к нему привязан. И я не проявил достаточной чуткости.

Дэзи. Не терзай себя. Ты сделал все, что было в твоих силах. Нельзя сделать невозможное. Ну, что ты так угрызаешься? Не думай обо всех этих людях. Забудь их. Гони прочь дурные воспоминания.

Беранже. Они очень громко напоминают о себе, эти воспоминания, они слышны и видны. Они реальны.

Дэзи. А я не думала, что ты такой реалист, ты мне казался похожим на поэта. Неужели у тебя нет воображения? Ведь и реальности тоже разные бывают. Выбери себе ту, которая тебе больше подходит. Спасайся в мнимости.

Беранже. Легко сказать!

Дэзи. А я? Разве я тебе не заменяю всего?

Беранже. О да, полностью! Полностью!

Дэзи. Ты все портишь этим копаньем в себе! У всех у нас, наверно, есть недостатки. А все-таки у нас их меньше, чем у других.

Беранже. Ты правда так думаешь?

Дэзи. Мы все-таки в каком-то отношении лучше большинства людей. Мы с тобой оба добрые.

Беранже. Это правда. Ты добрая, и я добрый. Правда.

Дэзи. Так вот, значит, мы имеем право жить. И наш прямой долг по отношению к самим себе быть счастливыми, не взирая ни на что. Чувство вины — это опасный симптом. Это признак недостаточной чистоты.

Беранже. Д-да, оно может привести... *(Показывает пальцем на окно, под которым бегают носороги, и на стену в глубине, откуда высовывается голова носорога.)* Многие из них начали так!

Дэзи. Давай попытаемся больше не чувствовать себя виноватыми.

Беранже. Да, ты права, радость моя, божество мое, мое солнышко... Ведь я с тобой, правда? Никто не может нас разлучить. У нас есть наша любовь, и только это и есть настоящее. Никто не имеет права и не может помешать нам быть счастливыми, ведь правда?

Звонит телефон.

Кто может нам звонить?

Дэзи *(опасливо)*. Не отвечай!

Беранже. Почему?

Дэзи. Не знаю. Может быть, так лучше.

Беранже. А что, если это мосье Папийон, или Ботар, или Жан, или Дюдар, и они хотят нам объявить, что отступились от своего решения? Ведь ты же сама говорила, что у них это просто так, прихоть!

Дэзи. Не думаю. Не могли они так скоро изменить свое отношение. У них даже не было времени подумать. Нет, они доведут свой опыт до конца.

Беранже. А может быть, это из муниципалитета, может быть, там наконец зашевелились, собираются принять меры и вот просят нас помочь.

Дэзи. Мало вероятно.

Телефон снова звонит.

Беранже. Конечно, конечно, это звонят из мэрии. Узнаю — такой продолжительный звонок! Нет, я не могу не ответить, я должен отозваться. Больше некому звонить. *(Снимает трубку.)* Алло?

В ответ из трубки доносится рев.

Ты слышишь? Ревут! Вот, послушай!

Дэзи подносит трубку к уху, отшатывается и бросает трубку на аппарат.

Дэзи *(испуганно)*. Что это такое, как это понимать?

Беранже. Это они с нами шутки шутят.

Дэзи. Плохие шутки.

Беранже. Видишь, я тебе говорил!

Дэзи. Ничего ты мне не говорил.

Беранже. Я так и ждал этого, я предвидел.

Дэзи. Ты ровно ничего не предвидел. Никогда ты ничего не умеешь предвидеть. Все твои предвидения бывают только после того, как события уже произошли.

Беранже. Нет, я предвижу, предвижу.

Дэзи. И как это гадко с их стороны. Просто противно, не люблю, когда надо мной смеются.

Беранже. Над тобой они не отважатся смеяться. Они смеются надо мной.

Дэзи. А раз я с тобой, значит, достается и мне. Они мстят нам. Но что мы им сделали?

Снова звонок.

Отключи аппарат.

Беранже. Министерство связи этого не разрешает.

Дэзи. Ах, ты всего боишься, ни на что не можешь осмелиться, а еще берешься меня защищать!

Дэзи выдергивает вилку, телефон умолкает.

Беранже *(бросается к радиоприемнику)*. Давай включим приемник, послушаем последние известия.

Дэзи. Да, нужно знать, что же делается.

Из приемника слышится рев. Беранже поспешно выключает радио. Но какие-то отголоски рева, словно многоголосое эхо, продолжают доноситься, не умолкая.

Это становится серьезно. Мне это не нравится. Я не могу этого выдержать. *(Дрожит.)*

Беранже *(в сильном смятении)*. Успокойся! Успокойся!

Дэзи. Они заняли радиостанцию!

Беранже *(страшно взволнован, весь дрожит)*. Успокойся, успокойся, только успокойся.

Дэзи подбегает к окну в глубине, выглядывает, потом бежит к окну на авансцене. Беранже делает то же самое в обратном порядке; затем они останавливаются друг против друга посередине сцены.

Дэзи. Это уже совсем не шутки. Они себя показывают всерьез.

Беранже. Только они и остались, никого, кроме них. И власти перешли на их сторону!

Дэзи и Беранже опять перебегают от окна к окну и после этого снова останавливаются посередине сцены.

Дэзи. Нигде ни души.

Беранже. Мы одни, мы остались одни.

Дэзи. Ты же сам этого хотел.

Беранже. Нет, это ты хотела!

Дэзи. Нет ты.

Беранже. Ты!

Отовсюду несется рев. Головы носорогов закрыли всю стену в глубине. Со всех сторон по всему дому слышен тяжелый топот, громкое сопенье зверей. Но теперь в этом шуме чувствуется какой-то ритм, и он кажется мелодичным. Сильнее всего шум и топот доносятся сверху. С потолка сыплется штукатурка. Дом содрогается.

Дэзи. Земля трясется. *(Не знает, куда бежать.)*

Беранже. Нет, это наши соседи, непарнопалые. *(Грозит кулаком вле-*

во и вправо.) Перестаньте! Вы мешаете работать. Шуметь запрещается! Запрещается шуметь!

Дэзи. Что они тебя послушаются, что ли!

Но шум постепенно утихает, и переходит в нечто вроде музыкального аккомпанемента.

Беранже *(тоже перепуган)*. Не бойся, сокровище мое. Мы вместе, разве тебе не хорошо со мной? Разве тебе недостаточно этого? Я ограждy тебя от всех невзгод.

Дэзи. Все-таки, может быть, мы сами во всем виноваты?

Беранже. Не думай об этом больше. Не упрекай себя. Чувство вины опасно. Будем жить своей жизнью, будем счастливы. Наш долг быть счастливыми. Они не злые. Никто им ничего дурного не делает. Они оставят нас в покое. Не волнуйся. Отдохни. Сядь в кресло. *(Подводит Дэзи к креслу.)* Не волнуйся. *(Он усаживает Дэзи в кресло.)* Хочешь рюмочку коньяку для бодрости?

Дэзи. У меня голова болит.

Беранже *(берет свою повязку и обвязывает ею голову Дэзи)*. Я люблю тебя, моя радость. Не волнуйся, это у них пройдет. Это просто так, прихоть.

Дэзи. Нет, это не пройдет. Это уже окончательно.

Беранже. Я люблю тебя, безумно люблю.

Дэзи *(снимая повязку)*. Будь что будет. Ну что тут можно сделать?

Беранже. Они все посходили с ума. Мир болен. Они все больны.

Дэзи. Не нам их вылечить.

Беранже. Как мы будем жить в одном доме с ними?

Дэзи *(успокаиваясь)*. Надо быть рассудительными. Надо найти какой-то modus vivendi*, постараться поладить с ними.

Беранже. Они не способны нас понять.

Дэзи. Нужно добиться, чтоб поняли. Другого выхода нет.

Беранже. А ты, ты их понимаешь?

Дэзи. Пока еще нет. Но мы должны попытаться понять их психологию, изучить их язык.

Беранже. Нет у них никакого языка! Послушай... это ты называешь языком?

Дэзи. Что ты об этом знаешь? Ты ведь не полиглот!

Беранже. Мы с тобой поговорим об этом потом. Сначала надо поесть.

Дэзи. Мне даже и есть не хочется. Нет, это уж слишком. У меня больше нет сил сопротивляться.

Беранже. Но ты же сильнее меня. Ты не позволишь себе поддаться. Я так всегда восхищаюсь твоим мужеством.

Дэзи. Ты мне уже это говорил.

Беранже. Ты веришь, что я тебя люблю?

Дэзи. Ну, верю.

Беранже. Я люблю тебя.

Дэзи. Ты повторяешься, котик.

Беранже. Послушай, Дэзи, мы с тобой еще можем что-то сделать. У нас будут дети, у наших детей тоже будут дети. На это потребуется время, но мы с тобой вдвоем, мы можем возродить человечество.

Дэзи. Возродить человечество?

Беранже. Ведь так уже было однажды.

Дэзи. Во время оно. Адам и Ева. Да, у них было мужество!

Беранже. И у нас тоже найдется мужество. К тому же его не так много и надо. Это же само собой делается, нужно только время и терпение.

* Жизненный принцип *(лат.)*.

Дэзи. А зачем?

Беранже. Ну и, пожалуй, немножко мужества, совсем немножко.

Дэзи. Я не хочу иметь детей. Такая скучища.

Беранже. Как же ты тогда хочешь спасти мир?

Дэзи. А зачем его спасать?

Беранже. Ну что за вопрос!.. Сделай это для меня, Дэзи! Давай спасем мир.

Дэзи. А может быть, это мы с тобой нуждаемся в спасении. Мы с тобой не такие, как надо.

Беранже. Ты бредишь, Дэзи, у тебя жар.

Дэзи. А ты видишь разве, есть еще такие, как мы?

Беранже. Я не хочу этого слышать, Дэзи, не хочу, чтобы ты говорила такие вещи.

Дэзи смотрит по сторонам, на носорогов, головы которых видны на стенах, в двери через площадку и внизу у рампы.

Дэзи. Вот это молодцы! Какие они все веселые. Прекрасно чувствуют себя в своей шкуре. И совсем не похоже, что они помешались. Держат себя совершенно естественно. Выходит, они правы, что так поступили.

Беранже *(сжав руки, в ужасе смотрит на Дэзи)*. Это мы правы, Дэзи, уверяю тебя.

Дэзи. Какое самомнение!

Беранже. Ты отлично знаешь, что я прав.

Дэзи. Абсолютной истины не существует. Прав мир, а не ты или я.

Беранже. Нет, Дэзи, я прав. И доказательство тому — ты понимаешь, когда я с тобой говорю.

Дэзи. Это еще ничего не доказывает.

Беранже. И еще доказывает это, что я люблю тебя, как только мужчина может любить женщину!

Дэзи. Вот так довод!

Беранже. Я не понимаю тебя, Дэзи. Ты уже сама не знаешь, что говоришь. Разве любовь... любовь... любовь...

Дэзи. Я, правду сказать, как-то даже немножко стыжусь того, что ты называешь любовью, это болезненное чувство, слабость мужчины. И женщины. Какое может быть сравнение с этим пылом, с этой необычайной энергией, которой так и пышат все эти существа вокруг нас.

Беранже. Ах, энергия, тебе хочется побольше энергии. На тебе энергию! Получай! *(Дает ей пощечину.)*

Дэзи. Ах! Никогда бы не поверила... что ты... *(Падает в кресло.)*

Беранже. О! Прости меня, дорогая, прости меня! *(Пытается обнять, она вырывается.)* Прости, дорогая. Я не хотел... Не знаю, что со мной случилось, как я мог позволить себе...

Дэзи. Просто тебе нечего было сказать больше, вот и все.

Беранже. Да! За несколько минут мы с тобой точно двадцать пять лет в браке прожили!

Дэзи. Мне и тебя жалко, тебя я тоже понимаю.

Беранже *(к плачущей Дэзи)*. Ну что я тебе скажу, у меня больше никаких доводов не осталось. Ты считаешь, что они сильнее меня и, может быть, даже сильнее, чем мы с тобой.

Дэзи. Безусловно.

Беранже. И все-таки несмотря на все клянусь тебе, я от себя не отрекусь, не отрекусь.

Дэзи *(встает, подходит к Беранже, обнимает его за шею)*. Бедненький мой, мой дорогой, я буду с тобой — до конца.

Беранже. А ты сможешь?

Дэзи. Я сдержу слово. Положись на меня.

Мелодичный рев носорогов.

Они поют. Слышишь?

Беранже. Не поют, а ревут.

Дэзи. Нет. Поют.

Беранже. Ревут, говорю тебе.

Дэзи. Ты с ума сошел. Они поют!

Беранже. У тебя, верно, нет никакого музыкального слуха.

Дэзи. Это ты, мой друг, совершенно не разбираешься в музыке; посмотри, они играют, танцуют.

Беранже. Это ты называешь танцем?

Дэзи. Они танцуют по-своему. И они такие красивые.

Беранже. Они отвратительны.

Дэзи. Я не хочу, чтобы о них говорили плохо. Мне это неприятно.

Беранже. Прости меня. Ну, не будем же мы с тобой из-за них ссориться.

Дэзи. Они боги.

Беранже. Ты преувеличиваешь, Дэзи. Посмотри на них хорошенько.

Дэзи. Не надо ревновать, дорогой. Прости и ты меня. *(Снова подходит к Беранже и пытается обнять его. На этот раз уклоняется Беранже.)*

Беранже. Я вижу, у нас с тобой совершенно противоположные взгляды. Нам лучше и не пытаться спорить.

Дэзи. Не надо быть таким мелочным, хватит тебе.

Беранже. Не надо быть дурой.

Дэзи *(к Беранже, который поворачивается к ней спиной и разглядывает себя в зеркало)*. Нам с тобой вместе жить нельзя, ничего не получится. *(В то время как Беранже продолжает смотреться в зеркало, она потихоньку идет к двери, говоря на ходу.)* Он совсем не добрый, нет, не добрый.

Дэзи выходит, видно, как она медленно спускается по лестнице.

Беранже *(продолжая глядеться в зеркало)*. Как-никак, а человек — это все-таки не так противно. А ведь я далеко не красавец. Поверь мне, Дэзи! *(Оборачивается.)* Дэзи, Дэзи! Где ты, Дэзи? Нет, ты этого не сделаешь! *(Бросается к двери.)* Дэзи! *(Выбегает на площадку, перегибается через перила.)* Дэзи! Вернись! Вернись, моя маленькая Дэзи! Ты даже не позавтракала! Дэзи, не оставляй меня одного! Ты же мне обещала! Дэзи! Дэзи! *(Перестает звать и в отчаянии возвращается в комнату.)* Конечно, мы перестали друг друга понимать. Никакого согласия, ни в чем. Совместная жизнь распалась. Но как же она могла уйти, не объяснившись?! *(Оглядывается, обводит глазами комнату.)* Не сказав ни слова. Так не поступают. Вот теперь я совсем один. *(Идет к двери, запирает ее на ключ, очень тщательно, но с явным раздражением.)* Я им не дамся. *(Старательно закрывает окна.)* Вы меня не поймаете. *(Обращается к головам носорогов.)* Я за вами не пойду, я вас не понимаю. Я останусь таким, каков я есть. Я человеческое существо. Человеческое. *(Садится в кресло.)* Совершенно невыносимое положение. Я сам виноват в том, что она ушла. Я был для нее всем. Что теперь с ней станется? Вот еще один человек на моей совести. Мне лезет в голову все самое ужасное; самое ужасное может случиться! Бедная крошка, брошенная на произвол судьбы, одна, в этом мире чудищ! Кто мне поможет ее найти? Никто, потому что никого не осталось.

Снова оглушительный рев, топот, пыль столбом.

Не хочу их слышать. Заткну себе уши ватой. *(Затыкает уши ватой и разговаривает сам с собой, стоя у зеркала.)* Есть только один выход — убедить их, но в чем убедить? А такого рода мутации... они обратимы? Кто знает, обратимы ли они? И потом, это же геркулесов труд, это свыше моих сил. Прежде всего, для того, чтобы их убедить, с ними нужно вступить в переговоры. А чтобы разговаривать с ними, мне нужно научиться их языку. Или им нужно научиться моему. А на каком языке я говорю? Какой у меня язык? Французский, да? Конечно, это считается французским. А что такое французский язык? Конечно, можно его назвать французским, если угодно, никто не может этого оспорить, только я один и говорю на нем. А что я говорю? Понимаю ли я сам себя? Я — себя — понимаю? *(Идет на середину комнаты.)* А что, если, как сказала Дэзи, правы они? *(Возвращается к зеркалу.)* Человек не уродлив, не уродлив! *(Смотрится в зеркало, проводит рукой по лицу.)* Как странно! Но на что же я похож? На что? *(Бросается к шкафу, достает фотографии, смотрит, перебирает их.)* Вот снимки! Что это за люди? Мосье Папийон, а может быть, Дэзи? А это кто — Ботар, или Дюдар, или, может быть, Жан? А может быть, я сам? *(Опять бросается к шкафу и достает две-три картины.)* Да, я себя узнаю, это я, я! *(Идет, вешает картины на стену в глубине, рядом с головами носорогов.)* Это я, я.

Когда картины развешаны, видно, что на них изображены старик, толстая женщина, мужчина. Уродство этих портретов особенно выступает рядом с головами носорогов, которые стали очень красивыми. Беранже отходит на шаг, разглядывает картины.

Некрасивый я, совсем некрасивый. *(Срывает картины и с яростью бросает их на пол. Идет к зеркалу.)* А они красивые. Я был не прав. Ах, как бы я хотел быть таким, как они, Жаль, что у меня нет рога. Как это безобразно — совсем гладкий лоб. Как было бы хорошо — один или два рога, сразу бы все подтянулось, а то вон как обвисло. Но, может быть, это еще случится, и мне не будет стыдно, и я пойду к ним, и мы все будем вместе. Но у меня почему-то рог не растет! *(Смотрит на ладони.)* И руки у меня какие-то влажные. Станут ли они когда-нибудь жесткими? *(Снимает пиджак, расстегивает сорочку, рассматривает грудь в зеркало.)* А кожа, какая дряблая! Ах, это чересчур белое, волосатое тело! Как бы я хотел, чтобы у меня была жесткая кожа, такого чудесного темно-зеленого цвета, совсем голая, без растительности, как у них! *(Прислушивается к реву.)* Их пенье не лишено приятности, немного резко звучит, но есть в нем какая-то своеобразная прелесть! Ах, если бы и я мог так. *(Пытается подражать.)* Агх! Агх! Брр. Нет, не то. Попробуем еще, погромче! Агх! Агх! Брр! Нет-нет, совсем не то, слабо, никакой мощи в голосе. У меня не получается рева. А только вой. Агх! Агх! Вой это совсем не рев. Зачем же теперь раскаиваться, надо было идти за ними вовремя... Теперь уже поздно — увы! Я чудовище, чудовище! Мне уже никогда не стать носорогом, никогда, никогда! Я не могу измениться. Я бы так хотел, так хотел, но не могу. Я больше не могу на себя смотреть, мне стыдно! *(Поворачивается спиной к зеркалу.)* Я так уродлив! Горе тому, кто хочет сохранить своеобразие! *(Вздрогнув, застывает на месте.)* Ну что ж, делать нечего! Буду защищаться! Один против всех! Где мое ружье, ружье мое! *(Поворачивается лицом к стене, на которой видны головы носорогов. Кричит.)* Один против всех! Я буду защищаться, буду защищаться! Один против всех! Я последний человек, и я останусь человеком до конца! Я не капитулирую!

Занавес

«НОСОРОГ» ЭЖЕНА ИОНЕСКО

Мы знаем носорогов не понаслышке. На нашей памяти они с победным ревом неслись по полям Украины и виноградникам Франции, по улицам Варшавы и Праги. На наших глазах в носорогов превращались добродушные лавочники, аккуратисты-бухгалтеры, почтенные гелертеры и сентиментальные фрейлейн. И о них напоминают нам не только кадры документальных фильмов — стада носорогов «с хищным блеском в глазах», ревущие «хайль» своему вожаку, носороги с черным крестом на броне, носороги, сочиняющие инструкции об истреблении «неполноценных»,— но и статьи из «Дейче зольдатенцейтунг», и репортажи из Алабамы. Мы хорошо знаем носорогов, и мы узнаём их в пьесе Ионеско.

Именно как антифашистская пьеса и был прочитан «Носорог» Жаном-Луи Барро, впервые во Франции поставившим его в 1960 г. в парижском театре «Одеон». Как «антинацистскую сатиру» приняла ее и французская прогрессивная критика. Под свежим впечатлением от спектакля Эльза Триоле писала в «Леттр франсез»: «Никто не может ошибиться относительно смысла этой пьесы, как нельзя более ясного. Все говорит о нем: серо-зеленый цвет носорогов, рев конкретной музыки, сквозь который доносятся конкретные немецкие слова, оглушительный шум, хорошо знакомый нам топот сапог. Персонажи, превращающиеся в носорогов, не только приобретают звериный облик, но и усваивают нацистскую идеологию с ее «возвратом к природе», апологией «инстинкта», культом грубой силы...

Прогрессирующее оносороживание представлено поистине мастерски. Как, каким путем микроб этой болезни проникает в «логика», в служащего, в миловидную машинистку, в профессионального деятеля оппозиции, этого «демократа» с фашистской закваской, в хозяина кафе, иначе говоря, как совершается процесс фашизации, показано с устрашающим юмором...»

Сам Ионеско в интервью Катрин Валонь, заявив, правда, что возможны различные интерпретации его пьесы, не только не отверг интерпретацию Жана-Луи Барро, но и отозвался о ней с явным сочувствием.

И все же театром «Одеон», так же как Бухарестским театром комедии, где недавно был тоже поставлен «Носорог», а вслед за ними и прогрессивной критикой пьеса Ионеско не просто верно прочитана, но, если угодно, и досказана. Ионеско не писал политическую сатиру, и не случайно в самом тексте «Носорога» нет не только политических реалий или намеков, но и каких бы то ни было примет времени. Однако досказать не значит исказить. «Носорог» стал тем, чем он есть для зрителя и читателя, потому что всей своей морально-философской проблематикой органически связан хоть и не со злобой дня, но, если позволительно так выразиться, со злобой века.

Эжену Ионеско удалось найти емкий, яркий и точный художественный образ, вернее, символ человеческого самоотчуждения в буржуазном мире. Его носороги возвращают понятиям «скотство» и «зверство» их первоначальный, уже стершийся метафорический смысл. Собственно, вся его пьеса и есть не что иное, как развернутая «материализованная метафора».

Его герои, превращаясь в носорогов, отрекаются от самостоятельной, ищущей и критической мысли (носорогам не надо мыслить — достаточно чуять). От тревог и сомнений (носороги не знают колебаний — прут, куда ведут их вожак и инстинкт). От таких душевных движений, как сострадание, стыд или угрызения совести (у носорогов толстая кожа). От морального чувства (носороги — «по ту сторону добра и зла»). От чувства прекрасного (в эстетике носорогов прекрасное есть корм). От собственной индивидуальности (носороги почти неразличимы, разве что есть подвиды — однорогие и двурогие, экземпляры покрупнее и помельче). Короче, от высокого права на человеческое первородство, взамен которого они приобретают силу и вес, животный эгоизм и блаженную тупость.

Оносороживание символизирует, пользуясь выражением Маркса, консервативную сторону человеческого самоотчуждения, представляемую имущим классом, который чувствует себя в этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, видя в нем свидетельство собственного могущества, и пьеса Ионеско прежде всего потому и воспринимается как антифашистская, что эта сторона достигает своего крайнего выражения в фашистском оскотинении и озверении. Но не только поэтому.

Оносороживание в пьесе Ионеско — не хронический недуг, а страшная заразная болезнь. Ее инкубационный период измеряется не днями, а часами. Она распространяется с чудовищной быстротой и приобретает характер пандемии. Эта парабола выражает не просто деградацию, а гигантский скачок назад, не просто торжество охранительных сил, а «реакцию по всей линии». И фантасмагория Ионеско неизбежно связывается в нашем сознании с тем историческим моментом, когда человеческое самоотчуждение, в конечном счете порождаемое причинами, которые коренятся в самом базисе буржуазного общества, получает мощный катализатор в непосредственно политических факторах, когда «расчеловечивание» проводится сознательно, планомерно и в массовом масштабе всеми средствами от тотального террора до тотальной пропаганды, демагогия доходит до пароксизма, и одичание возводится в ранг высшей мудрости и

высшей добродетели — вспомним «Мою борьбу» Гитлера и «Миф XX века» А. Розенберга.

Но заставив нас почувствовать, осознать, измерить всю безмерность этого одичания, Ионеско вместе с тем оставляет его мистически непонятным.

Герой известного рассказа Кафки в одно прекрасное утро просыпается насекомым. В романе Камю внезапно вспыхивает эпидемия чумы. В пьесе Ионеско по улицам провинциального французского городка вдруг проносится носорог. В одно прекрасное утро, внезапно, вдруг совершается катастрофа. Читатель вводится сразу in medias res. Предыстория отбрасывается. Но вместе с ней из рассказа, романа, пьесы выбрасывается история. Она кончается там, где начинается действие,— человек превращается в насекомое или носорога. Впрочем, по существу никакого превращения не происходит. Внешняя метаморфоза лишь раскрывает, проявляет, «остраняет» уже совершившееся внутреннее перерождение. Жан с его самодовольством и агрессивностью, Ботар с его демагогией, Логик с его «силлогизмами» с самого начала наделены чертами и задатками, выдающими их носорожью природу, но социальная природа носорожества остается нераскрытой. «В одно прекрасное утро», «внезапно», «вдруг» снимают вопросы: как? почему? в силу каких общественно-исторических причин? И дело тут, видимо, не только и даже не столько в законах жанра, сколько в самом характере художественного мышления, не отделимом от мировоззрения писателя. Катастрофы Кафки, Камю, Ионеско напоминают катаклизмы Кювье, подменявшие естественно-исторический процесс, который смог открыть и объяснить только Дарвин.

С другой стороны, Ионеско видит только один полюс человеческого отчуждения, только торжествующих носорогов. «Нищета, сознающая свою духовную и физическую нищету», «обесчеловеченность, сознающая свою обесчеловеченность и потому самое себя упраздняющая», остаются вне его поля зрения. Но тем самым вне его поля зрения остается классовый антагонизм, самоотчуждение как противоречивый процесс, живая диалектика социальной действительности. Именно поэтому ничто в его пьесе не противостоит победительной силе носорожества. В ней нет масс, есть только стадо, нет свежего ветра, есть лишь поветрие, нет энтузиазма, есть лишь психоз. И нет человека, который «каплей льется с массами», а есть лишь абстрактная личность, которую поглощает или грозит поглотить абстрактная толпа. Во всяком случае, интерпретация пьесы в духе «чистого нонконформизма», не свободного от индивидуализма и барского анархизма, тоже имеет свои основания. Поэтому было бы упрощением или натяжкой утверждать, что зловещая символика «Носорога» прозрачно-ясна и однозначна. Вообще говоря, она именно многозначна. Подчеркнем, однако,— лишь *вообще говоря*, то есть если отвлечься от идейного «контекста» антиномии человек-стадо, если разъять художественное целое и свести его к голой схеме, если не видеть конкретики, проступающей сквозь абстракции Ионеско. Но об этом ниже.

Итак, не пустив на сцену действительность в ее социально-исторической определенности и демонстративно сделав Мазарини и герцога Сен-Симона современниками своих обывателей, Ионеско оставляет Беранже наедине с носорогами. И вопреки всему Беранже отказывается последовать принципу «с носорогами жить, по-носорожьи реветь». Слабый, мягкий, уступчивый Беранже не поддается ни лозунгам Ботара («Идти в ногу со временем»), ни софизмам Дюдара («Уж если критиковать, то лучше критиковать изнутри, чем со стороны!»), ни доводам рассудительной Дэзи («Не нам их вылечить», «Надо найти какой-то modus vivendi, постараться поладить с ними»).

Добрый и робкий Беранже, не способный обидеть и мухи, родной брат другого Беранже из пьесы «Убийца не для заработка», который, встретившись с убийцей, лишь умолял и убеждал его, а в конце концов дал себя убить, так и не воспользовавшись своими двумя револьверами,— Беранже хватается за ружье со словами: «Я буду защищаться, буду защищаться! Один против всех! Я последний человек, и я останусь человеком до конца! Я не капитулирую!»

Возникает вопрос: откуда у Беранже, вышедшего из той же канцелярии, что и Ботар, Дюдар, Дэзи, иммунитет против вируса носорожества? Откуда у него, не опирающегося ни на какую силу, не исповедующего никакой веры и не придерживающегося никакой доктрины, эта воля к сопротивлению? Как может он не понимать свое бессилие и свою обреченность перед лицом чудовищного мира носорогов, как может он не капитулировать перед катаклизмом, причин которого он не видит, а исхода не предвидит? Не противно ли логике поведение Беранже, точно так же как поведение доктора Рие из романа Камю, борющегося против эпидемии без надежды ее остановить, вместо того чтобы стать одним из сотрапезников на пиру во время чумы? Да, но Логик-то и превратился в носорога.

Беранже и Рие поступают так, а не иначе не в силу обстоятельств внешнего порядка, а вопреки им — в силу некоего внутреннего императива, в котором нет ничего иррационального. Мы позволим себе здесь маленькое философское отступление. Человеческая практика, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики, приобретающими аксиоматический характер. Иначе говоря, у самой логики есть своя история. Равным образом этические категории, человеческие чувства, понятие человеческого достоинства складываются не на протяжении жизни одного поколения и даже не во временных рамках одной общественной формации, а на протяжении всей истории человечества. Это не значит, что, раз сложившись, они остаются неизмен-

ными, превращаются в некий абсолют, это значит только, что они имеют глубокие корни. Между промискуитетом и индивидуальной половой любовью пролегли тысячелетия. Человек не есть лишь «продукт своего класса», «продукт своего общества», «продукт своей эпохи» — он есть также продукт опосредованного его эпохой, его обществом всего предшествующего исторического развития, в котором решающую роль всегда играла борьба народных масс против социального гнета. Этим и определяется, выражаясь старомодным языком, его человеческая природа.

Лишив своего героя всего, на что он мог бы опереться, Ионеско подвергает его крайнему испытанию. И Беранже, которому поистине не чуждо ничто человеческое, это испытание выдерживает, несмотря на страх, искушения, колебания. В нем крепко сидит «человеческая природа», прочны моральные устои, не сокрушена сила духа, которую так прекрасно выразил летчик Гийоме в «Земле людей» Сент-Экзюпери: «Клянусь, я выдержал то, чего не выдержало бы ни одно животное!» Он просто *не может* жить по-носорожьи, как не может настоящий человек совершить низость, как бы ни толкал его на это «здравый смысл», какой бы казуистикой ни доказывали ее необходимость, какими бы «высшими соображениями» ее ни оправдывали.

Конечно, чистая человечность — такая же абстракция, как чистое самоотчуждение, и образ Беранже не менее условен, чем образы носорогов. Но есть абстракция и абстракция. Безжизненная, схоластическая, если угодно, догматическая, игнорирующая богатство и текучесть действительности, и — плодотворная, продолжающая (вглубь) живое созерцание, схватывающая существенное или, как говорил Ленин, «прочное, остающееся в явлениях». Такая абстракция и доминирует в гротескной символике «Носорога». И потому-то так ощутима, пусть не осознанная самим художником, живая связь этого фарса-трагедии с исторической трагедией и кровавым фарсом нашего века. Разве в предрасположенности героев Ионеско к носорожеству не просвечивает социальная психология мещанства — комплекс неполноценности, преклонение перед силой, мечта о чуде, которое разом разрешит все проблемы, избавит от всех страхов и принесет вожделенную сладкую жизнь? Ведь носорог — это «юберменш» в представлении лавочника. И разве в сопротивлении Беранже не слышится, хоть и отдаленный, отзвук Сопротивления?

Живая, жгучая современность, выставленная за дверь, влезает в окно. Носороги, привлеченные к суду истории и просто к суду, неизменно ссылаются на господствующую атмосферу, на непреодолимую силу обстоятельств: в создавшихся условиях они не могли поступить иначе. Беранже отвечает им: «Кто не хочет стукнуться, тот и не стукнется». Слабость, одиночество, идейная ограниченность не могут заглушить подлинно человеческое в этом «мыслящем тростнике», как в самом Ионеско философия абсурда и отчаяния не смогла окончательно погасить благородную веру в человека. Мы говорили выше о «многозначности» пьесы Ионеско, но в последней реплике Беранже «Я останусь человеком до конца! Я не капитулирую» — несомненно ее главный, ее объективный, ее истинный смысл. И ее гуманистический пафос.

Н. Наумов

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

ОЛЕ БИНКОП

РОМАН

Перевод с немецкого
Н. МАН и С. ФРИДЛЯНД

6

Хотя загляд в будущее был необходим Оле, как масло куску черствого хлеба, он чувствовал себя в это время словно неоперившийся птенец, который выпал из гнезда: до сих пор ни один трактор не показался на их поле. Бургомистр Фрида Симсон карала секту отступников, как богиня мщения. Партия-мать поставила в угол своего непослушного сына Оле. О том ли он мечтал, создавая крестьянское содружество?

Опять бессонные ночи. Однажды он встал чуть свет, вытащил из шкафа свой жениховский костюм и принялся его чистить. Спрашивается, зачем ему понадобился этот сувенир из черного сукна?

Еще затемно, словно вор, он прокрался в курятник. Возле кормушек стояла ванна, наполненная свежими яйцами. Государственные яички, одно белей другого. Но час был ранний, и государство спало. Оле насыпал опилок на дно корзины и уложил в нее яйца.

Что ж это, Оле Бинкоп обманывает государство? Так низко он пал, лишившись партбилета? Не судите его слишком строго, о вы, непогрешимые! Ему понадобились деньги для кооператива.

Выходит, государство пожирает яйца и ничего не платит за них? Платить-то оно платит, но Оле Бинкопу этого не хватает. У него каждый пфенниг на счету. Для себя лично ему ничего не нужно, это вы знаете.

Оле отправился на базар в районный центр, встал за прилавок и, изменив голос, начал выкрикивать:

— Яйца! Кому свежие яйца из продовольственных излишков?

Долго кричать не пришлось. Женщины нарасхват брали редкий товар. На рынок чаще попадают яйца, привезенные издалека, ибо представители государственной торговли стоят на вполне современной точке зрения: хорошее товарное яйцо должно выдержать проверку временем и созреть, как бочковое пиво.

---

* Продолжение. Начало в №№ 7 и 8.

Двое мужчин в кожаных куртках проходят вдоль торговых рядов. Это рыночные контролеры. У Оле нет документов, удостоверяющих, что его кооператив выполнил план яйцепоставок. Он наскоро прикрыл плетушку черным жениховским костюмом, отошел в сторону и затесался в толпу покупателей, теснившихся перед прилавком магазина. Опасность, облаченная в кожаные куртки, миновала.

— Кому яйца? Кому свежие яйца из продовольственных излишков?

Старичок пенсионер подошел к Оле, надел очки и, поглядев на черный костюм, спросил:

— А ты почему его продаешь?

— Времена настали хорошие. Человек толстеет. Засмеешься — пуговицы отлетают.

— По тебе не скажешь, что ты охотник смеяться.— Впрочем, это дело десятое. Старичку нужен черный костюм. Нельзя же ему отплясывать на балу пенсионеров в клетчатой куртке.

— Сколько возьмешь?

— Возьму недорого, да еще сверх того добавлю по яйцу в карман.

Чья-то рука легла на плечо Оле.

— Ты что же, приятель, тканями торгуешь? — Это оказался продавец из отдела тканей.

Оле зашел со стариком в какой-то подъезд. Старик пощупал костюм и подмигнул:

— А он не краденый?

И вдруг, словно черт, почуявший, что запахло христианским духом, в подъезде возник Карл Крюгер, бывший районный секретарь.

— Да ты никак в спекуляцию ударился? Смотри, Оле, оттаскаю я тебя за уши.

Оле затрясся от злости.

— Ошиблись адресом, дорогой товарищ! Я теперь не в партии.

— Вот смажу по физиономии, будешь знать. Чего ты врешь?

— Ничего я не вру.

Оле и Крюгер уставились друг на друга, как рассвирепевшие быки, покуда Крюгер не рявкнул:

— Партия не спортивное общество. Это армия. Из нее нельзя уйти. Можно только погибнуть в бою.

— Вот я и погиб. Мне выстрелили в спину.

Крюгер побелел.

Час спустя старые друзья сидели в комнатенке пенсионера Крюгера. Они уже пропустили по рюмочке, солнце пригревало герань на окне. Корзинка с яйцами стояла в передней под вешалкой.

Оле рассказывал. Наконец-то, с тех пор как умер Антон, нашелся товарищ, который захотел его выслушать и понять.

— Только не корчи из себя жертву. Терпеть этого не могу.

— Прикажешь скалить зубы, когда товарищи плюют на тебя?

— Ты сам на них наплевал.

— А ты стерпишь, если тебе скажут, что ты действуешь на руку врагам?

Крюгер поскреб в затылке.

— Больно ты поторопился со своей затеей. Вот в чем твоя ошибка... больше ни в чем... Ладно, все уладится, будь уверен.

До конца дня Оле работал косой и неотступно думал. Все уладится, все, все, все, свистела коса. Однако ближе к вечеру коса приутихла. Взмахи потеряли прежнюю силу — косца одолели сомнения.

Вечером, осоловев от усталости, Оле сидел у Эммы, потому что ноги решительно отказались нести его в унылую холостяцкую квартиру. Эмма выковыривала кухонным ножом колючки из ладоней. По радио передавали самодовольную маршевую музыку. Дети уже спали.

Оле просидел на одном месте добрых полчаса, не раскрывая рта.

— Не хватало, чтобы ты здесь уснул,— сказала Эмма.— Мне пора мыть ноги.

Оле молчал. Намека он не понял и без всякой задней мысли уставился на аккуратные, детские ступни Эммы.

Эмма застеснялась.

— У тебя тоже есть мозоли?

Тикал будильник, уплывало время. Оле молча отдыхал. Вдруг Эмма босиком ринулась к репродуктору. Она сняла с головы платок и прислушалась: диктор читал отчет о работе партийной конференции:

«...повсеместно создавать сельскохозяйственные кооперативы. Как известно, серьезные товарищи уже предпринимают первые шаги в этом направлении...»

Эмма схватила за плечи неразговорчивого гостя:

— Оле, Оле, да это же про нас говорят. А ну, выше голову!

Две минуты спустя Оле с Эммой уже плясали вовсю. Курочка пыталась научить медведя танцевать. Она старалась изо всех сил.

— Господи, ты даже водить не умеешь. Вот увалень!

Они скакали и притопывали, Эмма — босиком, Оле — в рабочих сапогах.

— Эх, не дожил Антон! — вздохнула она. Не дожил? Одну минуточку! До чего это, позвольте вас спросить, не дожил Антон? До того, что его вдова босиком отплясывает с Оле Бинкопом?

Эмма Вторая выглянула из спаленки в одной рубашке:

— У вас что, свадьба с дядей Оле?

Зато Антон Второй — ну до чего же шустрый парнишка — крикнул:

— Мама, там стучат.

В низкую дверь, пригнувшись, вошел Карл Крюгер. Разгоряченные танцоры замерли, словно их поймали на месте преступления. От Карла Крюгера валил пар. Видно, он гнал изо всех сил, пиджак у него был расстегнут, жилетка — тоже, широкие штанины прихвачены жестяными зажимами.

— Оле! Ты победил!

7

Ах, Ян Буллерт, Ян Буллерт! Не подумайте, что после своей дурацкой выходки он принимал участие в работе партконференции. Конференция больше не занимала его — ни вот столечко! — потому что ее участники поддержали Оле с его безумной затеей. Буллерт был оскорблен в своих лучших чувствах и к тому же вообще чувствовал себя неважно. Он обегал весь Берлин в поисках гвоздей и проволочной сетки. Гвозди он сыскал, сетку, товар дефицитный,— нет. Засим Буллерт возвратился домой.

Под вечер, держа в руках сверток с гвоздями, Буллерт вошел в свою деревню. Всего охотнее он лег бы в постель и натянул одеяло на голову. Но лечь ему не удалось. Двое домочадцев лежали в постели: жена и младшая дочь. А виной всему был общественный бык. Дочери без Буллерта сбились с ног, они сновали, как челноки, туда и сюда, и на то, чтобы вывести быка, у них просто не осталось времени.

Два дня бык терпел, потом взбунтовался. Девушки вывели его во двор. Бык вырвался. Девушки болтались на его цепи, словно кабаньи зубы на часовой цепочке скототорговца. Бык умчался за ворота. Он прижал к забору маленькую Герту и сломал ей три ребра.

Жена Буллерта, Криста, бледная и несчастная, сидела на постели.

— Убери ты от нас этого быка. Отдай его Оле Бинкопу в кооператив. Там он будет на месте.

Этого Буллерт не выдержал и слег. Итак, чума, именуемая кооперативом, поразила и его жену.

Прошла неделя. Поскольку серьезной болезни у него не обнаружили, пришлось ему подняться и созвать партийное собрание. Таково было распоряжение районного начальства.

Необычное получилось собрание. Сам первый секретарь товарищ Вуншгетрей приехал на машине, чтобы принять в нем участие.

Ян Буллерт приветствовал собравшихся товарищей с первым секретарем во главе и предоставил ему слово. Вуншгетрей запротестовал. Пусть сперва отчитается товарищ Ян Буллерт, на долю которого выпала честь побывать в Берлине и принять участие в партийной конференции.

Ах ты господи Иисусе! Пришлось Яну выступать.

— Да,— начал он,— штука хитрая. Во-первых, прежде чем перейти к делу, я хочу сказать про питание. Питание было очень хорошее — и в завтрак, и в обед, и в ужин. Нет, нет, на питание пожаловаться нельзя. Жаркое было. С подливкой. Картошки — до отвала. Бананы. Хорошо было, товарищи.

Во-вторых, прежде чем перейти к делу, Буллерт рассказал про культурные мероприятия. Перво-наперво им показали картину про поднятую целину — такую хорошую, что дальше некуда, потом выступали танцоры, и прыгали они, что твои кузнечики. А потом выступил один музыкант из самодеятельности. Эх, как он играл на мандолине! Стало быть, на мандолине он играл в порядке самодеятельности, а на губной гармошке как профессионал. И еще ногами притопывал.

— Одно слово, музыкальный комбайн! — выкрикнул каменщик Келле.

Буллерт возвысил голос.

— Что же из этого следует, товарищи? А вот что из этого следует: у нас в Блюменау тоже надо уделять больше внимания вопросам культуры.

— Ты ведь сам не хотел, чтобы твой сын занимался музыкой! — крикнул Вильм Хольтен.

Буллерт пропустил мимо ушей неуместное замечание.

— Товарищи, пора положить конец постыдному для нас положению, когда за целую неделю в Блюменау крутят всего одну картину.

Подняла руку Эмма Дюрр.

— А я-то думала, что в Берлине были приняты какие-нибудь решения.

— Решения? Само собой, были и решения. Такие, знаете, высокие решения! Грандиозные. Вы о них прочтете в газетах.

Районный секретарь счел своим долгом вмешаться. Отчетное собрание плохо подготовлено. Ни плакатов, ни флага, ни скатерти, ни цветов.

— Интересно, а дома у товарища Буллерта такая же безрадостная картина?

— Еще безрадостней: жена у меня больна, у дочери сломаны ребра, сын сбежал.— Буллерт выложил перед собравшимися все свои беды. Жизнь у него несладкая. Потому он и не мог уследить за ходом конференции. Да простит ему бог! Уж пусть лучше про конференцию расскажет товарищ Вуншгетрей.

В комнате движение. Участники собрания посмеиваются. Кто злорадно, а кто сочувственно. Ян, у которого язык был прежде острее бритвы, вдруг совсем поглупел. С чего бы это? Неужто из-за собственных коров и свиней? Не многовато ли навоза пристало к его подошвам? Фрида Симсон, желтая, как лимон, прошипела:

— Ну и тряпка этот Буллерт! Ну и дерьмо!

Товарищ Вуншгетрей доложил о конференции коротко и ясно. Ни слова о еде, питье или культурном досуге.

— Конференция влила в нас новые силы и надежды. Она указала нам цель на пути к будущему.

Глаза Келле засверкали, фрейлейн Данке из кооперативной лавки кивнула.

Товарищ Вуншгетрей продолжал:

— Говоря о нашей цели на пути к будущему, нужно признать, что в Блюменау, несмотря на известные промахи, уже сделаны первые серьезные шаги в этом направлении.

Слушатели вытаращили глаза.

— Некоторые товарищи в Блюменау уже показали блестящий пример для всего района.

— Какие товарищи? — подскочила Эмма Дюрр.

— Ну, прежде всего, надо полагать, товарищ Бимскоп.

Келле засмеялся:

— Ты что, с луны свалился?

У Эммы Дюрр из прически выскочила шпилька.

— Если ты говоришь про Оле Бинкопа, тебе не грех бы сперва узнать, что с ним произошло.

Волнение, шум в зале, смешки. Вуншгетрей поднял руку, призывая к порядку. Ну, конечно же он помнит, что Бинкоп исключен из партии, но разве это делалось без ведома первичной организации? Разве последняя не присутствовала при этом в полном составе? Разве она не ввела в заблуждение самого товарища Вуншгетрея, не пустила его, так сказать, по ложному следу? И далее:

— Хотел бы я посмотреть, где те товарищи, которым так не терпелось исключить Оле Бинкопа из партии!

Ян Буллерт поднял руку.

— Что-то мне худо. Пойду лягу. Не иначе у меня аппендицит! — Воплощенное страдание, он медленно поплелся к дверям.

Пойдем и мы, товарищи, пусть Фрида Симсон без нас упражняется в штампованной самокритике.. Между прочим, она так и осталась бургомистром. А вот Ян Буллерт секретарем не остался. Неудачно разыгранный приступ аппендицита — это, извините, еще не самокритика.

8

Оле засунул партбилет в нагрудный карман, туда, где сквозь подкладку чувствовал биение сердца. После этого он трижды подпрыгнул прямо посреди улицы.

Картонная обложка, несколько бумажных страничек, заклеенных проштемпелеванными марками,— возможно ли, чтобы от этого зависело счастье или несчастье взрослого человека?

Картон и бумага здесь ни при чем. Что же тогда? Устав, приложенный к этой книжечке? Он не сулит своему обладателю никаких поблажек, напротив — обязанности и только обязанности.

То, что должен или не должен делать член партии, не совсем обычно и противоречит тому, что должен или не должен делать обыватель.

— Таков ход событий,— вздыхает обыватель.

— Ход событий определяет человек,— отвечает член партии.

— Но не ты,— издевается обыватель.

— Мы! — отвечает член партии.

— У кого есть власть и средства, тот и определяет ход событий,— заявляет обыватель.

— Нет, это мы определяем, у кого быть власти и у кого — средствам,— отвечает член партии. И стоит на своем, даже если явные обстоятельства складываются не в его пользу. Ибо член партии знает толк в скрытых обстоятельствах, которые рано или поздно докажут его правоту.

Нет, человеку, вроде Оле, отнюдь не все равно, какое место занимать в шествии будущего — в хвосте или в голове. Он должен быть среди тех, кто отыскивает дорогу и прокладывает след.

Всю деревню перебудоражила маленькая книжечка — партбилет Оле. Интересная новость катилась с улицы на улицу, обрастая слухами:

— Бинкопу вернули партбилет!

Старый Серно, как и всегда, спрятался за бога, насколько это позволяла ему его комплекция.

— Неужели партбилет значит больше, чем библия? Бог не позволит поколебать устои крестьянства. Уста его отверзнутся и изрыгнут пламя.

Ян Буллерт долго хворал. Четырехугольный кусочек картона не укладывался в его круглой голове. Что ж, прикажете ему опять выходить на поле, как встарь? Кто теперь будет за управляющего, а кто — за барона? Ну кто бы мог подумать, что у Серно и у Буллерта в тайниках души вдруг сыщутся общие мысли и опасения?

Эмма Дюрр устроила в своей лачуге прием в честь Оле и его партбилета. К столу подавали картошку в мундире, селедку, вымоченную в цельном молоке, пиво и можжевеловую настойку. Эмма прижгла себе волосы плойкой и раскраснелась, отведав наливки.

— Скажи, ты не против, если я обниму тебя в виде исключения?

Оле был не против.

— А знаешь, про что я думаю?

Нет, Оле не знал.

— Иногда я думаю, что есть на свете партийные ангелы, и Антон тоже этому немало поспособствовал.

Оле, вгрызаясь в селедочный хвост:

— Смотри не вздумай ляпнуть это на партсобрании.

Два дня спустя Оле чуть не уверовал в партийных ангелов: он стал знаменит. В дом бывших супругов Ханзен явились журналист и фотограф. Фотограф взобрался на каштан и снял общий вид кооперативной усадьбы. Затем он пожелал сделать портрет товарища Динкопа.

— Делайте, что хотите, только поживей.

Но фотограф имел в виду не какой-то там заурядный портрет. Он искал неожиданное решение. А решение тем временем свалилось на него прямо с воздуха, довольно, впрочем, спертого: Оле будет снят на фоне наливных колосьев — так сказать, на фоне покоренной целины.

Должно быть, Аннгрет все еще занимала какой-то уголок в сердце Оле. Он сразу подумал о ней. Может, стоит послать ей газету? Оле размяк и покорно пошел за фотографом. Последний велел ему войти в рожь. Оле не по душе была эта затея. Он не дикий кабан, и сейчас не война. Но фотограф клятвенно обещал распрямить потом все примятые колосья.

Оле зашел в рожь. Фотограф и этим не удовлетворился. Пусть лучше он станет в борозду. Этого требуют законы перспективы: тогда человек кажется ниже, а колосья — выше.

Оле снова подумал про Аннгрет и снова согласился. Фотограф бросился наземь, долго елозил на животе, глядя в видоискатель, и ноги у него дергались от рвения.

Портрет был готов, и на Оле набросился журналист:

— Теперь вы... как это говорится... что вас побудило? — Побудил его Антон. Антон умер, не то он сам бы рассказал, как все было. Над гробом Антона Оле дал клятву, но тогда его сочли сумасшедшим...

Эти сведения не совсем устраивали журналиста: слишком темно для газеты, мистика какая-то и оптимизма маловато.

— А вы не думали прежде всего... как это говорится... о благе народа?

— Думать-то я думал, но меня все равно считали сумасшедшим.

— Это вы уже говорили, поговорим лучше о будущем.— Как товарищ Бимскоп представляет себе будущее?

— Поживем — увидим.

Корреспондент был готов локти себе кусать с досады. Для репортажа ведь нужны победные фанфары. И тут ему пришла в голову интересная мысль, уже использованная ранее. Он достал из кармана газету и протянул ее Эмме Дюрр. Пусть эта малявка почитает. А Франц Буммель и Герман Вейхельт пусть заглядывают ей через плечо: члены сельхозкооператива изучают решения, принятые на конференции.

Но малявка скомкала газету и швырнула ее под ноги корреспонденту:

— Мы вам не актеры.

9

В районной газете напечатан портрет. Колосья высокие, человек маленький. Пытливым взором глядит он из густой ржи. Лоб у него нахмурен.

«Лицо новатора — загляд в будущее».

С немалым удивлением читал Оле о своих редких достоинствах. И о том, что он инициатор. Инициатор звучало очень внушительно, почти как *сенатор* или *император.*

Оле решил хорошенько рассмотреть свое лицо в зеркале. Должно же в нем быть что-то такое. Но от единственного во всем жилье зеркала осталась только рама. Прощальный привет от Аннгрет, память о том, как она разбила зеркало.

Газетный очерк привел к тому, что на полях кооператива кроме двух тракторов появился еще и комбайн. Комбайн буйствовал на поле — где проходит, там ему и гумно. Восторги, разинутые рты.

Оказывается, и в грешном мире есть что-то хорошее. Теперь Герману Вейхельту не нужно махать косой, не нужно подбирать колосья, вязать их в снопы, складывать снопы в копны, ворошить и тому подобное. Не комбайн, а божья благодать. Герман всполошился. Вера его оказалась несколько поколебленной — впрочем, не более, чем травинка от коровьего мычания. Да простит ему бог этот грех!

По вечерам Оле уходил домой довольный-предовольный и даже что-то напевал себе под нос. Лучик счастья, краешек будущего проглянул из темноты.

Но так бывало не всякий вечер. Вот сегодня, например, Герман, Вильм Хольтен и Оле вместе задавали корм скотине, а между делом пили воду из колодца, пили себе и пили. Горизонт был затянут знойной дымкой. Когда солнце нырнуло за старый каштан, словно тыква в горящую печь, во двор въехала машина. Покрышки у нее были с белой окантовкой, на заднем стекле висела белая занавесочка, и катилась она совсем бесшумно. Должно быть, ее хорошо смазали.

Из машины, которая, если можно так выразиться, на цыпочках прокралась во двор, вышел товарищ Вуншгетрей собственной персоной. Он улыбался, и, если бы не шрам, уже известный читателю, его улыбку

можно было бы назвать смущенной. Вуншгетрей приветливо пожал руку Оле. Тот стоял мрачнее тучи.

Районный секретарь посмотрел сперва на небо, потом — на землю, потом сделал шаг в сторону, как бы намереваясь заглянуть за некую стену. Но за стеной был мрак. Оле Бинкопа словно подменили. И Вуншгетрей отважился шагнуть в этот мрак.

— Ну, партбилет тебе, стало быть, вернули.

Оле не поблагодарил. Только кивнул.

Вуншгетрей рискнул сделать второй шаг.

— Забудь, что было. Я тоже не держу на тебя зла.

Ни ответа, ни привета.

Вуншгетрей откашливается. Так вот, он приехал к Оле с партийным поручением. Районный секретариат подбирает людей. Оле как специалист в вопросах создания кооперативов должен помочь ему. Партия ждет его помощи.

Месяца три назад Оле не колебался бы ни секунды. Теперь он помешкал.

Для него партия — это он. Единство таланта, мужества, поступков, единство продуманного, познанного, единство запросов, единство любви ко всему, что было подавлено, единство людей умерших и ныне здравствующих.

Что же теперь? Партия дает Бинкопу задание. Устами того самого человека, который несколько недель назад предал его анафеме. Разве после этого можно брать на себя роль вестника? Или кто-то другой поручил ему эту роль? Каким путем пастор сподобился святого духа?

У Оле голова пошла кругом. Уж не вражеские ли это мысли — сомневаться в разумности партийной структуры? Районный секретарь — это тебе не первый встречный. Не ангелы же вознесли его на этот пост!

Вуншгетрей покорно ждет. Оле впервые видит, чтобы человек так покорно ждал. А может, ему это просто показалось? Может, и не было паузы между вопросом и ответом?

— Что же я должен делать? — спрашивает он.

Ездить вместе с ним, Вуншгетреем, и выступать в деревнях перед крестьянами.

Этого Оле не хочет. У них самих еще дел непочатый край.

— Говорить я не мастер. Делать — пожалуйста.

— Но ты разговариваешь с крестьянами просто и сердечно.

— А тебе кто не велит разговаривать просто и сердечно?

Вуншгетрей, надо полагать, привык, чтобы к его пожеланиям прислушивались более чутко. Вопреки всем своим рассуждениям о критике снизу, он оскорбился.

— Я передаю тебе партийное поручение.

Оле улыбнулся.

— Желательно, чтобы поручение и товарищ, который будет его выполнять, чуть больше подходили друг к другу.

Улыбка Оле еще пуще разозлила секретаря. На его взгляд, здесь запахло нарушением партийной дисциплины. Он извлек из кармана черную тетрадь.

— Ты не возражаешь, если я запишу твои высказывания?

— Опять снова-здорово? — спросил Оле. Тем и закончилась его последняя — на долгое время — беседа с товарищем Вуншгетреем.

10

Оле скоро забыл об этом столкновении. У него были другие заботы — например, выплата государственной ссуды. Не миллионы какие-нибудь, но и несколько тысяч — тоже деньги. Он ломал голову, не

зная, как избавиться от долгов. Летом велел нарезать цветов, и Франц Буммель повез букеты на продажу.

Поздней осенью ко дню поминовения Эмма Дюрр, Софи Буммель и матушка Нитнагель сели плести могильные венки. Франц Буммель пустил в ход все свое кучерское красноречие и продал их на столичном рынке. Людская скорбь была обращена в звонкую монету. Это помогло немножко разделаться с долгом, но в Буммеле ожили разгульные замашки былых времен.

В самый разгар весеннего сева Франц исчез. Он повел свою арабскую кобылу за тридевять земель к какому-то жеребцу и застрял на много дней. Опять плакала Софи, неизменно любящая жена, но на сей раз и она не смогла уберечь своего Буммеля от председательского гнева. Оле без всяких церемоний сообщил продавцу венков, что он о нем думает:

— Забулдыга, босяк, лошадник, холуй, картежник!

Буммель ходил с таким видом, словно его выстирали и не отжали. Толстый Серно громко сочувствовал бедняге:

— Нужно это тебе, что ли? Да ни капельки.— Серно был готов взять под свое крылышко жертву безжалостных коммунистов. А уж чистокровная кобыла Франца будет жить на дворе у Серно, как у Христа за пазухой.

Эти слова ласкали слух Буммеля, словно теплый ветерок. В «Цветущем поле» не сумели по достоинству оценить его кобылу. Им подавай прибыль и работу, а на красоту они плюют. Даже благочестивый Герман Вейхельт и тот шутил:

— Ей-богу, грешно возить навоз на такой красотке.

И Франц стал рабом своей кобылы и толстого Серно. Софи очень горевала, но, несмотря на любовь к мужу, осталась в кооперативе.

Сперва все шло гладко. По вечерам Буммель развлекал толстого Серно всевозможными фокусами. Он вытаскивал яйца из карманов у всех присутствующих, даже из длинного носа тощей фрау Серно. А в награду выпивал десятка полтора яиц — на десерт после ужина. Толстый Серно безмятежно хрюкал и грохотал:

— Ай да ловкач! Вот здорово!

Буммелевы фокусы навели Серно на мысль, что недурно бы запрячь арабскую кобылу, усадить Франца на козлы да поездить по соседним деревням. Пусть и друзья посмотрят, какой у него завелся придворный шут.

Но поскольку эта мысль осенила Серно под воскресенье, Буммель встретил ее без особого восторга. Получалось все, как при старом бароне, только что без чаевых. А тут еще посыпались насмешки. Лесорубы вконец задразнили Буммеля. Вильм Хольтен так и помирал со смеху, а каменщик Келле бежал следом за повозкой, крича:

— Толстопузый холуй!

Выезды скоро осточертели Буммелю. Теперь ему даже по воскресеньям не удавалось перекинуться в картишки. И он стал подыскивать пути к достойному отступлению.

Очередной спектакль для друзей состоялся в соседней деревне. Серно приказал своему придворному шуту показать фокус с яйцами. Задача была не из легких. Откуда Буммелю знать, где несутся куры на чужом дворе? Посему он вызвался вместо фокуса с яйцами проглотить золотые часы хозяина дома.

Хозяин подал ему часы. Франц разинул рот — и часов как не бывало. Показал он и другие фокусы: продевал иголку сквозь щеку, изрыгал огонь, но часы исчезли. Ему о них напомнили. Франц рыгнул. Часы не выскочили. Смятение в рядах зрителей. Франц потребовал касторки. Выдул залпом полбутылки. Не помогло. Когда вернулись домой,

Серно контролировал каждый выход Буммеля в уборную. Безрезультатно. Часы будто растворились у него в желудке.

— Опозорил ты меня,— сказал Серно.

Вечером фрау Серно с криком влетела в дом. У себя в сумке она нашла золотые часы.

— Колдун! — вопила она.— Чертов фокусник! Дьявол!

Вполне уважительная причина, чтобы уйти от Серно. Даже Оле Бинкоп его так не оскорблял. Да, он фокусник с младых ногтей, но не дьявол.

Возвращение Буммеля под родной кооперативный кров совершилось в ближайшее воскресенье. Ни свет ни заря председателя разбудили гулкие удары топора. В сарае стоял Франц Буммель и колол дрова.

— Ты что здесь делаешь?

— А мне все равно сейчас делать нечего...

Немало хлопот доставил председателю и Вильм Хольтен. Как же так, всем известно, что Вильм Хольтен — это тень Оле, сторонник колхозов и передовик. И вот, представьте себе! Хольтен исчез на несколько дней, на удивление всем жителям Блюменау.

Товарищи, товарищи, не торопитесь осуждать Хольтена — Хольтен погнался за сказочной любовью. В свое время он познакомился с девушкой, которая очень ему понравилась. Она была стройненькая, и волосы у нее были золотисто-русые, как тронутые первыми заморозками листья каштана; такая же залетная пташка среди озверелых вояк, как и он сам. Служила она вспомогательным номером на зенитной батарее. Должность весьма двусмысленная. Но она не принадлежала к числу тех особ, которые ускоренными методами осваивают мат, плевки и свист в два пальца, чтобы прослыть свойскими девчатами.

Война разлучила Вильма и золотисто-русую девочку, но они порешили непременно отыскать друг друга после войны и — как дети из сказки, которые верят в гибель огнедышащего дракона,— встретиться через год после войны, двадцатого августа, в восемь часов вечера на Рыночной площади в Веймаре.

Прошел год после войны, прошло и два. Они не встретились. Не мог же Вильм из русского плена сгонять в Веймар на свидание!

Наконец он вернулся домой. С опозданием на два года. Три лета подряд двадцатого августа в восемь часов вечера он ждал на условленном месте. Но русоволосая девушка не приходила. На четвертое лето Вильма не выпустила из-под стражи Фрида Симсон. Теперь он решил еще раз попытать счастья. Уж коли слово дано, надо его держать.

И на пятое лето ровно в восемь с первым ударом часов на Рыночной площади появилась маленькая женщина. Она вела за руки двух детей — мальчика и девочку. Фигура у нее была чуть расплывшаяся, а волосы подкрашенные и с рыжеватым отливом. Вильм глядел на женщину и считал удары часов.

— Мама, чего этот дядя так смотрит? — донесся до него с тротуара голос мальчика.

Маленькая женщина остановилась.

— Ждет кого-то.

— Кого?

— Не знаю.

Это был голос русоволосой девушки. Вильм окаменел и стоял, недвижный, как монумент справа от него.

11

Когда кадр помоложе — товарищ Вуншгетрей сменил Карла Крюгера, последний обнаружил, что у него куча свободного времени. На что его тратить, куда расходовать? С утра до вечера сидеть на скамейке в сквере с другими пенсионерами, попыхивать трубочкой и поклевывать воспоминания, как старый кенарь печенье?

Жена подсунула ему все прохудившиеся кастрюли. Крюгер их запаял. На другой день объявился сломанный стул и стол, в котором заедало ящик. Крюгер что подклеил, что подстругал. А потом дала течь большая лохань, которая еще накануне была целехонька. Крюгер даже удивился.

— Ты нарочно ее продырявила, что ли?

Жена покраснела, как школьница. Она хотела облегчить своему Карлу переход в стан пенсионеров, но все поломки и недоделки в запущенном хозяйстве вскоре были исправлены и устранены. Тогда сфера деятельности Крюгера расширилась: он перекопал и разрыхлил палисадник перед домом, починил тротуар вдоль забора, залил выбитые морозом трещины в асфальте, помог городским рабочим подрезать деревья и кусты — словом, незаметно для себя снова очутился в гуще дел. Он обошел дворы городских магазинов, убрал оттуда пустые ящики и бутылки, вывел крыс и мышей.

Некоторые товарищи снисходительно посмеивались, видя, как бывший секретарь воюет с мусором и эдаким пролетарием бродит по городу в грязном комбинезоне.

— Карл, да уймись же наконец! Ты себя изводишь.

Крюгер улыбался своей обычной улыбкой.

— Разве член партии может сидеть без дела?

Товарищи вздыхали:

— Крюгер у нас оригинал!

И звучало это так, словно оригинальные люди — болезнь нашего века. Взять хотя бы нашумевшую историю с саркофагом на Рыночной площади. Будь на то воля Крюгера, чугунное подобие королевской гробницы давно бы забылось здешними жителями, на его месте стоял бы павильон для пассажиров зеленого пригородного автобуса, так называемой «лягушки». Еще в ту пору, когда Крюгер только осваивался с должностью районного секретаря, взгляд его упал на эту гробницу.

— Для чего нам гроб посреди Рыночной площади? — спрашивал он.— Мало мы, что ли, навидались гробов с тридцать третьего по сорок пятый?

Бургомистр поддержал его.

— И железо нам пригодится. Долой надгробие.

В один прекрасный день городские рабочие, вооруженные кузнечными молотами, явились на площадь. Дантист Циттер видел это своими глазами. Он как раз смотрел в окно, дожидаясь, пока затвердеет гипсовый слепок для протеза. Увидев, как рабочие разбирают чугунную решетку, дантист вскричал:

— Они хотят надругаться над творением Шинкеля!

Культурбунд всполошился. Оказавшись лицом к лицу с толпой разъяренных культуртрегеров, Карл Крюгер поскреб в затылке.

— Ну откуда я знал, что надгробие делал Шинкель? Всего на свете ни один человек не знает. А металлолом нам нужен.

Это происшествие многому научило Крюгера. В немногие часы, отведенные для сна, он начал читать книги по изобразительному искусству. Он даже сходил тайком на кладбище, осмотрел скульптуры и высказался следующим образом:

— Брак, сплошной брак. Качество — это всегда качество, все равно на фабрике или в искусстве, для рабочих или для королей.

Время шло, и настал день, когда Крюгер уже с гордостью показывал гостям памятник на Рыночной площади:

— Работа Шинкеля! А вы небось и не подозревали?

Люди умиленно улыбались, читая надпись на постаменте: «О горе, горе, нет ее...» Карл Крюгер посмеивался при мысли о том, как печально могла кончиться эта история. На то, чтобы посмеяться всласть, у него не было времени: каждый день требовал новых решений.

Многие осуждали крюгеровские методы работы. Он принимал посетителей в любое время дня и ночи.

— Раз человек идет ко мне, значит, его уж совсем приперло,— говаривал Крюгер.

Петли, на которых висела дверь его кабинета, раскалялись за день. Но Крюгер нашел выход и спрятал за томами марксистской литературы баночку с машинным маслом. Как бывший кучер, он не мог допустить, чтобы колеса скрипели и железо терлось о железо.

Когда Крюгеру очень уж не хотелось сидеть на бюро, он брал свою шапку и ретировался через боковую дверь, не поставив в известность секретаршу. Ну куда это годится?

Что же, Крюгер прерывал работу и уходил на прогулку? Как бы не так! К примеру, рухнула стена какой-то новостройки. Точнее говоря, городского холодильника.

Крюгер вскакивал на свой велосипед. От велосипеда он тоже не сумел отвыкнуть: «Надо же заниматься хоть каким-то спортом!» — И ехал на кирпичный завод.

— Кирпича вы выпускаете много, друзья мои, да плохой он у вас.

— Ишь ты, какой умный! — Рабочие тотчас предложили выпускать мало кирпичей, но зато хорошего качества.

Крюгер требовал много кирпичей и хорошего качества, но как отыскать дорогу к этим заоблачным высотам?

— Вот ты районный секретарь! — сказал один парень.— А много ли ты смыслишь в кирпичах?

Крюгер свистнул.

— Знаешь, сынок, старому кучеру не надо микроскопа, чтобы разобраться в кирпичах. А ну, клади руки на стол.

Парень послушался его, как родного отца. Крюгер тоже положил руки на стол.

— Теперь скажи, через чьи руки прошло больше камня? Конкурсный вопрос, или тест, чтобы уж совсем по-американски. На размышление дается пять минут.

Через минуту-другую парень уже хлопнул Крюгера по ладоням, как бы прося у него прощения.

— Валяй дальше.

— Спасибо, что разрешил.

Смех. Крюгер одержал победу.

Но порой перед Крюгером вставали вопросы, на которые сразу и не ответишь. В таких случаях он просил:

— Подожди до утра, авось мне приснится ответ.

Но это говорилось только для красного словца. На деле Крюгер поступал как раз наоборот. Он всю ночь читал в поисках ответа или советовался по телефону с каким-нибудь специалистом.

Могло ли такое поведение не пошатнуть авторитет районного секретаря? Советоваться по телефону со специалистами — это же срамота! Мало того, что Крюгер дал крестьянам полную волю в вопросе яровизации семян, специалисты довели его до грубейшей недооценки такого

жизненно важного вопроса, как квадратно-гнездовой способ посадки картофеля.

— По мне, сажайте хоть треугольником, был бы урожай хорош! — говаривал Крюгер и непреклонно держался этого принципа.

Как прикажете такое расценивать? Не пахнет ли это чистейшей воды анархией, чтобы не сказать враждебностью к Советскому Союзу?

Так или иначе, но эти завихрения привели к тому, что Крюгера потихоньку да полегоньку выпихнули на пенсию.

— Ты, Карл, свое отработал, теперь отдохни.

И товарищи, которые снова встречали Крюгера в рабочем комбинезоне и видели, как он проводит политику вмешательства, только вздыхали:

— Ничего не попишешь, оригинал так оригиналом и помрет.

А Крюгер и в ус не дул. Он довольно уже поразмыслил над тем, в чем же проявлялась его, так сказать, старческая слабость и его ошибки. Бремя шло. Травопольная система, мичуринские сады, яровизация и квадратно-гнездовой способ выходили из моды. Может быть, Крюгера напрасно записали в старики?

Тем временем Крюгер занялся еженедельным базаром. Если же там нечего было делать и некому помогать, он отправлялся в ту часть рынка, где теснились кони и телеги. Вдыхал привычный запах конского пота, заглядывал коням в зубы.

— Ты уж в годах, старина, веди себя благоразумно.— Он осматривал подковы и, если находил в них какой-нибудь изъян, бранил хозяев и вместе с ними отправлялся к кузнецу.

Как мы уже знаем, товарищи, именно здесь Крюгер встретил однажды Оле Бинкопа, когда тот продавал свой жениховский костюм. После этой встречи Оле и его необычная затея уже не выходили у Крюгера из головы. Да, такое дело было ему по вкусу.

12

Стояло благоуханное майское утро, ибо ночью прошел небольшой дождь. Дождь в мае — к урожаю. В садах Блюменау на вскопанные грядки падали лепестки с цветущих деревьев, и зеленые побеги салата проглядывали из-под цветочного снега. В пять часов утра, завидев впереди человека, Крюгер соскочил на меже с велосипеда. Это был божий человек и звали его, как выяснилось, Герман Вейхельт.

Крюгер дотронулся до своей видавшей виды шляпы, Вейхельт — до своей лыжной шапочки, и в одном случае это означало «доброе утро», в другом — «бог в помощь». Разговаривать Вейхельт не собирался. Он вымерял шагами густоту всходов на картофельном поле, как это делал веков двадцать назад его библейский предок Авель.

— Это твое поле? — осведомился Крюгер.

— С божьей помощью мое и не мое.

— Что-то не пойму.

— Я работаю в общине справедливых.

Далее Крюгер узнал, что община справедливых с помощью божьей — и председателевой — насчитывает семь членов. На сведения Герман не скупился. Возглавляет общину господь бог. Оле Бинкоп разве что заместитель директора, он и думать не думает о господе боге, но выполняет, сам того не ведая, все его веления.

— Блаженны нищие духом, ибо они будут наречены сынами господними.

Поистине любопытные сведения!

— А ты знаешь, кто я? — спросил Крюгер у божьего человека.

— А кем ты можешь быть? Брат человеческий из мирских властей.

— Спасибо за сведения.

— Не на чем. Господь с тобой!

И Крюгер пошел дальше, потому что увидел другого человека, который вел по луговой дороге лошадь. Белая эта лошадь словно парила в голубых майских далях.

В бытность свою кучером Крюгер мечтал о такой вот лошадке, но в ту пору его желания ничего не значили. Лошадей выбирал хозяин, сообразуясь только со своей выгодой. И потому Крюгер ездил на так называемых одрах.

Кобылка заржала при виде божьего человека на картофельном поле, и пошла дальше, словно запряженная в квадригу римского бога, во всяком случае, так подумал Крюгер, начитавшийся в свое время книг по истории искусства.

— Ну и красотка!

Перед бывшим секретарем встал наболевший вопрос: имеет ли право человек, по горло занятый переустройством мира, благоговейно созерцать красоту одной-единственной твари и тратить на это свое время?

Крюгер направился к человеку, который вел кобылу.

— Твоя лошадка?

Франц Буммель снял шапку и положил ее на согнутую руку — как перед бароном.

— Честь имею. Моя лошадка.

— Чистокровка?

— Арабская и выезжена как надо. Прошу прощения.

— Надень шапку-то.

— Я человек вежливый.

— А ты знаешь меня?

— Вы, безусловно, не первый игрок в скат по нашему району, а скорей всего какая-нибудь партийная шишка, прошу прощения.

Из дальнейшей беседы Крюгер узнал, что Франц Буммель является членом все той же общины, работающей без членских взносов, но вполне удовлетворительно. Буммель, к примеру, даже получил от председателя новый костюм.

— Об исподнем каждый должен пока заботиться сам, но со временем, прошу прощения, наш председатель утрясет и этот вопрос. — Если можно в чем-нибудь упрекнуть этот крестьянский союз, то разве что в недостатке внимания к лошадям.

Крюгер снова вскочил на велосипед и поехал искать председателя. Отличную, надо полагать, общину создал тут его друг и товарищ по партии.

Оле и его верный оруженосец Вильм Хольтен мастерили гнезда для несушек. Крюгер соскочил с велосипеда, споткнулся о рубанок и, забыв поздороваться, сразу обрушился на Оле:

— Деревенская беднота сгрудилась на одном пятачке. Это у тебя называется кооператив!

Но у Оле был хороший день, и он лучился кротостью, как барашки облачков на майском небе.

— Наш капитал не поддается исчислению: это четырнадцать работящих рук, это бездна ценных идей — и все совершенно задаром, из эфира, так сказать.

Что уж тут говорить о поведении рядовых членов, если сам председатель толкует об эфире и прочих незримых предметах.

Оле помрачнел.

— А тебе какое до нас дело?

— Хочу вступить в ваш кооператив.

— Шутил бы ты лучше свои шутки в городе.

Энергичный, чтоб не сказать больше, обмен мнениями ознаменовал вступление Крюгера в «Цветущее поле».

Быть может, он принес в кооператив крупные денежные суммы? Нет. Зато он принес политически мыслящую голову, а это кое-чего да стоит.

Например, он завербовал в «Цветущее поле» переселенца Марандта и члена партии Карла Либшера. Что до Либшера, то ничего не могло быть проще. Не пришлось даже произносить высокие слова о партийной чести. Вообще ничего не пришлось произносить. Либшер уже давно созрел для вступления, только никто до сих пор не удосужился зайти к нему и об этом поговорить.

— Даже Бинкоп?

— Он-то говорил, только еще до рождества Христова.

С Буллертом было трудней.

— Ты хочешь богатеть единолично, кулаком хочешь стать, а семья пусть работает и помалкивает в тряпочку, да?

— Бедность и богатство зависят от характера,— отвечал Ян Буллерт. — Мы все начинали с нулевого года, и никому не возбранялось приналечь на работу.

Верно-то оно верно, но все ли располагали такими же средствами производства и рабочей силой, как Ян Буллерт? Средства производства — это трактора, машины, словом, всякие хозяйственные самоходки. Таковых у Буллерта не имеется.

— А твое поле?

— На поле одни сорняки растут, если его запустить.

Крюгеру понадобилось немало вечеров, чтобы доказать Буллерту: земля тоже средство производства. Ну и как, убедил он Буллерта? Ни в малейшей степени. А вину Буллерт сваливал на партию.

— Я-то тут при чем? Мне подсунули самые бесплодные и захудалые средства производства, как ты выражаешься. Отсюда все и пошло.

Крюгер проходит с Буллертом курс политграмоты. Надо, чтобы и этот закоренелый упрямец научился читать книгу истории.

Хорошо, если рядом с тобой человек, вроде Крюгера. Оле иной раз казалось, что вернулись старые времена, когда жив был Антон.

13

Наступает зима. Трещат морозы. Но вы не подумайте, товарищи, что народ в «Цветущем поле» всю зиму только и знает, что рассказывать сказки.

Оле привозит во двор двое саней непонятного назначения. Их по его заказу изготовил деревенский тележник.

Зимой у Мампе Горемыки больше свободного времени, чем нужно для счастья. Летом он с утра до вечера пасет телят, зимой телята стоят в хлеву.

Мампе Горемыка водит своим сизым носом по ветру: ищет водку, как кладоискатель ищет клад. В нем снова оживают былые повадки. Теперь его господин и водкодатель — Тео Тимпе, скотник.

Мампе Горемыка обнюхивает загадочные сани.

— Ну и повеселимся же мы в эту зиму. Я сяду в санки, а ты будешь их толкать.

Тимпе презрительно морщит нос. Детские забавы! Боссу надо позаботиться об открытом коровнике. Зайцы угнездились под досками и, чего доброго, выведут там детенышей. Срамота, да и только!

Оле застиг Мампе:

— Ты ничем не занят? Пошли со мной.

Мампе ищет глазами Тео, но Тео не приходит ему на выручку. Хочешь не хочешь, надо идти с председателем, Вильмом Хольтеном и Германом Вейхельтом к замерзшему Коровьеву озеру.

Недаром Мампе утверждает:

— Вильм Хольтен любому ветру служит, ежели его посеял председатель.

Оле и Хольтен толкают сани на сплошную стену промерзшего до стеклянной звонкости камыша. У озера срезали ресницы. Только колючие обрезки торчат теперь изо льда.

Мампе Горемыке и Герману велено вязать камыш в снопы. На ногах у Мампе все еще подбитые овчиной сапоги некоего типа по имени Рамш, который был отнюдь не из породы добрых ангелов и которому кто-то запустил в голову американскую вошь. Let's go. Мампе препирается с Оле Бинкопом! Что за дурацкая затея среди зимы! Уж не надумал ли председатель выстелить хлев камышом? Чтобы бедные коровы себе вымя изрезали?

— Господи, помилуй меня, грешного, если у тебя выберется свободная минута.

Герман гневно выговаривает Мампе за эти богохульные речи.

— Господь бог уже спас тебя от петли.

Мало-помалу весь камыш срезан и увязан в снопы.

Когда с камышом покончено, Оле опять исчезает. И возвращается на кооперативный двор с какой-то старушонкой. Мампе долго созерцает беззубую бабку сквозь пустую карманную флягу.

— Безопасную невесту завел Оле Бинкоп. Кусаться не будет.

Оле недосуг слушать, как язвит его этот бездельник. Мампе Горемыка — жертва собственного слабоволия, но вину сваливает на злого духа, именуемого судьбой.

А Оле вызывает из зимних кухонь работниц полевой бригады и велит им переправить камыш с озера в теплый тамбур свинарника. Старая переселенка учит их плести камышовые циновки. Оле и сам не считает для себя зазорным ворошить острые, как бритва, стебли.

Бухгалтер Бойхлер сидит в бывшей конторе фирмы Рамша «Штакет, ящики и пр». Бухгалтер Бойхлер — это немецкая косточка: до блеска начищенные сапоги, аккуратно вычищенный пиджак и готический почерк. В последнюю войну он был фельдфебелем — отец родной для своей роты, неограниченный повелитель на низшем уровне, наделенный великим страхом перед, так сказать, практической стороной войны.

Прежде чем предоставить в распоряжение «Цветущего поля» свои десять моргенов земли и свои познания в письме и счете, он подрабатывал на стороне в качестве страхового агента. Эту свою вторую профессию он не оставил и сейчас, сделавшись кооперативным бухгалтером. Все человечество, с ним соприкасающееся, Бойхлер делит на две части — застрахованную и незастрахованную. Интересны ему, конечно, вторые — незастрахованные. В них дремлют возможности премий и поощрений.

Бойхлер любит смотреть, как Тео Тимпе прогуливает племенного быка по двору или на выгоне. Бык фыркает, пригибает голову к земле и вытворяет черт знает что. Тео Тимпе приходится держать ухо востро. Бойхлер восхищен его героизмом.

— Какой риск, глядеть страшно. Будь я на твоем месте, я непременно бы застраховал свою жизнь или хотя бы застраховался от несчастного случая. Подумай о своей семье!

Тимпе со своей стороны выдвигает условие:

— Ты вот получаешь премии. Сделай, чтобы и я их получал.— Другими словами, пусть Бойхлер подействует на председателя и заставит того приступить наконец к сооружению открытого коровника.

Для Бойхлера Оле — капитан, а Тимпе разве что лейтенант и командир взвода. Командир взвода ему ближе, чем капитан. Потому что у капитана своя голова на плечах.

Бойхлер сидит у себя в бухгалтерии — ждет председателя. Придет же он, рано или поздно. Оле является, пробегает через правление, так что все справки и сводки разлетаются в разные стороны, и снова исчезает.

В конце концов Бойхлеру удается его поймать.

— Ты бегаешь неизвестно где, а ведь именно здесь, в правлении, бьется сердце кооператива.

— Есть такая болезнь — ожирение сердца.

— Ты на меня намекаешь?

— Нет, на все правления, вместе взятые.

Председатель мельком просматривает заготовленный Бойхлером проект:

— Короче надо, намного короче, без красивых слов, без пыли в глаза.

— Короче так короче, а что все же будет с открытым коровником?

— Я его не заказывал и залезать в долги не собираюсь! — Сказал — и поминай как звали.

Бойхлер выслушал приказ капитана, хотя и предпочел бы, чтобы этот чертов председатель, этот дрессировщик уток и заготовитель камыша убрался куда-нибудь подальше. Попробуй теперь застраховать Тимпе!

В конце года кооператив «Цветущее поле» продает окрестным садоводствам партию камышовых матов. Совершенно нечаянная прибыль в самом конце года, от чего увеличивается доля каждого из членов.

Заприходованные суммы вызывают нервический зуд у Бойхлера. Он сидит и чешется, не жалея сил.

Секретарь парторганизации Крюгер во второй раз снимает шляпу перед председателем:

— Чисто сработано.

— Перестань дурачиться! — отвечает Оле.

14

Ох уж этот открытый коровник! Не принес ли его сюда ковер-самолет, чтобы расколоть на два лагеря «Цветущее поле»? Ничего подобного. Все происходило естественно и просто.

Строить открытые коровники — это решение, спущенное сверху. С неба? Нет, скорей всего из министерства. Решения от скуки не принимаются! Молоко делает погоду! Увеличивать поголовье! Строить дешевые коровники!

Дешевы ли открытые коровники? Они деревянные, легкие, без труда транспортируются. Это не требует доказательств.

Но доказано ли, что коровы, очутившись в хлеву, смахивающем на театральную сцену, будут хорошо себя чувствовать и доиться не хуже, чем в теплом хлеву капитальчой кладки? Ответа нет.

Может, наверху только порекомендовали строить открытые коровники, но покуда рекомендации дошли до деревни, они превратились в приказы?

Деятели районного управления называют деревенских бургомистров своей правой рукой в деревне. По тому, как строятся открытые коровники, можно судить, достаточно ли оперативно и в духе времени действует эта рука.

На заседаниях бургомистры спрашивают друг у дружки:

— Ну, как у тебя с коровником-то?
— Стоит.
— А коровы в нем как?
— Я же сказал, что стоит коровник.

Благодать: коровник стоит, и районные статистики могут его учесть, охватить и доложить о нем начальству.

Сегодня годовое собрание членов кооператива. На нем присутствует даже Фрида Симсон. Обсуждается план на следующий год, вносятся поправки. План должен быть утвержден.

— Ну, так как же будет с открытым коровником? — выкрикивает Тимпе.

Оле излагает свои соображения. Нельзя галопом увеличивать поголовье, не располагая достаточным количеством кормов. Это рискованно.

Вопрос ставится на голосование. За открытый коровник голосуют Тео Тимпе, его жена, Мампе Горемыка и бухгалтер Бойхлер. Четыре голоса против двадцати одного. Фрида Симсон скрежещет зубами. Без этого коровника у нее будет бледный вид. Она лихорадочно изыскивает способ воздействовать на меднолобого Оле.

15

Весна высылает первых гонцов: пять солнечных дней подряд в конце февраля. Тает ледок, затянувший лужи. Зимняя мошкара пляшет над водой. Из просторного курятника доносится кудахтанье несушек, похожее на рокот полевых машин. Нитнагельша, которая прежде вязала коврики, штопала чулки, заведовала деревенской библиотекой и готовила мужу обед, заделалась теперь куриной владычицей районного масштаба. Получать в феврале ежедневно по два ведра яиц — такого не упомнят даже верноподданные из Блюменау, те, что не устают вздыхать:

— Да, вот были времена так времена, селедка по шести пфеннигов штука.

«В наступающем году мы вырастим три тысячи цыплят»,— записано в годовом плане кооператива.

Кто это мы? На данном этапе Грета Нитнагель. Она приносит разогретый песок в загон для цыплят и сверху посыпает его торфяным перегноем. Оле Бинкоп, видно, позабыл, что ей обещана молодая помощница.

Ничего он не позабыл. И не раз уже просил бухгалтера Бойхлера дать объявление в газету. Ему и самому позарез нужна рабсила попроворнее, потому что дни становятся длинней, а у него полно всяких планов насчет уток и Коровьего озера. Солнце набирает силу. На озерах тает лед. Утки снова вылетают на волю. Корм они находят на воде и до позднего вечера не возвращаются назад. Ужин, который ждет их перед птичником, для них теперь невеликое лакомство. И каждый вечер Оле волнуется: вернутся утки или снесут яйца на берегу?

А весна еще подсыпает забот. Не может Оле сидеть каждый вечер и поджидать уток. Нет, без подмоги им не обойтись.

Но бухгалтер Бойхлер решил хоть немного да отомстить председателю. Тот не пожелал строить открытый коровник, Тимпе не пожелал застраховаться, и поэтому Бойхлер со дня на день откладывает подачу объявления.

И вот как-то вечером Оле сам набрасывает текст: «Срочно требуется молодая птичница в лесную и озерную местность к прекрасному весеннему сезону...» Оле и сам мечтает о весне. И мысленно уже видит, как девяносто почти ручных уток, каждая со своим выводком, шествуют поутру к Коровьему озеру. Девяносто на десять — это будет девятьсот.

девятьсот утят, которые кормятся на воле, а вечером прилетают домой. Девятьсот птиц на службе у человека. Малые издержки, большие доходы для «Цветущего поля». Великий шум от двух тысяч крыльев, безграничные возможности. «Разведение водоплавающих птиц, полная свобода действий и перспективы дальнейшего роста»,— так кончает Оле свое объявление.

16

Лесоруб Эвальд Трампель — человек сухощавый, с вечным кашлем. Жена его Хульда — разбитная пышнотелая бабенка, ей куда больше пристала роль главы семейства.

В нулевом году Эвальд Трампель получил двадцать моргенов и по мере сил их обработал, но ковыряться в земле ему не по вкусу. Он предпочел вернуться в лес. Дома всем распоряжалась жена, а он чувствовал себя батраком.

— Эвальд!
— Чего тебе?
— Наколи дров.
— Кха-кха, наколю.
— Эвальд!
— Чего тебе?
— К воскресенью зарежешь гуся!
— Кха-кха, зарежу.

Хульда Трампель держала двух свиноматок, которые приносили ей отличных поросят.

Однажды к Трампелям постучал вербовщик всех и вся с уговорами вступать в «Цветущее поле» — другими словами, Оле Бинкоп, председатель, холостяк и славный парень. Хульда чувствовала себя несколько одинокой и покинутой не только из-за того, что ей приходилось тащить на себе маленькое хозяйство. Предложение Оле польстило ей и смутило ее душу.

— Эвальд! — сказала она мужу вечером того же дня.
— Чего тебе?
— Я вступаю в «Цветущее поле»!
— Кха-кха, вступай.

Хульда и вступила. Оле, великий дипломат во всем, что касалось кооператива, сразу выложил ей свои тревоги насчет свинарника. Хульда пристально поглядела на его ввалившиеся щеки.

— Эх, был бы ты мой муж...
— Но я не твой муж.
— Жаль.
— Чего тебе еще надо?

Хульде надо электрическую печь для молодняка.

— Скажи Бойхлеру, чтоб выписал тебе печь.

Хульда обнимает Оле.

— Когда ты снова женишься?

Оле шепнул что-то на ухо Хульде.

— Вот увалень, наплевал мне полное ухо!..

Женщины из «Цветущего поля» не устают изощряться в остроумии по адресу соломенного вдовца.

— А кровать у тебя не похожа на пустыню, когда в нее ложишься? А простыни не промерзают?

— Зато просторно. Никто не мешает.

Соленые шутки.

В районной газете напечатано объявление. В Обердорфе, дом номер двадцать два продается телега на резиновом ходу. Оле едет туда. Хочет по дешевке купить телегу для кооператива. В доме номер двадцать два проживает Розекатрин Зенф. Но Оле уясняет себе это лишь тогда, когда уже стоит в комнате. Розекатрин пускает в ход все свои чары. Сгорая от волнения, она взбивает локончики перед зеркалом и поет:

Как ни капризно счастье,
Оно придет к тебе...

Розекатрин достает пиво из подпола. Чтобы Оле чувствовал себя совершенно как дома. Словом, пей да гуляй. Без объявления в газете к такому деятелю, как Оле, не подступишься.

Брови Оле ползут вверх, и каждая из них — опрокинутый знак вопроса.

— Ты чего уставился?

Оказывается, Розекатрин сдала в районную газету целых два объявления.

«Кто способен утолить сердечную тоску женщины за сорок? Будут охотно выслушаны предложения солидных, представительных мужчин с серьезными намерениями...»

Оле, ничего не подозревавший Оле, хотел посмотреть телегу — только и всего, но Розекатрин не дала ему даже рта раскрыть.

— Вот сколько у меня предложений! — Оле отнюдь не первый. Она выбрасывает на стол кучу писем. Ты взгляни только на эту фотографию. Не мужик, а пивная бочка! Да он меня в лепешку раздавит! А этот! Уши-то как оттопырены! Из-за одних ушей придется дверь расширять.— Словом, все претенденты, по мнению Розекатрин, недостаточно хороши, зато Оле... Оле вполне бы ее устроил. Интересно, а почему он раньше не обращал на нее никакого внимания?

Бедный Оле, застигнутый врасплох сеятель будущего, пытается связать чулок из этих обрывков шерсти. Пусть-де Розекатрин вступает в кооператив, и одиночество ее растает, как масло на сковороде.

— Ни под каким видом! — Розекатрин не намерена безвозмездно отдавать кому-то свое хозяйство. Уж если она куда-нибудь вступит, можно будет считать, что она этим уплатила Оле за обручальное кольцо.

Оле поспешно допивает свое пиво и кладет на стол десять марок.

— За что? Ведь между нами ничего не было.

— За объявление.— Оле не хочет, чтобы Розекатрин зря тратилась на него. Сказав это, он уходит.

Розекатрин разочарована. Так ли уж не права была Аннгрет, когда утверждала, что у ее мужа не все дома?

Весенние полевые работы не дают Оле ни отдыху, ни сроку. По улице он носится как угорелый. Фрау Штамм, жена лесничего, хозяйничает теперь в библиотеке и присматривает за ребятишками в летнем детсаде. Она расторопная, подвижная женщина и, как видно, не зря кончала школу. Сынишке ее скоро минет шесть лет, но уже и сейчас ясно, что матери не будет стыдно за него, когда он пойдет в школу. Собственно, его должны были звать Виргилием, но он носит имя Петер. В душе у фрау Штамм бродило шесть лет назад иноземное название, бродило и звенело, словно колокольчик прерий: Виргиния! Виргиния! Но лесничий даже слышать не захотел ни про каких Виргилиев. А в древние времена был такой Виргилий, который писал о сельском и лесном хозяйстве, настаивала фрау Штамм.

Лесничий вышел из себя:

— Мальчика будут звать Петер, и точка.

Фрау Штамм пасет детей на деревенской лужайке под мартовским солнцем. Дети углядели торопливо шагающего Оле.

— Дядя Оле идет! Дядя Оле! — И помчались ему наперерез.— Дядя Оле, ты кто будешь сегодня, лошадь или верблюд?

Сегодня дядя Оле — слон. Он очень спешит. А на слона могут сразу взгромоздиться трое, если не четверо ребятишек.

Фрау Штамм не без удовольствия глядит на Оле. Но Оле отводит глаза, когда замечает ее пристальный взгляд. Прическа ли мадонны смущает его? Или пугают черные глаза?

Фрау Штамм помогает детям взобраться на Оле. И при этом, хочешь не хочешь, касается его волосатых рук. Она вздрагивает, как от удара током.

— Скажите, господин председатель, вы очень одиноки, если мне позволено будет спросить?

Какое счастье, что Оле приходит в голову удачный ответ: не может ли фрау Штамм взять на себя культуру в «Цветущем поле»?

— С удовольствием!

Детей разбирает нетерпение.

— Но-но, дядя Оле! Н-но, поехали!

Председатель кооператива «Цветущее поле», самый удивительный в мире слон, на четвереньках шествует по лугу.

Не так-то просто потолковать с председателем о проблемах личной жизни. Он поселился в бывшей детской комнатушке у Эммы Дюрр, потому что Антон и Эмма вылетели из родного гнезда. Эмма Вторая учится в Майберге на садовода, а Антон Второй живет в интернате для учеников тракторной станции.

— Вы только поглядите на Эмму! — судачат досужие сплетницы.— А убивалась-то как, когда Антон помер.

— Да, с глаз долой — из сердца вон, известное дело.

— А чего ж теряться! Маленьким курочкам тоже петух нужен,— язвит Мампе Горемыка.

Оле и Эмма даже ухом не ведут. Они не муж с женой и не брат с сестрой, они друзья, они товарищи. И кто знает, в какие заоблачные выси унесли бы Оле его планы, если бы Эмма, сорок пять килограммов живого веса, не тянула его к земле.

Однажды утром Оле начинает выстукивать молотком стены. Постучит и прижмется ухом к стене, словно это не стена, а камертон.

Эмма просыпается.

— Ну, что ты еще выдумал?

Оказывается, Оле среди ночи осенила идея превратить Эммину лачугу в кооперативный улей.

Увеличение доходов путем искусственного опыления цветов. Ошибается тот, кто недооценивает пчел!

— Ни за что! — Эмма не намерена отдавать свой домишко. Здесь жил Антон. Перебранка, как между братом и сестрой. И примирение достигнуто.

Но даже когда Оле и Эмма едины, как муж и жена, постель у них раздельная. Антон еще жив в памяти у обоих.

Оле не щадит себя, высасывает идеи из воздуха, воплощает их в жизнь. И все же одиночество ложится пятном на его биографию. Многие женщины жалостливо на него поглядывают, как на человека с физическим недостатком.

А многие мужчины ему завидуют:

— Уж не вознесся ли наш Оле над бабами, что твой дух над водами?

Земля кружится в мировом пространстве, и по всей земле дети играют с тем, что дала им для игры родная страна: с камушками и раковинами, с цветами, осколками снарядов и белыми костями на кладбищах. Ручка от разбитой чашки из парадного сервиза становится золотым тельцом, а прохудившийся горшок — королевской короной.

Девочка по имени Мертке подрастает среди заброшенных карьеров и высоких терриконов.

В карьерах маслянисто поблескивает стоячая вода, а края их покрыты бурой кромкой, окисью железа. Здесь не растут камыши, не гнездятся птицы и даже в самой глубине мертвых вод не мелькают рыбы. Пусто.

Мертке играет кусками угля. Она умеет выкладывать из них узоры и рисунки на белом песке: цветы, сердечки, земной шар в плетенке меридианов и параллелей. Мальчики, играющие с ней, похожи на негритят, до такой степени угольная пыль въелась в их лица и руки. Они строят игрушечную дорогу, мостят ее мелким углем и поют, подражая стуку колес:

Уголь — чтобы воевать,
Уголь — чтобы побеждать.

На мосту, через который бежит рудничная узкоколейка, укреплен плакат, на плакате — силуэт прислушивающегося человека и надпись: «Тс-с-с! Враг тоже слышит тебя!» Дети называют этого человека Дядя Тс-с-с! Из-за Дяди Тс-с-с у них идут вечные споры.

— Дядя Тс-с-с слушает, что говорят дети. Он помощник деда-мороза.

— Никакой он не помощник. Он русский.

— У русских шапки меховые. А у него шляпа.

— Он поганый англичанин.

— Нет, он Геббельс,— заявляет Мертке.— Не верите, спросите у моей мамы.

Каждый вечер Мертке воочию видит сказку об уродливой замарашке, которая умылась водой из волшебного колодца и стала красавицей. Замарашка — это мать Мертке. Она работает в открытом карьере.

Стук в дверь. Являются негритята.

— Добрый вечер, фрау Маттуш. А правда, что Дядя Тс-с-с — это Геббельс?

— Как, как? Нате вам лучше пакетик леденцов.

Негритята сосут леденцы. А мать притворно весело рассказывает про кота:

— Крадется он за воронами по краю террикона. Подкрался и как прыгнет — р-раз! Ворона сказала: «Кар-р!» — и улетела, а кот — вниз кувырком.

Мальчики улыбаются, доедают последние леденцы. Наконец они уходят, и мать уже облегченно вздыхает. Но тут возвращается один негритенок.

— Фрау Маттуш, скажите, Геббельс это или нет? А то мы с Мертке поспорили.

— Что за чушь, просто Мертке у нас еще глупенькая, вот и все,— говорит мать.

— Неправда.

Мать зажимает ей рот. Мальчишки ликуют. Мертке дурочка!

Мать своими разговорами совсем сбила ее с толку. Прошло немало времени, прежде чем Мертке поняла, что сболтнула лишнее, а это опасно. И потому в ближайшие дни ей лучше не показываться на улице. Мать учит ее мастерить пасхальных цыплят из остатков шерсти.

Мертке мастерит цыплят. Она хочет порадовать мать. В полдень она достает из печки крутую затирку из ржаной муки, наскоро обедает и снова за работу — надо сделать цыплят для всех соседских детей.

По вечерам она долго не может заснуть. Комната темнее темного. На окнах — черная бумага. Каждая дырочка завешена и заделана. Темно, как в гробу. А на улице, над терриконом, зажглись звезды и месяц подсматривает за людьми, вот хитрюга. Среди ночи взревут сирены. Это месяц указал дорогу бомбардировщикам.

В бомбоубежище Мертке строит башню из угольных брикетов. На дворе из звезд сыплются бомбы. И башня Мертке ходит ходуном.

Отца она помнит смутно. Ей снится мужской голос, он ласково говорит: «Мертке!» Мертке знает, что лоб его пересек шрам и кожа на этом месте новая и гладкая. Мертке с любопытством проводит пальцем по лбу человека, который держит ее на руках.

Отец не вернулся. Его застрелили, не русские и не англичане, а просто немцы.

Разве немцы враги? Они же говорят по-немецки... Девочке трудно это понять.

Последнее письмо отца Мертке прочитает лишь много позднее.

«Хочу, чтобы наша Мертке никогда не узнала, что делает с человеком война...» Это тоже очень темно и непонятно.

Настал день, когда с окон сняли черную бумагу. Мертке теперь прямо из кровати видит звезды на небе. И месяц уже совсем не хитрюга. Не прилетают больше самолеты. Это значит: война кончена.

Мертке отводят в школу, но дома у них все по-прежнему. Мать по-прежнему работает, и еда по-прежнему скудная и невкусная. Мать начала курить, водку, которую выдают в шахте, она меняет на муку и уходит из дому даже по вечерам. Это значит, что она активистка. Активистом называется тот, кто пишет речи и потом читает их другим, но не своей дочке. А может, и Мертке надо стать активисткой, чтобы не сидеть одной по вечерам?

Серые зимние дни ползут по терриконам, они стареют и клонятся к вечеру, не успев побыть утренними и молодыми.

Мертке тоскует по домашнему теплу. Вот фрау Куррат, мать ее подруги Роми, работает не в карьере, а в собственном магазине. По вечерам она сидит дома. Варит какао для Роми, а изредка даже для Мертке.

Какао — это по-южному сладкий, таинственный напиток. Оно прибывает издалека и незримо перекочевывает из темноты одной сумки в темноту другой. Но сумки активисток какао обходит стороной. Активистки не умеют соблюдать тайну. По вечерам они сидят в кабаках, пьют вместе с мужчинами алколат или слабое пиво, корчат из себя невесть что и галдят: «Одинаковая оплата за одинаковый труд!» С мужчинами они на «ты» и почем зря кроют черный рынок. А когда им самим понадобятся товары с черного рынка, они изображают народный контроль. Отнимают у порядочных женщин какао, где вздумают, иногда прямо на вокзале.

Все эти сведения Мертке получает от фрау Куррат. Теперь мать внушает ей недоверие. Однажды вечером она увязывается за нею. Заходит в сад профсоюзного клуба, глядит в окно и видит, что мать сидит с мужчинами и пьет пиво. Фрау Куррат говорила правду.

Тогда Мертке решает подобрать себе нового отца, чтобы он по вечерам сидел дома и попридерживал мать.

У Мертке есть учитель. Очень бледный. На виске у него шрам — после войны. Иногда Мертке испытывает неудержимое желание провести указательным пальцем по этому шраму.

Она приглашает учителя в гости и объявляет матери:

— Сегодня к нам придет мой учитель.

— Учитель? А что ты там набедокурила?

Мать выгребает пыль из всех углов, надевает синюю плиссированную юбку. Авось учитель не засидится. Ей надо еще поспеть на районный конгресс сторонников мира.

Учитель приходит. Волосы у него гладко зачесаны, и от них пахнет помадой.

— Вы хотели поговорить со мной?

— По-моему, наоборот. Вы хотели меня видеть.

Смущение. Мертке рассматривает картинки в «Жизни животных» Брема и прислушивается.

На столе кофе и печенье. Разговор не клеится. Мать курит и нервничает. Думает о том, что она уже опоздала на конгресс. Из крана в кухне все время каплет вода. Эта капель ее раздражает. Учитель снимает пиджак.

— Дайте-ка мне плоскогубцы.

Мертке приносит плоскогубцы. Учитель исправил кран. Мертке гордится собой.

Он уходит. Мать бранится:

— Ты соврала. А кто врет, тот может и воровать.

Старческое кудахтанье, досужая болтовня. Мертке гневно хмурит лоб:

— А кто пьет пиво, тот ворует какао.

18

Девочки подрастают. Портфель они носят теперь не за ручку, а прижимают к чуть наметившемуся бедру. Молодые люди провожают их глазами. Роми колдует над своей прической. Сын архитектора посмотрел в их сторону.

— Интересно, на кого — на тебя или на меня?

Мертке не знает.

— Ты не из тех, на кого заглядываются мальчики.

Мертке обижена. Она дуется несколько дней подряд. И Роми прибегает с извинениями:

— Я иногда бываю очень злющая. Это у меня от отца.

А сама думает при этом про задачу по алгебре: хорошо бы, Мертке помогла ее решить. Примирение, крупные слезы, как у кинозвезды.

Сегодня воскресенье. У Курратов — праздник примирения и запах свежего кофе. Сбитые сливки с черного рынка, разные лакомства, разговоры о заграничных модах.

— Папа, когда ты купишь мне заграничные туфли?

Господин Куррат, лейтенант запаса, проводит рукой по безупречной лейтенантской прическе.

— Разве я не приносил тебе бананов?

— Ох, вечно эти бананы, меня уже тошнит от них.

Вдруг является сын архитектора. Откуда он взялся, уму непостижимо. Почему его встречают, как родного? Неужели у Роми есть тайны от подруги?

Господин Куррат угощает молодого человека американскими сигаретами. Они садятся в сторонке у курительного столика. Как принято.

Молодой человек выпускает дым через нос.

А дамы говорят о фасонах вязаных кофточек. Выходит, Мертке тоже дама? Вы только подумайте! Здесь она дама. Что бы там ни было за стенами этого дома.

У Мертке, на ее счастье, есть два уха: одно глупое, другое — умное. И умное ухо слышит гораздо больше, чем ему положено. Куда ж это

годится, разве так поступают истинные леди? Господин Куррат просит молодого человека замолвить за него словечко перед папой-архитектором.

— У нас прибавление семейства — автомобиль.— Словом, нужен гараж.

Молодой человек напускает на себя важность:

— Официально или налево?

Господин Куррат разливает вино и кивком подзывает дочь:

— Ты бы помогла мне хозяйничать.

По мнению Мертке, нет ничего глупее, чем беседовать с матерью Роми о шляпах и слушать разговоры господина Куррата о «левых» гаражах. Чувствуя себя лишней, она уходит.

Внизу, у покрытого черной пылью гидранта, ее перехватывает Роми.

— Мертке, прости, я оставила тебя одну.

На этот раз Роми не удается быстро достичь примирения с худенькой девочкой в стоптанных башмаках.

— Можешь целоваться с этим маменькиным сынком. Меня бы от него стошнило. Он жует резинку.

— Жевать резинку — это вполне современно.— Тут Роми, должно быть, снова вспоминает про задачи по алгебре. Она и для Мертке раздобудет мальчика. Пусть только Мертке научится танцевать, перестанет молиться на красных и выйдет из «Свободной молодежи». — Современному человеку не нужна религия.

Мертке оставляет Роми у гидранта.

Недозрелый юнец вторгся в школьную дружбу. Кольцо дружбы дало первую трещину.

Проходит год. Еще полгода — и Мертке кончит школу. Учится она старательно, и мать ею довольна.

Однажды под вечер заявляется Роми.

— Могу я по-прежнему считать тебя своей подругой?

— Ты же говорила, что я молюсь на красных?

— Умоляю, прости! — Роми в отчаянии. Сын архитектора ее покинул.

— А он тебе что, до зарезу нужен?

До чего наивное дитя, эта Мертке. Роми протягивает ей два письма. Одно — сыну архитектора, другое — отцу, лавочнику Куррату. А Роми, хочешь не хочешь, прыгнет в заброшенную шахту, и маслянистые воды сомкнутся над ее головой.

Мертке хохочет.

Роми утирает слезы тыльной стороной ладони — совсем не так, как принято у настоящих леди.

— Милая Мертке, с тобой никогда не случится ничего подобного, ты не из тех. Ты не проболтаешься.— Одним словом: у Роми будет ребенок, но она не желает быть покинутой матерью: — Мертке, спаси меня!

Мертке больше не смеется. Ребенок в классе, колыбелька на парте. Младенца ведь нужно кормить по часам. Но какой от нее ждут помощи — непонятно.

Роми бросается ей на шею:

— Ты мой единственный друг!

Мертке растрогана.

Они не идут на занятия. Уезжают в Берлин. Мертке не без опаски соглашается на эту незаконную поездку. Роми давно уже перестала быть ее подругой, но все равно она человек.

Нельзя допустить, чтобы человек с горя наложил на себя руки. В таких случаях приходится совершать и незаконные поступки.

Поездка не из веселых. Сомнения, тревоги одолевают их. Они почти не разговаривают, и каждая теребит свой носовой платок. Роми знает одного врача, *свободного врача* из *свободного мира,* и этот врач может сделать существующее несуществующим. В сумочке у Роми шуршат бумажки, выкраденные из кассы в отцовской лавке.

В Берлине при выходе с перрона их поджидает лавочник Куррат. Ну и ну!

Роми — вот пройдоха — сунула прощальное письмо под будильник на тумбочке, а будильник поставила так, чтобы ее папочка мог успеть на тот же поезд. Умна, ничего не скажешь.

В письме между прочим стояло: «...виноват ты, папа, это тебе во что бы то ни стало понадобился гараж...»

Господин Куррат доволен, что случайно встретил в Берлине свою дочь с подругой.

— Какое удачное совпадение! — Он тут по торговым делам. И кто же попадается ему навстречу? Две беглянки, прогульщицы. Нет, вы подумайте, как здорово!

Господин Куррат полагает, что отеческое попечение будет совсем не лишним при знакомстве молодых девушек с большим миром. Благословен случай, давший господину Куррату возможность показать себя заботливым отцом.

Они проводят в Берлине два дня. Со школой все как-нибудь уладится, так ведь? Они гуляют по Курфюрстендамм, смотрят в зоопарке верблюдов свободного мира, бродят по крытому рынку на Александерплац. Спору нет — очень недурно. Но где все-таки бананы, где южный аромат апельсинов?

Перед ними «Торговля мелкой живностью». Сотни только что вылупившихся цыплят. Роми зажимает уши.

— С ума сойдешь от этого писка.

А Мертке хочется забраться к цыплятам, кормить их и поить.

— Это *икцентрично* и глупо,— говорит Роми; она стала развязной, дерзкой, приободрилась и больше не думает прыгать в шахту.

Вечером они идут в варьете. К сожалению, стоящее варьете имеется только в восточном секторе.

— В этом деле русские сильней,— объясняет господин Куррат и подпускает немножко лояльности.— Что правда, то правда. Жить и давать жить другим.

После представления они сидят на Шиффбауэрдамм у «Ганимеда», пьют шампанское, едят устриц. Роми хочет потанцевать с отцом. Это шикарно — танцевать с пожилым господином и чтобы все тебя принимали за его любовницу.

— Детка, ты же видишь, что здесь не танцуют.— Господин Куррат разливает шампанское, сперва себе, потом девушкам. Роми свирепеет.

— Я вижу только, что ты никудышный кавалер.

Господин Куррат не замечает, что Роми наморщила свой носик пятачком. Он чокается с Мертке. Тостом скрепляет уговор. Было бы очень и очень желательно, чтобы никто не узнал, для чего Роми ездила в Берлин. Может ли господин Куррат положиться на скромность Мертке?

Злючка Роми не унимается.

— Учти, daddy *, я все равно не пошла бы с тобой танцевать. Таких галстуков на Западе не носят.

У лавочника Курата нет времени прислушиваться к болтовне своей невоспитанной дочери. Ему надо развлечь и привлечь на свою сторону

---

* Папа *(англ.)*.

неулыбчивую Мертке. Слыхала ли Мертке о случаях воображаемой, так сказать, истерической беременности? Нет, Мертке о таких случаях не слыхала. Тут вдруг взрывается Роми:

— Ах, так, я исто... истеричка! — она визжит и рвет на себе волосы.

К ним подбегает кельнер:

— Даме нехорошо?

Роми набрасывается на него:

— Не твое дело, лакей!

Кельнер приводит метрдотеля. Дальше все мелькает в темпе плохого фильма. За соседними столиками ропот.

Мертке срывает с вешалки пальто и давай бог ноги. Она успевает сесть на последний поезд.

19

Лавочник Курбат и его дочь не вернулись больше в горняцкий поселок.

Мертке кажется, что после Берлина она стала меньше ростом — до того ей стыдно. И глаза у нее распухли от слез. Мать неумолима, как архангел в день Страшного суда. Ей ненавистно все, что нарушает течение жизни. Мертке надо уйти из школы. Пусть наконец почувствует, где ее настоящее место, пусть пройдет школу жизни в угольной шахте. Мать желает, чтобы дочь жила при ней.

— Нет! — Мертке заупрямилась. Ей больно, что мать ей не доверяет.

— А сама-то ты знаешь, чего тебе надо?

Мертке знает. Она хочет уехать в деревню, ухаживать за скотиной, за курами.

Мать улыбается.

— Романтика — и больше ничего. Лет через пять яичный белок будут готовить искусственно. Куры — пережиток прошлого.

Любимый учитель Мертке и секретарь молодежной организации вызвались переговорить с ее матерью.

— Молодость имеет право на романтику,— говорит учитель.

— Деревне нужны молодые кадры,— говорит секретарь.

Мать уступает.

Мертке учится на птичницу. Первый год — год сплошных разочарований. В восемь дней цыплята пушистые, мягонькие и желтые, как одуванчики. На второй неделе они уже какие-то колючие, не желтые и не белые, не мягкие и не жесткие, не большие и не маленькие, хоть и растут не по дням, а по часам. Они пожирают не только то, что им дают, но и все силы у Мертке. Сколько ведер мягкого и твердого корма перетаскала она на ферму! А сколько помета должна на тачке отвезти к силосной яме эта девушка, без пяти минут студентка! И несмотря на весь уход, на все заботы, цыплята дохнут. Сегодня один, завтра другой. «Недостаток жизненных сил»,— говорит ее наставница. Мертке все равно чувствует себя виноватой. Она видит, как петушки, обладающие запасом жизненных сил, прыгают по тушкам дохлых курочек и просят есть. Видит и готова бежать отсюда без оглядки.

И вот наконец пришел день, когда одна молодка из питомиц Мертке снесла первое яйцо. День великой победы для Мертке.

Зимою новые заботы. Крестьянские куры несутся, как известно, только весной и летом. Ее молодки должны нестись и зимой. Именно зимние несушки и делают птицеферму рентабельной. Господи, сколько надо знать, сколько учиться.

Ученица Мертке пересыпает зерном соломенную подстилку. Пусть куры ищут корм и греются. Подвешивает в курятнике куски брюквы.

Пусть куры прыгают, чтобы достать ее. Мертке удлиняет куриный день с помощью искусственного освещения. Результат: среди зимы свежие яйца. Мертке наколдовала для своих кур весну в курятнике. На что только не способен человек!

Весной свершаются новые чудеса. Мертке осваивает аппарат, который может заменить тысячу наседок. Ранней весной в ее небольшом курятнике уже царит лето. Веселая песенка «Цыплятки, цыплятки с наседкою идут» теперь устарела. Наседку заменил деревянный шкаф, который не умеет ни квохтать, ни кудахтать, ни сзывать цыплят, однако новоявленные леггорны, желтые, как одуванчики, с первой минуты сами знают, что им надо делать: они клюют и растут!

Мертке теперь даже понять трудно, как это она могла сидеть за партой и дожидаться встречи с жизнью. Она выдвигает ящик деревянной наседки. Там из белых скорлупок уже вылупилась ярко-желтая жизнь и глядит на нее бусинками глаз. «Пи-пи-пи!» Мертке знает: кто смотрит на мертвое, для того жизнь кладбище. Кто видит перед собой живое, для того жизнь — весна.

Учение подходит к концу. Лишь изредка Мертке выбирается в город проведать мать. Она сдает экзамен на птичницу, но разве больше нечему учиться? Разве целый мир птиц не отделяет человека от прочих млекопитающих? Утки, гуси, голуби, декоративные птицы. Мертке намерена заглянуть и в этот мир.

Она читает в крестьянской газете объявление «Цветущего поля». Где ей догадаться, о чем грезил Оле, когда составлял его.

20

Вагон узкоколейки нещадно трясет. Учитель Зигель не может больше читать. Он захлопывает научно-популярную книгу о семи чудесах света.

Зигель всю жизнь учится. Он и с виду похож на ученика: прыщеватый, и выражение лица мальчишеское. Вместо закладки он сует между страницами зажим для брюк, а книжку прячет в портфель из ледерина и начинает искать по всем карманам ключи. Портфель приходится запирать, иначе он не защелкивается. Это, так сказать, его обычное состояние.

Зигель находит ключи, откладывает книгу и, протерев очки, приступает к изучению окружающей среды. У Зигеля ни одна минута даром не пропадает. Все люди, сумевшие чего-то достичь в жизни, использовали каждую минуту, причем начинали с ближайшего окружения, а затем устремлялись вдаль.

В данную минуту ближайшее окружение Зигеля — это молоденькая девушка, сидящая напротив. Вообще-то говоря, девушки повергают Зигеля в смущение, но сейчас он занят изучением окружающей среды, а для будущего ученого нет ничего постыднее беспринципности.

Зигель силится запомнить внешний вид девушки, словно ему предстоит докладывать о нем на педсовете. Итак, господа коллеги, мы располагаем следующими данными:

а) Волосы пепельные, перемежающиеся с прядями золотистого цвета, заплетены в косу, длиной около пятидесяти сантиметров, которая перекинута на грудь через правое плечо. Наблюдается некоторое сходство с замком типа «молния», сходство, свидетельствующее о замкнутости данной особы.

б) Глаза. Зигель долго подыскивает научную аналогию. Скажем, глаза мартовской голубизны

в) Лоб и переносица умеренно веснушчатые.

Зигель пытается определить, какое количество веснушек приходится на один квадратный сантиметр лба. Это занятие вызывает тревогу у его спутницы. Она смотрится в зеркальце. Не выпачкалась ли она в саже? Вроде нет. Раздосадованная настырным блеском зигелевых очков, она бросает суровый взгляд на прыщеватого соседа.

Зигель заползает в укрытие, образованное дождевиком, что свисает с багажной сетки. Дальнейшее изучение окружающей среды от известного к неизвестному идет через петлю для пуговицы.

Входит контролер. Зигель вскакивает, открывает портфель, ищет билет. Билет не найден, и Зигель, вспомнив золотое правило для всевозможных поисков, систематически обшаривает карманы брюк, пиджака, плаща, а затем еще раз портфель — отделение за отделением.

Контролер скучливо снимает форменную фуражку, протирает рукавом козырек, смотрит в окно.

Трагикомедия поисков вызывает сострадание у Мертке. Она помогает искать. В багажной сетке лежит шапка Зигеля. Из нее выглядывает билет.

Мертке подает Зигелю шапку. Тот облегченно вздыхает.

— Ох уж эта самостоятельная жизнь вещей! Благодарю вас, благодарю. Моей благодарности нет границ. Зигель моя фамилия.

Мертке тоже представляется:

— А моя — Маттуш.

— Очень приятно! Вас Мария зовут?

— Не совсем.

— Тысячу извинений, ассоциация. Золотые волосы, сказка, Мария-краса — золотая коса,— мямлит Зигель.

С этого и начинается разговор между почти новым учителем из Блюменау и совсем новой птичницей из кооператива «Цветущее поле».

Кто-то рывком открывает дверь правления. Бухгалтер Бойхлер принимает вид крайне занятого человека и внимательно рассматривает какие-то бумаги в скоросшивателе. Его отвлекает пыхтение почтальона Крампе.

Телеграмма. Срочная...

Покоя нет от этих телеграмм!

Для человека с нарушенным кровообращением всякая телеграмма — сущий яд! Изволите видеть, некая Мертке Маттуш сообщает, что направляется в их кооператив и прибывает на вокзал в Обердорфе. Бойхлер и тому рад, что речь идет не о минеральных удобрениях, иначе ему пришлось бы в спешном порядке организовать разгрузку и доставку, чтобы не платить железной дороге за простой вагонов... А Мертке Маттуш... Он таких не знает. Скорей всего, очередная инструкторша по вопросам культуры. Пусть-ка на собственной шкуре испытает, что такое их бескультурные дороги.

Примерно через четверть часа в дверь протискивается учитель Зигель с двумя чемоданами. Он запыхался, потому что привез на велосипеде чемодан Мертке. Впрочем, большого выигрыша во времени у него не получилось. На вокзале он долго проискал зажим для брюк, а зажим лежал в книге о семи чудесах света, в разделе «Самостоятельная жизнь вещей».

Для Бойхлера учитель всего лишь получеловек. Изволил, видите ли, застраховаться, прежде чем приехал в Блюменау.

— Ну, куда ты прешь? Что у меня здесь, постоялый двор, что ли?

— Тс-с-с! — предостерегает Зигель. Может быть, новая птичница уже за дверью.— Ох, какая женщина! Сила!

Бойхлер не считает Зигеля знатоком по женской части. На лице у него мелькает подобие усмешки, а подбородок делится на две части. Он вспоминает про так и не полученную премию за страхование и, послюнив большой и указательный пальцы, наводит складку на брюках. Он поправляет манишку с пришитым к ней галстуком — свое, так сказать, удостоверение личности. Как-никак в молодости он был фельдфебелем.

Мампе Горемыка разносит весть: в курятник заявилась новая птичница с косичками. За это сообщение ему кое-где перепадает стаканчик-другой, что сейчас очень даже кстати, так как опять ударили заморозки.

Под вечер Мампе Горемыка добрел со своей вестью до Дюрровой лачуги. Там он стоит и нюхает воздух, как барсук. С Эммой Дюрр, рабочей совестью кооператива, каши не сваришь. Но, по счастью, Эмма Дюрр, этот полицейский в юбке, куда-то отлучилась. Путь Мампе Горемыке открыт. Наглядное подтверждение получают слова Тимпе:

— Шеф-то нынче уток изучает. Видно, коровы — не его ума дело.

Оле сидит за грудой книг и что-то строчит. Мампе расписывает ему новую птичницу:

— Чистенькая, вылизанная, как дама из районного отдела культуры, которая к нам приезжала.

Председатель даже глаз не поднимает. Мысленно он не здесь.

Мампе продолжает:

— А ресницы — как в кино! — Осмелев, он приближается к книжному заграждению, за ним мерцает что-то зеленое: бутылка мятной настойки. Мампе идет на приступ: — Глаза у нее, что твои кинжалы. Дай бог, чтоб никого не убило и не поранило.

Наконец Оле поднимает голову:

— Ты чего?

— Я рассказываю про птичницу. А для умственной работы тоже надо пить мятную настойку?

Оле наливает ему в свою кофейную чашку.

— Выпил и катись.— Он не желает отрываться от работы.

Члены кооператива каждый по-своему встречают Мертке. Свинарка Хульда Трампель — такими словами:

— Хороши у тебя туфельки, наши или западные? Когда идет дождь, у нас здесь грязища... Ну ладно, добро пожаловать.

Эмма Дюрр, в порядке исключения, настроена некритически. Возможно, она думает об Эмме Второй, которая сейчас в учении у садовника.

— Милости просим к нам в Блюменау. Если мужики начнут тебе надоедать, скажи только мне.

Вильм Хольтен не знает, как говорить с незнакомыми девушками.

— Добро пожаловать,— мямлит он,— хорошо, что вы ни капельки не помолвлены. А меня зовут Вильм, с вашего разрешения, спасибо, здравствуйте.

Карл Крюгер желает проверить новую птичницу.

— А что идет после девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти?

Мертке, удивленная, но без запинки:

— Миллион.

— Вот, вот, это наши перспективы: пять тысяч кур — миллион яиц. Кстати, у тебя красивые глаза. Жаль, что я уже старик и не горазд обращаться с девушками.

У председателя забот полон рот. О новой птичнице ему пока некогда думать. Он рыщет вокруг Коровьего озера, спотыкаясь по камышо-

вой стерне, что-то измеряет, записывает в блокнот какие-то цифры — словом, вовсю использует последние дни зимней передышки. Со дня на день прозвучит клич: «Пахота! Весенняя пахота!» Инструктора из Майберга, опасаясь, как бы крестьяне не прозевали весну, нахлынут в таком количестве, что одна машина будет сидеть на хвосте у другой.

Бухгалтер Бойхлер подъезжает на своем велосипеде-развалюхе. Он запыхался, и живот у него колышется.

— Ох уж эти телеграммы! Три тысячи цыплят на железнодорожной станции!

Оле несется в Обердоф. Мотоцикл ревет и грохочет. На багажнике сидит Мертке. Тропинка вьется по лесу, петляет среди ям, луж, затянутых льдом, валунов и пней. Мертке трудно усидеть. Она цепляется за зеленую куртку Оле.

Ничего, пусть поволнуется, думает тот. Блюменау — это вам не конфетка.

А на вокзале уже некогда расспрашивать друг друга о самочувствии. Надо вскрыть картонные коробки — все ли живы? Мертке открывает первую.

— Боже мой!

— Все подохли?

— Нет, прелесть-то какая!

— Сколько вам лет, собственно говоря?

— Скоро двадцать... двадцать один... двадцать два... нет, что-то я сбилась.

Последнюю коробку они проверяют совместно. При этом Оле глядит в накладную и вместо цыпленка хватает руку — руку Мертке. Живую, теплую, мягкую. Оле смущен.

— Ах, да, будем знакомы. Желаю успеха. А я — Оле Бинкоп, так меня все зовут.

(Окончание следует)

ДЖОН Б. ПРИСТЛИ

Сэр Майкл и сэр Джордж

РОМАН

Перевод с английского
Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ и В. ХИНКИСА

II

Несчастья сэра Джорджа Дрейка, пожалуй, начались уже на совещании. Был чудесный майский день, оживлявший даже Рассел-сквер, но совсем не майское настроение пышным цветом расцвело в кабинете сэра Джорджа. Они доползли уже до середины повестки дня, когда явился Тим Кемп, о котором вот уже целую неделю не было ни слуху, ни духу,— все такой же невинный ангелочек, выглядевший, однако, еще подозрительней, чем обычно. Он явно пережил в Дербишире целую сагу из джина пополам с безумием.

— Господин генеральный секретарь, тысяча извинений,— сказал он,— я надеялся поспеть вовремя.— Он говорил серьезно, тщательно выговаривая слова, как разговаривает крепкий на голову человек, который вот уже несколько дней ни на минуту не протрезвился. Никола Пемброук, Джун Уолсингем, Джоан Дрейтон разом просияли, завидя его. И, быть может, именно это вызвало раздражение сэра Джорджа.

— Очень мило с вашей стороны, что соблаговолили посетить нас, мистер Кемп.— Сэр Джордж произнес это тем многозначительным, ироническим тоном, за который учечики так часто не любят своих учителей.

— Пустое.— Кемп улыбнулся ему.— Не угодно ли выслушать мой отчет прямо сейчас, господин генеральный секретарь?

— Конечно не угодно. Дело терпит. Мы заняты другим. Итак, речь шла об этом художнике, Неде Грине...

— Я только что с ним говорил,— сказал Кемп, как всегда ловко встревая в разговор.— Случайно встретились в «Плуге» и вместе пошли еще куда-то — в Люксембургский спортклуб, кажется... Нед нисколько не изменился, так что глядите в оба.

И он ткнул трубкой сперва в сторону Спенсера, а потом — сэра Джорджа.

— Так вот, когда меня перебили, я хотел сказать,— продолжал сэр Джордж с высоты своего достоинства,— что разговаривал с мистером Грином и завтра мы с женой ждем его к обеду. Между прочим, будет и Филипп Баториг, который, как всем вам, вероятно, известно, является министром высшего образования.

Он сделал эффектную паузу, словно ждал овации, и с досадой перехватил несколько взглядов, украдкой брошенных через стол на Кемпа.

— Я, разумеется, подниму вопрос об организации Дискусом персональной выставки работ Грина.— Сэр Джордж посмотрел на Джералда Спенсера, который заерзал на стуле, спеша выразить свой восторг.— Но поскольку вы тоже будете присут-

---

Окончание. Начало в № 8.

ствовать на обеде — кстати, не забудьте захватить свой проект,— то сможете уточнить разные мелкие практические вопросы.

Спенсер покачивал головой, как кобра под взглядом заклинателя. И тут Кемп тоже начал кивать и кивал все время, пока при участии Никола Пемброук обсуждалась возможность устроить концерт из произведений Маунтгэррета Кемдена, дабы умилостивить старика; а потом он попросту начал клевать носом. Пришлось разбудить его, когда дошли до пункта «Разное», чтобы он отчитался о ходе переговоров с леди Бодли-Кобем.

— И мне незачем подчеркивать, мистер Кемп,— сказал сэр Джордж сурово,— что, поскольку вы якобы занимались проектом этой Бодли-Кобем целую неделю, у вас должны быть важные новости.

— О, само собой.— Кемп вынул из внутреннего кармана пачку конвертов и разрозненных листков и начал их перебирать.

— Ну что же вы, милейший. Вам, может быть, делать нечего, но у нас дел хватает. Да и вообще вся затея с Бодли-Кобем — сплошная чушь.

Кемп посмотрел на него.

— Это почему же?

— Потому, Тим, милый,— сказала Никола,— что многие из нас уже пробовали ее уговорить, но ничего не вышло...

— Мистер Кемп,— прервал его сэр Джордж,— будете вы отчитываться или нет? Если нет, я попрошу вас объяснить причину вашего отсутствия на службе. И если это объяснение будет...

— Вот, не угодно ли взглянуть! — воскликнул Кемп, показывая два замусоленных клочка бумаги.— Но прежде я должен объяснить, что Аннабела... то есть леди Бодли-Кобем...

— Вы зовете ее Аннабелой? — Джун Уолсингем даже взвизгнула от смеха и долго еще хихикала вместе с Никола Пемброук и Джоан Дрейтон.

— Ну, раз ее зовут Аннабелой, а мы с ней друзья, я так ее и называю.— Кемп для пущей внушительности вынул изо рта трубку, потом снова сунул ее в рот.— Мы с ней, когда ехали в ее дом в Дербишире, встретили в Бейкуэлском баре одного архитектора... Этот архитектор золотой малый, некто Людовик Шоттер...

— Ах, Шоттер! — Это подал голос Джералд Спенсер.— Я знавал его одно время. С ним произошла какая-то скандальная история. И потом он пьет как лошадь.

— Действительно, ему не повезло,— подтвердил Кемп.— Но, без сомнения, это способный и очень милый человек. Ну, мы и прихватили его с собой. Нам как раз нужен был специалист — и вот пожалуйста.

— А был в этой вашей компании хоть один трезвый? — поинтересовался Нейл Джонсон, смягчив свои слова добродушной улыбкой.

Кемп немного подумал, прежде чем ответить.

— Нет, совсем трезвых не было. Но подробности потом, Нейл. Генеральный секретарь хочет, чтобы я доложил о деле, и он совершенно прав.— Он улыбнулся сэру Джорджу, который ответил ему уничтожающим взглядом.— Так вот, Шоттер округленно определил стоимость перестройки дома в сто восемьдесят пять тысяч фунтов...

— Что за вздор! — вскричал сэр Джордж.

— А ежегодные расходы мы определили совместно,— продолжал Кемп, не обращая никакого внимания на этот возглас.— После того как дом будет соответствующим образом перестроен и в нем соответствующим образом поселятся двадцать пять деятелей искусств, при условии, что каждый будет еженедельно вносить примерно восемь фунтов, эти затраты составят девятнадцать тысяч шестьсот фунтов. Каковую сумму, вместе с расходами на перестройку в размере ста восьмидесяти пяти тысяч фунтов должен внести Дискус...

— Что за бред! — Сэр Джордж, багровея, снова сорвался на крик. И хватил кулаком по столу.— Сроду такого не слыхал! Смотрите у меня, если вы хотя бы намекнули этой сумасшедшей Бодли-Кобем и тому архитектору, что Дискус может согласиться на подобную нелепость! — Тут ему в голову пришла ужасная мысль.—

И смотрите, если вы сделали какое-нибудь публичное заявление. Давал кто-нибудь из вас интервью журналистам?

Кемп посмотрел на него со снисходительным удивлением.

— Имея за плечами большой опыт государственной службы, я, сэр Джордж, всегда избегаю иметь дело с прессой. Но мне показалось — знаете, тот вечер был хоть и веселый, но такой суматошный,— что леди Бодли-Кобем и Людовик Шоттер кое-что сказали девушке из «Бакстон уикли геральд».

— Ах, черт!

— Вам это представляется несколько преждевременным?

— Преждевременным? Да это просто дурацкая пьяная болтовня.

Кемп собрал свои листки, запихнул их обратно во внутренний карман, потом встал, исполненный торжественного достоинства.

— Послушайте, шеф, вы послали меня к леди Бодли-Кобем договориться о деле, которое до сих пор вам никак не удавалось протолкнуть. Вместе с тем вы сказали мне, что Дискусу нужно сделать что-нибудь громкое в области театра. Я занялся этим делом. Я осмотрел дом, который будет предоставлен в наше распоряжение. Я привлек самого квалифицированного консультанта, какого мог найти. Я представил примерную смету затрат. Что еще мог я сделать?

— А ведь он прав! — воскликнула Никола.— Мы только напрасно тратили время и силы на эту женщину, но Тим не из таких.

— Спасибо вам, Никола.— Он снова посмотрел на сэра Джорджа.— Важно не то, сколько мы там выпили, важно, много ли нам удалось сделать. Я сделал то, что меня просили. Очень жаль, если, по-вашему, все это пьяная болтовня. Даже если вы так считаете, вы могли бы удержаться от подобных выражений. Мне кажется,— продолжал он мягко,— что вы часто ведете себя так, будто здесь птичник, а сами вы — надутый индюк. Но я не хочу вас обижать. Так вот, если вам угодно, чтобы я представил свой доклад в письменном виде, по всей форме, вы его получите...

— Не нужен мне ни ваш доклад, ни вы сами, Кемп,— сердито отрезал сэр Джордж.

— Я останусь здесь, пока меня не переведут на другую работу,— заявил Кемп.— Я хотел предостеречь вас насчет Неда Грина, но вы отказываетесь меня слушать. А главное — я случайно встретился с одним сотрудником казначейства и мог бы предостеречь вас насчет некоего Джонса, который вскоре должен здесь объявиться. Но чего ради? — Он встал из-за стола и направился к двери. Однако не дойдя до нее, остановился и, вынув изо рта трубку, ткнул ею в сэра Джорджа, который, как и все, повернув голову, смотрел ему вслед.— Мне жаль вас, Дрейк, потому что вы начисто лишены интуиции и проницательности. Кстати,— он посмотрел на Нейла Джонсона,— где этот ваш зав театральным отделом, Хьюго Хейвуд?

— В отпуске, Тим,— ответил Джонсон.— В Ирландии.

— В Ирландии? — Кемп посмотрел на сэра Джорджа.— Ну, теперь добра не жди. Вот увидите. И помните про некоего Джонса из министерства финансов,— добавил он мрачно.— Счастливо оставаться.

После ухода Кемпа воцарилось молчание, и тут сэр Джордж вдруг обнаружил в себе ту интуицию и проницательность, в которых ему только что было отказано. Он не мог избавиться от чувства, что ему откуда-то угрожает опасность, что темные силы, которые он, разумный человек, и назвать-то не может, грозят ему, что три женщины, которые теперь смотрят на него с враждебностью и презрением, как разъяренные ведьмы, сговорились и отдали его на растерзание какой-то зловещей, непостижимой силе. Он попытался убедить себя, что это нелепо, но тревожное чувство не покидало его.

— Ну, на сегодня, кажется, все.— Он посмотрел на Джералда Спенсера и переменил тон.— Я хотел бы поговорить с вами, Джералд, насчет завтрашнего вечера. Будет Грин, Филипп Баториг с женой, вы с вашей женой... как ее...

— Доротеей,— поспешил подсказать Спенсер.

— Да, конечно, с Доротеей. Потом одна старая подруга Элисон, Мюриэл Теттер, тонкий знаток искусства,— в общем всего восемь человек.

— Просто великолепно!

— Я уже говорил вам, что не надо надевать вечерний костюм? Лучше бы, конечно, в вечерних туалетах, но Грин и слышать об этом не хочет. А Баторигу приедет прямо из парламента. Мы хотели пригласить вас всех в ресторан, но потом я решил, что удобнее будет поговорить в домашней обстановке, и Элисон заказала обед на дом. За столом о делах ни слова, но как только дамы выйдут, я расскажу Баторигу о нашем плане устроить выставку Грина, ради его же блага. Я думаю, мы все успеем утрясти, прежде чем присоединимся к дамам, но, конечно, если вы захотите потом отвести Грина в сторону и обсудить всякие подробности, я не вижу к этому препятствий. Если хотите, Джеральд, я скажу Элисон, чтобы она дала вам такую возможность.

— Это будет великолепно! — воскликнул Спенсер, буквально сияя от восторга.— Я совершенно уверен, что все удастся как нельзя лучше.

Джеральд издал еще несколько восторженных звуков и, извиваясь, выплыл за дверь, оставив сэра Джорджа в более приятном расположении духа. И все же его еще окружали какие-то остатки молчания, наступившего после ухода Кемпа: мерцающая и бесформенная тень, предостерегающий шепот, неуловимый, как призрак, смутное беспокойство, которое не в силах были заглушить никакие, даже самые радужные перспективы.

12

В тот же самый день в Комси сэр Майкл с нескрываемым отвращением смотрел на Джефа Берда, своего заведующего театральным отделом.

— Тед Митч, лейборист, член парламента от Бэрманли,— сказал сэр Майкл с расстановкой,— является одним из членов Бэрманлийского репертуарного объединения. Это, конечно, он написал вам о предстоящей постановке. И недвусмысленно дал понять, что, если Комси не согласится участвовать в финансировании лондонской постановки, он постарается нам напакостить. Вы это хотите мне сказать, Джеф?

— Ну да, в общем это.— Берд заметно нервничал. Ему и в хорошие-то времена нелегко было ладить с сэром Майклом, а прошлую неделю никак не назовешь хорошим временем. Все в Комси знали, что директор, по какой-то неведомой причине, пребывает в бешенстве.— Но я хотел бы кое-что пояснить...

— Пускай этот Тед Митч катится ко всем чертям,— сказал сэр Майкл.— Все, Джеф.

— Нет, директор, пожалуйста, умоляю вас! Позвольте мне дать разъяснение, это просто необходимо...

Сэр Майкл был готов взорваться, но совладал с собой. Зачем он мучает этого беднягу, который только лепечет и обливается потом? Все мы божьи твари. Неужели потому, что из головы у него не выходит эта красивая дура, которая как сквозь землю провалилась, надо мучить Джефа Берда, ведь ему приходится кормить жену и троих детей, да при этом сохранять достоинство, оберегать главную иллюзию своей жизни.

— Ну ладно, Джеф. Если я чего-нибудь не понял, что ж, объясните мне. Да садитесь и не волнуйтесь так бога ради.

— Да, да, вы правы.— Берд буквально рухнул в кресло, вытер лицо, закрыл глаза, потом снова широко раскрыл их и устремил на сэра Майкла умоляющий взгляд.— Мне наплевать на Теда Митча. Я и видел его всего только раз. Но я думаю о Комси. Нас могут опередить, директор, верьте моему слову. Дело в том, что я уже кое-что знаю об этой постановке. Это авангардистская американская пьеса под названием «Куклы». Самая грандиозная вещь, какую за много лет поставили вне Бродвея. Право на заграничную постановку всюду уже продано. В Бэрманли ее удалось заполучить только потому, что Кейли, начальник тамошнего репертуарного объединения,— двоюродный брат режиссера, поставившего ее в Нью-Йорке. Во вторник там премьера, и мне известно, что приедут почти все знаменитые лондонские критики.

— Ну, Джеф, если это вас так волнует, поезжайте и вы. Вам незачем просить у меня разрешения, мой милый. Пора бы знать это.

— Я знаю. Но понимаете, какое дело, директор, я хочу, чтобы и вы тоже поехали.

— Ну что вы, что вы! Я терпеть не могу Бэрманли. Я не выношу авангардистские пьесы, особенно американские. Кроме того, вы отлично знаете, Джеф, что я вообще не люблю ходить в театр...

— Да, конечно, я все это знаю.— Отчаяние придало Берду храбрости.— Но я знаю также, что вы не доверяете по-настоящему моему мнению. А если Комси хочет действовать оперативно и сразу заявить, что будет поддерживать постановку пьесы в Лондоне, вы должны быть там, иначе все это не имеет смысла. И еще я знаю, что Хьюго Хейвуд, который, вероятно, не преминул бы перехватить ее для Дискуса, сейчас в отпуске, в Ирландии. А «Куклы» могут иметь неожиданный успех, вы же знаете, как это бывает. Так что дело не в Теде Митче, а в том, чтобы нам быть впереди, ведь именно эту задачу вы перед нами поставили...

— Все это справедливо, Джеф,— сказал сэр Майкл устало.— Я не вправе требовать от вас смелости и риска, а сам сидеть сложа руки. Так что пускай за нами оставят еще одно место в партере, и передайте Джиму Марлоу, чтобы он заказал мне номер в этой ужасной гостинице и позаботился о билете. Вы говорите, в будущий вторник? Когда пойдете, попросите мисс Тилни записать.

Берд встал.

— Это просто замечательно, директор. Как раз то, чего мне хотелось.

— Но вы понимаете, Джеф, я никак не могу обещать, что пьеса мне понравится.

— Конечно, понимаю, но, судя по отзывам, это блестящий эксперимент...

— Я бы предпочел вместо блестящего эксперимента хоть раз в жизни просто умную и интересную пьесу.

Берд засмеялся и поспешил ретироваться. Сэр Майкл вздохнул и остался сидеть за столом. За последние недели здесь скопилось много всякого хлама, и теперь он все старательно просмотрел и рассортировал, а потом вызвал мисс Тилни, и они вместе закончили работу.

А потом он пошел в клуб.

В баре он выпил несколько рюмок виски, которое было похуже, чем у него в кабинете, а вокруг толпились люди, которые почти поголовно держались, как характерные актеры в американской пьесе из жизни Лондона,— английские джентльмены, выкрикивающие во весь голос плохие стихи. На квартиру к Мэвис в Челси он приехал в меланхолическом опьянении.

Это была маленькая квартирка, забитая мебелью, похожая на саму Мэвис, миниатюрную брюнетку, с маленьким, забитым лицом. Но у нее была замечательно красивая фигура и пылкий открытый характер, что прельщало сэра Майкла, хотя одно время он был уверен, что она хочет женить его на себе. Хоть и под хмельком, он сразу заметил в ней перемену, что-то произошло, он почувствовал это еще раньше, когда они разговаривали по телефону, но все выяснится в свое время. А пока что она наполнила бокалы, и, прежде чем успела снова сесть, он привлек ее к себе, обнял и поцеловал. Но она дала ему почувствовать, что сегодня он не добьется обычного результата.

— Не надо, Майкл,— сказала она, высвобождаясь из его объятий.— Ты не вкладываешь в это никакого чувства. И я тоже. Дорогой, у меня есть новость. Я снова выхожу замуж.

Старый охотник, он сразу почуял неудачу и проклял судьбу.

— Поздравляю! Я с ним знаком?

— Садись, нет, вон туда. А знаешь, Майкл, ты очень изменился.

— В каком смысле?

— Не знаю, но изменился. Что случилось?

И он вдруг почувствовал, что либо должен рассказать ей все, либо поскорей убраться домой. До сих пор он ни одной живой душе не сказал про Шерли Эссекс— не любил откровенничать, да к тому же чувствовал, что свалял дурака. Но может быть, ему станет легче, если излить кому-нибудь душу. Так почему бы не рассказать Мэвис?

— Ну, что ж ты? — сказала она, видя, что он колеблется.— Забудь свою шотландскую гордость, Стратеррик! Ну, выкладывай же, мой дорогой.

— Понимаешь, лапочка, вся штука в том, что я свалял ужасного дурака. Бросился очертя голову в пропасть, влюбился в девчонку из предместья, более чем

вдвое младше меня.— И, хотя сэр Майкл сильно подвыпил, тем не менее он обстоятельно рассказал про Шерли, не пропустив или, вернее, не утаив ни малейшей подробности рокового посещения дома № 5 по Уинстон-авеню.

— Бедняжка ты мой! — воскликнула Мэвис, когда он вдруг оборвал свой рассказ.— Конечно, поделом тебе, старый, грязный развратник, я ведь гораздо лучше знаю, где и как ты проводишь вечера. Но продолжай. Что же было потом?

— Я думал, что излечился, но не тут-то было. Не могу выбросить эту девчонку из головы или, вернее, из воображения. Не знаю, что я сделаю, если найду ее. Но беда в том, Мэвис, что я не могу ее найти.

— Ты просто не старался по-настоящему. Ты ведь знаешь, где она живет...

— Конечно знаю. Я звонил туда не меньше десяти раз, и днем, и вечером. Но загвоздка не только в том, что ее нет дома. Там вообще никого нет дома. Нет ее отца и, что еще удивительней, нет матери. Вся семья как сквозь землю провалилась. Иногда мне кажется, что все это был сон.

— Ну-ну, надо рассуждать здраво.— Мэвис немного подумала.— Все очень просто. Они уехали отдыхать.

— Я уже думал об этом. Но они не собирались никуда ехать, об этом и речи не было.

— Очевидно, после того, как ты обратился в бегство — и, надо сказать, дорогой Майкл, ты показал себя изрядным трусом,— разразился семейный скандал. И тогда ее отец решил взять отпуск и ее увезли. Так что когда ты им названивал,— продолжала Мэвис не без злорадства,— она уже была в Истборне или Гастингсе и шла в кино с каким-нибудь чахоточным банковским служащим.— Она состроила гримасу.— Брось хмуриться, Майкл. Разве ты не видишь, до чего все это нелепо? Или ты так влюблен, что совсем потерял чувство юмора?

— Возможно. Хотя я всегда не доверял этой штуковине — английскому чувству юмора. А хмурился я потому, что обдумывал твое предположение об их отъезде на курорт, раньше мне это не приходило в голову. У меня нет никаких логических доводов, я руководствуюсь только интуицией, но твое объяснение, Мэвис, меня не удовлетворяет. Не знаю, что сделали ее родители, это мне безразлично, но я почти уверен, что она поступила на другую работу, возможно, уехала из Лондона. Она не просила в Комси характеристики, потому что в сущности только-только начала у нас работать. Она могла обратиться к этому типу Кемпу из Дискуса или просто представить старую характеристику. Кажется, этот самый Кемп, пронырливый пьянчужка, который терпеть меня не может, и устроил ее к нам, мне даже приходило в голову, что он предупредил ее насчет меня, сказал, что я постараюсь ее соблазнить!

— Да разве ты не хотел именно это сделать, Майкл?

— Конечно хотел. Всякий человек со вкусом и воображением может рехнуться от желания обладать ею,— ответил он мрачно.

Она рассмеялась.

— Кажется, ты наконец попался. Видимо, это холодная, решительная молодая женщина, которая и близко не подойдет к постели, пока ты на ней не женишься. Что ж ты теперь будешь делать?

— Надо быть сумасшедшим, чтобы на ней жениться. Не тот возраст, не тот характер, это выглядело бы диким, даже если бы я хотел жениться, а я этого вовсе не хочу.

— В таком случае, Майкл, мой дорогой, тебе остается только одно.— Она произнесла это торжественно, но в глазах у нее блестело злорадство.— Забыть о ней навсегда.

— Думаешь, я не пробовал? Но, как идиот, то и дело бросался к телефону! Много лет не чувствовал себя таким дураком.

— Тогда найди ее, Майкл. И женись на ней, хотя это и кажется тебе глупым. Если ты этого не сделаешь, то зайдешь в тупик.

И вот утром, отбросив остатки гордости, он позвонил в Дискус и попросил соединить его с Кемпом. Телефонистка заставила его ждать, и он тем временем раздумывал, как высказать свою просьбу. Но тут телефонистка сказала:

— Простите, сэр, но мистера Кемпа сегодня нет, и никто не знает, когда он будет.

Снова пустота! Впереди еще один пустой день, а затем — еще более пустой вечер.

13

Позже, когда сэр Джордж попытался собрать воедино все свои воспоминания, он пришел к выводу, что званый вечер вышел из-под его власти и обрел независимый, чуждый и враждебный ему дух за те самые сорок пять минут, что им пришлось ждать Неда Грина. К восьми часам все уже были в сборе и готовы сесть за стол. Трое, присланные из бюро услуг,— кухарка, горничная и некий образцовый дворецкий — видимо, знали свое дело, хотя в их внешности и манерах было что-то удручающее и никак уж не праздничное. Они словно были из одной разорившейся аристократической семьи, все трое одинаково высокие, тощие, немолодые, с очень похожими, словно бумажными, носами; плотно сжатые губы их выражали недовольство судьбой. Элисон, которая, против обыкновения, очень волновалась, сказала ему, что кухарка раскритиковала все на кухне, а когда сам сэр Джордж, отдавая распоряжения насчет напитков, хотел дружески поговорить с горничной и дворецким, оба закрыли глаза, словно не желали видеть новый крест, который им предстоит нести.

Однако дворецкого никак нельзя было упрекнуть в праздности. Пожалуй, он даже перестарался. Пока все томительно ожидали Грина, он то и дело вносил поднос с мартини и хересом, вследствие чего сэр Джордж и Элисон, охваченные волнением и тревогой, выпили гораздо больше обычного. Элисон, которая была в прекрасной форме, все же сумела сохранить блеск, зато сэру Джорджу стало неожиданно плохо после того, как он переволновался и целый час пил на пустой желудок. Он вдруг почувствовал, что гости ему неприятны. Можно ли было не заметить, что у Филиппа Баторига, хоть он и министр высшего образования, глаза посажены слишком близко к длинному носу, а губы оттопыриваются и весь он, право же, вульгарен. А его жена, эта унылая дура, считала Хэмистед ссылкой и кроме тонизирующей водички в рот ничего не брала. Ну, с Джеральда Спенсера спрашивать нечего, на то он Джеральд Спенсер, а его жена Доротея из тех женщин, что напоминают злющих голландских куколок, почти все время молчала, но с таким видом, словно вот-вот заявит гневный протест. Мюриэл Теттер всегда была ему безразлична, любительница спорить, она болтала все, что взбредет в голову, и уже дважды пыталась втянуть его в какой-то бессмысленный спор. Но этого мало — Баторига, хотя и пил все без разбора, уже явно скучал. И куда, к дьяволу, запропастился этот Грин?

Было почти без четверти девять, когда он наконец явился и даже не подумал извиниться. Невысокий, но крепко сложенный, темноволосый и небритый, в пыльном пальто, надетом поверх не менее пыльного свитера с глухим воротом, Грин, казалось, только что взял расчет после долгого плавания на грузовом судне. Не то чтобы он был пьян, но и не вполне трезв, и сэр Джордж с ужасом почувствовал, что это как бы второй Тим Кемп, только моложе, шумливее и злобнее.

— Поверьте, мистер Грин,— сказала Элисон,— мы вам ужасно рады. Но уж не взыщите, если обед перестоял. Мы ведь ждали вас к восьми.

— Никак не мог! Прошу прощения! Вы, конечно, на меня сердитесь? Ну, продолжайте в том же духе. Это вам идет.— Он улыбнулся ей во весь рот и резко повернулся, едва не сбив с ног дворецкого, который вошел объявить, что кушать подано.

— Поскольку вы, мистер Грин, в настоящее время живете во Франции,— сказал ему сэр Джордж за столом,— я не без некоторого труда раздобыл вот этот кларет. Надеюсь, он вам понравится.

— В рот не беру кларета, но все равно спасибо. Плесните-ка мне виски.— Вообще-то Грин не кричал, но создавалось впечатление, что он долго жил в тех местах, где люди не разговаривают, а кричат; он никогда не понижал голоса — хриплого и грубого,— так что всякое его замечание разносилось по всей маленькой столовой. Он сидел слева от Элисон — справа от нее усадили Баторига. Сэр Джордж

сидел между миссис Баториг и Доротеей Спенсер, и так как разговаривать с ними было не о чем, а он чувствовал себя не в своей тарелке и выпил слишком много мартини, он теперь прикалег на вино. И очень скоро у него возникло такое чувство, словно он обедает в неприятном сне. Даже когда Мюриэл Теттер и Джеральд Спенсер, которому уж во всяком случае следовало бы быть поумнее, начали приставать к Грину с расспросами и разговорами об искусстве, и он прикрикнул на них, чтобы они, черт их возьми, сменили пластинку,— это тоже было где-то далеко, словно во сне. Но Элисон, подумал он, поистине великолепна.

Элисон и чувствовала себя великолепно. Она действительно была, как сказал ее муж, горячей поклонницей творчества Грина, которое так пышно и волнующе расцвело в таинственной, увлекательной сфере на грани между сюжетностью и абстракцией; но при этом Элисон негодовала на него за опоздание и небрежный костюм, в то время как они с Джорджем потратили столько усилий и денег. На первый взгляд он был просто ужасен, какой-нибудь водопроводчик, да и только. Но когда он сказал, что ей к лицу сердиться, и одарил ее улыбкой, она вдруг почувствовала, что он вовсе не ужасен, что только такой человек и мог написать все эти чудесные картины. У него были странные, с прожелтью, глаза, вполне человеческие, и все же, по сравнению с домашним, ручным взглядом Джорджа и его друзей, это были глаза дикого зверя. В нем чувствовалась взрывчатая сила, без которой немыслим настоящий мужчина, но те мужчины, с которыми ей приходилось встречаться, утратили ее или никогда не имели. Мало того: уже через несколько минут после того, как они сели за стол, Элисон поняла, что она единственная, кем он склонен заинтересоваться; она чувствовала, что его явно влечет к ней, хоть это проявлялось в своеобразной, дикой и бесшабашной манере.

— Вы не могли бы говорить чуть потише? — решилась она сказать.

— Могу. А зачем?

— Затем, что я хочу быть уверенной, что вы разговариваете со мной, а не со всеми присутствующими.

— Резонно. Вас как зовут?

— Элисон. Означает ли это, что я могу называть вас Недом?

— Вот именно, Элисон. Ну, как теперь мой голос?

— Гораздо лучше, Нед. Но если бы вы постарались капельку поменьше...

— Эй, вы там! — рявкнул он горничной и дворецкому.— Как насчет виски?

Странное дело, они вовсе не так презрительно воспринимали его обращение, как робкие попытки ее и Джорджа завязать с ними дружбу. Быть может, он напоминал им каких-нибудь эксцентричных аристократов. Во всяком случае, бокал Неда незамедлительно наполнили до краев.

— Ну как, Элисон, посекретничаем? — заорал он ей в самое ухо. И прежде чем она успела ответить, положил руку ей на колено. Это наполнило ее разом восторгом и досадой, так как немедленное продолжение было невозможно. Он, однако, убрал руку и продолжал, не дожидаясь ответа: — Как только покончим здесь, все едем в «Зеленый гонг».

— Кто это все?

Неужели она обманулась? Неужели он не увлекся ею?

— Ну, вот ты, Элисон, крошка. И твой муж, если он будет очень уж настаивать, и всякий, кому надо. А мне надо. У меня там свидание с разными людишками. Повеселимся. Знаешь «Зеленый гонг»?

— В первый раз слышу, Нед.

— Это большой подвальный ресторан. Полно негров. Эх, и таланты расцветают там поздней ночью! Может, тебе не понравится, но плюнь на все и попробуй разок.

Да, Элисон и впрямь великолепна, подумал сэр Джордж, и, кажется, отлично сумела поладить с Грином, ведь ей не меньше, чем ему самому, хочется захватить эту выставку для Дискуса. Ну, уж об этом он позаботится. Сегодня или никогда. Он по-прежнему чувствовал себя как в неприятном сне и надеялся, что переговоры не будут носить щекотливый характер. Если он сам пьян, то что сказать о Грине, который не иначе как загипнотизировал дворецкого, и тот непрерывно подливает ему

виски! Он вздохнул с облегчением, когда Элисон, вся разрумянившаяся и сверкающая, увела дам, хотя это означало, что решительный час пробил. Теперь — за дело.

— Я не пью ни портвейна, ни коньяка, не курю сигар и вообще мне некогда,— объявил Грин, закуривая дешевую сигарету.— У меня свидание в «Зеленом гонге». Я уже сказал об этом вашей жене, Джордж, она тоже едет. Есть еще желающие? Всех угощаю. Ну?

— Еду хоть сейчас,— заявил Баториг, который только что налил себе целый стакан коньяку и, видимо, здорово накачался.— Пусть только меня подвезут. На моей машине жена домой уедет. Она не любит задерживаться допоздна, а я, конечно, постоянно задерживаюсь в палате.

Грин уставился на него.

— В какой такой палате?

— Баториг член парламента и министр высшего образования,— поспешил объяснить сэр Джордж.

— Да что вы! Ну, ему полезно прокатиться в «Зеленый гонг». Еще кто?

— Мистер Грин, сэр Джордж...— Джералд Спенсер виновато заерзал на стуле.— Боюсь, что мы с Дороте́ей...

— Ясно — вы пасс,— грубо оборвал его Грин.— И та бабка, что все норовила завести разговор об искусстве, тоже.

Но Спенсера не так-то легко было отстранить.

— Разумеется, я останусь, пока мы не закончим переговоры о выставке работ мистера Грина.— И он многозначительно посмотрел на сэра Джорджа.

Тот понял намек.

— Да, мистер Грин, мне кажется, мы уже достаточно ясно дали вам понять, что Дискус жаждет устроить выставку ваших картин...

— Об этом после, после! — раздраженно воскликнул Грин.— Бога ради, не все сразу.

— Вы хотите сказать, что предпочли бы обсудить этот вопрос позднее и не здесь?

— Да, именно это я хотел сказать и сказал.— Грин допил свое виски почти до конца.— Мне надо кое-кого повидать в «Зеленом гонге». А всякие там переговоры побоку. Когда я работаю, то живу, как последний монах, и полжизни для меня пытка. А когда не работаю — гуляй душа! — Он вдруг помрачнел.— И мне вовсе не нравится, когда я не уверен, что мне весело. Вот как сейчас.

— Мне очень жаль, что вы скучаете,— сказал сэр Джордж принужденно.— Мне тоже не очень-то весело, но я полагал, что мы собрались сегодня обсудить вопрос о выставке...

— Ну да, само собой. А я что говорю? Сперва съездим в «Зеленый Гонг»...

— По-моему, это вполне разумно, Дрейк,— сказал Баториг, глупо улыбаясь от уха до уха.

— Ладно, будь по-вашему. Едем в «Зеленый гонг» или хоть к черту на рога.— И сэр Джордж, твердо решивший ничего больше не пить до конца переговоров, налил себе умеренную порцию коньяку. Чтобы не видеть укоризненных взглядов Спенсера, широкой глупой улыбки Баторига и желтых жгучих глаз Грина, он смотрел в стол и тянул коньяк. И вместе с коньяком в него начали вливаться смутные, но тревожные воспоминания о том, что говорил Кемп про Неда Грина. Ничего не скажешь, его предупреждали.

— Поехали, приятель, поехали! — орал Грин. Он хватил кулаком по столу, потом вскочил на него. Видя, в каком расположении духа почетный гость, общество быстро распалось. Страдая от головокружения и тошноты, сэр Джордж ехал в такси с женой, которая была чем-то необычайно взволнована, слюнявым министром и знаменитым художником, то ли пьяным, то ли окончательно спятившим. А ведь только кларет, три бутылки шато — часть их содержимого бурно плескалась у него внутри, как самое дешевое зелье,— обошлись ему почти в семь фунтов. А сколько еще поставит в счет это аристократическое бюро услуг (он предоставил это Элисон, которая теперь, непонятно почему, хихикала, как семнадцатилетняя девчонка), одному богу ведомо!

14

О таких местах, как «Зеленый гонг», сэру Джорджу приходилось читать с неизменным неодобрением, но ему и не снилось, что он может сам туда попасть, хотя Элисон под настроение не раз внушала ему, что он, как глава Дискуса и покровитель современного искусства, должен глубже изучить ночную жизнь Лондона. Он так никогда и не узнал, куда его привезли, но, кажется, это было где-то в Сохо, среди кабачков со стриптизом. Они спустились вниз по крутой лесенке, и цивилизованный Лондон вдруг исчез. Они словно продирались сквозь джунгли. Сначала перед ними оказался небольшой погребок, что-то вроде бара, а потом, еще на несколько ступенек ниже, большой подвал, темный и битком набитый людьми, где стояла невообразимая жара и духота. Ритмично и пронзительно завывал джаз. Насколько можно было разглядеть при тусклом свете, цветных было здесь не меньше, чем белых. Грин, обхватив Элисон за талию, вел всю компанию, весело покрикивая и расталкивая встречных, куда-то к дальнему столику, который, вероятно, был для него оставлен. Когда сэр Джордж туда добрался, поспорив по дороге с двумя девушками, которые утверждали, что он «друг Джойса, старина Попс Питуорт», он обнаружил, что три столика уже сдвинуты и от остальной компании его отделяет человек десять.

Как на грех, от жары, вина и коньяка его одолевала отчаянная и неутолимая жажда, а Грин оказался щедрым, хоть и не слишком внимательным хозяином. Всевозможные напитки, среди которых преобладало виски со странным кислым привкусом, а также нечто с солидной примесью рома, появились перед ним из туманной неразберихи, и вскоре туман этот совсем сгустился, принял фантастические очертания. От Элисон, Грина и Баторига его теперь отделяло уже человек двадцать.

— Ох, тошно нам, приятель, тошно,— говорил ему человек, сидевший напротив. Это был зловещего вида тип, одноглазый и с рыжей бородой.

— Душно здесь, правда? — услышал он свой ответ.— Скверная вентиляция.— Казалось бы, он высказался вполне здраво.

Дикий взрыв хохота грохнул его по затылку, вырвавшись из какой-то теплой бесформенной массы, которая нахлынула на него сзади, и он, не без труда обернувшись, увидел самую здоровенную и толстую негритянку, какую встречал в жизни, мягкую малиновую женщину-гору, одетую, как лес весной, в яркий изумрудный вечерний наряд.

Сэр Джордж осмотрелся вокруг и бездумно обнаружил, что Элисон уже нет, а Грин вскочил и орет на сцепившуюся пару — вероятно, Баторига и тощую девицу, а может, это были вовсе не они, потому что все так смешно перемешалось. Однако, поскольку уши служили ему лучше, чем глаза, он явственно расслышал, как Грин крикнул: «Студия-квартира, Кромвель-роуд, 58-Б», и не один раз, а дважды. Это показалось ему ужасно смешным.

Наконец он уплатил два фунта неизвестно за что, а потом — эта мысль грянула как гром — он понял, что должен сделать: он должен уйти.

Молодой таксист, которого он нашел после множества нелепых приключений, доказывавших, что ночью в лондонском транспорте царит полнейшая анархия, видно, совсем свихнулся.

— Послушай-ка, приятель.— Сэр Джордж ясно слышал каждое его слово.— Ты все-таки подай голос. А то я по губам читать не умею. Давай включим звук и выясним, куда ехать.

Ну что же, не он один умеет говорить членораздельно.

— Студия,— выговорил сэр Джордж самым старательным образом и с бесконечным терпением.— 58-Б. «Б» — бургундское. Кромвель-роуд. Кром-вель.

— А «К» — косой,— добавил таксист.— Ясно. Договорились.

В такси здорово швыряло и слишком много световых эффектов мелькало перед глазами, так что у него разболелась голова и его снова начало тошнить, но после кошмаров «Зеленого гонга», после всех этих невероятных людей, криков и споров приятно было посидеть одному в прохладном укромном местечке, где не надо отвечать ни на какие вопросы. Они доехали без происшествий, только у двух последних светофоров

произошло нечто забавное — какая-то женщина в красном автомобильчике все время сигналила, словно хотела остановить такси.

— Слушай, друг, не иначе это твоя подружка, если только она не пьяна в стельку,— сказал таксист, остановив машину и беря бумажку в десять шиллингов.

— Вздор,— заявил сэр Джордж сурово.

— Гляди-ка, вон она опять.

И прошествовал к солидной, но гостеприимно распахнутой двери дома 58-Б. Внимательно, хоть и не без труда, он прочитал надпись на доске и узнал, что студия-квартира на последнем, пятом этаже. Лифт ждал внизу, но, как видно, не очень-то был расположен работать в такую позднюю ночь: дважды остановившись и дрожа от злобы, он поднялся только до четвертого этажа, и сэр Джордж, поплутав в темноте, убедился, что дальше до студии придется лезть по крутой лестнице, окутанной таинственным мраком.

Если входная дверь и была, он ее не заметил, и вошел без всяких колебаний, ведь здесь заканчивали вечер его собутыльники, а само название «студия» обязывало к гостеприимству. Он очутился в полутемном коридоре, куда выходило несколько дверей. Из-за одной пробивался свет, вероятно, вся компания была там. Он отворил дверь. За ней, в упоении, обнаженные и белые, как кусочки консервированной спаржи, обретались тощая девица и Филипп Баториг, министр высшего образования. Прежде чем они успели его заметить, он поспешно прикрыл дверь. Шокированный и окончательно сбитый с толку, он свернул не в ту сторону и очутился, видимо, на невысокой галерее над темной студией. Он ничего не видел, зато услышал достаточно и сразу понял, что это Элисон издает приглушенные, самозабвенные звуки, хотя в последний раз слышал их много лет назад. Весь дрожа, он прокрался назад в коридор и буквально скатился с лестницы, моля бога дать ему силы совладать с лифтом и выбраться на воздух, прежде чем его вывернет наизнанку.

Когда он вышел на улицу, красный автомобильчик сразу засигналил. Кто-то вышел и приблизился к нему, а он стоял, пытаясь подавить подступавшую к горлу волну тошноты.

— Сэр Джордж, это я.— Это была Джун Уолсингем.

— Минутку,— прохрипел он.— Меня тошнит.

Прежде чем его вырвало, он успел добраться до канавы и отправить куда следует остатки этой мерзкой, вонючей ночи. Он постоял немного, вытирая губы платком, провел свободной рукой по взмокшим волосам и вдруг вспомнил, что, когда ехал в «Зеленый гонг», на нем была шляпа, наверно, он ее там оставил. С этим он вернулся к мисс Уолсингем.

— Извините, мисс Уолсингем,— выдавил он из себя.— Я знаю, это отвратительное зрелище.

— Бедняжка! Но это каждому приходится пережить! — воскликнула она, как обычно, с опереточным пафосом, нисколько не смутившись.— Вам сейчас полегчает. Я увидела вас в такси и подумала, что вы крепко хватили. Вот я и поехала следом, боясь, как бы с вами чего не случилось. Но я все равно живу здесь рядом. И знаете, что я сейчас сделаю, сэр Джордж? Возьму вас к себе, напою кофе, а потом, когда вам станет лучше, отвезу домой.

Она была так рассудительна, дружелюбна и ласкова, что сэр Джордж, если бы его только что не вывернуло наизнанку, готов был ее расцеловать. Именно такая женщина, способная подняться над жизнью, нужна мужчине. Уже сев в машину, он вспомнил, что как-то спросил про нее у Джоан Дрейтон, но потом не пожелал слушать, чувствуя, что сейчас ему преподнесут целую сагу об интимных делах. И вот только что на глазах у этой самой женщины его вырвало в канаву. А теперь она сидит рядом, такая близкая и теплая — это его радует, потому что он продрог,— благоухающая духами, накрашенная пронзительная блондинка в черном плаще, небрежно накинутом на ярко-красное платье, исполненная вместе с тем глубокой материнской нежности, словно это сама мать-Земля гонит машину по Кромвель-роуд.

Она заставила его лечь на кушетку в гостиной, которая показалась ему удивительно большой и хорошо обставленной, и принесла ему кофе. Спать не хотелось, но его одолевала смертельная усталость; немного придя в себя, он понял, что был пьян,

но еще не отрезвел окончательно; это был кто-то усталый и чужой, но все же очень похожий на Джорджа Дрейка.

— Вам сейчас станет лучше,— сказала она.— Кофе горячий и очень крепкий. Вы до сих пор бледны, как полотно. Куда подевался весь ваш румянец? Пейте же кофе. И я выпью за компанию. Может быть, добавить капельку коньяку? Нет, пожалуй, лучше не надо.

Она села в низкое кресло у его изголовья.

— Спасибо вам, мисс Уолсингем...

— Пожалуйста, зовите меня просто Джун, не то мы почувствуем себя как на совещании в Дискусе. Представим себе, что мы за тридевять земель от Расселсквер.

— Хорошо, Джун.— Он глотнул кофе, который действительно оказался очень горячим и крепким.— Знаете, мне всего пятьдесят два. И я всегда считал себя бодрым для своих лет. Но сейчас я вдруг почувствовал себя стариком, по крайней мере мне кажется, что именно так должен чувствовать себя старик.— Его голос упал.

— Я могла бы вам рассказать поразительные вещи про некоторых стариков, которых мне довелось знать,— сказала она.— Среди них были и знаменитости.— Она отхлебнула кофе и улыбнулась ему.— Вы ведь ничего обо мне не знаете, правда? Но другие, конечно, все знают, так отчего бы не узнать и вам. А потом вы расскажете о себе. Последние десять лет я была любовницей одного знаменитого человека, не стану называть его имени. Мы не могли пожениться, хотя втайне я все же надеялась. Женщины, имеющие любовников, всегда надеются, хоть и не признаются в этом. Так вот, надежда рухнула, теперь я ему больше не нужна. Он еще притворяется, будто нужна, но это ложь. И вот в тупике, разнесчастная мягкосердечная дура.— К его удивлению, две слезы, не крупные и все застилающие, а мелкие и злые выкатились из ее глубоких темно-синих глаз.— А теперь, если хотите, рассказывайте вы.

— Хорошо, Джун. Так вот,— начал он медленно,— это был самый ужасный вечер в моей жизни. Бессмысленный, безумный! Вы знаете, мы устроили для Грина обед. Масса хлопот и расходов.— И он подробно описал все происшедшее, умолчав только об Элисон. Джун, видимо, это почувствовала и, когда стала расспрашивать его, тоже ни словом о ней не обмолвилась, но он не мог отделаться от чувства, что она обо всем догадалась.

— Я знаю хозяина этой студии,— сказала она с гримасой.— Он уехал и сдал ее Грину. Такой же негодяй. Они почти все такие, хотя некоторые чертовски обаятельны.

— Ну, я этого не нахожу! — воскликнул сэр Джордж.— Они меня не выносят, а я их. Ненадежные, безответственные, самодовольные! Ненавижу их всех. Господи, как бы я хотел вместо Дискуса руководить каким-нибудь более толковым учреждением. А так приходится кланяться этому мерзкому Грину и ездить в какой-то «Гонг».— Тут, к полнейшему его удивлению, глаза у него самого наполнились слезами. Разумеется, это было лишь следствием усталости.

Сделав вид, будто не замечает его отчаяния, она сказала с упреком:

— А ведь Тим Кемп пытался вас предупредить.

— Да, Джун, да,— согласился он устало.— Вы, конечно, считаете, что я плохо обошелся с Кемпом на совещании. Что ж, может быть, вы и правы.— Он поставил чашку.— Может быть, я был слишком возмущен тем, что его опять нам навязали, и поэтому даже не попытался по-настоящему использовать его своеобразные способности...

— В том-то и дело, мой дорогой.

— Значит, я плохой руководитель.— Голос его дрогнул.— Я никогда и не делал вид, будто разбираюсь в искусстве... Иногда мне кажется, лучше бы его вовсе не было... Но я всегда считал себя хорошим руководителем. Не чета этому тщеславному ослу Стратеррику, который превратил Комси черт знает во что.

— Если верить слухам, скоро это не будет иметь никакого значения.— Она наклонилась и сжала его руку.— Так что не удивляйтесь и не возмущайтесь, если я на днях уйду с работы. А теперь я отвезу вас домой, да, да, домой. В такую рань на улицах ни души, и я люблю ездить в эту пору, так что поехали!

Входя в свой подъезд, он услышал, как машина с ревом помчалась вниз с холма, и подумал о Джун с сожалением и благодарностью. Вот поистине прекрасная жен-

щина! Элисон, конечно, и в помине не было, так он и знал. Квартира еще не оправилась от званого обеда: то печально, то насмешливо, она нашептывала ему о неверных женах, которые шляются бог весть где, о бесстыдных развратниках гостях, об идиотских мечтах, глупых надеждах и горькой действительности. А посреди стола лежала записка, и к тому же в весьма надменных выражениях, от аристократической прислуги, которая ухитрилась оставить после себя неодобрительное «фу». Сэр Джордж лег в постель, мечтая проспать по крайней мере полгода.

15

— Сэр Майкл,— сказала мисс Тилни,— там, внизу, ждет мистер Кемп, он просит уделить ему несколько минут.

— Хорошо, пригласите его. И вот еще что, мисс Тилни. Мое особое виски на исходе. Вы сейчас не слишком заняты? Так вот, не откажите в любезности съездить к «Пэрвису и Брауну» — это в Найтсбридже, ведь вы, кажется, уже бывали там? — и купить мне пару бутылок.

— Я могла бы сделать это во время перерыва на завтрак...

— Разумеется, но я не хочу лишать вас завтрака, мисс Тилни, так что, пожалуйста, попросите сюда мистера Кемпа и сразу же поезжайте.

— Хорошо, сэр Майкл,— сказала она с печальной покорностью.

Уверенный теперь, что его разговор с Кемпом не будет подслушан, сэр Майкл снова опустился в кресло, вытянул ноги и закурил сигарету. Через минуту легкой походкой вошел Кемп. Старые недруги посмотрели друг на друга с откровенным любопытством.

— Как мило с вашей стороны, Кемп, приехать в такую даль из Дискуса.

— Сейчас я там не бываю,— сказал Кемп, устраиваясь поудобнее и попыхивая трубкой.— Мы с Дрейком повздорили, кстати сказать, из-за этой истории с леди Бодли-Кобем, и я позволил себе роскошь взять отпуск по болезни. Но вчера я позвонил туда, и мне сказали, что вы несколько раз спрашивали меня по телефону. И вот я здесь.— Он улыбнулся своей едва заметной, вкрадчивой, лукавой улыбкой.

— В таком случае я перейду прямо к делу.— Сэр Майкл пристально посмотрел на него.— Не знаете ли вы, где эта девушка? Я спрашиваю о Шерли Эссекс.

— Знаю, о ком вы спрашиваете. И знаю, где она.— Снова эта прожлятая улыбочка.

— Ну?

— Тут не может быть никаких «ну», Стратеррик. Чего вы от нее хотите?

— Но послушайте, милейший! — Тон сэра Майкла мог бы поспорить в суровости с его взглядом.— Это касается только меня.

Несколько секунд Кемп молча дымил ему в лицо.

— Вы полегче, не то сейчас, чего доброго, скажете, чтоб я не лез в чужие дела. Я и не лезу. Эта девушка — мой друг. И я знаю, где она и чем сейчас занимается. Вы тоже знали бы это, считай она и вас другом.

— Все это далеко не так просто,— сказал сэр Майкл сердито.— И нечего притворяться, будто вы этого не понимаете, Кемп. Я не раз думал, что именно вам обязан всем этим... этим...

— Чем же?

— Ладно, незачем уточнять. Но ведь это вы помогли ей перейти сюда из Дискуса, верно?

— Конечно. Зная, как вы падки до хорошеньких девушек...

— Она не просто хорошенькая девушка, каких много, Кемп. Я думал, у вас есть воображение. Она изумительная красавица, с ума сойти можно.

Кемп бросил на него любопытный, испытующий взгляд.

— Совершенно верно. Тут мы с вами сходимся. А расходимся в том, что вы хотите с ней спать, а я нет. Мне просто приятно смотреть на ее удивительное лицо и слушать — или притворяться, будто слушаю,— ее смешную детскую болтовню. Я не скажу вам, где она.

Некоторое время сэр Майкл колебался, потом резко переменил тон.

— Вы, наверно, специально ее сюда устроили, чтобы я мучился. Если так, чисто сработано. Признаюсь, я не могу ее забыть. И места себе не нахожу. Я звонил ей домой раз десять, не меньше, но никто не подходит к телефону. Что случилось? Можете вы мне объяснить?

Кемп кивнул.

— Конечно, могу. Ваше посещение подействовало вроде катализатора. Произошел здоровенный взрыв. Шерли отправили к подруге. Ее родители перессорились. Мне кажется, взрывчатка накапливалась уже давно. Сами того не подозревая, вы — а может быть, и Шерли — бросили туда горящую спичку. Так что зря вы им названивали — дом пуст. Ее мать живет у брата, дядюшки Шерли, в Хове. А отец перевелся на новую фабрику, которую его компания открывает где-то под Ньюкаслом.

— Надеюсь, навсегда.

— Вы, кажется, рады?

— Вы бы тоже обрадовались, если б его видели. Значит, насколько я понял, Шерли устроилась на работу?

— Пришлось. И на время она получила отличную работенку.

— Странно,— угрюмо буркнул сэр Майкл.— Она была прескверным секретарем, Кемп.

— Но ведь не для этого же...

— Ах, оставьте! — Сэр Майкл встал и отошел от стола, но тут же должен был вернуться: звонил телефон.— Нет, я не хочу с ним разговаривать,— сказал он резко.— И пожалуйста, не мешайте, я занят.— Он снова отошел от стола, повернулся и посмотрел на Кемпа.— Послушайте-ка. Я не очень-то вас люблю и знаю, что наши чувства взаимны. Вы считаете меня высокомерным, самонадеянным бабником, которому не место в этом кресле. Я тоже считаю, что вы никуда не годный работник, и не потому, что вам ума не хватает, вы человек неглупый, а почти все здесь и в Дискусе глупы, но вам на все плевать, вы разленились и слишком много пьете. Ну?

— Откровенно сказано,— отозвался Кемп мягко.— Но что же дальше?

— Я не совращал этой девушки, зато она с успехом совратила меня. Разумеется, в уме, в воображении, где проходит подлинная моя жизнь. И если вы, так же как ее мать, спросите, каковы, в сущности, мои намерения, я не смогу ответить. У меня нет никаких намерений. Я знаю, это выглядит смешно, но это правда.

— Я верю вам, друг мой. Сказать откровенно, я в общем-то ожидал чего-то такого, ошеломляющего.

— Не сомневаюсь. Послушайте, Кемп, сжальтесь надо мной! Если девушка помолвлена, тогда, конечно, другое дело. Но единственный человек, с которым я на днях поделился,— одна женщина, мы с ней друзья,— можно сказать, прямо посоветовала мне не отступать, не бояться выставить себя дураком. Но как могу я жениться на девушке вдвое моложе меня, с которой у меня нет ничего общего, на девушке из совсем иного круга, на девушке, в которой под этой необычайной внешностью скрывается просто-напросто машинистка из предместья,— я вас спрашиваю, Кемп, как могу я это сделать?

— Не знаю,— сказал Кемп и встал.

— Вам следовало подумать об этом,— воскликнул сэр Майкл,— прежде чем ставить меня в такое положение. Дикая безответственность — как это на вас похоже! Так говорите же, где мне ее найти?

— Не скажу. И тут уж меня не обвинишь в безответственности, тут я, в порядке исключения, действую с полной ответственностью. Но я скажу ей, что видел вас. Передать что-нибудь?

— Через вас? Конечно нет.— И, не обращая больше внимания на посетителя, сэр Майкл направился к телефону.— Попросите, пожалуйста, мистера Марлоу подняться ко мне.— Положив трубку, он увидел, что Кемп исчез. И с ним исчезла какая-то теплота, какая-то волшебная перспектива, исходившая, разумеется, не от самого Кемпа, которого сэр Майкл и в самом деле терпеть не мог, но появившаяся и ис-

чезнувшая вместе с ним, потому что он был связан с Шерли. И сэр Майкл мрачно подумал, что совсем одурел от любви.

— Джим,— начал он, как только Марлоу вошел,— вы в таких делах разбираетесь лучше, чем я. Скажите, если девушка... или нет, вообще всякий служащий... переходит на другую работу, должны ли документы — страховой полис, форма П-45 и все прочее — быть переданы от старого новому работодателю?

— Вас интересует мисс Эссекс?..

— Причем тут она? — сэр Майкл принял надменный вид.

Марлоу поднял брови.

— Видите ли, за последнее время она единственная ушла из Комси.

— Ну хорошо, меня интересует мисс Эссекс. Здесь только что был Кемп и сказал, что она нашла очень хорошую работу, но не сказал, где именно. А мне любопытно было бы узнать. Вы не могли бы выяснить по документам, где она работает?

— В данную минуту — нет. Мисс Бэри сказала мне, что несколько дней назад мисс Эссекс заходила к ней, взяла свой страховой полис и форму П-45, вот и все. Нет никакой возможности узнать, куда она поступила.

— Что за чертовщина! Мы воображаем, что, как герои Кафки, с ног до головы опутаны бюрократией и о нас известна вся подноготная, а когда нужны самые простые сведения, их не достать — девушка как сквозь землю провалилась.

— Но мисс Бэри понятия не имеет, чем теперь занимается мисс Эссекс, я ее уже спрашивал. Кстати, сэр, вот ваш билет до Бэрманли и обратно, в вагоне для курящих. Джеф Берд поедет отдельно, во втором классе. Номер вам заказан в Северо-западном отеле...

— Чтоб им всем провалиться в тартарары — и отелю, и Бэрманли, и репертуарному комитету, и всей современной драме! Ладно, ладно, я обещал поехать и поеду. Но вернемся к этой девушке, Джим. Ведь даже в наши дни девушке не так-то легко уйти с одной работы и сразу же устроиться на другую!

— Да, нелегко. Мисс Бэри говорит, что, по всей вероятности, она воспользовалась помощью какого-нибудь агентства, которое устраивает девушек на временную секретарскую работу. Мы сами иногда прибегаем к услугам таких агентов.

— Джим, я хочу знать, где она. Вы не могли бы поручить кому-нибудь обзвонить эти агентства и навести о ней справки?

Вид у Марлоу был неуверенный, голос тоже.

— Могу, конечно. Но их, вероятно, десятки.

Его прервал телефонный звонок.

Звонил Дадли Чепмен, он доложил сэру Майклу, что пришел человек по фамилии Джонс, из статистического отдела министерства финансов и просит директора принять его.

— Мне кажется, у него важное дело, сэр,— добавил Чепмен тоном заговорщика, передающего нечто совершенно секретное.

— Ну, если вам так хочется, пусть войдет,— сказал сэр Майкл с раздражением.— Я должен принять какого-то Джонса из министерства финансов,— объяснил он Марлоу.

Вид у Марлоу сразу стал испуганный.

— Я кое-что слышал об этом Джонсе. Не нравится мне это.

— Да ну, ему, наверно, нужны какие-нибудь статистические данные. Для вас не составит труда их подготовить?

— Надо полагать. Но в его присутствии мне неудобно поручать кому-нибудь из девушек обзванивать агентства...

— Вполне удобно,— резко оборвал его сэр Майкл.— Но отвечаю за это, конечно, я, а не вы. Так что не теряйте времени, Джим. Вы свободны.

Марлоу почти выбежал из кабинета, словно боялся, что Джонс его укусит. Сэр Майкл положил железнодорожный билет до Бэрманли в бумажник и мысленно снова проклял этот городишко. Мисс Тилни еще не вернулась, так что Джонсу пришлось представиться самому. При этом он вручил сэру Майклу карточку, на которой значилось: «И.Б.К.Т.Н. Джонс. Статистический отдел министерства финансов».

И.Б.К.Т.Н. Джонс был высоковатый, седоватый, грустноватый человек со смутной лицемерной улыбочкой и манерами, рассчитанными на то, чтобы запугивать людишек вроде Джима Марлоу и Дадли Чепмена. Сэр Майкл сразу понял, что этот молчаливый тип — один из тех бюрократов, которые намеренно не заводят непринужденных разговоров о пустяках, рассчитанных на то, что собеседник, пытаясь поддержать разговор, проболтается, как последний идиот. У сэра Майкла тоже не было ни малейшей охоты болтать.

— Я хотел бы провести здесь несколько дней,— сказал Джонс, усевшись в предложенное ему кресло.— Надеюсь, вы не возражаете?

— Нисколько,— ответил сэр Майкл и замолчал, отвечая на взгляд Джонса не менее упорным взглядом.

— Вы будете здесь завтра? — осведомился Джонс, проиграв первый тур.

— Нет. Еду в Бэрманли.

— Позвольте спросить, зачем?

— Мой зав театральным отделом Берд,— ответил сэр Майкл, проигрывая второй тур,— считает, что я должен посмотреть новую американскую экспериментальную пьесу, а завтра премьера. Он полагает, что Комси следует содействовать ее постановке в Лондоне.

— А ваше мнение?

— Все будет зависеть от пьесы. Я не верю в содействие ради содействия. К тому же, если даже она и представляет какой-то интерес, я органически не выношу Бэрманли.— И сэр Майкл, теперь уже не взглянув на собеседника, замолчал, видимо, считая игру конченной.

И.Б.К.Т.Н. пришлось начать новый тур.

— Не скрою, что некоторым из нас, сотрудников статистического отдела, даны широкие полномочия производить расследования. Я здесь не просто для сбора статистических данных.

Но не на того напал. Сэр Майкл спокойно посмотрел на него.

— Вот как? — снова подача Джонса.

Джонс попытался пустить в ход свою смутную лицемерную улыбочку, подобную бледной заре, всходящей над тонущим судном.

— Кажется, в отличие от Дискуса, вы существуете не только на субсидии министерства.

— Лишь наполовину.

В этот самый миг мисс Тилни, то ли по обычной своей рассеянности, то ли взбешенная тем, что ее отослали, ввалилась с двумя бутылками виски.

— Ах, простите...

— Ничего, ничего. Это моя секретарша мисс Тилни, а это мистер Джонс из министерства финансов. Пожалуйста, поставьте виски в шкафчик, мисс Тилни.— Он посмотрел на Джонса.— Это особое виски. Я предложил бы вам выпить, но сейчас слишком рано. Я пью его сам и плачу, между прочим, тоже сам. Но тут есть бутылка хереса, специально для посетителей, и вы имеете право на свою долю, это стоит, кажется, девять шиллингов шесть пенсов, половина девятнадцатишиллинговой бутылки. Кстати, финансовой частью у нас заведует Джеймс Марлоу, милейший человек, кристальной честности. И вообще у меня тут все на редкость честные, работящие сотрудники, они не щадя сил выполняют свой долг. Но, служа в Комиссии содействия искусствам, Комси, они нередко недоумевают, в чем именно состоит этот долг. Куда лучше было бы им в министерстве сельского хозяйства или здравоохранения.

Джонс отрывисто фыркнул, словно морской лев при виде человека, собирающегося бросить ему рыбу. Потом, совладав со смехом, он пристально посмотрел на сэра Майкла.

— Скажите, в общем и целом вы удовлетворены работой Комси?

— Нет.

— Вот как! Позвольте спросить, почему же?

— Не в той стране мы живем, мистер Джонс.

— Будьте любезны объяснить свою мысль подробнее, сэр Майкл.

— Большинство здесь в грош не ставит искусство, в том числе и люди, которые руководят страной. Может быть, они притворяются небезразличными, но на деле им все равно.

— А вам? Или этот вопрос неуместен?

— Я готов ответить. До известных пределов, объясняемых особенностями моего характера, мне далеко не все равно. В противном случае я не сидел бы за этим столом, хотя, конечно, мне надо как-то зарабатывать на жизнь.

Джонс встал, теперь его улыбка была уже не такой смутной и не совсем приворной.

— И завтра вы едете в Бэрманли, хотя терпеть не можете этот город. Поскольку ваш заведующий театральным отделом — Берд, кажется? — тоже уезжает завтра, я, пожалуй, начну с него. Не стану скрывать, театр меня интересует.

— Вот как? — сэр Майкл подошел к двери.— Мисс Тилни, позвоните Берду и предупредите, что мистер Джонс сейчас спустится к нему. Ну вот, мистер Джонс. Прошу вас, без церемоний.

Джонс бросил на него странно-задумчивый взгляд.

— Благодарю вас, сэр Майкл. Никак не ожидал, что вы такой.

— Я и сам иногда на себя удивляюсь. Надеюсь, мы еще встретимся. А пока до свидания, мистер Джонс.

16

— Это потрясающе,— сказал Джеф Берд, когда они отыскали свои места и уселись.

— Надо полагать,— отозвался сэр Майкл.— Я слышал, как в фойе человек двадцать толковали друг другу, что это потрясающе.

— Но неужели вы еще не чувствуете, что тут есть нечто?..

— Нет, Джеф, не чувствую. Ровным счетом ничего не чувствую.

— Кстати, здесь кое-кто из лондонских критиков.

Он назвал каждого и принялся объяснять сэру Майклу, где кто сидит.

Но если сэр Майкл и озирался по сторонам, то не потому, что искал среди публики театральных критиков, которые нисколько его не интересовали. Когда они усаживались, ему показалось, что где-то мелькнули великолепные темно-рыжие волосы Андреа Бэбингтон. Андреа, художница-декораторша, могла приехать на премьеру в надежде получить заказ на декорации для лондонской постановки. От этой Андреа он старался держаться подальше еще до появления Шерли Эссекс, это было красивое, чувственное создание, но она быстро надоедала и не способна была более двух минут говорить о чем-либо кроме театра; и все же, помня, как грустно ему придется заканчивать вечер в этом Бэрманли, в каком-то Северо-западном отеле, где ночью так трудно развлечься, он озирался, желая убедиться, что она здесь.

— Кажется, вон тот из «Дейли ньюс»,— сказал Берд.

— В таком случае это тем более потрясающе, Джеф.— Сэр Майкл решил отложить поиски Андреа до антракта.

— Как вам нравится театр? Здесь им так гордятся.

— Вы хотите сказать, им гордится сотня людей, а остальные шестьсот тысяч либо терпеть его не могут, либо безразличны. В кои-то веки присоединяюсь к большинству,— продолжал сэр Майкл с тем удовольствием, с каким мы всегда смакуем свои предубеждения.— Я человек старомодный и очень прямой... когда дело касается театра. Я люблю яркие огни, красный бархат, купидонов по бельэтажу и все такое. А эти гигантские аудитории, как на хирургических факультетах, нагоняют на меня скуку или тоску еще до начала спектакля. Они до того практичны, что их можно принять за цеха новых заводов. Этим отчасти можно объяснить, почему рабочего ничем сюда не заманишь. Но вы лучше моего в этом разбираетесь, Джеф. Помните, как перед самым началом спектакля огни рампы волшебно освещали складки занавеса и музыка начинала затихать? А теперь нет ни занавеса, ни музыки, а часто нет и спектакля. Ну да ладно, посмотрим.

— Колоссальный успех вне Бродвея,— пробормотал Берд, когда огни начали гаснуть.

Через двадцать минут после начала «Кукол» сэра Майкла одолела такая скука, что он начал думать о постороннем, совсем не интересуясь тем, что происходило в Нью-Йорке между молодым человеком, который орал во все горло, и девушкой, которая говорила шепотом и, по-видимому, была в него влюблена. Других героев в пьесе не было, если не считать кукол. Приходилось угадывать, что хотят сказать куклы — а это было либо слишком легко, либо решительно невозможно,— по ответным репликам молодого человека и девушки.

Вот опять, подумал он без особой радости, авангардисты попались в ловушку, сделали целую пьесу, хотя материала тут на десятиминутный скетч в ревю для снобов. Он начал думать о том, где теперь Шерли и что она делает. Вот досада — как ни твердил он себе, что вспоминает не ее, а лишь ее прекрасное лицо, но вспоминал лишь ее, а лица вспомнить не мог. Зато когда он переключался на Андреа, которая непременно должна быть здесь и спасти его от тоскливого вечера в Бэрманли, он без труда вспоминал ее во всех подробностях, одетую или раздетую. Тем временем куклы появлялись и исчезали, молодой человек орал, девушка шептала, а небоскребы подмигивали над скелетообразными декорациями. Но вот наконец антракт, слава тебе господи!

— Не хотите ли выпить, сэр Майкл?

— Очень даже.

— Так вот, директор угощает всех в своем кабинете.

— Идите туда, Джеф, я сейчас подойду, только поищу одну знакомую. Если найду, мы придем вместе.

В фойе, конечно, было полно народу, и прошло несколько минут, прежде чем он убедился, что Андреа там нет. Проклиная неудачу, он пошел в кабинет директора, куда набились все те, кого, как ему казалось, в Америке называют любителями даровщины. Но кроме того там оказалась и Андреа — разговаривая с Джефом Бердом, она пила джин и была совершенно неотразима в ярко-зеленом шелковом платье. Берд приберег для сэра Майкла виски.

— Майкл, дорогой! — воскликнула она.— Мне хочется думать, что это меня вы искали.

— Ну конечно же, дорогая. Мне показалось, что я вас видел, вот я и вертелся внизу, надеялся вас найти. Клянусь богом.

— Чудесно! Скажите, ведь правда, это потрясающе?

— Ну конечно.— Он огляделся, нет ли еще виски, но тут его стали знакомить с директором, потом с режиссером, потом с унылой четой американцев, которые оказались авторами. После этого они выпили еще по нескольку рюмок виски, а там прозвенел звонок, все поспешили занять свои места, и он не успел больше поговорить с Андреа. Но они вместе вышли из кабинета.

— Андреа, лапонька, ты остановилась в Северо-западном отеле?

— Да, моя радость. Третий этаж, номер триста шестнадцать. Но меня пригласили к ужину. Они были бы, конечно, счастливы видеть и тебя, Майкл.

— Нет, это могут превратно истолковать. Я тихо-мирно поужинаю в гостинице, если только там найдется что-нибудь съедобное, и буду ждать тебя, дорогая. Только приходи не очень поздно.

— Хорошо, милый.— Она сжала его руку.— Это деловой ужин, а вовсе не развлечение. Нужно разузнать, не собирается ли кто поставить это в Лондоне. Я для того и приехала, хотя теперь у меня есть куда более приятная цель. Не позже двенадцати. Не забудь же, номер триста шестнадцать. Ну, мне сюда.

Джеф Берд уселся на свое место, раскрасневшись от пива и волнения.

— По-моему, эти две последние сцены и обеспечили пьесе успех в Нью-Йорке.

— Ну конечно, Джеф. А вы распорядились в гостинице насчет ужина?

— Для вас. Подадут в номер. А я, если вы не против, пойду на прием.

— Конечно. Только ничего не обещайте от имени Комси.

— Разумеется, сэр Майкл. Но мне вы потом скажете свое мнение, не правда ли?

Сэр Майкл обещал; тем временем состав кукол расширился, почти все они разбогатели, и пьеса, под крик и шепот, перешла во второй акт. Надеясь, что молодой человек хоть раз что-нибудь шепнет, а девушка крикнет, сэр Майкл прилежно старался следить за развитием действия. Влюбленные отпраздновали свадьбу с полным составом кукол, из которых одни стояли, другие — сидели, а две даже лежали в уголке, то ли скончавшись, то ли вознамерившись заняться любовью. После того как каждая произнесла скучнейший монолог, начались грандиозные финальные сцены, которые так взволновали Гринвич-виллидж. Он, муж, разыграл сцену с ней, своей женой, но теперь она, конечно, тоже стала куклой. А потом она разыграла сцену с ним, и он тоже превратился в куклу. Сэр Майкл не мог больше выносить это, но почувствовал, что не прочь поглядеть коротенькую сценку под занавес, немую из милосердия к зрителям, в которой оба героя — куклы. Овация была хоть и не всеобщей, но достаточно щедрой, и молодых супругов раз шесть вызывали, но без многочисленной вспомогательной труппы. Радуясь долгожданному концу, сэр Майкл с трудом подавил в себе желание крикнуть: «Браво, куколки!», чтобы и они могли раскланяться.

Берд, который вскочил с места и изо всех сил бил в ладоши, начал что-то сбивчиво объяснять насчет лондонских критиков — этот горячо аплодирует, тот спешит к выходу с улыбкой, а вон тот погружен в задумчивость.

— Пожалуй, надо мне повертеться среди них, разузнать их мнения. Вы еще зайдете к директору, сэр Майкл?

— Вероятно, нет, Джеф. Но вы идите. Встретимся в фойе, а потом я поеду в гостиницу.— И Джеф исчез, весь нетерпение, усердие, пыл, самый что ни на есть подходящий руководитель театрального отдела в Комси, только вот помешан на театре, хотя ничего в этом не смыслит.

Сэр Майкл подождал несколько минут в фойе, и вот с лестницы прямо из директорского кабинета кубарем скатился Берд, он был до того взволнован, что утратил дар речи. Но в конце концов, сбиваясь и путаясь, он сообщил, что тот в восторге, этот без ума, кое-кто сомневается, или считает режиссерское решение неудачным, или же ему понравился герой, но не понравилась героиня, и прочая и прочая, а сэр Майкл тем временем наслаждался сигаретой, которой был лишен целый час с четвертью.

— А ваше мнение, сэр Майкл? — спросил наконец Берд, сгорая от нетерпения.

— Джеф, дайте слово, что никому не скажете за ужином. Слышите — дайте честное слово.— Он говорил медленно и тихо.— Ну так вот, по-моему, это дикая скучища.

— Значит, Комси не будет содействовать постановке в Лондоне?

— Если только меня не выволокут в наручниках из моего кабинета, в Комси даже название ее не будет упомянуто. Мне очень жаль вас огорчать, Джеф.

Он съел прямо с подноса безвкусный холодный ужин, поданный в номер, выпил виски, принесенное на том же подносе, потом добавил еще, из собственных запасов, выкурил несколько сигарет и без всякого интереса принялся читать воспоминания известного парижского торговца картинами. Начиная с половины двенадцатого, он стал нетерпеливо поглядывать на часы. Он уже страстно желал Андреа, эту чувственную и пылкую женщину. Время ползло, как черепаха. В две минуты первого, еле сдерживая нетерпение, он поднялся со второго на третий этаж и, убедившись, что его никто не видит, тихонько постучал и налег на дверную ручку номера триста шестнадцать. Ну конечно, Андреа еще не было, и он обругал себя дураком — вообразил, что она придет вовремя. Десять против одного, что она все еще на этом ужине и, конечно, здорово подвыпила. Вернувшись к себе, он разделся, сунул ноги в комнатные туфли, накинул халат поверх пижамы, потом побаловал себя еще рюмкой виски и двумя сигаретами. Он не мог больше читать парижского торговца, и теперь в душе его боролись радость и уныние. Только в половине первого он наконец распахнул дверь номера триста шестнадцать, которая была оставлена приоткрытой на полдюйма.

— Милый, я тебя просто заждалась,— сказала Андреа, когда он запер за собой дверь. На ней была легкая накидка, а под накидкой — ничего, только сверкающая белизной кожа; она и не думала скрывать свою наготу. Ну, ясное дело, выпила.

— Нет, это я тебя заждался, дорогая. Я уже раз приходил. Ну, как ужин?

— Закуска ужасная, но выпивки вволю. А толку никакого. Я все время рвалась уйти. Ну поцелуй же меня, ты, старый, негодный мошенник!

Он исполнил ее желание, после чего руки их начали привычный путь, и в первые минуты казалось, что в этот раз им будет хорошо, как никогда. Но тут он как на грех высвободился из ее объятий, чтобы снять халат и шлепанцы.

— Там болтали всякие глупости,— сказала она, садясь на край кровати,— будто пьеса тебе не понравилась, Майкл.

— Это правда,— отозвался он, не подумав, и сел рядом с ней, готовый возобновить сладостную игру.— Не понравилась.

— Майкл, милый, не шути, этим не шутят. Ты же прекрасно знаешь, как мне хочется сделать декорации и кукол для настоящей постановки, не то что эта стряпня репертуарного объединения.

— По правде сказать, не знал.— Он говорил несколько отрывисто: в эту минуту ему меньше всего хотелось разговаривать о театре.

Она нахмурилась, отняла у него руку и быстро прикрылась накидкой, спрятав все, что представляло для него непосредственный интерес.

— Зачем же ты приехал?

— Побыть с тобой, Андреа, милая.

— Ах, не морочь мне голову, ведь для этого почти в любой вечер тебе достаточно снять трубку. Я говорю о пьесе.

— Джеф Берд чуть не силой меня заставил.— Он говорил резко, между прочим, и оттого, что сильно замерз.— Не полагается на собственное мнение. И правильно, у Джефа его просто нет. Вот и пришлось мне ехать смотреть эту пьесу. Что ж, я посмотрел. По-моему, это невыносимо нудно.

— Какая чепуха! Это оригинально. Это подлинный эксперимент. Это потрясающе. Это...

— Одна умная мыслишка, а обсасывают ее битых два часа,— сказал он, сунул ноги в шлепанцы и надел халат.— И если бы ты поменьше думала о заказе на новые декорации, то поняла бы, до чего это скучно.

— Может быть, ты живешь святым духом, а мне надо на жизнь зарабатывать,— огрызнулась она. Теперь она сидела на кровати, сверля его взглядом.— Почему ты считаешь себя умнее всех? Уилкинс из «Гэзетт» без ума от пьесы. Критик из «Дейли ньюс» сказал, что это самая захватывающая вещь сезона. Думаешь, твое мнение весит больше, чем их?

— Для меня — да. И кроме того, это два идиота...

— Да замолчи ты бога ради! — воскликнула она.— Ты просто вонючий, самоуверенный дурак, вот ты кто! Ненавижу тебя.

— Ах, какая жалость! В таком случае спокойной ночи, Андреа, дорогая!

На другое утро он ехал в Лондон поездом 9.45 в одном купе с пятью дельцами из Бэрманли. Все они были с кожаными чемоданами, все то и дело вынимали какие-то контракты, закладные и золотые авторучки или карандаши, а потом все разом захрапели. Сэр Майкл вяло думал о них, со смесью презрения и зависти. Потом стал думать о Джиме Марлоу и об агентствах по найму секретарей, об И. Б. К. Т. Н. Джонсе, этом соглядатае из министерства финансов, о Шерли. Поезд нес его в майское утро, через несколько английских графств, в которых царило запустение.

17

Началось это страшное утро с того, что сэр Джордж явился на Рассел-сквер с опозданием на целый час, если не больше. Как добросовестный служака, он требовал неукоснительной аккуратности не только от своих сотрудников, но и от себя, и торопливо вошел в кабинет, испытывая неловкость перед самим собой. Но опоздал он не по своей вине. В час дня Элисон улетала в Париж и в который раз настойчиво объясняла ему, как ей необходимо повидать Марджори Сидни, которая уехала в Париж на несколько дней по делам ЮНЕСКО. С той же настойчивостью она в четвертый раз показывала ему письмо от Марджори. Он отлично знал, что все подстроено и она просто едет на свидание с Недом Грином. Сам он ей не рассказывал, что тоже побывал в студии: пусть думает, что он поехал домой прямо из «Зеленого гонга». Ни разу

он не спросил ее, почему она ни словом не обмолвилась о Неде Грине, который, как он знал, уже уехал во Францию. Ясно было одно: она чувствовала, что сэру Джорджу что-то известно, потому до последней минуты пыталась оправдать свою готовность немедленно ответить на призыв Марджори Сидни. Гнусно было порядочному человеку вдруг оказаться в такой ситуации. И вот он опоздал на целый час.

Но не успел он войти к себе, как Джоан Дрейтон с каким-то странным видом положила перед ним визитную карточку:

— Он тут, сэр Джордж.

— Кто это «он»?

— Этот человек. Этот Джонс. А я вдруг вспомнила, что Тим Кемп как-то говорил про некоего Джонса.

— Карточка его? — И сэр Джордж прочел: — «И. Б. К. Т. Н. Джонс. Статистический отдел министерства финансов». О черт, не нравится мне это. Что он за человек?

— Боюсь, что он именно из тех, кто вам никак не может нравиться, сэр Джордж. Мне он симпатии не внушает. Пришел с час назад, спрашивал вас. Я ему сказала, что вы обычно приходите как часы, ровно в десять. Но он прождал минут двадцать и как будто мне не поверил. Сейчас он, кажется, у Нейла Джонсона.

— Но Нейл ненавидит министерство финансов и, наверно, так ему и заявил. Нехорошо вышло, Джоан, очень нехорошо. Надо было мне не опаздывать, но жена улетает в Париж. Удивительная вещь: как только, хотя бы косвенно, в дело впутывается Париж, так начинается какая-то странная кутерьма.

— Позвонить, что вы пришли?

— Нет, нет, не надо торопиться. А то у него сразу возникнут подозрения.

— Может быть, он только собирает статистические данные? — с надеждой сказала она.

— Ни секунды не верю. Его прислали подготовить доклад о работе Дискуса. Ведь вы сами сказали, что у него такой вид.

— Да, он какой-то невозмутимый, насмешливый, высокомерный...

— Вот, вот, все они такие.— Сэр Джордж помолчал, потом добавил: — Нет, Джоан, нам лучше всего вести себя как ни в чем не бывало, работать, как работаем каждое утро, будто ничего не случилось. Захочет этот Джонс прервать нашу работу — хорошо, пожалуйста. Но сейчас будем работать. Давайте-ка сегодняшнюю почту.

Просматривая письма при Джоан, сидевшей наготове с блокнотом, сэр Джордж почувствовал облегчение. Он с удовольствием занимался такими разумными административными делами. Несомненно, по некоторым письмам возникнут досадные, а иногда и неразрешимые вопросы, потому что Дискус стоит где-то на самой грани государственной ответственности, а дальше лишь темный хаос — все отрасли искусства. Но когда он сидел вот так, просматривая утреннюю почту, и Джоан, с ее огромным опытом, на лету ловила брошенное вскользь слово или восклицание, ему казалось, что он работает в каком-то деловом учреждении, и это очень успокаивало. Более того, через двадцать минут он совсем забыл, что где-то внизу сидит этот тип, Джонс, и что Элисон вот-вот улетит в Париж, где Марджори Сидни немедленно превратится в Неда Грина, одержимого страстями и алкоголем. Еще с четверть часа он диктовал ответы на те немногочисленные письма, которые требовали личного вмешательства генерального секретаря Дискуса. Плавно лились знакомые фразы. Джоан уже заполнила блокнот. Но именно в ту минуту, когда ему особенно приятно было работать, вторглось нечто незнакомое, не поддающееся контролю: с шумом ввалились какие-то неизвестные люди, заполнив весь кабинет. Правда, их было всего шестеро — пожилая пара, двое юношей, две девицы. Но все они выглядели весьма внушительно, все пытались пожать ему руку, все говорили разом — оттого и казалось, что они заняли весь кабинет. И не успел сэр Джордж опомниться от внезапности этого нашествия, как пожилой человек, размахивая бутылкой виски, наполнил из нее стакан, стоявший на столе, и сунул его в руку сэру Джорджу. У того перехватило дыхание от изумления, и он с трудом попытался спросить, что им надо.

— Тихо все! — заорал пожилой человек. У него был оглушительный бас.— Пусть будет тихо, пока сэр Джордж скажет нам приветственную речь!

Сэр Джордж только озирался, а они стояли и ждали. У пожилой женщины был довольно измученный вид, но все четверо молодых, при ярко выраженном семейном сходстве, были очень хороши собой — черноволосые, с блестящими зеленовато-серыми глазами. У пожилого мужчины была необычно большая голова, и лицом он походил на одного из наиболее развращенных римских императоров.

— Ваше слово, сэр Джордж,— подбадривающим голосом сказал он.— Мы превратились в слух. Мы в вашем распоряжении, сэр.

— Послушайте! — сказал сэр Джордж.— Что это значит? Кто вы такие?

— Глоточек виски — специально для вас привез, выпейте и скажите, вы когда-нибудь пили что-нибудь лучше?

— О нет! — сказал сэр Джордж.— Кто это по утрам пьет виски? — Он поставил стакан.— Но вы мне объясните вот что: кто вы такие? Что вам здесь нужно? Я хочу сказать, кто бы вы ни были, непозволительно вот так вваливаться в мой кабинет. Это нетерпимо, понимаете, совершенно нетерпимо.

Но тут Джоан Дрейтон, в нарушение всех приличий, вдруг громко прыснула и рассмеялась. За ней расхохотались обе девушки, за ними — пожилая женщина: очевидно, и она не устояла против таинственной тяги всех женщин находить смешные стороны в самых серьезных ситуациях, что уже давно удивляло и раздражало сэра Джорджа.

— Сначала, вот именно, с самого начала, мне надо было представить вам, сэр Джордж, мою жену и всю мою семью — мою труппу. Я — Шон О'Мор, директор и ведущий актер западноирландского передвижного театра О'Мора. Это Мэри Салливен, в обычной жизни — миссис О'Мор. Это наши сыновья, Хью и Рори, и наши дочери — Шейла и Пэдди, все они — актеры нашего театра. И, между нами говоря, сэр Джордж, могу вам дать честное слово, что с помощью двух-трех девушек и нескольких статистов мы можем сыграть любую пьесу, да, сэр, любое драматическое произведение. С огромным успехом мы уже много лет объезжаем весь запад Ирландии, сэр Джордж, играем везде — от однодневных спектаклей в маленьких зальцах, а если понадобится — и в сараях, до многонедельных гастролей в Галлоуее и Лимерике, при ежедневной смене программы! — Он торопливо глотнул виски с таким громким бульканьем, что сэр Джордж не успел перебить его.— Да, сэр Джордж, прошу отметить, сэр, вот именно, прошу отметить — мы **ежедневно меняем программу!** Сначала — классика, причем моя версия «Макбета» или «Гамлета» занимает примерно час двадцать пять минут, затем, по старинной, освященной временем традиции, идут музыкальные номера и в заключение, опять-таки по старинной традиции, один из уморительнейших фарсов — у нас их в репертуаре около двадцати. Кроме классики, мы играем превосходные старинные мелодрамы, сэр Джордж,— «Королевский развод», «Лик в окне», «Монах и леди».

— Мистер Хейвуд смотрел нас три вечера подряд,— крикнул Рори, когда отец остановился, припоминая названия мелодрам,— и говорил, что мы играем великолепно. Папа, при тебе та записка, что он написал в последний вечер?

— Он был очень пьян в тот вечер, бедняжка,— сказала миссис О'Мор.— И Шейле или Пэдди — которой из вас, девочки? — пришлось дать ему пощечину.

— Это я его — да разве это пощечина?

— И я тоже, совсем легонько,— добавила вторая девица,— лишь бы дать ему понять, что мне не до его нежностей.

— Замолчите, вы обе! Вот она, его записка, написал в последний вечер, когда мы с ним выпили на прощание.

И мистер О'Мор развернул листок и сунул его прямо под нос сэру Джорджу. Сэр Джордж взял листок: почерк был, несомненно, Хейвуда, но подозрительно нечеток, да и сама бумага сильно запятнана не то вином, не то подливкой. Ни один добросовестный службист не счел бы эту бумажку за документ. Она гласила: «Труппа О'Мор — поразительна, острота и сила — прекр. женщины... мужественные мужчины — воскрешают традиц. простоту, противопостав англ. театру — наст. находка, давно искал — немедля сообщить сэру Дж.»

— По этому... м... мм документу можно заключить, что на мистера Хейвуда ваши спектакли произвели большое впечатление. Конечно, он в некотором роде энту-

зиаст и, будучи в отпуску, вероятно, выпивал сверх обычной меры. Но, как я вам уже говорил, мне он ничего не докладывал. И я решительно отказываюсь понять, на каком основании вы явились сюда ко мне, без всякого предупреждения, совершенно непозволительным образом.

Ему в ответ загремела вся труппа О'Мор, и мистеру О'Мору еле удалось перекричать остальных. Когда наступила тишина, он строго посмотрел на сэра Джорджа:

— Но ваш собственный сотрудник мистер Хейвуд сказал мне: «Шон О'Мор, такой случай бывает раз в жизни. Отмените все спектакли,— говорит,— поезжайте прямо в Лондон и явитесь к сэру Джорджу Дрейку, генеральному секретарю Дискуса».

— Какая нелепость!

Тут О'Мор разгневался:

— Да какого черта вы тут швыряете мне в лицо всякие ваши «нелепости», когда я вам точно повторяю — а память у меня исключительная, понимаете, исключительная — слова вашего собственного уважаемого мистера Хейвуда? Рори, Хью, правильно я повторил слова мистера Хейвуда или нет?

— Правильно, отец!

— Слово в слово, отец!

— Слышите? — сердито спросил О'Мор. Он ткнул в сэра Джорджа стаканом, как указкой, в результате чего пролил виски на письменный стол.— Перестаньте же, ради всех святых, повторять свои «нетерпимо» и «нелепо». Нам сказали, что другого такого случая не будет, мы пошли на расходы, большие расходы...

Но тут подняли голоса все остальные, надвинувшись для пущего воздействия на сэра Джорджа. Все шестеро так кричали на него, что сэр Джордж, сам не сознавая того, опрокинул в себя виски, оставшееся в стакане, задохнулся, закашлялся и ощупью стал искать воду. Не снижая голоса, О'Мор налил и себе, и сэру Джорджу.

— Прошу меня выслушать! — крикнул сэр Джордж, стукнув кулаком по столу.— Спасибо. Так вот что. Во-первых, Дискус не занимается организацией театральных гастролей — и Хейвуд обязан был сообщить вам об этом. Если вы желаете играть в Лондоне, вам надо найти антрепренера, который возьмет на себя ответственность.

— А нам говорили совсем другое! — сердито крикнул Хью.

— Да разве я не говорила и вам, и вашему отцу, что тот, бедняжка, все наболтал спьяну? — подала голос миссис О'Мор, и голос у нее, несмотря на ее загнанный вид, не уступал по силе никому из семейства.

— Он был не пьяней меня! — сказал О'Мор.

Сэр Джордж снова застучал кулаком по столу.

— Политика Дискуса...— начал он, перекрикивая всех. Но тут ему помешали две вещи. Во-первых, вся труппа О'Моров возмущенно заговорила разом. А во-вторых, в этот бедлам, где к тому же разило крепким виски и где раньше был тихий кабинет генерального секретаря Дискуса, вошел незнакомый человек, удивленно поднявший брови. Сэра Джорджа словно громом ударило: он понял, что это и есть И.Б.К.Т.Н. Джонс из министерства финансов.

Все замолчали, глядя на него.

— О-о, продолжайте, пожалуйста! — сказал Джонс с какой-то смутной усмешкой.

— И этот туда же,— довольно громко пробормотала Шейла,— все они одного поля ягоды.

— Я Шон О'Мор, сэр, если вам интересно знать, известен в театральных кругах по всей Ирландии.

— Очевидно, вы — мистер Джонс из министерства финансов,— начал сэр Джордж растерянно.— С этими господами произошло явное недоразумение.

Но куда ему было тягаться со странствующей труппой О'Мора, давно выработавшей привычку перекрывать шум в публике. И сэр Джордж сдался, беспомощно глядя на И.Б.К.Т.Н. Джонса, который и не пытался никого слушать, стоял спокойно, и все с той же смутной усмешкой переводил взгляд с одного на другого, изредка пытливо вглядываясь в сэра Джорджа. Так прошло несколько минут, и сэра Джорджа уже прошиб пот при мысли, что же ему делать дальше.

Но тут с шумом влетела Джоан Дрейтон, и все обернулись к ней.

— Сэр Джордж! — крикнула она, задыхаясь и блестя глазами.— Все в порядке! Тим Кемп явился.

— Вы говорите — Тим Кемп? — спросил О'Мор, перекрикивая всех женщин.— Но если на свете нет второго Тима Кемпа, значит, это наш лучший друг.

И вправду, как только Кемп появился в дверях, все шестеро набросились на него, женщины — с поцелуями, мужчины — с рукопожатиями и дружескими шлепками.

— Кемп! — закричал сэр Джордж, выходя из-за стола.— Заберите их куда-нибудь. Куда угодно, только уведите их из этой комнаты!

Семейство О'Моров замолчало, в надежде глядя на Кемпа.

— Охотно,— ответил тот,— значит, Дискусу они не нужны?

— Конечно нет. Какой абсурд!

— Тогда я сделаю вот что. Сейчас мы пойдем в бар, надеюсь, им там понравится, выпьем, поедим чего-нибудь.

— Вы — культурный, порядочный человек, Тим,— сказал О'Мор.

— А попозже,— продолжал Тим, по-прежнему глядя на сэра Джорджа,— я их отведу в Комси. Ну, как?

— Блестящая мысль, Кемп,— сказал сэр Джордж,— отлично придумано. Ну, ступайте!

Оставшись наедине в кабинете, где сразу восстановился порядок и наступила тишина, сэр Джордж и Джонс молча смотрели друг на друга, и наконец сэр Джордж не выдержал.

— Произошла нелепейшая ошибка,— услышал он свой торопливый голос.— Хейвуд, наш заведующий театральным отделом, проводит отпуск на Западе Ирландии и где-то там увидел этих людей на сцене, вероятно, пообедал слишком плотно и выпил лишнее — видно, обед оказался неудобоваримым, ну а дальше вы сами все можете себе представить, мистер Джонс.

Он ожидал, что Джонс его успокоит, подбодрит хотя бы двумя-тремя словами, однако, к его разочарованию, Джонс промолчал и только смотрел на него все с той же смутной, но обескураживающей улыбкой.

— Разумеется, обычно этого не бывает,— заторопился сэр Джордж,— хотя должен сознаться, этот Хейвуд — человек не вполне надежный. То он пытается послать на гастроли по шахтерским поселкам труппу с религиозными пьесами в стихах, то еще что-нибудь в этом роде. Я всерьез подумываю, не назначить ли в театральный отдел другого заведующего.

Пусть бы Джонс хотя бы сказал: «Вот как?»— и сэр Джордж сразу почувствовал бы себя гораздо спокойнее. Но тот по-прежнему сидел, смутно улыбаясь и не говоря ни слова. Ничего хуже министерство финансов прислать не могло.

Сэр Джордж вытер потное лицо, потом промокнул лужицу виски на письменном столе, бросил носовой платок в корзинку и начал снова:

— Видите ли, мистер Джонс, наш Дискус...

18

Только через неделю после их последнего разговора Кемп снова зашел к сэру Майклу. Старый хитрюга подогнал свой приход к перерыву на утренний кофе. Сэр Майкл был рад видеть Кемпа, хоть и недолюбливал его по-прежнему. Рад он был не только потому, что надеялся узнать о Шерли, но и просто от скуки. Перед приходом Кемпа он бесцельно смотрел в окно, в солнечное майское утро, мечтая очутиться где-нибудь в другом месте. Теперь, когда прекратились его галантные дневные развлечения — Элисон Дрейк так и осталась последней из этих дам,— сэр Майкл слишком много времени проводил в Комси. Об этом он и сказал Кемпу, когда они сели за кофе.

— Вся ирония в том,— сказал ему сэр Майкл,— что теперь я просиживаю тут куда дольше, чем раньше, когда я был сам собой. И я отлично знаю — в воздухе

чувствуется, что это для меня погибель. Ну, Кемп, на этот раз вы не можете утверждать, что я сам звонил вам. Говорите, что вам нужно?

Кемп улыбнулся:

— Хочу заключить с вами сделку. Если вы поможете мне, я помогу вам. Услуга за услугу.

— Мне бы узнать, что это за услуга такая. Входят ли сведения о Шерли в нашу сделку?

— Еще бы. Ценнейшие сведения, Стратеррик.

Сэр Майкл мрачно взглянул на улыбающегося собеседника.

— Может быть, эти сведения у меня уже есть. После бесконечных телефонных звонков — а тут еще этот шпик из министерства, этот Джонс шныряет кругом целыми днями — я узнал, что Шерли работает от одного из агентств по найму секретарей в Западном районе.

— Правильно. И что же?

— Ничего! — с горечью сказал сэр Майкл.— Был там дважды у заведующей — такая утонченная дама, что кажется, будто и говорит она не по-английски, и она соблаговолила сказать только, что Шерли у них зарегистрирована и сейчас направлена на какую-то специальную работу. Второй раз — не далее как вчера — я так перед ней пресмыкался, что с меня чуть кожа не слезла. И ничего. Если хотите со мной договориться, можете вы мне сказать, где Шерли и что она делает?

— Конечно. У меня в руках именно эта ценная информация.

— Что же вы за нее просите?

— На мне висят шесть ирландских актеров, то есть все семейство О'Мор. Мои друзья из Западной Ирландии.

— Знаю. Вчера Джеф Берд что-то плел про них, но я не слушал.

— Я сам не могу слушать Джефа. Забудем о нем. Но я знаю театрального агента по имени Блегг, Тотси Блегг.

— Наверняка жулик. Тотси!

— Конечно жулик. Но я знаю, как с ним обращаться. Сейчас он взял в аренду театр «Коронет» на целый месяц. Он виделся с О'Морами, и ему пришла мысль выпустить их в «Коронете» просто как дикую любительскую труппу из Ирландии, а они, конечно, такие и есть.

— Никогда не видел диких любительских трупп из Ирландии. А что эти О'Моры собой представляют?

— С одной стороны — это ужас. Но с другой стороны — чудо. Играют какие-то свои мелодрамы и фарсы. Из Шекспира сделали черт знает что. Шон-отец переигрывает втрое, Мэри, его супруга,— вдвое. Оба сына красавцы, нахалы и полные идиоты. Обе дочки играть вообще не умеют, но потрясающе хороши собой. Вся семья, при нескольких статистах, покажет в «Коронете» ту же традиционную программу, которую постоянно показывает у себя в Западной Ирландии. Костюмы они привезли с собой. Декораций им не нужно. Тотси Блегг говорит, что тысячи фунтов хватит, чтобы обеспечить выступление О'Моров в «Коронете». Он дает двести пятьдесят. Я — еще двести пятьдесят. Комси может получить половину пая за пятьсот фунтов.

Сэр Майкл задумался.

— Говорят, смелость города берет. Разумеется, это может пройти лишь как чистейшая шутка. Но вы понимаете, Кемп, что в таком случае вы сами выставляете своих ирландских друзей на посмешище?

— А я не взялся бы за этот план, если бы думал, что их можно чем-то обидеть,— сказал Кемп.— Но если все выйдет, они будут играть перед битком набитым залом, а уж на это такие О'Моры никогда не обижаются. Если публика будет смеяться, они припишут это глупости англичан. Так как же, есть у Комси лишние пятьсот фунтов?

— У Комси нет. Но у меня могут найтись.

— А вы можете позволить себе выбросить пятьсот фунтов?

— Нет. Кстати, я скоро могу оказаться безработным. И все же я, пожалуй, рискну. Пять сотен — скучная сумма. А вот пять тысяч — нет. И если эта ерундистика не провалится в первый же вечер, сезон может продлиться хоть год, не в «Коронете», так в другом театре. Скажите, Кемп, где мне можно повидаться с этими О'Морами и с этим вашим Тотси?

— Сегодня в половине седьмого в «Солсбери». Знаете, где это? Отлично. А теперь я вам доверюсь, хотя никогда не думал, что решусь на это.

— А вам, Кемп, должно быть известно, что я всегда считал вас одним из самых ненадежных людей, с какими мне приходилось работать. Но сейчас вы мне расскажете про Шерли, правда?

— Вчера получил от нее открытку. Она в Канне. Она и еще одна барышня работают у мультимиллионера-нефтяника, принца Агамазара. Он взял их с собой в Канн, там у него яхта, но в любое время они могут вернуться в Лондон. Он — человек импульсивный, а при недельном доходе чуть ли не в миллион фунтов можно потакать любым своим прихотям.

Сэр Майкл угрюмо посмотрел на Кемпа:

— Видно, она попала прямо в сказку из тысячи одной ночи. Лучше бы этого не случилось. Ладно, значит, в шесть тридцать в «Солсбери». Если мы все обанкротимся, придется нам взяться за этого принца, как его там кличут. Конечно, если он вернется сюда и если Шерли не плывет сейчас в Персидский залив. Скажу вам одно, Кемп,— добавил он, провожая Кемпа до дверей и понизив голос.— Кажется, я влюбился в эту девочку. Я последний дурак, но ничего не попишешь. И я не уверен, что это не ваших рук дело. Надо было бы вас спустить с лестницы, вот что!

Но это оказался один из тех дней, когда после долгого затишья вдруг начинаются новые, интересные события, словно, как верил народ майя, другое божество взвалило на свои плечи бремя быстротекущих времен. В начале четвертого, когда сэр Майкл зевал над программой, подготовленной Эдит Фробишер,— эта программа опустошила бы концертный зал только чуть медленнее, чем бубонная чума,— ему доложили, что его желает хоть на минутку видеть некая миссис Эссекс. Он подумал, что в его жизни может быть только одна миссис Эссекс, и оказался прав. Вошла мать Шерли, гораздо более нарядная и веселая, чем тогда, на Уинстон-авеню. Так он ей и сказал.

— Да, верю вам. Но я и вправду чудесно провела время у моря.— Она села и улыбнулась ему.— И я выкурю сигаретку, если вы курите. Жаль, для виски рановато! Знаете, кто закрутил все это? Вы, вы сами, сэр Майкл.

— Да, я уже наслышан. Правда, не через Шерли. С того вечера я ее ни разу не видел.

— Ясно, не видели. Я же вас предупреждала, какая она упрямица, предупреждала? Вот я вам расскажу, что было. Когда вы ушли, началась настоящая семейная сцена, сначала ссорились мы все трое, потом, когда Шерли ушла спать, мы с Джевоном. На свет божий вышло все, что скрывалось годами. И в конце концов из-за того, что он так на меня напал, я против воли сказала ему то, что клялась не говорить.

Тут она сделала паузу, инстинктивно поддавшись драматизму ситуации.

— Ведь я — кельт, миссис Эссекс,— мягко сказал сэр Майкл,— человек с интуицией. Думаю, что я догадался, о чем вы сказали ему, бедняге. Вы сказали, что Шерли не его ребенок. Правда?

Она рассмеялась, прогоняя смущение:

— Вы — чистый демон, ей-богу. Не знаю, что вас ждет при Шерлином тихом упрямстве и при вашем знании женщин, тут стычек не оберешься, если вы только будете жить вместе.— Она помолчала,— Случилось это, конечно, в войну. Я всего года два как вышла замуж, но уже понимала, что сделала ошибку. Как-то Джевон уехал на месяц с лишним, а мы с подружкой пошли прогуляться в Вест-Энд. И два молодых летчика из истребительной авиации познакомились с нами. Все было очень прилично, мило. Три дня и три ночи я провела с Саймоном — так его звали,— а потом он вернулся на фронт, и, конечно, его убили. Шерли иногда так на него похожа, что у меня сердце болит.

Она снова помолчала.

— Я не собиралась рассказывать это Джевону. Он так ею гордился, так любил ее, по-своему, конечно. Но в тот вечер все выплыло на свет божий. И тут, понятно, пришел конец. Он добился, чтобы фирма перевела его далеко на север. Не знаю, будем ли мы разводиться или нет, да, по правде говоря, мне и дела мало. Я его не прошу содержать меня. Да и к чему? Тут мне подворачивается случай купить маленькую шляпную мастерскую, шляпки я делаю неплохо, мне моя невестка обещала устроить, она в Брайтоне живет, так что на жизнь мне хватит. Да и жить буду, как хочу. Если бы не Шерли, я бы за вас взялась, сэр Майкл!

Она рассмеялась, потом сделала серьезное лицо:

— Только мне до нее далеко, хотя в ее годы я тоже была куда какая хорошенькая.

— Вы и в свои годы хорошенькая!

— Нет, сэр Майкл, дайте мне объяснить вам все про Шерли, вам это необходимо знать. Видите ли, умной, в вашем смысле, ее не назовешь, да и меня тоже, но она удивительно умеет подлаживаться, чего во мне нет. Она очень быстро соображает, как надо одеваться, как себя вести, что говорить.

— Не сомневаюсь. Но можете ли вы себе представить, что она сумеет приспособиться к жизни с избалованным сорокавосьмилетним холостяком?

— Нет, если он останется холостым. Но если они поженятся, тогда несомненно. Вы глубоко ошибаетесь, считая себя неподходящим мужем для Шерли. Вы именно то, что ей нужно и о чем она мечтала еще до знакомства с вами.

— Кстати, не исключено, что эта ваша решительная дочь в данную минуту пьет шампанское с неким принцем Агамазаром, своим хозяином.

— Ах, вы и об этом знаете?

— И почем мы знаем, может быть, она не устоит, если этот сказочно богатый господин начнет оказывать ей знаки внимания?

Она рассмеялась:

— Я бы не устояла. Не зря я читала столько женских журналов, видела столько фильмов. Но Шерли — нет. Я ее хорошо знаю. Раз она влюблена в сэра Майкла Стратерrика и собирается за него замуж, так ее не соблазнить, даже если ей предложат всю Индию. Она мне прислала открытку.

— Она всем пишет, кроме меня.

— Так вам и надо, зачем вы сбежали в тот вечер? Наверно, кусали ногти с тех пор? А она нарочно уехала. Вам придется за ней погоняться — не очень, самую чуточку. А теперь мне пора, надо дать вам сесть за работу.

Но, откровенно говоря, сэру Майклу все меньше и меньше хотелось браться за работу, даже если бы он ни о чем не думал. Однако он просидел за своим столом до половины шестого и уже глотнул старого виски, впервые за день, когда явился И. Б. К. Т. Н. Джонс.

— Считайте, что время уже неслужебное, Джонс. Вам хересу или виски? Херес так себе, а вот виски превосходное.

— Тогда мне разбавьте, как себе,— сказал Джонс хладнокровно.

— И давайте не будем играть в гляделки,— сказал сэр Майкл, когда они уселись со стаканами в руках.— Зря только будем тратить время. Поговорим, как мужчины, как братья.

— Значит, время, как вы говорите, неслужебное? Что ж, попробуем.— Он осторожно отпил немного виски.— Вы правы. Виски превосходное. А вам оно по средствам?

— Как будто да. Главным образом оттого, что я не завожу машины и всякое такое.

Джонс еще отпил виски:

— Это прямо к делу не относится, но я вам, кажется, говорил, что интересуюсь театром. Я беседовал с вашим заведующим театральным отделом, с Бердом. Он огорчен, что Комси упустило интересную возможность и не поддержало эту американскую пьесу «Куклы». Разве Комси не обязано этим заниматься?

— Да, в известных границах.

— Почему же упускать такую возможность, когда вам сейчас надо заботиться о том, чтобы оправдать свое существование?

— Потому что я отказываюсь участвовать в бессмысленной игре, милый мой Джонс. Я видел эту пьесу, и, по-моему, это претенциозная, скучная чепуха.

— Берд думает иначе.

— В театральных делах Берд вообще думать не умеет. У него нет ни малейшего вкуса. Просто любит сидеть в театре и смотреть, как зажигается и тушится свет рампы.

— Зачем же было выбирать такого для театрального отдела?

— Работает он много, а у нас выбора нет. Любой человек с настоящим театральным чутьем и вкусом может заработать куда больше, чем мы в состоянии платить. Если бы я считал, что у Комси есть будущее, я бы попытался найти кого-нибудь на его место, вероятно, женщину. Настоящие театралы в нашей стране именно женщины. А много ли у нас женщин, которые могут сказать другим женщинам, что им надо смотреть?

— Тоже верно, Стратеррик. Но почему вы думаете, что у Комси нет будущего?

— Бросьте! Иначе зачем бы вам сюда являться? Вы и есть письмена на стене!

Джонс отрывисто рассмеялся, словно залаял морской лев:

— Вас ничем не проймешь, как видно. Не то что бедного Джорджа Дрейка, который до того путается и теряется, что мне неловко.

— Чепуха! Вам это только приятно. А мне надо бы тревожиться гораздо больше, чем Дрейку: ведь он как-никак на государственной службе. А я — нет, и если Комси распадется, я останусь на мели. Правда, половину наших средств составляют частные пожертвования, но если прекратится дотация министерства финансов, то Комси окажется несостоятельным. Но почему-то, не могу объяснить почему, мне решительно все равно. Я должен был бы огорчаться по многим причинам, а вот не огорчаюсь — и все. Так что вы, милый мой Джонс, можете рассказать мне все, что с нами будет. Обещаю не стонать и в обморок не падать.

— Можете не верить,— сказал Джонс,— но мне в вас больше всего нравится то, что вам на все плевать. Легче дышится.

Он опять попробовал виски, кивнул и улыбнулся.

— Говоря откровенно, и Дискус, и Комси будут ликвидированы,— сказал он негромко.— Это решено уже несколько месяцев назад. Мне было приказано проверить организационные методы, штаты и так далее. Создается большой новый отдел искусств при министерстве просвещения. Глава будет считаться заместителем министра. Оклад как будто около четырех с половиной тысяч фунтов. Разумеется, я это место не держу в кармане. Но меня просили кого-то рекомендовать. Как насчет вас?

Сэр Майкл допил виски, медленно выдохнул воздух, словно тяжело вздыхая.

— Вы очень любезны, Джонс. Мне бы схватиться за ваше предложение руками и ногами. У меня впереди ничего нет. Буду, наверно, читать лекции по истории искусства в университете, где-нибудь у черта на рогах, сто двадцать пять миль от железной дороги. Но даже если и так, даже если в области искусства можно сделать очень многое, чего я и не пробовал, все же мне эта работа ни к чему. Мне ни к чему пост на уровне заместителя министра. Мне ни к чему сидеть там, где люди готовы наложить в штаны при мысли о запросе в парламенте. Я не тот человек, какой вам нужен, Джонс. Но за то, что я спас вашу шею от веревки, сделайте мне одолжение. Постарайтесь, чтобы никто из наших служащих, да, кстати и из служащих Дискуса, не вылетел на улицу с женой, тремя детьми и заложенным домом. Они делали, что могли, хотя работа по большей части была идиотская.

— Не могли бы вы вкратце написать для меня все это? И мне помощь, и всем им будет польза. Дрейк ничего написать не может, потому что он никогда не понимал до конца, чем именно он занимается. Придется вам потрудиться, Стратеррик.

— Хорошо, значит, написать вкратце.— Сэр Майкл посмотрел на часы: — В половине седьмого у меня свидание в баре. Вам будет интересно узнать, что тут дела театральные. С неким Кемпом, вы его вряд ли знаете, он, наверно, единственный бродяга на государственной службе, и еще с каким-то жуликом-антрепренером, и наконец, что хуже всего — с семейкой из шести человек, по фамилии О'Мор, это какие-то бродячие актеры из Западной Ирландии. Речь идет о том, чтобы выпустить этих диких ирландцев на публику в театре «Коронет». Ну, конечно, мы там и выпьем.

Все знакомые И. Б. К. Т. Н. Джонса, наверно, поклялись бы, что такого выражения лица у него быть не может, но оно явно стало мечтательно-грустным.

— А мне никак нельзя туда с вами? — спросил Джонс.

— Почему же, конечно можно, если будете хорошо себя вести, мой мальчик.

В такси, которое больше стояло, чем шло, Джонс сказал:

— Вот что я хочу у вас спросить. Взялись бы вы руководить частной организацией в помощь искусству, если бы дело было поставлено на широкую ногу, а вам в известных пределах предоставлена свобода?

— Конечно взялся бы. Это единственная большая работа, на какую я гожусь, и по образованию, и по опыту, и по характеру. Но если речь идет об одной из этих американских организаций, ничего не выйдет. Я не умею ладить ни с американскими богачами, ни с американскими учеными. Они совершенно ошибочно считают меня легкомысленным, а я не выношу их напыщенного пустозвонства.

— Нет, тут средства идут со Среднего Востока, а не со Среднего Запада,— сказал Джонс и, помолчав, добавил: — Скажу вам под большим секретом, Стратеррик. Речь идет об одном из нефтяных магнатов, фантастическом богаче. Он учился здесь, кажется, в Харроу и Кингс-колледже, в Оксфорде, и очень хочет сделать что-нибудь для Великобритании. И ему приспичило создать огромнейшую организацию для процветания этого проклятого искусства. К нам уже обращались его юрисконсульты, поскольку тут вопрос финансовый. Я сам виделся с ним лично и думаю, что он серьезно отнесется к моей рекомендации. Может быть, вы о нем уже слышали — это принц Агамазар.

— Бог мой, опять тысяча и одна ночь! Какой он?

— Да как будто очень славный малый. Молодой, лет около тридцати, держится отлично, очень красив — такая броская, восточная красота, очень щедр, не то что другие богачи, женщины, конечно, сходят по нем с ума.

— Конечно, конечно, как же иначе! Алмаз чистейшей воды, а не мужчина! Значит, женщины по нем сходят с ума, так?

— Да, все, кого я знаю. Моя жена, например...

— Ваша жена не в счет. Нет, нет, я не хотел вас обидеть. Наверно, он всех вас, вместе с вашими женами, накормил сказочным обедом: черная икра — столовыми ложками, шампанское льется, как лимонад, прекрасные манеры, швыряется миллионами...

Сэр Майкл мрачно замолчал и задумался. Такси стояло у выезда на Пиккадилли. Они переехали площадь, но оба молчали.

— Принца Агамазара в Лондоне нет,— сказал наконец Джонс,— но он может вернуться в любой день, как мне сказали. Может быть, позвонить ему или попросить моего шефа послать ему письмо, а лучше и то, и другое? Сможете вы тогда зайти к нему в отель «Кларидж», поговорить про эту его организацию?

— Конечно смогу.— Сэр Майкл помолчал.— Но возможно, что мы с ним не поладим, Джонс, имейте это в виду.

— Нет, поладите!

— Все зависит от... впрочем, неважно от чего. Давайте-ка лучше подумаем о возрождении примитивизма в театре, которое мы сейчас отпразднуем пивом и элем.

19

В последнее время сэр Джордж, не зная, куда деваться после конца занятий в Дискусе и не желая видеть свой дом в Хемпстеде, заглядывал «на минутку» в клуб и часто просиживал там часами. Но в этот вечер, по счастливой случайности, он отправился прямо домой. Окончив работу непривычно рано и уже в шесть часов подходя к дому, он раздумывал, что же ему сейчас делать. Смутно чувствуя, что хорошо бы сразу принять ванну — было жарковато, а он шел от метро слишком быстро,— он поднялся по удивительно скучной лестнице наверх, не заглянув вниз, и вошел в спальню. И там увидел Элисон — она сидела на своей кровати рядом с полуразобранным чемоданом, усталая, измученная, грустная.

— А-а, вот это приятный сюрприз, дорогая. Не ожидал увидеть тебя здесь.

Она ничего не сказала, только невыразительно кивнула.

— Устала в дороге?

Она снова кивнула.

Он подошел поближе:

— Как видно, тебе там было не очень хорошо. Не надо огорчаться, Элисон.— Он положил ей руку на плечо, но вместо того, чтобы, как это часто бывало, стряхнуть эту руку, Элисон, к его величайшему удивлению, крепко схватила ее, прижала к щеке и вдруг разразилась слезами. Он понял, что сейчас она заговорит, и остановил ее:— Нет, Элисон, прошу тебя, не стоит. Потом сама пожалеешь. Начнутся всякие разговоры, совсем не то, что надо. Я не жду от тебя никаких объяснений. Я не хочу ничего слышать от тебя. Никакого смысла. Все и так слишком сложно. Ты уехала. Теперь ты вернулась, пусть так и будет. Почему бы нам не переодеться и не выпить? А потом поедем обедать куда-нибудь в хороший ресторан. Вообще мы себе этого позволить не можем, но сейчас мы заслужили.

Не дожидаясь ответа, он прошел в ванную. Ему показалось, что она снова заплакала, но уже по-другому. Из ванной он пошел вниз в столовую и смешал джин с вермутом именно так, как она любила. Минут через десять она спустилась в халате, со свеженапудренным лицом, совсем такая, как всегда.

— Спасибо, милый,— сказала она, беря у него стакан. Отпив немного, она с неудовольствием оглядела комнату.— Нет, все-таки эта женщина возмутительно убирает. Ты только взгляни.

— Прости, дорогая, но я, конечно, почти не следил за ней, даже не знаю, делала она то, что ей положено, или нет.

— Конечно не делала. Ну, я ей завтра задам! Дай мне еще выпить, Джордж. И как хорошо, что мы будем обедать не дома! Чудесная мысль. Куда мы поедем? Ах да, чуть не забыла, ты сказал, что мы себе этого позволить не можем. Что это значит? Надеюсь, ничего ужасного не произошло?

Сэр Джордж долил ее стакан. Потом взял свой и тяжело опустился в кресло.

— Только ради бога не смотри на меня такими глазами, Джордж. Что бы там ни было, но, наверно, не так уж все плохо. А у тебя лицо вытянулось, как не знаю что.

И это говорила женщина, которая так рыдала всего каких-нибудь четверть часа назад,— удивительное хладнокровие! Но он ее не упрекнул.

— Может быть, у тебя другой взгляд, дорогая, но, по-моему, дела обстоят весьма неважно. Нас еще не выгнали на улицу, но скоро могут выгнать.

— Не понимаю!

— К нам повадился один тип из министерства финансов, всю прошлую неделю совал нос в наши дела. Мне он очень не нравится. И я ему тоже. Никак не поладим. И ходят определенные слухи, что и Дискус, и Комси будут ликвидированы и министерство высшего образования образует свой отдел искусств.

— Что ж, они могут поставить тебя во главе этого отдела.

— Исключено. Никакой надежды.

— Джордж, откуда ты это знаешь?

— Знаю, потому что я сталкивался с этим И. Б. К. Т. Н. Джонсом — до чего меня раздражают его проклятые инициалы,— а ты не сталкивалась. Тебе не приходилось видеть, как он улыбается очень смутно, очень высокомерно — настоящий смертный приговор.

— Но не позволишь же ты Майклу Стратерriку пойти в министерство и захватить этот новый отдел? Боже, я просто взбешусь!

— Не беспокойся,— сэр Джордж усмехнулся не без злорадства.— В последнее время меня только и утешает мысль о том, какой доклад сделает Джонс про неразбериху в этом Комси. Пари держу, что сейчас он со Стратерриком, с этим гордецом и нахалом, уже не разговаривает. Но у тебя есть все основания беспокоиться о судьбе Дрейков, Элисон. Нам предстоят невеселые дни.

Она вскочила, горя решимостью. Куда девалась та женщина, которую он застал на постели в слезах?

— Министерство начнет расширяться вовсю. Там твое место, туда ты и пойдешь.

— Они и слушать не станут о моей кандидатуре для отдела искусств.

— К черту отдел искусств! Тебе надо взять что-то совсем другое, более солидное. Мне еще больше, чем тебе, осточертели все эти искусства и художники.— Она призадумалась:— Знаешь, что я сделаю? Позвоню Молли Эвон. Ее муж все еще заместитель министра, да?

— Да, но я едва с ним знаком.

— Мы с Молли когда-то очень дружили. Конечно, времени до обидного мало — и они могут быть заняты, но я их приглашу с нами пообедать. Не знаю, как он, но Молли страшная скупердяйка, всегда этим отличалась, и на бесплатный обед в хорошем ресторане она примчится, хоть бы у нее самой в духовке сидело жаркое.

И Элисон побежала к телефону, громко хлопнув дверью.

Теперь, когда весь пыл, вся энергия и целеустремленность сосредоточились в его жене, сэр Джордж почувствовал, как доска их брачных качелей опускается с его стороны все ниже и ниже. Стараться по-прежнему вести работу Дискуса было все равно что сидеть в кресле, которое разваливается под тобой. Не так давно он еще гордился преданностью своего штата, но сейчас чувствовал, что они могут наговорить Джонсу что угодно, напоить ядом его доклад в министерстве. И вся порча началась с возвращения этого чудовища, Кемпа. Мало того: именно сейчас, когда он ближе узнал и оценил Джун Уолсингем, она решила уйти и заняться рекламой в одном из тех модных журналов, какие иногда покупала Элисон, где со страниц бессмысленно таращились худые девицы или звучали призывы к путешествиям. Несчастье англичан было в том, что им все время вдалбливали в голову, будто обязательно надо лежать на берегу Карибского моря. А если накопить денег и поехать туда, угрюмо подумал сэр Джордж, то там плакаты непременно будут зазывать тебя посмотреть Тауэр, караул гвардейцев или домик Энн Хатауэй.

— Придут! — крикнула Элисон, входя.— И я их пригласила в «Мушкетера».

— Дьявольски дорого, да и столик нам не достать.

— Придется заказать заранее. На восемь часов. Позвони, пока я приму ванну. Нет, погоди, я сама, будет похоже, что звонит чей-то секретарь, а ты налей мне ванну, милый. И давай **совсем** не думать о расходах.

И она вышла к телефону, очевидно, в очень хорошем настроении.

Сэр Джордж добавил себе джину, выпил, потом, тяжело ступая, поднялся наверх — налить ванну для Элисон и вернулся в столовую проглядеть вечерние газеты. Как всегда, они его раздражали. Хотя он соглашался с ними, что каменщики вполне могут протянуть еще полгода на тридцать шесть шиллингов в неделю, но он никак не разделял газетных восторгов, когда они взахлеб восхищались теми ловкими людьми, которые каким-то образом заработали миллион-другой, не платя при этом никаких налогов. И вдруг в театральных новостях он увидел фамилию О'Мор. Нет, не может быть! Но он не ошибся: в заметке говорилось, что странствующая труппа О'Моров начинает гастроли в театре «Коронет» в Лондоне. Великий боже! Растерянный, еще больше удрученный, он поднялся наверх, чтобы переодеться. В некоторых случаях, когда у них бывали гости или они куда-нибудь ходили, Элисон обязательно надевала на себя светскую маску еще до выхода в свет, хотя ей приходилось занимать только одного сэра Джорджа. Казалось, что она проводит генеральную репетицию, играя гостью или хозяйку дома. И сейчас был именно такой случай. С той минуты, как она вышла из ванны, она вела веселую непринужденную болтовню, не ожидая от него поддержки: ему даже казалось, что говорит она не с ним, не с человеком, за которым она столько лет замужем, не с тем, чью руку она сжимала, разражаясь слезами. Более того, ему не нравилась та женщина, которую она играла: эта женщина была гораздо богаче, чем настоящая Элисон, куда изысканнее, она свысока говорила обо всем и все знала, будто сошла со столбцов светской хроники газет или одного из модных журналов. И сегодня эта сомнительная особа пудрилась, красилась и одевалась в скромной спальне Дрейков, а потом, сидя рядом с ним в такси, болтала всю дорогу, пока они не доехали до «Мушкетера», находившегося у самого Беркли-сквера.

И тут его прежняя Элисон на минуту воскресла. Она судорожно сжала его руку и горячо зашептала:

— Джордж, не подведи меня. Уверена, от тебя многое зависит. Будь внимателен к Молли, а я займусь им. Но если я обращусь к тебе, поддержи меня, что бы я ни говорила. Обещай, милый, прошу тебя!

Но из такси вышла уже та, другая, вооруженная для встречи с гостями, и ее сопровождал довольно неуклюжий человек, и хотя его костюм отдаленно напоминал одежду героев Дюма, по характеру он был от них очень далек.

Они пришли раньше Эвонов, и сэр Джордж успел удостовериться, что столик для них оставлен. Очевидно, Элисон говорила по телефону весьма внушительно, потому что столик им оставили отличный, в углу, и над ним с потолка, в романтическом стиле французского семнадцатого века, спускались гипсовые арки с листьями из пластика. «Мушкетер» — общее детище бывшего официанта-грека, оптового торговца мясом из Хаддерсфилда и двух приятных юношей-декораторов, чьи и без того некрепкие мозги совершенно свихнулись от вдохновения,— был в Мэйфере пристанищем, несомненно пропитанным духом Дюма-отца. И возможно, для напоминания о мушкетерах, а возможно, и просто для усиления аромата роскошной жизни все блюда, кроме супа и мороженого, подавались к столу в пылающем ореоле. Блюда, которых никогда до того не обливали горящим соусом, в «Мушкетере» подавали «фламбэ». Официанты — и два молодых киприота, и старики эльзасцы, шаркавшие ногами,— веселились вовсю, непрестанно подавая пылающие шомпуры или обливая блюдо скверным виски и поднося к нему горящую спичку. Не слишком нервные гости, любившие поесть и выпить, тоже развлекались этим, особенно если им не приходилось думать, во что вскочит этот огненный пир. Именно в таком счастливом положении оказались муж и жена Эвоны.

Сэр Финли Эвон, с которым сэр Джордж был едва знаком, был необычайно худ и все время смотрел на кончик своего носа, словно боялся, что в любую минуту кость прорвет тонкую кожицу. Его жена Молли, подруга Элисон, тоже была худа и озабочена, но при помощи какого-то трюка она, как фокусник, умела создать впечатление, будто она пухленькая, веселенькая бабенка. Эвоны слыхали про «Мушкетера», но никогда там не были. Более того, сэр Джордж сразу почувствовал, что Элисон права и оба они скупы и экономны до чрезвычайности и сейчас решили извлечь все, что можно, из первого посещения этого ресторана по опрометчивому приглашению Дрейков. Сам Эвон, который, по-видимому, вообще ел мало, был довольно умерен и сейчас, но его супруга, к ужасу сэра Джорджа, сразу заказала несколько самых дорогих блюд. Если бы ей дать волю, подумал он, она бы не остановилась перед свежей зернистой икрой — тридцать два шиллинга шесть пенсов за порцию.

Для целей Элисон они разместились удачно. Длинный стол был поставлен углом. Чета Эвонов сидела лицом к залу, на некотором расстоянии друг от друга, и сэр Джордж на одном конце оказался рядом с Молли, а Элисон почти монополизировала сэра Финли на другом конце стола. Расстояние между обеими супружескими парами было не настолько велико, чтобы мешать общему разговору, но все же давало сэру Финли возможность слушать одну Элисон, которая стала его обрабатывать, как только они уселись, а в это время сэр Джордж развлекал Молли тем, что слушал ее, не перебивая. Это было легко, но скучно. Вскоре он понял, почему они так скупятся и жмутся: у них, оказывается, два сына и дочь, чье образование стоило очень дорого. И через некоторое время он уже знал про эту невыносимую тройку все, что можно, во всяком случае достаточно для того, чтобы пожелать хорошую атомную бомбу на их голову.

Когда официант не суетился вокруг них — как видно, ему очень хотелось поджечь всю еду,— сэр Джордж мог слышать разговор Элисон с сэром Финли настолько, чтобы сразу понять, какую линию она ведет. Ее муж, утверждала она, никогда не хотел работать в Дискусе, всегда считал это учреждение шатким, ненадежным; к тому же был вынужден принять в штат совершенно неподходящих людей, но несмотря на потрясающие трудности, с которыми ему приходилось сталкиваться, он творил чудеса. Эту линию и вела Элисон, и вела правильно, лишь бы только она постаралась не перегнуть палку: Элисон не всегда знала, когда надо остановиться.

Самый дорогой десерт назывался «блины по-мушкетерски», и конечно Молли заказала именно это. Официант вообразил, что его надо приготовить под самым носом

у дамы, так что сэру Джорджу пришлось отодвинуться влево. Сам он ничего на сладкое не взял: надо было как-то ограничить расходы, а Элисон в своем великосветском азарте тоже заказывала без удержу, что хотела. Отодвинувшись, сэр Джордж услышал конец диалога между сэром Финли и Элисон и успел схватить то, что Элисон рассказывала о нем.

— Видите ли,— говорила Элисон,— Джорджу до смерти хочется взять руководство в каком-нибудь солидном, стоящем учреждении. Он не любит современное искусство, да и людей искусства недолюбливает.

— Не виню,— сказал сэр Финли.— Сам не люблю.

— Разумеется, Джордж в этом не признается — он фанатически лоялен по отношению к любому учреждению, где работает,— но я знаю: он, как и я, считает, что страна нуждается больше всего в научных и технических кадрах.

— Он прав. Мы все так считаем.

— А когда мы достигнем тут успеха,— но никак не раньше,— тогда можно будет знакомить народ с искусством и уже всерьез заняться тем, чем занимался до сих пор Дискус и что, вероятно, хотя по-своему и не очень умно, пытались делать в Комси. Но прежде всего — техническое обучение, вы со мной согласны?

— Между нами — да,— сказал сэр Финли. Речь его была такой же худосочной и дерганной, как он сам.— Но вслух — нельзя. Люди искусства навалятся всей тяжестью. Полетят письма в «Таймс», в «Гардиан».

— О да, они любят писать письма. Все они бессменные болтуны. Можете себе представить, с чем приходится сталкиваться Джорджу при его-то безумной добросовестности.

— Это про кого? Про меня? — Сэр Джордж почувствовал, что ему пора вмешаться.— Но любой толковый администратор не может пренебрегать корреспонденцией, как частной, так и официальной. Вы согласны, Эвон?

— Конечно, Дрейк. Видно, за два года вам пришлось разбираться в груде чепухи. Не завидую.

— Знаю, что мне не следует это говорить,— сказала Элисон,— но Джордж вел себя героически, просто героически. Даже намека себе не позволял, что ему страшно хотелось бы делать что-то более серьезное, стоящее — то, чем вы сейчас занимаетесь в министерстве.

— Работы невпроворот. Высшее образование. Повышение квалификации. Наука. Техника.— Сэр Финли отпил немного вина, позволил себе наморщить кончик носа, вытер рот салфеткой.— Огромная работа.

— Да, несомненно! — Элисон сверкнула на него улыбкой, потом сделала самое серьезное лицо, наклонясь вперед и сузив глаза:— Но мы с Джорджем чувствуем, что вы делаете стоящее дело, а в Дискусе — впрочем, сами понимаете!

— Рады, что развяжетесь с этим делом, Дрейк, а?

— Эвон, вам, должно быть, известно, что я никогда на эту работу не рвался, никогда ее не просил и, конечно, буду рад от нее избавиться.

— Ясно, старина.

Сэр Финли снова повторил манипуляцию с бокалом вина, в то время как Элисон бросила быстрый, победный, сияющий взгляд на своего мужа. Он в свою очередь взглянул на Молли, которая жадно пожирала десерт, и предпочел промолчать. Но пока Эвон не поднял голос, сэр Джордж еще успел бросить жене благодарный взгляд. Да, она добилась своего.

Сэр Финли опустил голову, внушительно посмотрел на сэра Джорджа, потом на Элисон и сказал:

— Сожалею, однако. Разумеется, понял вас. Сочувствую во всем. Но, сугубо между нами, придется организовать в министерстве новый большой отдел культуры. Вместо Дискуса и Комси. Думал — вы подойдете, Дрейк. Знаю, вы хороший администратор. Жаль, что вам это не по душе. Но понимаю, вполне понимаю. Трезвый взгляд. Однако придется нам завести отдел. Огромный отдел. Притом ассигнуют кучу денег, вам и не снилось, Дрейк. Что ж, ничего не поделаешь. Кого-нибудь найдем.

Чета Дрейков глядела на него из развалин надежд, рухнувших на их глазах. Элисон слишком хорошо провела свою линию! Теперь в этот новый большой отдел культуры, с огромными финансовыми возможностями, назначат кого угодно, только не сэра Джорджа Дрейка.

— Адская жара, правда? — сказал сэр Джордж, проводя пальцем под воротником. А тут еще эти жареные почки под винным соусом давали себя знать тяжестью в желудке. Восемнадцать шиллингов шесть пенсов, без овощей.

Но сэр Финли и судьба еще не оставили супругов в покое. Сэр Финли окинул взглядом зал, улыбнулся и помахал рукой:

— Знакомое лицо. Тот самый, из министерства финансов, с кучей инициалов.

— Неужто И.Б.К.Т.Н. Джонс? — Сэр Джордж обернулся и увидел, как Джонс выбирает столик. С ним была темноволосая элегантная женщина и еще какой-то мужчина. Это был сэр Майкл Стратеррик.

— Надеюсь, вы знаете, кто с ним? — возмущенно спросила Элисон, будто сэр Финли был виноват в этой встрече.— А если не знаете, я вам скажу.

— Да, скажите! — воскликнула Молли, оторвавшись от пирожных.— Какое обаятельное лицо!

— Милая моя, многие женщины поддавались этому обаянию, а потом раскаивались! Это, дорогая моя Молли, сэр Майкл Стратеррик...

— А-а, ну, конечно!

— ...который совсем загубил Комси. И, разумеется, мне понятно, что там сейчас происходит,— продолжала она с возрастающим негодованием,— он хочет накормить этих Джонсов — дама, несомненно, миссис Джонс — до отвала, заказать самые дорогие блюда и вина, чтобы министерство финансов порекомендовало его на пост главы вашего драгоценного нового отдела.

Она бросила на сэра Финли почти враждебный взгляд.

— Но это уж слишком, клянусь богом!

— Что ты, Элисон,— начал было сэр Джордж, чувствуя, что Эвону не очень по душе ее тон и слова,— ты же не знаешь...

— Знаю! — отрезала она.— И ты знаешь. Не притворяйся!

Она снова взглянула на сэра Финли Эвона.

— Я считаю, что это возмутительно, безобразно. Вы согласны?

— Не совсем,— сказал сэр Финли.— Должен вас поправить по двум пунктам. Я их вижу, вы — нет. Джонс заказывает. Выходит, платит он.

— О, это ничего не значит. Майкл Стратеррик достаточно умен и хитер, он может пригласить людей обедать и позволить гостю заказывать и платить. Я-то его знаю,— добавила она и тут же пожалела о своих словах.

— Неужели, милочка? — Молли вся превратилась в слух.— Ну расскажи мне про него!

— Нет, нет,— торопливо сказал сэр Джордж,— Элисон встречалась с ним изредка, в полуофициальной обстановке.

— И второе,— сэр Финли, желая во что бы то ни стало возразить Элисон, не слушал, что было сказано после его реплики:— Стратеррик и не собирается обедом и вином пробить себе дорогу в новый отдел. Он не желает там служить.

— Неужели ему уже предлагали эту работу? — возмутилась Элисон: теперь ее можно было бы подавать вместо мороженого «фламбэ».

— Никак нет. Решает министр. Был разговор в клубе за ленчем. Некто из министерства финансов понял, что Стратеррик сказал Джонсу, будто работой он не интересуется.

— А Джорджу даже никто не намекнул! — с упреком сказала Элисон.

— Ох уж эти мужчины, со своими клубами! — Но на возглас Молли никто не обратил внимания.

— Ясно, сплетни,— заявил сэр Финли.— Ничего общего с нашим министерством. Однако отпадает и ваше второе предположение.

Виночерпий, в темной блузе и с цепью на шее, возможно взятой в Бастилии, наклонился над плечом сэра Джорджа. И через несколько минут, спросив позволения у дам, сэр Джордж благородно поднялся над развалинами всех надежд, над

угрозой нищеты, над растерянностью, разочарованием, крушением мечты и показал, из какого благородного материала он создан.

— Не угодно ли сигару, Эвон, и коньяку? — спросил он.

Другими словами, не угодно ли добавить еще тридцать шиллингов к счету?

— Нет, Дрейк, спасибо. Не курю. Допью лучше винцо.

И все же счет вырос до шестнадцати фунтов и двенадцати шиллингов, и после того, как сэр Джордж выписал чек, добавив два фунта на чай, у него внутри зазвучали возмущенные вопросы. Как мог Джонс позволить себе тут принимать гостей? (Если только за этими пятью инициалами не кроется личное состояние?) И как Эвоны могли так хладнокровно принимать их щедрое гостеприимство? И кто вообще может себе позволить обедать в этом ресторане, кроме коммерсантов и всяких темных дельцов по продаже недвижимости и распространению рекламы? И какого черта Элисон настаивала привести их сюда, если любой табльдот, по пятнадцать шиллингов с персоны, был бы удовольствием для Эвонов, этих скупердяев и жмотов.

По пути к выходу сэр Финли остановился у столика Джонсов — Стратерриса и представил всех Молли, а сэра Джорджа познакомили с миссис Джонс, но Элисон не остановилась и проследовала в дамскую комнату такая высокомерная и надменная, какой муж никогда ее не видел. Нелегко с ней будет, подумал он, когда они отвезли Эвонов домой и остались вдвоем в такси, которое должно было влететь им в немалую сумму.

Но опять-таки она удивила его непонятной переменчивостью женских настроений:

— Нет, Джордж, милый, не говори ничего. Я сама скажу. Это был жестокий провал и бессмысленная трата денег. Прости. Но больше всего меня удивляет вот что: зачем мы постоянно без конца придумываем какие-то махинации, интригуем, тратим жизнь на пустые тревоги, когда все так бессмысленно? Нам кажется, что мы — соль земли, а на самом деле мы непрестанно царапаемся и кусаемся, как мелкие зверушки, бегая вокруг пирога. Зачем? К чему все это? В чем смысл! Я тут смысла не вижу...

20

Если летним майским утром взглянуть на Брук-стрит в Мэйфере и на отель «Кларидж», то никак нельзя подумать, что тут тайный вход в сказки тысяча одной ночи и Лондон превращен в волшебный Багдад Гаруна-аль-Рашида. Но и в это утро — а потом и всегда — сэр Майкл чувствовал и в улице, и в отеле аромат арабских сказок. И не только потому, что у него было назначено свидание с баснословно богатым принцем Агамазаром. Несомненно, и это играло роль, но сэр Майкл никак не мог отделаться от ощущения, что сейчас все неумолимые, слишком хорошо нам известные законы, вся скучная зависимость причин и следствий могут быть внезапно нарушены, как это и водится в восточных сказках.

У входа в апартаменты принца его встретил некто вроде Великого визиря, в платье с Сэвил-роу *. У него была квадратная борода и лицо цвета хорошо начищенного коричневого башмака. Где-то в коридоре, за закрытой дверью, стучали машинки. Там ли Шерли или, вопреки всем уверениям, она сейчас в шелковой пижаме за утренним шампанским возлежит где-то на яхте в Средиземном море, вовсю наслаждаясь той роковой судьбой, которая, как принято считать, хуже смерти? Сэр Майкл хотел было остановить Великого визиря и задать ему этот вопрос, но смолчал и пошел по коридору.

С первого же взгляда он убедился в одном: принц Агамазар, на котором была курточка студента Кембриджского университета из синего полотна и темно-серые брюки, несомненно очень красивый и привлекательный малый. Его чисто выбритое лицо было немного светлее физиономии Великого визиря, но волосы, брови, глаза казались угольно-черными. Он пил кофе и настоял, чтобы сэр Майкл присоединился к нему. Может быть, благодаря его безукоризненной манере держаться сразу создалось впечатление, что он искренне рад гостю. И хотя такое предположение было не-

* Район, где помещаются лучшие портные Англии.

лепым, но казалось, что принц не только чувствует себя одиноким, но его что-то угнетает и ему страшно хочется с кем-то посоветоваться, поговорить по душам.

— Я тут набросал для вас план работы вашего культурного фонда,— сказал сэр Майкл, когда они уселись за кофе.— Вам пересказать вкратце или оставить, чтобы вы потом сами прочли?

— Перескажите вкратце, сэр Майкл, прошу вас. И сказать вам правду? Мне особенно нравится слово «вкратце». Скажите, вам часто становится скучно?

— Очень часто. Это главное, что мне всегда мешает в отношениях с официальными лицами.

— Мне тоже. Я сто тысяч раз умирал от скуки. Итак, прошу вас, сэр Майкл, расскажите, как вы себе представляете организацию моего культурного фонда и его деятельность.

И принц Агамазар положил ноги на другое кресло, закурил что-то вроде сигары, прикрыл глаза и соскользнул со спинки кресла так низко, что казалось, он опирается на него только плечами.

В нем как-то странно смешались черты восточного владыки и вечного кембриджского студента.

Сэр Майкл пробежал вслух свои заметки, изредка поднимая глаза, чтобы добавить какие-нибудь объяснечия или удостовериться, что принц Агамазар не спит. Но сигарета дымилась, да и глаза молодого человека были только чуть приоткрыты.

— Вывод такой,— сказал сэр Майкл, дойдя до конца своих заметок: — Знаете, принц Агамазар...

— Нет, нет, прошу вас. Я вас буду звать Майкл, вы меня — Боджо!

— Боджо?

— Нет, это не мое настоящее имя, Майкл, но так меня звали в школе — Боджо. И я предпочитаю, чтобы мои западные друзья так меня и называли. Итак, прошу: ваш вывод.

— Вывод такой, Боджо. Если вы ищете администратора, я вам не подхожу. Да и вообще, по-моему, никаким культурным и связанным с культурой предприятиям администратор сверху не нужен, я хочу сказать — не нужен во главе предприятия. Из-за этого многие начинания глохнут, заходят в тупик. Чиновники, которые пытаются руководить, только замедляют дело. Это не творческие люди. Они убивают энтузиазм, а не вызывают его. Разумеется, администрация нужна, но не во главе предприятия. Это мое убеждение, Боджо. Так что, если вам нужен солидный британец-администратор, то мы с вами только зря теряем время.

— Это дельное замечание. Ценю, Майкл, старина. Нет, мы вовсе не теряем времени зря.

И вдруг он сел, выпрямился и пристально посмотрел на сэра Майкла.

— Да, все, что вы сказали, очень правильно. Мне все это очень интересно. Но скажите мне одно — честный ли вы человек?

— Денег не ворую, если вы об этом,— ответил сэр Майкл довольно резко.— Думаю, что я вполне честен, может быть, даже слишком честен для этакого «деятеля-сеятеля» культуры, слишком честен в своих вкусах, суждениях, мнениях. Не карабкаюсь на всякие колесницы моды. Я чту талант, а не наглое умничанье.

— Да, да, мне уже об этом говорил тот человек, из министерства финансов, и я вижу, что это правда. Но сейчас я не о своем фонде думаю, Майкл, дружище. Тут мы сговоримся, я уверен. Хотите взять фонд в свои руки — милости прошу. Но сейчас я думаю о другом. Меня страшно мучает одна вещь. Мне очень нужен совет, а мои люди дать мне его не могут. Мне нужен совет от вас, англичан, Майкл.

Принца Агамазара вдруг охватило такое волнение, что он вскочил с кресла, ткнул сигаретой в пепельницу и зашагал по комнате взад и вперед. Потом повернулся к сэру Майклу:

— У меня сложные личные дела. Меня они губят, Майкл. Посмотрите на меня. Я вполне сильный, здоровый, мужественный человек — настоящий мужчина. И не такой уж я урод, как по-вашему?

— Напротив, Боджо. Могу сказать, что любая из знакомых мне англичанок сочла бы вас весьма привлекательным. Я хочу сказать, помимо всех ваших денег, вашей власти — просто как мужчину.

— Так в чем же дело? Я предлагал все, да, все, даже брак — свадьба по-европейски, цилиндры, фраки, вуаль, флер д'оранж — все, что у них полагается. Бесполезно. Неужели во мне есть что-то отталкивающее?

— Мы все часто себя об этом спрашиваем, Боджо. Не вы один. Но если я могу вам помочь, я готов. Ну, так что же происходит?

— Сейчас увидите!

И принц Агамазар нажал оглушительно-громкий звонок — несомненно отель «Кларидж» ставит такие только в апартаментах восточных владык. Появился Великий визирь, выслушал приказание на родном языке и исчез. Сэр Майкл встал, у него перехватило дыхание, он не спускал глаз с дверей. И конечно, тут вошла Шерли. На ней было светло-зеленое полотняное платье, она переменила прическу, очень загорела, пожалуй, немного похудела, но все же осталась сама собой — честное слово, лучшей в мире!

Она попыталась сделать деловитое лицо и вопросительно взглянуть на своего хозяина, но ничего не вышло. Большими сияющими глазами она смотрела на сэра Майкла, заливаясь румянцем. Он взглянул на нее, пробормотал что-то, сам не сознавая, что именно, и подался к ней. В ответ она как-то беспомощно, по-детски дрогнула. И тут все древние предки, все темноглазые Стратеррики, чьи демонические страсти всегда проступали на лице сэра Майкла, отбросили директора Комси и взяли верх, заставив его распахнуть объятия. Она влетела в них, как большая золотая птица.

— Она моя, Боджо! Мы скоро поженимся!

— О, Майкл! Правда? Когда же?

Принц Агамазар переводил глаза с нее на сэра Майкла, полуоткрыв рот, с совсем не принцевским видом.

— Значит, вы знакомы?

— Мы любим друг друга уже много-много времени! — гордо заявила Шерли.

— Простите, Боджо, но если ваши личные дела связаны с ней,— сказал сэр Майкл,— тут я ничем помочь не могу, разве что увезти ее поскорее.

21

Прощальный вечер в Дискусе затеяла Элисон — она сказала, что это необходимо. Сэру Джорджу только что сообщили, что его назначили заведующим небольшим отделом министерства высшего образования по естественным наукам: нечего и говорить, что этот отдел расширялся с неудержимой силой. Он должен был заняться органической молекулярной химией, хотя сэр Джордж сам не знал, с чем это едят. Одного Дрейки не могли решить: дали ли сэру Джорджу эту должность благодаря сэру Финли Эвону (так думал сам сэр Джордж) или же вопреки ему (так думала Элисон). Но как бы то ни было — к работе надо было приступать немедленно. Разумеется, Элисон вздохнула с облегчением и, может быть, именно поэтому предложила устроить прощальный вечер в Дискусе. И кроме того, как хорошо знал сэр Джордж, Элисон по временам любила покупать себе новые, внушительных размеров шляпы и в них играть роль милостивой Хозяйки Замка.

И вот наступил этот вечер; в четверг, тридцатого мая, от шести до восьми все собрались в кабинете генерального секретаря. Был приглашен весь штат, вместе с женами и мужьями, все, кроме Тима Кемпа — с тех пор как он увел труппу О'Моров, его в Дискусе не видали. Почти все явились, хотя, разумеется, нашлись и тут неприятные или невезучие люди, которые всегда не могут или не хотят ходить на вечера. К половине седьмого кабинет сэра Джорджа был почти полон и более скромные гости распространились в приемную Джоан Дрейтон. И как это часто бывает, им там было куда веселее, чем важным гостям в главном помещении.

Здесь, в кабинете, прием проходил совсем не так приятно, как надеялись Дрейки. Элисон играла свою благородную роль милостивой Хозяйки Замка, но после того,

как она полчаса раскланивалась, улыбалась, восклицала («Но вы же ничего не пьете!») и спрашивала, что кто будет делать после ликвидации Дискуса, ей стало как-то не по себе. И сэр Джордж, мысленно принимавший трогательные проявления преданности от верных сослуживцев, тоже был немало разочарован тем, как обернулось дело. Оба супруга чувствовали, что слишком многие из гостей, и особенно те, кто должен был знать, как надо вести себя на прощальном вечере, никак не хотели войти в соответствующее настроение.

Никола Пемброук, чья пылкая цыганская красота никогда не вызывала симпатии Элисон, привела с собой мужа, болезненного, хрупкого музыковеда, человека разочарованного и насмешливого, у которого на лице было написано, что он только сейчас вкусил от жизни и обнаружил, что это просто гигантский кислейший лимон.

— Что же вы собираетесь делать теперь, дорогая миссис Пемброук, когда Дискуса не будет? — спросила ее Элисон.

Не дав жене ответить, доктор Пемброук ядовито сказал:

— Ее пригласили в музыкальный отдел этого нового фонда Агамазара. Столь же идиотское занятие, как и тут, в Дискусе.

— Да что вы! — Элисон взирала на них с высот — милостивая Хозяйка Замка.— Там, кажется, сэр Майкл Стратеррик? Не представляю себе, неужели он может интересоваться музыкой, понимать ее?

— Конечно нет. А кто вообще понимает? Но он хотя бы обещал предоставить Никола полную свободу действий.

— И должна сказать,— решительно заявила Никола,— он обаятелен, как никто.

— У Никола слабость к обаятельным мужчинам,— доктор Пемброук изобразил кислую улыбочку: — Не могу ее упрекнуть — столько лет она меня терпит!

Элисон мысленно согласилась с ним, но вслух сказала довольно холодно:

— Он не в моем вкусе, не нахожу его таким уж обаятельным. Да к тому же я слыхала, что с ним очень трудно сработаться. Посмотрите, что он сделал с Комси.

— Смотреть уже не на что! — объяснил доктор Пемброук.— Комси больше не существует. Как и Дискус.

Между тем сэр Джордж столкнулся с Джун Уолсингем: она явилась сюда из шикарного мира модных журналов, словно сойдя с глянцевой обложки.

— Ну, милый мой,— начала она,— вы бы все-таки поговорили с официантами! Это называется мартини — вермут с водичкой! Наверно, воруют у вас бутылку джина ежеминутно. Ну как же вы поживаете, милый друг?

Потом, вспоминая этот разговор, он подумал, что надо было как-то пойти ей навстречу, показать, что он не хочет притворяться, будто забыл все, что случилось в тот жуткий вечер, после «Зеленого гонга».

Вполне вероятно, что они больше и не увидятся. Злясь на себя, сэр Джордж смотрел ей вслед, когда она пробиралась к выходу, и не обрадовался, когда чья-то рука легла ему на плечо и он очутился лицом к лицу с Хьюго Хейвудом. Он знал, что Хейвуд вот уже с неделю, как вернулся из отпуска, но они не встречались, больше того — избегали друг друга. И теперь Хейвуд стоял перед ним желтый, с мешками под глазами — настоящий распутник. Он привел с собой — какая наглость! — худую женщину, вероятно, актрису, со слишком толстым слоем зеленого грима на веках, в платье, похожем на мешок из-под овса. Даже в этот ранний час язык Хейвуда заплетался, и он невнятным голосом произнес имя женщины — сэр Джордж разобрал что-то вроде «Марго Фалларо». Даже в этой обстановке они оба возмутили сэра Джорджа.

— Блестящая актриса! — сказал Хейвуд, когда она отошла.— Хочет теперь играть только Беккета, Йонеско и Жэне. Изумительно цельная натура!

— А те сумасшедшие ирландцы, которых вы мне присылали? — сэр Джордж уже не старался разговаривать, как радушный хозяин: в конце концов Хейвуд ему здорово насолил.— Их всех вы тоже считаете цельными натурами?

— Да, по-своему, конечно! — воинственно заявил Хейвуд.— Сознаюсь, я был под мухой, если вам от этого легче. Но, может быть, вам небезынтересно будет услышать, что эти сумасшедшие ирландцы сейчас каждый вечер играют в «Коронете» при аншлаге. А сегодня мне сказали, что два человека, которых вы знаете и не выносите, заработали на них кучу денег — Тим Кемп и сэр Майкл Стратеррик.

— Ерунда!

— Нет не ерунда. Они внесли несколько сот фунтов Тотси Блеггу, а теперь, наверно, зарабатывают тысячи полторы в неделю на двоих. Повезло, верно? А придумал это все я. Но вы изгадили мою идею. Получил шиш, а эти О'Моры и видеть меня не желают, да еще ваш Дискус полетел ко всем чертям, в министерство мне не попасть, Стратеррик меня в свой фонд имени кого-то не берет, приходится писать во всякие передвижные театры, искать работу.

— Если ко мне захотят обратиться за рекомендациями, я сделаю для вас все, что смогу, Хейвуд.

— Ах, спасибо, огромное-преогромное спасибо! — кисло пробормотал Хейвуд и пошел искать свою Марго Фалларо, или как ее там звали.

В это же время Элисон, порядком уставшая, умученная, уже с трудом сохранявшая личину милостивой Хозяйки Замка, стала пробираться к сэру Джорджу, тот стоял в углу, явно препираясь с официантом. Отведя его в сторону — толпа уже сильно поредела,— она сказала:

— Не знаю, как ты, Джордж, но я чувствую, что больше выдержать не в силах.

— Почему? Что случилось, мой друг?

— Ах, меня расстроили эти противные Спенсеры. Бесятся, скандалят, оттого что он не может получить приличное место. Я им выразила свое сочувствие, хотя, по правде говоря, я их не выношу, но тут эта дурочка напустилась на меня, наговорила бог знает чего. Мне хотелось бы домой.

— Не могу сказать, что мне тут весело. Все пошло не так. У всех настроение не то. А я заготовил неплохую речь, хотел поблагодарить за верную службу, немного поострить насчет Дискуса — знаешь, как это бывает, так везде принято...

— Ах, перестань! Смотри — Нейл Джонсон идет к нам.

Специально для него она мило заулыбалась. Из всего штата Джорджа Нейл всегда был ее любимцем, отчасти потому, что он проявлял к ней какое-то особое внимание, с легким налетом романтики, отчасти же потому, что после утомительной, чисто школьнической приверженности Джорджа ко всем устоям ей был приятен бунтарский дух Нейла Джонсона, его нелюбовь ко всяческой бюрократии.

— Ну, Нейл, вам тут не скучно?

— Я только что пришел. Жаль, если что пропустил.— Он поднял стакан виски с содовой, словно для тоста: — А я сейчас был у Майкла Стратеррика!

Он широко улыбнулся, явно не замечая, что им обоим не до улыбок.

— Бог мой, да что же вы там делали, Нейл? — В голосе Элисон от прежнего тепла и следа не осталось.

Сэр Джордж высоко поднял брови, да так и не опустил:

— Но не в этом же фонде, как его там, вы были?

— Вот именно. В фонде имени Агамазара. Стратеррик не хочет, чтобы Джим Марлоу ведал там финансовой частью. Слишком робок. Да и сам Марлоу решил заняться делами — пошел по страховой части. Так что мне предложили это место, и я его взял. Развернем работу примерно через месяц. И Стратеррик действительно увлечен — не то, что в Комси. К тому же он женится.

— Кто, Майкл Стратеррик? Не верю! — решительно заявила Элисон.

— Однако это факт. Я видел ее перед самым уходом. Больше того, я ее знаю! — продолжал Джонсон, явно наслаждаясь ситуацией и не замечая настроения собеседников. Он посмотрел на сэра Джорджа: — И вы тоже!

— Откуда я могу ее знать? Кто она такая?

— Кто бы она ни была, помоги ей небо! — с горечью сказала Элисон.

— Впрочем, может быть, вы ее и не замечали,— сказал Джонсон сэру Джорджу.— Простая машинистка, да и пробыла у нас недолго. Когда нам пришлось уступить машинистку Комси, Тим Кемп устроил так, что послали именно ее. Я знал: он что-то затеял, только не понимал, что именно.

— Машинистка — ну, знаете! — Элисон удачно сыграла даму, в чьем смехе звучит брезгливое презрение.— И, наверно, вдвое моложе его?

— Если не больше. Но, боже правый, какая красотка! Я ее заметил, еще когда она тут ходила на цыпочках, тихо, как мышонок, но она так расцвела, да еще выходит замуж за Стратеррика, и каждый день они оба завтракают с шампанским у этого принца Агамазара, теперь от нее глаз не отвести. Она до того хороша...

Но тут Элисон не выдержала:

— Нейл, вы говорите глупости, к тому же у меня адски болит голова, ты, Джордж, если хочешь, оставайся, говори речи, хотя я считаю, что это будет ужасно глупо, а я должна уйти!

И после некоторого препирательства, от которого Нейл Джонсон сразу устранился, Элисон проследовала в дамскую комнату, а сэр Джордж обошел всех, рассеянно пожимая чьи-то руки. Супруги встретились внизу, и вместо того, чтобы весело закончить день в каком-нибудь ресторане (но не в «Мушкетере»!), отправились домой, хотя Элисон объявила — и это была единственная ее реплика,— что дома есть нечего.

В ожидании яичницы с ветчиной, которую наспех стряпала Элисон, сэр Джордж вспомнил неплохую речь, заготовленную заранее, вытащил ее из кармана и разорвал с ненужной злобой. Мысленно он слышал, как тень некоего генерального секретаря Дискуса говорит перед неосуществившейся аудиторией, глядящей на него с восхищением и преданностью: «... и в сущности, жизнь немыслима без чувства юмора, но сейчас я хочу говорить серьезно. Хочу выразить вам мою глубокую, мою горячую, мою искреннюю благодарность за ваше преданное отношение — за вашу преданность и Дискусу, и мне лично...»

И тут они все зааплодируют и сквозь улыбки проступят слезы или сквозь слезы улыбки — как там это полагается...

— Джордж, ну иди же скорее. Будем есть тут! — крикнула Элисон из кухни, больше подходившей для такого импровизированного обеда, чем большая столовая. Он прошел на кухню. На Элисон был старый халат, лицо — раскрасневшееся, сердитое.

— Очень сожалею, что вечер не удался, мой друг.

— Видно, вся затея была нелепой.

Она молчала, пока они доедали яичницу с ветчиной. И вдруг он вздрогнул от ее восклицания.

— Майкл Стратеррик — боже правый!

— А что такое?

— Ничего, ничего, ничего! Хочешь сыру?

— Пожалуй, нет, спасибо! Кстати, тебе не попадался Хьюго Хейвуд? Нет? Честное слово, он вел себя малопристойно. Когда я упомянул об этих О'Морах — помнишь, я тебе рассказывал, как он их на меня напустил? — он заявил, что они играют в «Короне-те» при полном зале.

— Знаю, знаю. Очередная мода, глупее нет...

— Несомненно. Но ты, должно быть, не знаешь, что Стратеррик и Кемп вошли в долю с антрепренером и, по словам Хейвуда, выручают чуть ли не полторы тысячи в неделю на двоих.

Не сводя с него глаз, Элисон положила нож и вилку и отодвинула стул:

— Нет, не может быть — этого еще не хватало! **Почему** — нет, ты объясни мне — почему?

— О чем ты, дорогая? Почему — что?

— Почему **все**! — спросила она не очень логично и заговорила быстро, сердито, глядя на него злыми глазами, словно он был виноват во всем: — Почему такая дикая несправедливость? Почему с нами ничего такого не случается? Почему у меня все идет вкривь и вкось? Почему Кемп сейчас заодно с Майклом Стратерриком, хотя ты говорил, что они друг друга не терпят, как и ты с Кемпом? Почему ни в чем нет ни смысла, ни тени справедливости?

— Ну, это, пожалуй, объяснить трудно,— медленно сказал сэр Джордж, чтобы дать жене успокоиться.— Впрочем, нечего искать смысла там, где замешан этот скверный интриганишка Кемп. И одно меня радует в этой новой работе в министерстве: больше я Кемпа, слава богу, не увижу!

22

Сэр Майкл осторожно приподнялся, взглянул на часы, увидел, что скоро восемь, выскользнул из постели, надел халат и на цыпочках вышел из комнаты на балкон. Он боялся разбудить Шерли — ей нужно было спать больше, чем ему, а он уже совсем выспался и очень хотел курить. Ясное июньское утро было безветренным и совсем теплым.

Они впервые провели ночь в отеле «Хижина Генриха Четвертого» в Сен-Жермен-ан-Лэ, где им отвели роскошнейшую спальню за безумные деньги, но благодаря прибылям с театра «Коронет» было чем расплачиваться. Их медовый месяц начался не сейчас: пять дней они прожили в Париже в отеле «Ритц», как гости Боджо, но Шерли первая твердо заявила, что они должны уехать из Парижа, хотя ей тут начинало очень нравиться, уехать от Боджо, хотя он очень славный, и побыть где-нибудь в тиши, наедине. Тут сэр Майкл вспомнил Сен-Жермен — городок на скале, с обрывами и чудесным лесом. Он позвонил в отель и потребовал номер люкс, с балконом, нависшим над долиной Сены. О цене он не спросил, потому что Шерли обязательно выпытала бы, сколько это стоит, и сразу сказала бы, что Стратерриги, несмотря на прибыли с «Коронета», деньгами не швыряются, как какой-нибудь Агамазар. Шерли была твердо уверена — и разубедить ее было невозможно,— что в этом отношении Боджо, то есть принц Агамазар, дурно влияет на Майкла, а Майкл и без того деньги беречь не умеет. Сэр Майкл теперь понял, что под неправдоподобной красотой Шерли, за этим ликом наяды или героини мифов таится мощная броня здравого женского смысла — и он об этом не жалел: это открытие забавляло его.

Сэр Майкл стал думать о своей жене, хотя взгляд его с удовольствием блуждал по широким просторам внизу, уже выплывавшим из дымки раннего июньского утра под волшебными лучами солнца Иль-де-Франс. Перед ним вилась Сена, разделенная длинным железнодорожным виадуком, налево — леса, вблизи — красные крыши вилл, дальше — ближние окрестности Парижа, подымавшиеся в дыму на холм, еще дальше, на восточном горизонте,— силуэт самого города. Оставшись впервые наедине с собой, словно паря в воздухе перед мировой столицей любви и страсти, он думал о Шерли и в первый раз по-настоящему думал о ней, как о партнере в любви. Он считал, что в этих делах его никто удивить не может, а вот она его поразила. Что бы ни происходило во время их объятий, она по-прежнему владела его воображением, и — что важнее всего, а может быть, и выше или ниже всего — он любил эту девочку, он понял это, когда просил ее стать его женой. Но он предполагал, и предполагал неверно, что она либо будет робкой, неловкой, трудной да возможно даже холодной, либо станет в эти интимные минуты просто еще одной из тех, чьи имена и лица он стал забывать, и будет шептать, стонать, извиваться и царапаться,— воспаленная жертва и пленница женского своего естества,— от которых так быстро устаешь. Но она была совсем иной и всегда будет иной — в этом он мог поклясться. Может быть, что-то в ней скрыто, может быть, он сам неожиданно стал другим, но он уже понял: какой бы страстной и покорной она ни была, как бы радостно она его ни слушалась, ни в чем не отказывая, ему никогда не овладеть ею до конца, никогда она не отдаст себя всю, беззаветно, никогда не позволит превратить себя в покорную безликую жертву, в рабыню, как бы страстно и неутомимо он ни обнимал ее. Перед ним, казалось, было заколдованное царство, и чем дальше его заводила любовь, тем больше он понимал, что это царство ему никогда не завоевать, никогда оно не покорится надменной армии оккупантов. Сэр Майкл даже подозревал, что днем она будет все крепче и крепче забирать вожжи в руки, начнет им командовать и такими зоркими глазами станет следить за его расходами, что ему придется немножко привирать и подтасовывать, а к тому времени, когда ему захочется спокойной жизни, в доме, наверно, появится три или четыре шумных подростка. Но он знал одно: когда бы он с ней ни столкнулся, как мужчина с женщиной, в нагой отрешенности от всего, она останется для него все тем же сказочно-желанным и соблазнительным существом. Ему понадобилось сорок восемь лет, чтобы открыть, как поразительно справедливы многие старые избитые истины.

23

Кабинет, конечно, был новенький, даже еще пахло краской, и сэр Джордж не в первый раз подумал, что работы по строительству и внутренней отделке в Лондоне — только бледная копия того, как работали в его молодости. (Когда он заглянул сюда несколько дней назад, он нашел двух юнцов, с давно нестриженными волосами, которые лениво красили книжные полки под аккомпанемент транзистора.) Но теперь все было на месте, все как полагалось — и по размеру и по качеству: ковер, письменный стол, три кресла, два телефона. Джоан Дрейтон сидела в маленькой приемной перед кабинетом, охраняя его покой, как охраняла в Дискусе. Он только что собирался вызвать ее, без особого дела, просто чтобы проверить, все ли идет, как надо. Но она предвосхитила его желание и доложила, что к нему посетитель — сэр Финли Эвон.

— Доброе утро, Дрейк. Зашел взглянуть, все ли в порядке.— Сэр Финли казался еще более худым, говорил еще отрывистей, когда был на работе.— Вы чем ведаете?

— Я — органической молекулярной химией,— объяснил сэр Джордж.— Дело, разумеется, для меня новое, но надеюсь почитать и понять, о чем эти ученые господа со мной будут разговаривать.

— Немыслимо. Все понимать — несовременно. Но разумное руководство — везде одно и то же.

— Совершенно согласен, Эвон. Но скажу вам откровенно, я от души рад, что избавился от всего, связанного с Дискусом,— от всякой музыки, живописи, театра, от бог знает чего. Никогда в этом не разбирался, да и большинство моих сотрудников — тоже. Казалось, что руководишь химерой, к тому же половина людей, с которыми сталкиваешься, немного не в своем уме. С удовольствием думаю, что буду руководить серьезным, солидным учреждением, иметь дело с серьезными, солидными людьми.

— Не уверен,— сказал сэр Финли.— Ученые — странный народ. Вне лабораторий — сплошные интриги, протекция, подвохи, борьба за власть. Тут нужен глаз да глаз, Дрейк, смотрите в оба!

— Непременно, Эвон, спасибо, что предупредили. Надо будет почитать этого, как же его — да, Сноу.— Тут он наклонился к сэру Финли — они стояли рядом — и понизил голос:— Не знаю, вас ли надо благодарить за это новое назначение.

— Особенно — нет, Дрейк. Мое мнение спрашивали, и я назвал ваше имя. Сказал: считаю хорошим руководителем. Дискус — невозможная работа.

— Очень вам благодарен. Одно время я был весьма озабочен. Говоря откровенно, Эвон, боялся, что жена моя вас чем-то обидела, когда мы обедали в «Мушкетере».

— Рад, что там побывал. Теперь знаю — слишком дорого, слишком жарко, слишком много блюд с огнем. А жена вам не навредила. Женщин не слушаю, разве что в домашних делах, а так — никакого внимания, пусть себе болтают. Хорошее правило, Дрейк, рекомендую. Считайте, что все они на людях говорят чепуху. Сами не понимают. А мне все равно. Скажите, как у вас штат? Набор полный?

— Да, канцелярия и все исполнители — на месте. Но у меня нет помощника, а мне обещали.

— Дайте подумать.— Сэр Финли прикрыл глаза, подумал, потом открыл их.— Правильно, Дрейк. Один начальник отдела — к вам в помощники. Должен бы явиться. Ну, бегу. На кабинет не жалуйтесь. Везде одно и то же. Скверная работа. Скверные материалы. Дерево уже потрескалось. Настоящей цивилизации — крышка. Зачем высшее образование? Позавтракаем как-нибудь, Дрейк? Всего!

Сэр Джордж проводил его до дверей и, когда он ушел, сказал Джоан:

— Из слов Финли Эвона я понял, что мне полагается помощник — вероятно, в чине начальника отдела. Должно быть, он вскоре явится сюда с докладом. Буду на месте до завтрака.

— А работа у вас есть, сэр Джордж? У меня — никакой, и мне это неприятно.

— Не беспокойтесь, Джоан! Скоро вам работы будет сверх головы. Когда я устроюсь в кабинете, как надо, я, по-видимому, продиктую предварительные указания

штату насчет преданности своему делу, постоянной готовности — ну, словом, все, что полагается. И о том, что дело у нас новое, важное, срочное — и тому подобное. Надо их всех взбодрить, чтобы горели на работе. У меня самого настроение отличное после всей этой каши в Дискусе.

— Ах, сэр Джордж, а мне без Дискуса скучно, честное слово!

— Погодите, Джоан. Тут все пойдет по-иному.— Он коротко, но радостно хохотнул: — Теперь, как любят говорить у вас, мы попали в точку! Ха-ха!

С мыслью о дружеской поддержке сэра Финли он отлично провел следующие полчаса, возился в кабинете, проверял все ящики в столе. Но ему то и дело приходила на ум Элисон — с тех пор как провалился прощальный вечер, она была в прескверном настроении, однако он чувствовал, что теперь можно будет ее успокоить, сблизить ее интересы со своими, раз он уже попал на такое место. И в том же отличном расположении духа он размышлял — не позвать ли жену сюда, не попросить ли навести тут какой-то женский уют, когда вдруг позвонила Джоан:

— Он явился, ваш помощник в чине начальника отдела.

Нахмурясь, оттого что в голосе Джоан неизвестно почему звучало неудержимое веселье и сдержанный смех, он медленно и осторожно положил телефонную трубку.

И тут сэр Джордж услышал в своем кабинете голос:

— Как будто мы и про здешние дела мало чего понимаем, не так ли? Зато хоть какая-то перемена!

Перед ним стоял Кемп.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

О ЛЮБВИ

Две поэмы «О любви», которые мы печатаем ниже, написаны Эрнестом Хемингуэем в 1944 году и посвящены его жене Мэри, любезно предоставившей нам гранки публикации, подготовленной ею для журнала «Атлантик».

Здесь Хемингуэй впервые выступает перед нами в качестве поэта. Как всегда верный правде жизни, он точно передает атмосферу и язык солдатской среды, в которой он находился в годы второй мировой войны.

Мы публикуем эти поэмы вместе с предисловием Мэри Хемингуэй, где она поясняет обстоятельства, при которых они были написаны.

Почти восемнадцать месяцев в 1942—1943 гг. Эрнест использовал свою рыболовную яхту «Пилар» в качестве приманки для немецких подводных лодок, торпедировавших танкеры союзников, когда они огибали Кубу с запада по пути из Венесуэлы в американские и английские порты. Привыкнув действовать безнаказанно, эти подводные лодки часто всплывали около кубинских рыболовных траулеров и требовали продовольствия — свежей рыбы, мяса, хлеба, яиц; Эрнест рассчитывал, что какая-нибудь подойдет с той же целью к «Пилар» или же всплывет для перезарядки батарей, и ему удастся потопить ее.

Имея на борту команду в 6—9 человек, радиолокационную и звукопеленгаторную аппаратуру системы, принятой на флоте США, и большое количество оружия, «Пилар» крейсировала среди островов близ северного побережья Кубы, готовая обрушить свой бомбовый груз на первую боевую рубку, которая покажется над водой. (Пилар» была деревянным судном.) Раз они увидели издали подводную лодку модели 740, и им даже удалось подойти к ней на расстояние мили. Но лодка взяла курс на северо-запад и скрылась; позднее стало известно, что она вошла в дельту Миссисипи и несколько человек высадились с нее на берег в районе Нового Орлеана. Еще несколько раз «Пилар» запеленговывала подводные лодки, возможно потопленные кем-то раньше, но мечте Эрнеста о столкновении в открытом бою так и не суждено было сбыться.

Все расходы с Эрнестом делил Уинстон Гест, по прозвищу Волфи (Волчонок), он же был вторым командиром судна-ловушки. Обязанности старшего артиллериста исполнял другой приятель Эрнеста — Патчи Ибалучия, баск из Гаваны.

В 1944 году Эрнест поехал в Лондон корреспондентом от журнала «Кольерс» — писать о высадке союзных войск во Франции. А пока высадка не началась, он участвовал в боевых вылетах Королевских военно-воздушных сил, к которым был прикомандирован. За неделю или за две до того, как была написана

первая из публикуемых поэм, он попал во время затемнения в автомобильную катастрофу; с тех пор и начались у него головные боли.

В день Нормандской операции Эрнест был с Первой дивизией в районе, получившем условное название Омаха-бич. Вернувшись во Францию в июле, он присоединился к Четвертой дивизии генерал-майора Р. О. Бартона, точней, к ее 22-му пехотному полку, которым командовал Чарльз Т. Лэнем, тогда еще только полковник, а не генерал. Находясь при полковнике Лэнеме во время битвы в Гюртгенском лесу, он начал вторую поэму, а закончил ее в отеле «Ритц» в Париже, куда приехал потом на короткую побывку.

Мэри Хемингуэй

К МЭРИ

Ишь. дрыхнет
Со Смертью, дырявой задрыгой,
Он,
Трижды отвергший ее...
Повторяй:
Опочил он
Со Смертью, страстной лахудрой,
Он,
Трижды отвергший ее.
Обожди... Пусть...
Ну, вот теперь можно. Дальше.
Отвергал ты ее?
Да.
Трижды?
Да.
Повторяй за мной:
Берешь ли Старую Суку
В возлюбленные
Супруги своя?
Повторяй:
Навеки.
Навеки.
Навеки.
У. в о. 6 оф. 61 ряд. 24.00—14 сент. 24.00.
Уточняю:
Убито в операции 6 офицеров, 61 — рядового и сержантского состава с полуночи 13 сентября до полуночи 14 сентября.
Шестьдесят семь раз повтори:
Навеки,
Навеки,
Навеки. Шестьдесят семь раз
Повторил.
Продолжаем.
А в следующей войне будут хоронить в целлофане.
А в следующей войне будут хоронить в целлофане.
В НЗ каждому будет положено причастие.
В НЗ каждому будет положено причастие.
Каждого снабдят крохотным портативным кардинальчиком Спеллманчиком. Он будет надуваться, как спасательный жилет (надул-спустил-надул-спустил-надул-спустил).
Это по Ведомству Сжатого Воздуха.
Ну, не повторяй. Хватит.
Церемония кончена.

Никого. Поговори сам с собой.
Ты один во времени. Время — «вечно». Ты повадился
оперировать этим словцом в своих посулах. Оно обесценено.
Весь офицерский, сержантский и рядовой состав получит
эрзац-копии своих возлюбленных. Они их больше не увидят.
По соответствующим каналам эрзац-образцы
Эти могут быть возвращены.

Моя любимая Мэри Уэлш.
Единственная моя.
Она тоже подлежит возврату.
Но в тот день не будет подлинности у кардинала
Спеллмана. Да и твоя сомнительна. И твоя тоже.
Уходите. Уходите все. Как можно тише. Как можно
Медленней. И заберите с собой это самое «как можно».
Вздерните его где-нибудь. Выпустите из него дух.
Жаргон осточертел. Нужна ясность,
То есть каждый страдает, но не нам изменить результат.
Познавшие это, шагаем медленно.
Вглядываемся друг в друга с Любовью, с Состраданием.
Это познается лишь через сотню дней. И это последний
Признак.
Было все: раздражение, злость, страх, отрицание, смятение,
Ошибки, трусость и немыслимость продолжать.
Было это и будет вновь. Конечно, это уравновесится
Выдержкой, постоянством, мужеством, маневренностью
В борьбе...
Но теперь, в этот миг —
Любовь и Сострадание.
Умение терпеть.
Только Любовь и Сострадание.
Затверди это.
Лишь Любовь и Сострадание.
Неужто и для ПС'ов?!
Подсобные Службы — нестроевая братия — сержанты,
офицеры, рядовые — с полуночи 13 сентября — (?) до
полуночи 14 сентября.
Ни за что!
Тогда это не Сострадание.
Ну, ладно. И для ПС'ов тоже.
Да. Любовь и Сострадание.

Но как же можно произносить это здесь, здесь?!
А как же можно сказать иначе?
Не то чтобы мы желали чего-то еще.
Не то чтобы мы желали чего-нибудь вообще.
Не то чтобы мы желали всего.
Не то чтобы мы желали большего.
Нет.
Но когда они уходят из страны, откуда не возвращаются,
Из того, что не называемо,— умирает их внутреннее зрение.
И сознание это растет свежо и нездешне, ну, как роза, что ли,
Удобренная смертью и невылившимися слезами. Оно
Распускается
В Любовь и Сострадание.
Но не к ним.

Увы. Жаль, конечно.
Тогда оно неполно.
Не будет раскаянья. Не будет этого сучьего раскаянья.
Только Любовь и Сострадание.
Протяни руку к ненависти, этой мрачной сестре Любви,
И ступай с ней на холм, куда мы бредем, и
Познай — ожидает ли Любовь на вершине. Или нечто еще.

Не помню, говорил ли я тебе, что сердце мое —
Мишень для Случая?
Любимое дитя любви,
Ты любишь и не любишь,
Ты право, когда обманываешься,
Несчастливо — счастливое,—
Все наполовину!
Ты удерживаешь, не удерживая, то, от чего уходит Любовь.
Когда уходит Любовь, Сестра Ее заполняет формуляры ее.
У, как четок ее почерк, как аккуратно заполнены все графы.
Почерк же Любви неясен, смутен, на официальных бланках —
Любовные стишки, формуляры Любви несолидны.
Ты веришь, что на холме повстречаешь Ее?

Увы. Она давно удалилась. Она сторонится боя.
Любовь понимает идиотизм схватки. Она удаляется, оставив
Нам забытые обеты.
Так в только что захваченной деревне на столах дымится
В мисках оставленный обед.
Мы несем Любовь в себе. Следы ее на наших подбородках.
Это как яйцо съели, а на подбородке следы желтка.

Мы несем нашу Любовь вместе с эрзац-копиями ее, мы несем
Любовь на вершину.
Вверх, навстречу лахудровой ухмылке. Которую столько раз
Мы бортанули.
(С+108)
Взбираемся на высоту. Выше. Так тяжко двигаться.
Так трудно тебя нести, Любовь моя. Ноги не слушаются.
Ноги идут. Ноги. Ноги. Ноги Гарри, ноги Джима.
Ноги.
Ноги цепки.
В ногу! В ногу!
Ближе к цели.
Ближе к богу.
Ноги липнут.
Как магниты.
Страшно гибнуть.
Помогите!
Ноги ноют.
Ноги молят.
В дно земное
Бьют, как молот.
«Нощно, денно
Ноша бренна,
Нота бене!
Нота бене!

Все мура.
Брось скулеж.
Холм. Ура!
Здесь умрешь».

ВОЗВРАТИТЕ ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КАНАЛЫ. ВОЗВРАТИТЕ ЕЕ.

А вот песенка, она поможет тебе возвратить ее.
«Других поохмуряли,
И нас поохмурят.
Лахудра Мировая
Застелит нам кровать!

Сыны Великой Веры,
Мы премся по бугру.
Ты, старый мерин, спятил,
Вперед, святая рать,
Под Мэриным распятьем
В лахудрову кровать!

В объятья пьяной твари
Мы плюхнемся ничком.
Помолимся, товарищ,
Великому Ничто.

Молись, переходящий
Из Нечто в Ничего.
Холм — колокол, гудящий
Над ночью вечевой».

Повторяй снова:
Опочил он
В объятьях Смерти, этой старой блажи,
Он,
Трижды отвергший ее.
Если ты понимаешь, ежели ты только представляешь, ежели и ты... Ежели, ежели, ежели. (Но не то «ежели» из книжицы Киплинга, подаренной на Рождество в Оук-Парке. Помнишь?)
Иное «ежели» —
Древнее гамлетовского,
Длиннющее, отвратительное «ежели». Оно глазело на нас
Еженощно
Из чащоб нашего сознания. Оно вылазит на опушку. Онс
Принюхивается к костру, это «ежели».
И на холме, на этом ежелевом холме. у, как невозможно
Въеживаться в это разрастающееся «ежели» — не говори мне
Твоих «ежели», единственная любовь моя!
Мы тратим —
Что не создано для трат.
Мы рушим —
Что немыслимо разрушить.
Нам в сердце Случай целится, как ружья.
Не мы виновны.
Нас приговорят.

Никто *там* не был.
Мы отлучены.
Гадай, пока гадается, товарищ.
В какую ночь
Ты двери растворяешь?
Не в курсе бог, ни высшие чины.

О нынешней, о сегодняшней, сейчасной ночи узнать
Бы — что будет?
Нынче ночью кардинал Спеллман сорвет банк.

А до Рождества (Р. Х.) остается 89 дней,
Восемьдесят девять.
Мы все сегодня поляжем.
Хвала Рождеству!
Торжественнейшая лажа.
Хвала Рождеству!
Старье и юноши — разом:
Хвала Рождеству!
Зенитки харкают плазмой —
Хвала Рождеству!
Любовь полыхает празднично —
Хвала Рождеству!
С плюс тыща сто девять —
Хвала Рождеству!
С минус восемьдесят девять —
Хвала Рождеству!
Поляжем. А что поделать?
Хвала Рождеству!
Зениток плевки павлинии —
Хвала Рождеству.
Передавайте по линии:
Хва-а-ла Рождеству!

Хана Рождеству.

Холм лыс.
По склонам — елки, рождественские елки. А сквозь них —
Холмы, холмы, опять холмы.

■ ■ ■

Влюбленный в слово,
все, что я хочу,—
сложить такое
словосочетанье,
какое неподвластно попаданью
ни авиа, ни просто палачу!
Мы, люди, гибнем, убываем.
Меня и палачей моих переживет
вот этот стих,
единственно неубиваем.
(Конечно, надо, чтобы повезло в словотворчестве.
Бывает, повезет — так нет, растранжиришь все по мелочам.)
И теряешься —
будто идешь по новому городу.
Он не мой, этот город.

Я робок — ведь я так долго был на воде.
Я знаю, как убивать. Верю в это.
Вернее, не верю, но делаю.
Все дело в практике. Практика. Практика и практика.
Это необъяснимо.
Глаза горят от солнца на воде.
Сердце мое съела подводная черепаха с рубкой на спине.
Съела — и даже не разобрала вкуса.
Да еще котелок раскалывается.

Башка трещит.
Мигрень — как друг в дому.
Меня не отпускает неусыпно.
Конечно,
за компанию — спасибо.
Но хочется остаться одному.

Дружу с мигренью.
И мигрень огорчится, если узнает, что она в тягость мне.
Лишь в воздухе она отпускает меня.
Эгоистично сдвинув наушники,
поизменяю ей чуток.
Но пусть мигрень моя не узнает этого.
Не хочу обижать ее.
Один я.
Ожидаю боя.
Дни между боями — месяцы,
а между каждым вылетом — неделя...
Человек без детей и без кошек.
Нет манго за окном. Вместо длинного прыжка в воду —
пятидюймовая ванна. Оружие сдано.

Нет кошек.
Холостая конура.
Шатает череп от морского шума.
Глаза зажмуришь —
шхуна, шхуна,
шхуна...
И эскадрилий красная икра!

Другие продолжат битву.
Подадимся в пассажиры. Так на джипике — среди этих
вралей и хануриков.
Нет, не такого финиша мы ждали. Не такого.
Не такого, когда всплывала подлодка,
не такого,— мы нажимали пусковую кнопку. Во рту
пересыхало.
Не такого — не таким манером, думали мы, выводя посудину
из гавани.
Где ты, Волфи?
Где ты, Патчи?
Выводи посудину на этот сучий курс!
Плевали мы на разных подонков!
А мы давали огонька.
Такого огонька давали...
Это мы могли.

Это и было единственным нашим богатством —
давать огонька!
Этого не растранжиришь на жратву или выпивон какой-то.
Я даже не могу потолковать с цензором.
Ведь поправки не в рукописи, а во мне.
Тоскую по Патчи. Он брал бронебойку
торпеды из кокпита. Он никогда не ронял баллона с воздухом.
Он был мужик что надо. Патчи.
По Волфи тоскую. Он стоял на мостике.
Щеки его дергались.
Он говорил: «Старикан, все в ажуре.
Не трухай, старикан. Со мной все в ажуре».

И вот я в новом городе. В толпе. Мне весело.
Тоскую по морю. По друзьям тоскую.
Плевал я на мигрень. Не трухай, Волфи. Не печалюсь.
Обещаю всегда быть в ажуре.

Тоскуется.
Небрит я и колюч.
Соперничая с электрочасами,
я сторожу
неслышное касанье.
Я неспроста оставил в двери ключ.

Двенадцать скоро. Время для ворья.
Но ты вбежишь,
прошедшим огороша.
Неожидаемо тихоголоса,
ты просто спросишь:
«Можно? Это я».

Ты, светлая, воротишь, что ушло.
Запахнет рыбой,
трапом,
овощами...
Так,
загребая,
воду возвращает
(чтоб снова упустить ее!) —
весло.

Не трухай, Волфи.
Со мной все в ажуре.
Нас мощно приложили.
Но и мы не в убытке.
И разве мы хнычем, если огонька дает кто-то другой?
Вместо нас.

Май 1944 г.

Перевод с английского ***АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО***

ДУМИТРУ МИКУ,
НИКОЛАЕ МАНОЛЕСКУ

ГЕРОЙ — НАШ СОВРЕМЕННИК

Для того чтобы по достоинству оценить оригинальность нынешней румынской литературы — оригинальность, обусловленную определенным миропониманием, определенным взглядом человека на свое назначение в жизни, необходимо прежде всего принять во внимание коренные перемены, произошедшие за последние десятилетия в жизни нашего народа. Акт, свершившийся 23 августа 1944 года и направивший общественно-историческое развитие страны по новому руслу, поставил сознание человека перед небывалыми явлениями. Структурные изменения в жизни, естественно, привели к изменениям в образе мыслей людей, переменили их взгляд на будущее, всю систему их представлений. Подобные перемены в сознании неизбежно отражаются и на чувствах людей, заставляют их по-иному реагировать — умом и сердцем — на то, что происходит вокруг. Вполне естественно, что писатели — свидетели и участники великих свершений народа — видят свою главную задачу в отражении этих грандиозных преобразований, в раскрытии их глубокого смысла, в выражении новых чувств, нового миропонимания, свойственных освобожденному человеку. Под впечатлением этих небывалых перемен, под благотворным влиянием революционного марксистско-ленинского научного мышления коренным образом изменилось видение писателей; и современная румынская литература в целом носит явный отпечаток этого процесса.

Наш образ жизни диаметрально противоположен тому, который существует в западноевропейских странах; этим объясняются и различия в подходе к истории. Перед писателем-коммунистом объективная действительность предстает, естественно, совсем иной, чем перед романистами и драматургами «абсурда». Действительность не является нам как хаос; она предстает перед нами как вселенная, управляемая внутренними закономерностями, которые необходимо познать. Творческие усилия, следовательно, направляются на раскрытие объективного порядка вещей, на выявление глубоких тенденций общественного развития, на то, чтобы подмечать важнейшие движения человеческой души. Отсюда вытекает и склонность к изображению человека как социального существа, стремление, с одной стороны, создавать широкие исторические фрески, а с другой — глубоко и детально исследовать духовный мир человека в его взаимосвязи с обществом. Мы упоминаем об этих широко известных истинах потому, что одной из отличительных черт современной румынской литературы является ее явно выраженный или содержащийся в подтексте полемический характер. Мировоззрение человека, отражаемое нашей литературой, складывается в противовес тому, которое мы встречаем в творчестве писателей, чье мышление находится вне влияния научного взгляда на жизнь.

В Румынии за последние два десятилетия появилось несколько романов и пьес, авторам которых — людям, сочетающим подлинный талант с ясностью в понимании социального механизма,— удалось воссоздать

картины жизни человеческих коллективов, отдельные исторические события и целые эпохи. Среди этих произведений почетное место занимают многотомный роман Захарии Станку «Босой» (волнующая картина крестьянской жизни в начале нашего века), трилогия Камила Петреску «Человек среди людей» (полотно общественной жизни и исторического движения 1848 года), «Яма» Эуджена Барбу (в этом своеобразном по форме романе о бухарестской окраине былых времен острая наблюдательность сочетается с большим лиризмом), «Жажда» * Титуса Поповича (книга о начале коренных перемен в жизни и в умах крестьян), «Кордованы» (трехтомная эпопея Иона Лэнкрэнжана, в которой прослеживаются преобразования в деревне за последние два десятилетия).

Знаменательные процессы, происходящие в жизни социалистической Румынии, отражены и в таких пьесах, как «Разрушенная цитадель» Хории Ловинеску, «Генеалогическое древо» и «Три поколения» Лучии Деметриус, «Взбесившийся ягненок» Аурела Баранги, «Ворота», «Открытые окна» и «Невидимая эстафета» Пауля Эверака, «Журналисты» и «Заведующий отделом человеческих душ» Александру Миродана и др.

Старый мир был разрушен, целые классы прекратили свое существование, был обречен на гибель старый социальный уклад. Вполне естественно, что эти процессы привлекли внимание романистов. Но крушение старого мира, процессы, связанные с уничтожением буржуазного общества — это лишь оборотная сторона грандиозных исторических преобразований, порождающих социальный оптимизм. Рассматриваемый в такой перспективе распад отдельной личности, вступившей в конфликт с историей, принципиально не может обрести пропорции драмы. Тем более, что по всему своему строю наше общество представляет собой благоприятную почву для утверждения человека, для становления личности. Вполне естественно поэтому, что в романе, рисующем новое общество, преобладают герои активные, верящие в свои человеческие возможности.

Румынский романист и драматург рассматривают сегодня мир сквозь призму марксистско-ленинского мышления, с партийных позиций, под углом зрения человека, который отлично знает, во что он верит и чего он хочет, для которого жизнь имеет смысл. Последовательная позиция нашего писателя — это позиция социалистического гуманизма. «Положительные герои» нашей прозы — Антон Филип, главное действующее лицо романа «Бэрэган» В. Эм. Галана; Карой Бучи, рабочий-директор предприятия из романа Иштвана Надя «На самом высоком напряжении»; Стрехан, мужественный партсекретарь из романа «Молодые годы» Николае Цика; молодые коммунисты в романе Иона Брада «Обретение семьи»; престарелая женщина-ученый из пьесы Хории Ловинеску «Разрушенная цитадель»; энергичный и справедливый директор завода Добриан в «Невидимой эстафете» Пауля Эверака и многие, многие другие. Эти образы иногда более, иногда менее убедительны, есть среди них наивные и чисто иллюстративные, есть такие, в которых бьется пульс подлинной жизни. Однако все они несут в себе заряд этого гуманизма.

Мы привели выше примеры из области романа и драмы. То же самое наблюдается в повестях и рассказах. Здесь исключительно велик интерес к исследованию самых глубоких проблем морали, к обсуждению самых разных вопросов жизни человека. Надо сказать, что за последние годы в области повести и рассказа отмечаются более значительные достижения, чем в мире романа. Авторы повестей и рассказов — в большинстве своем молодежь — смело и нередко при помощи новых художественных средств раскрывают перед нами внутренний мир современника — человека нашей страны. В его духовной жизни происходят такие глубокие перемены, что перед писателем тотчас же возникает необходимость показать движение, процесс. В сельской среде революция привела к острым, бурным, подчас трагическим конфликтам. В литературе о деревне самый распространенный тип героя — это крестьянин-бедняк, главная движущая сила революции. Существует нечто общее в биографиях таких героев. Обычно после подавленного в самом зачатке протеста против любых форм угнетения и унижения в годы, предшествовавшие войне, следует фронтовой опыт, контакт с революционными идеями. Вернувшись домой, герой встает во главе тех, кто борется за аграрную реформу и ограничение кулачества. («Смелость» Марина Преды, «Суд» Аурела Михале, «Счаст-

* В русском переводе — «Земля». См. «Иностранную литературу» № 11, 12, 1958 г.

ливец» Думитру Мирчи.) Для повестей, рассказывающих о вступлении села на путь революции, характерна не острота сюжетов. В центре внимания авторов — этическая тема, изменения, происходящие в сознании крестьянина по мере продвижения страны к социализму. Эту тему мы часто встречаем у Марина Преды, Думитру Раду Попеску, Николае Вели, Фэнуша Нягу, Василе Ребряну, Андраша Шюто, Сорина Тителa. С их рассказами и повестями в румынскую литературу вошел герой-крестьянин — мелкий собственник, в силу исторических условий отказывающийся от своей собственности. Такой тип крестьянина, не встречавшийся в румынской литературе прежних лет, интересует писателей не как предмет живописного изображения, не как примитивное существо, находящееся во власти инстинктов; писатели обращаются к анализу нового в сознании крестьянина, ибо его сознание отражает перемены в общественном бытии. Таким образом, объектом психологического исследования становится крестьянин — человек со сложным духовным миром, соприкоснувшийся с современной жизнью, и в этом новизна румынских повестей и рассказов о деревне, появившихся за последние годы.

Существенные изменения претерпевают и другие темы. Есть среди них и такие, которые поистине созданы новой литературой. Такова, например, тема жизни рабочих. Мы можем проследить по литературе, как меняется общественное сознание рабочего — от невольного протеста против угнетения в старой Румынии (как в некоторых рассказах Эуджена Барбу — фоном таких рассказов нередко служит живописное описание городских окраин) через подпольную борьбу коммунистов (в рассказах и повестях Иштвана Надя, Аурела Михале, Франчиска Мунтяну, Эуджена Барбу, Николае Жиану и других) и, наконец, к сознательности рабочего — строителя социализма, воспитывающего молодые поколения в духе коммунистической морали (в рассказах Эуджена Барбу, Теодора Мазилу, Николае Цика, Никуцы Тэнасе, Симеона Попа, Иоана Григореску). Из наиболее часто встречающихся в литературе типов рабочих отметим два, выкристаллизовавшихся в современной повести (не без известной связи с романом). Первый — это тип подпольщика, выходца из рабочей семьи, иногда не имевшей революционных традиций, которого тяжелые годы фашизма и войны закаляют, воспитывая в нем передовое, классовое сознание. Второй тип — это тип молодого рабочего, подчас из деревенской среды, который приходит на стройку, где коренным образом меняется его миропонимание. Этот герой характерен главным образом для литературы, имеющей общие черты с очерком,— литературы, которая в некотором роде «реабилитирует» будничность, повседневный героизм, на первый взгляд, банальный и прозаичный жизненный факт. Герой-подпольщик закаляется и обретает революционное сознание в бурной, драматической обстановке войны или периода фашизации страны. А молодой рабочий строек, нередко попадающий в самые трудные положения, утверждает себя главным образом в повседневном труде, и жизнь его, на первый взгляд, лишена героизма. Здесь — как и в новой повести о деревне — этические вопросы особенно интересуют писателей, и такие произведения обычно имеют более или менее ясно выраженную воспитательную направленность.

Нередко герои повестей, романов и пьес показаны в критические моменты своего существования. Моральные кризисы изображаются в нашей прозе и драматургии обычно как неизбежный опыт, через который должно пройти сознание, отбрасывающее ложные ценности, ищущее пути к ясности. Эти кризисы не приводят к гибели души — напротив, они становятся определяющими этапами на пути к возрождению сознания, восстановлению внутреннего равновесия человека на новых и прочных основах. Через такой кризис, порождающий перестройку сознания, проходит, например, герой двух романов писателя Джордже Кэлинеску — «Бедный Иоаниде» и «Черный комод». Действие романа «Бедный Иоаниде» происходит в годы, непосредственно предшествовавшие второй мировой войне. Действие книги «Черный комод» развивается в двух временных планах — писатель параллельно показывает нам своих героев в наши дни и в период между 1918 и 1944 годами. Архитектор Иоаниде, центральный герой обоих романов,— это художник, который живет исключительно для творчества, живет созерцательно, рассматривая жизнь sub specie aeternitatis.* В кругах, где он вращается, Иоаниде считают выдающимся человеком, однако излишне экстравагантным и «беспорядочным». На самом же деле архитектор просто не желает приспосабливать-

* С точки зрения вечности (*лат.*).

ся к обществу, в котором он живет, а то, что могло показаться на первый взгляд мизантропией, является выражением его глубокого отвращения к обывательщине. Говоря с омерзением о «сути реальной жизни» и утверждая, что она несовместима с его идеальным миром, Иоаниде конкретно имеет в виду таких людей, как Гулимэнеску, Суфлецел и Хаджиенуш, то есть людей, которые не могут выйти за пределы своего буржуазного обывательского мирка. Иоаниде, следовательно, не пренебрегает людьми вообще — напротив, он готов служить им своей работой строителя; он отрицает не реальную действительность в целом, а обывательскую среду, буржуазию, неспособную откликнуться на живой порыв человеческого духа (хотя ни герой, ни сам автор не понимают этого с достаточной ясностью).

К несчастью, бунтарство Иоаниде проявляется исключительно в сфере абстрактной; архитектор тешится мечтой о совершенном человечестве, но не решается включиться в борьбу за ее осуществление. В этом и заключается его драма. Пассивное поклонение идеалу совершенного человечества, не заставляющее занять определенную позицию в борьбе против того, что враждебно человеку, становится нелепостью и постыдной обломовщиной. Несмотря на то, что Иоаниде прекрасно отдает себе отчет, в какой гнилой среде он вращается, он не вырывается из нее окончательно, охотно посещает салон Сеферяна, бывает в ресторане в компании семейства Гонсальве, позволяет такому типу, как Гаитани, льстить своему самолюбию, наслаждается похождениями со столь пошлой женщиной, как Иоана Вальсамаки-Фарфара. Он отрицает буржуазный порядок и резко отвергает организованное фашистское бесчинство. Но как? В одиночку, абстрагируясь от действительности, противопоставляя себя (то, что есть в нем наиболее характерного, постоянного) «сущности реальной жизни». И в конце концов, когда этот художник, замкнувшийся в «башне из слоновой кости», пробуждается — далеко перейдя «nel mezzo del cammin di nostra vita»,* — оказывается, что он совершенно неподготовлен ко встрече с действительностью. Ураган реальной жизни врывается даже в его дом, и сколько бы он ни закрывал глаза и ни затыкал уши, как бы ни тешился иллюзией, будто находится где-то над миром повседневности, он вынужден все же включиться, так или иначе, в этот головокружительный водоворот. Он теряет двух своих детей — Пику и Тудорела (оказывается, что они замешаны в диверсионной политической организации),— таково суровое наказание, которое жизнь шлет отвергавшему ее мечтателю.

По замыслу автора, роман «Черный комод» является ответом на книгу «Бедный Иоаниде», отрицанием философии, которую исповедует архитектор в предыдущем романе. Эстетствующий художник-одиночка превращается в этом новом произведении в творца, который, приняв социализм, с подъемом участвует в созидательной деятельности. Такое преображение героя возможно лишь при условии его отказа от политического равнодушия — иначе говоря, при условии коренного пересмотра всей его концепции жизни. Сохранив и в романе «Черный комод» многие из своих прежних чудачеств, Иоаниде по существу становится здесь новым человеком. Полемизируя со своими собственными прошлыми взглядами, Иоаниде отвергает праздные упражнения в искусстве и неоднократно утверждает принцип творчества, служащего интересам масс. Убеждения, обретенные Иоаниде в годы социалистического строительства,— результат той идеологической ясности, которая стала для него возможна благодаря соприкосновению с людьми, стоящими в первых рядах борьбы за переустройство общества, благодаря воздействию, оказанному на него самыми передовыми идеями времени, революционными преобразованиями, свершающимися на его глазах.

Та же проблема — проблема крушения иллюзий — возникает и в книге «Морометы» Марина Преды, романе из крестьянской жизни, действие которого происходит в годы, предшествовавшие второй мировой войне. Эта книга у нас высоко ценится не только в силу ее литературных достоинств, новизны угла зрения, под которым рассматривается крестьянин. Румынская литература обязана именно Марину Преде первым психологическим романом, навеянным сельской средой, романом, опровергающим утверждения эстетов, согласно которым психология простого человека якобы не может дать до-

* Посередине странствия земного *(итал.)*. (1-я строка «Божественной комедии» Данте).

статочно материала для романа. В «Морометах» перед нами глубокое, волнующее и тонкое исследование крестьянской психологии. Илие Моромете — главный герой романа — человек наивный, с чистой, неиспорченной душой. Алчность сыновей приводит его в отчаяние, и, для того чтобы проучить их, он позволяет им закупить в селе кукурузу и попытаться якобы выгодно продать ее в горных селениях. Однако он прекрасно видит, что избыток зерна в результате обильного урожая должен неизбежно повлечь за собой снижение цен. И радуется, когда парни возвращаются домой огорченные, ничего не выручив. Погоня за наживой вызывает в Моромете отвращение, этот «чудак»-крестьянин предпочел бы, чтобы на свете вовсе не было денег. Более всего любит Илие Моромете часы досуга, отрадной праздности в обществе Кокошилы, одного из немногих умных людей, «умеющих остроумно пошутить», и Думитру Нае, в бодрящем веселом смехе которого «есть что-то такое мягкое, словно плывешь на теплых волнах». На «поляне Иокана» Моромете и Кокошила скрещивают клинки остроумия, причем каждый стремится доказать другому, что он умнее его. Безошибочно подмечая комические положения, Моромете всякий раз, когда это возможно, пускает в ход юмор и иронию. В каком бы настроении он ни был — весело ли ему или, напротив, на душе тоска,— герой при каждом удобном случае развлекается, подтрунивая над любым встречным, и делает это так тонко, что далеко не сразу за словами, на первый взгляд самыми обычными, можно разглядеть шпильку.

Илие Моромете — натура незаурядная, но он (как и герой Дж. Кэлинеску — Иоаниде) плохо разбирается в жизни. Мерзкая болтовня в буржуазном парламенте вызывает у него лишь улыбку, лишь высокомерное презрение; а лихорадочная погоня одного из кулаков за наживой развлекает его не меньше, чем шишка на шее у Михая ал Брадулуй.

Илие Моромете — личность созерцательная... Своего рода «моральный идеализм», известная склонность к иллюзиям сближает его с Дон Кихотом; вместе с тем Илие Моромете занят исключительно заботой о сохранении своего собственного душевного равновесия, удовлетворением индивидуального стремления к прекрасному.

Достаточно было падения цены на зерно, для того чтобы семья Моромете, разъедаемая противоречивыми экономическими интересами, распалась, развалилось хозяйство и нарушилось душевное равновесие главы рода Моромете.

Рисуя весь трагизм судьбы мелкого земледельца, верившего в прочность своей собственности и попавшего в водоворот капиталистических отношений, роман «Морометы» подводит нас к идее, чреватой многочисленными и глубокими следствиями. Главный герой романа не просто крестьянин-середняк, тешащийся иллюзией постоянства своих владений; этот человек, во многом одаренный, бесплодно распыляет, растрачивает свой талант. Его духовный кризис предвещает крах определенного понимания жизни, определенного взгляда на возможность человека реализовать себя как личность, обрести душевный покой. Моромете предстает перед нами накануне своего духовного кризиса. Однако роман Марина Преды предсказывает возможность перестройки сознания героя: Илие Моромете переживает глубокую депрессию, из которой его смогут вывести грядущие великие события.

Другой роман Марина Преды, «Расточители», еще в большей мере можно считать проблемным; это почти роман-эссе, в котором центр тяжести падает не на создание образов, а на дискуссии, столкновение мнений. Из сказанного не следует, конечно, его превосходство в плане литературном («Морометы» пока что остаются шедевром автора), однако «Расточители» — произведение более современное, носящее более ярко выраженный интеллектуальный характер. Эта книга «основных вопросов»: что такое дружба, любовь и великодушие и что такое чувство ответственности с точки зрения коммунистической морали? Действие развертывается в наши дни. Из романа явствует, что социалистическое общество раскрепощает все духовные способности человека — теперь никто больше не может воспретить человеку отдаваться без остатка служению своему идеалу. «Расточители» — доктор Сырбу, Констанца, Мунтяну, Вале — люди, лишенные предрассудков, эгоизма, мелочности. Но, предупреждает нас автор, мир, который предоставляет тебе полную свободу действия, становится беспощадным, если ты неразумно используешь эту свободу. В этом и есть философская суть романа.

На первый взгляд, большое число персонажей, проблем, моральных вопросов, а также «открытая» структура книги, лишающая ее твердых границ и предоставляющая

простор толкованиям, могут вызвать недоумение. Поверхностный читатель может подумать, будто писатель растерял по дороге часть поставленных вопросов, покинул, отбросив на периферию, часть своих героев. При более внимательном рассмотрении, однако, видно, что Марина Преду интересует судьба каждого персонажа в ее кульминационной точке развития, когда все силы души находятся в наивысшем напряжении. Как только моральный кризис миновал, герой отодвигается в тень. Кажется, будто в этот решающий момент их существования герои книги горят, пылают, как пламя. Это — высший пункт, максимальный накал, момент, когда выносятся великие решения, когда свершается суд над прошлым, когда на чашу весов брошены поступки, сама жизнь героев. Их поведение, вся их жизнь подчинена основному вопросу романа, который в более точной формулировке звучит примерно так: как мы тратим себя, во имя какой цели расточаем нашу духовную энергию? Иными словами: вливается ли наша энергия в общий могучий поток тех, кто строит коммунизм, или же мы противостоим ему?

Чтобы дать хотя бы один пример и из драматургии, скажем несколько слов о пьесе Хории Ловинеску «Смерть художника»*. Это — идейная драма. Жаркие споры об искусстве между скульптором Маноле Круду и его сыном Владом затрагивают не только скрытые струны души, но и самые жизни героев, поглощая их полностью, выявляя два философских взгляда, две точки зрения на человека, на творчество. Создатель знаменитых скульптур, исполненных прометеевского духа, Маноле Круду видит в искусстве «прежде всего символ власти человека над хаосом и смертью», тогда как сын его, Влад, не сделавший несмотря на свои тридцать лет еще ничего в искусстве, проповедует отрицание, считая «восхваление творческой силы человека» и веру в «торжество разума» «устаревшей философией, проповедью гуманизма», противоречащей «подлинному духу времени». Жизненность убеждений старого скульптора проверяется на деле, в ожесточенной схватке с отчаянием и страхом, которые грозят нарушить его духовное равновесие. Маноле Круду боится смерти. У него больное сердце, врачи запрещают ему работать, и вынужденная бездеятельность еще больше усиливает его депрессию. Все это и трагическая любовь — любовь к молодой девушке — заставляет Маноле на какой-то срок отказаться от самого себя. Он запирается в своей мастерской и дни напролет с ожесточением работает. Так возникает скульптура из камня: несколько мужчин-чудовищ с ужасом взирают на огромную мертвую женщину, распростертую у их ног. Это произведение, замечательное по своему творческому видению и мастерству, опровергает все предыдущее творчество художника. Но избавившись в момент завершения скульптуры от навеявшего ее подсознательного ужаса, художник одерживает верх над своим собственным творением. Скульптура, говорит он, принадлежит не ему. «Не я сотворил ее, Влад, а живущий во мне страх. Теперь этот страх уже больше не во мне, а там, на пьедестале, разнузданный, бесстыдный». Приказав разбить скульптуру, Маноле Круду формулирует убеждение всей своей жизни в запоминающейся фразе: «Смерть — это вопрос личного порядка, касающийся каждого из нас, но жизнь... жизнь — это общий вопрос; хорошо оставаться верным самому себе, но гораздо более, гораздо более важно оставаться верным людям». Мы покидаем зрительный зал, унося в памяти образ современного зодчего-мастера Маноле, жизнь которого, полностью отданная творчеству, является победным кличем разума, торжествующего над тьмой, смертью, небытием.

Тенденции, подобные тем, которые мы наблюдаем в прозе и в драматургии, налицо и в сегодняшней румынской поэзии.

Еще со времен романтизма для европейской поэзии характерен образ человека, находящегося в конфликте с обществом, а иногда и с миром, поэта, страдающего «болезнью века». Потомки романтиков, «проклятые поэты», творили поэзию отказа от признанных ценностей, ухода человека, утратившего иллюзии, в свой внутренний мир, в лабиринт сознательного самообмана и самоиронии. Не видя возможности преобразовать мир, считая себя «лишними» среди людей, спешащих ценой любых усилий накопить богатства, многие из символистов и из представителей последующих течений безраздельно отдались культу «вечно прекрасного»: порядок искусства — в их представлении — был противопоставлен порядку объек-

* В русском переводе — «Самая долгая ночь», Москва, издательство «Искусство», 1964 г.

тивного мира (который они не понимали). В этом положении находились и несколько очень талантливых румынских поэтов конца прошлого века и первых четырех десятилетий нашего столетия — Ал. Мачедонский, Ион Минулеску и другие.

В новом общественном климате, создавшемся в результате социалистической революции, чувство хаоса жизни, абсурда преодолено, поэтому исчезает и навязчивая идея одиночества: поэт теперь отнюдь не остается непонятым, он пользуется заслуженным уважением, на него смотрят как на человека, призванного быть глашатаем своего времени. Наши поэты, от самых старших и до самых молодых, не замыкаются в собственном «я», не бегут от объективной действительности; они призваны стать выразителями чувств и мыслей своих современников. Новые, свежие веяния ощущаются сейчас в поэтическом творчестве Тудора Аргези, Демостене Ботеза и других поэтов старшего поколения, им дышат страницы, оставленные умершими поэтами — Лучианом Благой и Дж. Кэлинеску. Мощно звучат в современной лирике мужественные и оптимистические стихи — порой проникнутые печалью — поэтов, заслуживших признание между 1930 и 1940 годами,— Михая Бенюка, Эуджена Жебеляну, Мирона Раду Параскивеску, Марии Бануш, Раду Боуряну и др., а также взволнованные строфы певцов новых поколений, сформировавшихся в десятилетия после освобождения страны,— Джео Думитреску, Миху Драгомира, Нины Кассиан, А. Е. Баконского, Виктора Тулбуре, Ал. Андрицою, Николае Лабиша, Тибериу Утана, Иона Брада, или самых молодых из них — Никиты Стэнеску, Чезара Балтага, Илие Константина, Иона Александру, Адриана Пэунеску, Аны Бландианы и многих, многих других.

Органически включившись в эпоху смелых, поэт сознает, что социализм вернул ему чувство собственного достоинства, понимание своего назначения. Символическое древо, встающее в одном из прежних стихотворений Тудора Аргези, печально или равнодушно стряхивало свою листву:

Деревья в своем убранстве щедром
Роняют сверху листья серебра,
Что падают пред каждым на дороге,
В душе, на шляпе остаются.*

Сегодня творец «Песни человеку» Аргези видит в своей душе леса, залитые светом:

О солнце, пробудись в моей душе,
Как между факелами леса,
И праздником меня ты пронижи
И на качели неба вознеси с орлами.

Современная румынская литература переживает сложный процесс становления, ищет свои формы и выразительные средства. Ее проблематика непрестанно расширяется и углубляется, обогащаются, становятся все более разнообразными средства выражения. Но в основе творческих поисков всегда лежит одна важнейшая забота: стремление как можно полнее воплотить в художественном произведении новый взгляд на жизнь, новый подход к ней, свойственный человеку, включившемуся в широкую созидательную деятельность. Современная литература Румынии отражает позиции народа, который взял свою судьбу в собственные руки и строит для себя достойную жизнь.

---

* Здесь и ниже стихи даются в подстрочном переводе.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
(АНГЛИЯ)

БУДУЩЕЕ РОМАНА

В западном мире роман становится еще более субъективистским, чем когда-либо прежде. Почему же? Мне кажется, речь идет о завершении движения, которое началось в двадцатых годах и отличалось стремлением показывать жизнь как восприятие, а не как реальную действительность. Я уже когда-то говорил об этом, но такое значительное явление заслуживает подробного рассмотрения.

В искусстве оно в конечном счете приводит к полной идентификации сознания и ощущения. В результате возникают литература и искусство, признающие лишь ощущение. Эту тенденцию можно заметить не только в современном романе, но и во всех областях искусства. У нас нет Бернарда Шоу с его беспощадностью, но и с тонкостью в понимании своего времени и своего общества, у нас есть Джон Осборн и Артур Миллер, которые рассказывают нам о том, как растерянный человек современного общества воспринимает это общество эмоционально. У нас на Западе почти не видно реалистического искусства, его подменяет абстрактное отражение страданий отдельной личности: гений-эфемерида, который умирает на следующий день, сменяемый другой эфемеридой и другими страданиями. У нас нет социальной страстности Толстого, у нас есть антисоциальный антироманист Роб-Грийе или проникнутые духом иконоборчества антигерои, вписанные в реалистический фон.

Однако не всякое противопоставление того, что остается в пределах нормы, тому, что из них выходит, правомерно ради осуждения последнего. Должно быть место и для экспериментов. Я не утверждаю, что классическая основа и форма романа исчерпывают все возможности. Основа хороша, и, может быть, она единственна, но если говорить о форме, то надо помнить, что исторический момент, который сейчас переживает наше общество, существующее словно на лезвии бритвы, отличается сложностью и напряженностью, с какими не приходилось сталкиваться романистам-классикам.

Смысл любого романа как средства общения заключается в передаче восприятия жизни художником, но истинным средством общения он бывает лишь тогда, когда художник знает, какова жизнь в действительности, и умеет это передать.

Какой бы ни была форма, художник обязан понимать свою эпоху лучше, чем

Статьи Дж. Олдриджа, В. Страды и П. Гамарра присланы авторами в ответ на нашу просьбу принять участие в дискуссии о настоящем и будущем романа. (См. «Иностранную литературу» № 6 и 10 за 1964 г.)

кто-либо другой. Художник должен быть «мозжечком» общества — связующим звеном между телом и мозгом, между нервной системой и мыслительными процессами. Если он не может стать таким звеном, значит, он — не художник. Если писателю не удастся выковать такие связи между ощущением и пониманием, он терпит неудачу как художник, хотя бы даже ему удалось на какой-то момент добиться нужного впечатления. Ведь сам по себе успешно запечатленный момент — это еще не искусство.

Куда может привести это направление? Мне кажется, чтобы лучше ответить на подобный вопрос, надо сначала посмотреть, откуда оно взялось.

Когда первая мировая война и Октябрьская революция положили конец процветанию капитализма, особое значение внутри капиталистической системы приобрела та форма бунта художника, которая объяснялась его потребностью утвердить себя как личность, спасти себя от посягательств распадающейся системы, ведущей к разрушению личности, к стремлению превратить ее в ничто.

Начало было хорошим. Художники отвергли прогнившие доктрины и заявили: «Глядите! Я — человек. Я чувствую, как человек, и поступаю, как человек, и я не в силах терпеть лицемерия общества, его ложь. Вот какова реальная жизнь, с которой сталкивается человек, если смести паутину лживых подделок, и вот каков эмоциональный ад, сквозь который я вынужден пройти, чтобы выдержать все это».

В живописи это стремление воплотилось в импрессионистских и раннеабстрактных формах, в литературе — в импрессионистских, а также в революционных формах, а в театре возник тот род драмы, который показал томимую муками личность в обществе, как вулканическую скалу, встающую над пустынным морем. У некоторых писателей, таких как Джойс и Хемингуэй, эта импрессионистская манера обретала художественную убедительность, потому что они достаточно хорошо понимали общество, в котором жили. То же можно сказать о Пикассо и Брехте — оба они гениально передавали ощущения, и оба обладали значительной социальной прозорливостью.

Но с тех пор, как это движение родилось, произошло немало перемен.

Во-первых, капитализм осознал, что спастись он может лишь в том случае, если ему удастся ограничить мир человека только его потребностями индивида. То, что было прогрессивным, таким образом превратилось в свою противоположность. Направление в искусстве, которое возникло ради того, чтобы защитить личность, теперь переродилось в такое направление, которое обрекает ее на все большую и большую изоляцию.

Какого же рода искусство возникло теперь, когда этот круг отрицания полностью замкнулся?

Дать на это ответ, исходя из западных теорий, нетрудно, так как он очевиден. Индивид — это все, и передача того, как он физически и эмоционально ощущает жизнь,— это все. Социальное сознание исчезло, не оставив и следа. И если художник стремится к чему-либо все более и более старательно, так это — уклониться от понимания, словно оно угрожает его жизни или рассудку.

Наиболее ярким примером этого являются антироманы Роб-Грийе и прочих: романы, затрагивающие только поверхность явлений, отрицающие и отвергающие все, кроме поверхностного впечатления. Таким образом, импрессионистическое движение, совершив полный круг, замерло на впечатлении, как таковом, ощущении, как таковом,— и этим исчерпывается для него все. Созерцать жизнь только с гребня восприятия, выхватывать из обычных разговоров бессмысленные обрывки и утверждать, будто они заключают в себе все, пребывать на поверхности, не проникая в глубину, и при том делать вид, словно таков удел любого человека, поскольку в глубине нет ничего, кроме обычных условностей и хаоса непрочных взаимоотношений,— таков конец дороги импрессионизма.

Беккет занимается этим в театре, а почти все художники-абстракционисты — в живописи. Недавно «Обзёрвер» в статье, посвященной пьесе Беккета «Игра», спрашивал: «Как далеко зайдет Беккет?» Персонажи «Игры» заключены, как известно, в огромные урны и не в состоянии повернуть головы, чтобы посмотреть друг на друга или поговорить друг с другом. Они безымянны, и в конце пьесы все вновь повторяется с самого начала. По мнению критика «Обзёрвера», путь Беккета ведет вот куда: «Ему остается еще покончить с очень

многим. Следующей жертвой станет актер. «Игра» ничего не потеряла бы, если бы в урнах находились магнитофоны... Последний этап — сам Беккет в заколоченном ящике».

В том же номере «Обзёрвера» Джон Уэйн, рассматривая последний роман Уильяма Голдинга «Шпиль», хвалит книгу и пишет о Голдинге следующее: «Для него утратило смысл само понятие «человек». Ограниченность человека, та смесь рационализма и веры в свои возможности, которую прежде называли «гуманизмом»,— вот его мишень, и в каждой своей книге он поражает ее вновь и вновь». Уэйн утверждает, что Голдинга, хотя в его романах звучит тема рока и неизбежной расплаты, нельзя пока поставить в один ряд с Достоевским и Кафкой только потому, что форме его романов не хватает своеобразия. Но его философия не оставляет желать ничего лучшего.

«Разрушение личности» — вот, собственно говоря, излюбленная тема нашей литературы и искусства в настоящий момент. Западный человек запойно исповедуется во всех своих пороках и недостатках — и не наедине со священником, а публично перед всеми, кто заплатит за право слушать его. Признается он только в дурном, а не в хорошем, и мы все слушаем завороженно, как сладострастные священники в исповедальне, которые живут одним только грехом и не знают, что такое нормальная жизнь. Результаты ужасны, хотя и увлекательны, но они не имеют ничего общего с искусством.

Без сомнения, в один прекрасный день мы с изумлением вспомним этот период непристойного заглядывания в темные закоулки человеческой души через замочную скважину и не сможем понять, каким образом мы поддались подобному обману. Искусство нашей эпохи попросту отражает крах всех прежних ценностей, причем интеллигент не видит, чем их можно будет заменить. Общество насквозь прогнило, бог оказался ненадежной иллюзией, человек, предоставленный себе, в растерянности (настоящий человек, а не его оболочка). Философски объясняет состояние этого индивида Фрейд, но отвечает за себя каждый в одиночку. Что же остается? Ничего («le néant» Сартра), за исключением желания спасти какой-то уголочек своей собственной жизни и приспособиться, насколько возможно, к существующим ценностям, оставляя окружающую среду цельной, незатронутой, ненарушенной, непотревоженной — кроме, разумеется, тех случаев, когда окружающая среда начинает уже слишком посягать на одинокого человека, отчаянно пытающегося оградить от нее свою одинокую душу, и тогда он бунтует.

Но это не выход.

Перед экспериментом открыты широкие возможности, и новые формы могут дать нам более высокое понимание того, что мы переживаем сейчас. Но если не будет предпринята попытка понять, в чем суть этой путаницы, определить свое место, не будут приложены усилия к тому, чтобы выбрать путь, по которому мы должны идти, не пробудится эмоциональный интерес ко всему, а не только к себе, то в результате может возникнуть только тот распад, протест против которого и породил вначале тенденцию к передаче в искусстве восприятия прежде всего.

Дело в том, что человек не одинок и никогда не будет одиноким. Если вы религиозны, то вы одиноки перед лицом божьим, но в противном случае (а кто сейчас искренне религиозен?) вы ничем не обязаны этому древнему идолу изолированной души. Даже если вы антисоциальны, вы все же не одиноки, потому что оказываетесь на той стороне, на опасной стороне, на разрушительной стороне, и вас нельзя предоставить самому себе, так как вы присоединились к армии, несущей с собой угрозу.

Я, кажется, заговорил уже не о будущем романа, а о будущем самого человека. В этом-то и заключается ответ. Каким путем пойдет человек, таким путем пойдет и искусство. Глубокий современный конфликт в искусстве отражает такой же конфликт в реальной жизни, и мы все, хотим того или нет, становимся на ту или иную сторону. И будущее зависит от того, на какой стороне окажемся мы в этом сражении. А сражение не бывает простым и прямолинейным. Оно воплощает в себе диалектический процесс, когда противоречия, нараставшие количественно, внезапно переходят в качественные изменения.

Прекрасным воплощением законов диалектики является роман. Хороший роман строится по законам диалектики, разви-

---

вается и завершается диалектически. Это — в отношении формы. Если же содержание к тому же пронизано диалектическим пониманием человека в его связях со средой, то в результате возникает произведение, принадлежащее к литературе в высоком смысле слова, пусть даже пресыщенные сенсациями современные гурманы и не желают признать этого.

По законам диалектики должны быть построены и содержание и форма.

В английском романе форма уцелела, но содержание каждый день заново умирает. Серьезный роман в лучшем случае оказывается воплощением бунта, но бунтарь бывает как хорошим, так и дурным. Он хорош, когда срывает маску с лицемерия, и дурен, когда после этого просто отворачивается и уходит. Бунтарем быть легко, революционером — гораздо труднее. Чтобы быть революционером в искусстве, как и в жизни, нужно обладать дисциплинированностью, мужеством, прозорливостью, желанием учить, духом искания и посвятить себя служению делу, имеющему всемирное значение. Для бунтаря врагом являются лишь нравы общества, а не само общество. И для капитализма это оказалось весьма спасительной лазейкой. Революционер же восстает против самого общества и поэтому оказывается опасным, особенно если он художник, всем искусством и терпением подлинного мастера воплощающий свое понимание в высочайшую из возможных форм.

Если подходить диалектически, роман всегда одновременно и жив и мертв, ибо он по структуре подобен клетке и непрерывно воссоздает себя, творя новое из старого. Роман не может умереть полностью, потому что он слишком связан с жизнью. Части его всегда будут отмирать — те части, которые устарели или ищут смерти. Но части, ищущие жизни, найдут ее — и пусть порой они напоминают новорожденного младенца, ослепленного и испуганного внезапно обретенной реальностью, все равно именно они и влекут нас к себе. И как бы деятели «пятой колонны», наступающей на роман, подобные Роб-Грийе и прочим, ни стремились убить роман, им это не удастся. Во всяком случае, не удастся, пока, разгадывая их намерение, мы будем бороться с ними, не щадя сил, с начала и до конца.

ВИТТОРИО СТРАДА
(ИТАЛИЯ)

МЫСЛИ ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ РОМАНЕ

Критическая литература о романе, диагнозы и прогнозы о состоянии здоровья этого многоликого литературного жанра растут и множатся прямо пропорционально числу новых романов, ежедневно предлагаемых вниманию потребителя литературной продукции. Таким образом, если мы и можем говорить о кризисе романа, то только о кризисе перепроизводства, и если роману суждено умереть, то умрет он от ожирения. Поэтому казалось бы, что на вопрос: «Возможен ли роман сегодня?» достаточно саркастически указать на необозримое море романов, затопившее прилавки книжных магазинов во всем мире, подобно тому греческому философу, который вместо ответа своим оппонентам, отрицавшим возможность движения, принялся расхаживать перед ними. Но если ответ греческого философа не представлял собой подлинного разрешения стоявшей перед ним проблемы, то еще меньше оснований надеяться разрешить «проблему романа», ссылаясь на то, что романы нынче пишут вагонами. Тем более что первыми задают себе вопрос о судьбах романа именно те — или по крайней мере лучшие из тех,— кто сам их пишет.

Я не знаю, сколько тысяч новых романов выходит каждый год во всем мире. Несомненно, что роман как жанр любовно пестуют повсюду. В одном из номеров литературного приложения к газете «Таймс» целая страница была отведена сообщению о конкурсе, объявленном группой американских книгоиздателей и открытом для писателей всех стран мира, как известных, так и начинающих: за роман объемом не более чем в 65 тысяч слов без ограничений в отношении сюжета и места действия предлагается премия в 110 тысяч долларов, при-

чем она должна была составлять лишь часть вознаграждения, аванс в счет будущих авторских прав и прав на экранизацию, в реализации которых издатели совершенно уверены. Издатели, инициаторы этого конкурса, заявляют, исполненные оптимизма: «Мы верим в значение и будущее романа как средства художественного выражения и как универсальной формы развлечения».

Разумеется, нетрудно догадаться, какими качествами должны обладать романы, написанные в расчете на премию. От их авторов требуется прекрасное знание рецептов современной литературной кухни, точная дозировка как самых утонченных, так и самых избитых ее ингредиентов, умение так приготовить и подать блюдо, чтобы удовлетворить не слишком рафинированные, но в то же время и не слишком грубые вкусы средней публики, на которую рассчитана литературная промышленность: чуточку потока сознания, чуточку психоанализа, щепотка эротики, несколько капель внутреннего монолога и так далее — продукты, которые западный писатель может покупать килограммами в любой литературной лавчонке. Нам возразят, что романы, содержащие социальный протест, не имеют шансов завоевать подобную премию. Однако не нужно думать, что так называемый роман социального протеста сегодня способен кого-нибудь скандализировать, хотя вовсе не исключено, что в этом романе, оцененном более чем в сто тысяч долларов, могут прозвучать кое-какие обличительные нотки (как мы это наблюдаем во многих голливудских фильмах).

Наиболее значительное явление, которое отличает позицию художника в капиталистических странах, достигших высокой ступени технического и промышленного развития,— это его «приручение» и нейтрализация его традиционной (именно в промышленную эпоху) способности к отрицанию. Художника не лишают слова, от него не требуют создания назидательных произведений; выступая против существующего общества, художник ныне гармонически в него «врастает»; с другой стороны, общество уже не боится критического изображения, которое создает художник. Рационализация производственно-руководящего аппарата, придание ему всеобщего, тотального характера ведут к превращению литературной оппозиции в такую оппозицию, которая перестает быть антагонистической — одним словом, представляла бы собой своего рода «оппозицию его величества». Художник, как таковой, не совершил «предательства»: это сама система превратила его в заточенного в темницу пленника — размеры этой темницы совпадают с размерами самой системы. Ныне уже не «раскаяние» романтического бунтаря, а протест и оппозиция являются условием его сотрудничества с филистером-технократом и администратором, вместе с которыми он устраняет неполадки. И если прежде при определении демократии исходили из степени одобрения, которым пользуется власть, и степени несогласия, которое она допускает, то теперь, не соглашаясь, одобряют, и для того, чтобы одобрять, необходимо не соглашаться.

Но вернемся к роману. Можно заметить, что большая часть нынешних романов отличается от добротных социальных, промышленных, крестьянских, исторических, географических, семейных, психологических, воспитательных, порнографических и прочих романов, которые писали сто лет назад, лишь тем, что внешне походит на хронику, и теми нравами, которые они отображают, и что поэтому сегодня проблема романа встает в форме, не слишком существенно разнящейся от той, в какой она стояла перед нашими дедами. Правда, «средний» западный роман ныне прибегает к некоторым собственным техническим приемам повествования. Например, вместо хронологически последовательного и постепенного развития действия нередко действие разбивается так называемыми «возвратами назад» (flashback), которые, освещая прошлое героя, выхватывают из его памяти отдельные моменты, или же в начале произведения дается эпилог, а потом повествование ведется с конца — в обратном порядке во времени. Но подобные приемы, далеко не новые и теперь уже ставшие достоянием каждого ремесленника или начинающего, разумеется, не меняют существа дела, и было бы наивным полагать, что такая «техника» (как и стиль «телеграфных» фраз или воспроизведение «магнитофонных» диалогов и тому подобное) является определяющим в теперешнем положении романа. То, что коренным образом меняет положение по сравнению с прошлым, причем в каком-то неопределенном направлении, это — место, кото-

рое литература и искусство (а следовательно, литератор и художник) занимают при различных и сосуществующих политико-социальных системах, те возможности, которыми они располагают, а также новые отношения, устанавливаемые литературой и искусством с многочисленными быстро развивающимися отраслями общественных наук (психологией, социологией и другими). Проблема романа сегодня, как и вчера, стоит в двух плоскостях, на двух уровнях, ибо «большой» роман утверждается благодаря качествам, прямо противоположным тем, которые свойственны текущей литературной продукции в жанре романа. В культурно-социальных условиях экономически развитого общества важно исследовать те новые отношения, которые устанавливаются между «высокой» литературой и литературой, стоящей на более низких уровнях. Другими словами, и проблема романа включает в себя проблему так называемой «массовой культуры».

Дискуссии, развернувшиеся в Италии вокруг романа, конечно, носят не более острый и глубокий характер и не более плодотворны, чем те, которые ведутся в других странах. Однако литературные споры в Италии, пожалуй, пользуются одним благоприятным обстоятельством: при том буржуазно-демократическом строе, что существует в Италии, социальные противоречия, традиции борьбы, политические традиции социалистической, марксистской мысли настолько сильны, что вносят в литературу, даже в переживаемый ныне период «неурожая», дыхание жизни, делают почти невозможными у нас такие рафинированные, чисто литературные упражнения, как французский «новый роман». С другой стороны, если то обстоятельство, что вклад, внесенный Италией в прошлом в развитие мирового романа, по сравнению с французским, русским, английским и американским, весьма скромен, может заставить итальянского литератора замкнуться в своего рода провинциализме в вопросах культуры; оно может, однако, привести и к совершенно противоположному результату — заставить его вырваться из круга чисто национальных традиций и дать ему возможность окинуть широким и бесстрастным взглядом события и споры, происходящие в других литературах, перспективы их развития. Впрочем, если это последнее обстоятельство можно считать «привилегией», то она получает все более широкое распространение среди литератур всех стран,— мы не хотим, конечно, этим сказать, что не существует «национальных литератур», а хотим лишь подчеркнуть, что процесс стирания национальных граней между капиталистическими промышленно развитыми странами продолжает углубляться также и в области культуры и литературы.

Для иностранного читателя послевоенная итальянская литература — это неореализм. По существу, он прав. Но что представлял собой неореализм? Историки литературы, притянув и широкие, и узкие категории, создадут гармоничную картину развития идей и появления произведений, хотя в действительности этот процесс носил весьма беспорядочный характер. Будет полезно напомнить слова одного писателя, который принадлежал к этому направлению и более того — в его лоне сформировался. Мы имеем в виду Итало Кальвино. Переиздав в прошлом году свою первую книгу «Тропинка к паучьим гнездам» (впервые вышедшую в 1947 году и, заметим в скобках, остающуюся одним из самых правдивых и привлекательных произведений об итальянском Сопротивлении), Кальвино предпослал ей интересное предисловие. В этом предисловии он пишет: «Неореализм» не был школой. (Постараемся, говоря о нем, быть точными). Это был единый хор голосов, в большинстве своем периферийных, многократное открытие разных, отличающихся друг от друга Италий, в том числе — или особенно — Италий, до тех пор литературе совсем неведомых. Без этого разнообразия неизвестных одна другой — или считавших друг друга неизвестными — Италий, без разнообразия диалектов и жаргонов, которые надо было, дав им перебродить, включить в язык литературы, не было бы «неореализма». Но это направление не стало сельским вроде областного веризма прошлого века. Локальный характер литературных произведений возникал из задачи вдохнуть дух правдивости в изображение, в котором должен был узнать себя весь широкий мир — так же, как американская провинция у тех писателей тридцатых годов, учениками которых, прямыми или косвенными, считают нас многие критики. Поэтому для нас имели столь важное значение язык, стиль, ритм, отсюда наш реализм, который должен был быть возможно более далек от натурализма. Мы наметили себе определенную линию или, вернее, своего рода треугольник — «Семья Малаволья»,

«Беседы на Сицилии», «Твои родные края»,* — служивший отправной точкой для всех нас, но каждый писал на основе своей местной лексики и своего пейзажа. (Я продолжаю говорить в множественном числе, словно подразумевая организованное и сознательное направление даже теперь, когда объясняю, что дело обстояло совсем наоборот.) Как легко, рассуждая о литературе, даже при самом серьезном разговоре, полностью основанном на фактах, незаметно для самого себя начать рассказывать сказки... Поэтому разговоры о литературе, как других, так и мои собственные, мне всегда так глубоко претят».

Кальвино прав также и когда делает это свое последнее замечание: разговоры о литературе нас душат и раздражают, особенно сегодня, когда хорошей литературы становится все меньше, а плохой, посредственной или «хорошо сделанной» — все больше (и особенно теперь, когда политические, экономические, социальные, научные, технические проблемы волнуют наше воображение не меньше, чем какой-нибудь роман или стихотворение!). Но поскольку наша задача — говорить о литературе, постараемся, по крайней мере, не «рассказывать сказок...» Итак, неореализм не был школой: он возник как стихийное движение, как попытка послевоенной Италии, Италии периода, последующего за свержением фашизма и движением Сопротивления, познать самое себя. Это была Италия, которая, если говорить о литературе, пускалась в путь не с пустыми руками, но сделала новые открытия, и Кальвино правильно их называет — Верга, Витторини, Павезе, американские писатели 30-х годов (в другом месте он вспоминает две имевшие по разным причинам важное значение советские книги: «Конармию» Бабеля и «Разгром» Фадеева). И была еще одна отправная точка у неореализма, предпосылка, носившая негативный характер: литература-бальзам, литература-утешение, литература-мистификация — одним словом, *нелитература*, которую пытался насадить фашизм. Неореализм был — это излишне говорить — критическим (но разве возможен реализм некритический?).

Ныне неореализм — явление недавнего прошлого, явление, которое следует изучать, чтобы извлечь заключенные в нем подлинные поэтические ценности и исследовать его общекультурное значение. Сказанное может показаться трюизмом, но удовлетворимся этим, поскольку нашей темой не является неореализм, как таковой: неореализм, успешно выполнив свою задачу, умер, ибо за те 10—15 лет, что прошли со времени окончания войны, в Италии и во всем мире изменилось слишком многое и слишком глубоко. И говоря об этих изменениях, я имею в виду не столько вкусы и моды, сколько гораздо более серьезные вещи, происходящие в области экономики, политики, культуры, сознания. Еще десять лет назад книга о Юге Италии с его природным и человеческим пейзажем — кактусами, черными шалями, местными помещиками, крестьянской борьбой — могла удовлетворять нас благодаря только одной заключенной в ней документальности и силе обличения, теперь же мы требуем от книги большего: ведь даже профсоюзная борьба, показанная в кино или литературе, может превратиться в «местный колорит» и стать не более «опасной», чем макароны и тарантелла. Ныне если писатель не способен почувствовать сам и заставить почувствовать читателя, что мы живем в мире, где существует органичная связь между молекулярным движением на «местном» уровне (те «Италии», о которых говорил Кальвино) и глубоким, подспудным движением, происходящим во всех областях, в том числе и в сфере идей в Москве, Нью-Йорке, Азии, Париже, то этот писатель начинает интересовать нас все меньше и меньше, и не случайно столь широкую популярность среди большей части читателей на Западе сейчас приобретают эстетика, социология, историография, этнография — одним словом, нехудожественные формы познания самих себя и своей эпохи. Разумеется, литература, если она хочет отражать исключительные и стремительные перемены нашего времени, должна усилить поиски не только в области содержания, но и в области формы. Неореализм, впрочем, являлся, по крайней мере для итальянской литературы, новшеством также — и прежде всего — с точки зрения формы.

Когда мы говорим, что неореализм умер, это не означает, что на смену ему пришел какой-то столь же значительный и однородный комплекс других литературных яв-

* «Семья Малаволья» (1881) — роман Джованни Верги. «Беседы на Сицилии» (1941) — книга Элио Витторини. «Твои родные края» (1941) — повесть Чезаре Павезе.

лений. Итальянская проза покинула маленькую, но надежную пристань неореализма и пустилась в ближний каботаж, который продолжается до сих пор, причем трудно сколько-нибудь определенно сказать, в направлении каких портов она держит курс. В последние годы литературную жизнь Италии оживила — но это оживление носит полностью поверхностный характер — полемика между так называемыми авангардистами и так называемыми традиционалистами. Может показаться странным, но родина Маринетти не знала авангардистских течений, которые можно было бы сравнить с так называемым «историческим авангардом», развивающимся в лоне важнейших европейских литератур в первые три десятилетия нашего века. Более того, можно сказать, что открытие и изучение авангардистских течений происходит в Италии, в сущности, только теперь: переводятся, анализируются, обсуждаются основные тексты и манифесты сюрреализма, дадаизма, экспрессионизма и тому подобное, и при этом на первый план выступают проблемы сложных, исполненных драматизма, порой трагических отношений между авангардизмом и революцией. Неслучайно творчество крупнейших революционных художников нашего времени — Элюара, Брехта, Маяковского, Эйзенштейна, Пикассо — связано органичными и многообразными узами с авангардизмом.

Если бы мы попытались выбрать несколько имен, чтобы наметить маленькую «географическую карту» тех литературных споров, что происходят ныне в Италии, то как ярых традиционалистов могли бы назвать Карло Кассолу и Джорджо Бассани; наиболее видным представителем авангардистов является Эдоардо Сангуинети, а их самой воинственной группой — «Группа 63»; между этими двумя полюсами своеобразную творческую позицию занимает «Менабо», литературный журнал, редактируемый Элио Витторини и Итало Кальвино. Имеются и принадлежащие к старому поколению крупные писатели-одиночки, которые выступают самостоятельно, «сами по себе», как Моравиа и Гадда. Рассмотрим вкратце эти три названные позиции, основываясь прежде всего на ряде интервью, которые интересующие нас писатели недавно дали одной итальянской газете,— таким образом мы сможем с ясностью вкратце познакомиться с противоположными точками зрения. Однако при этом не следует забывать, что для того, чтобы понять до конца положение, существующее в итальянской литературе или, более широко, вообще в западной литературе, было бы необходимо — а здесь мы лишены этой возможности — немного остановиться также на вопросах социологии литературы или, проще говоря, рассмотреть те изменения, которые произошли в итальянском литературном быте за эти последние годы.

Кассола в своих повестях и рассказах четкой кистью выписывает маленькие психологические конфликты, тихие «сумеречные» * драмы, примирившиеся с жизнью серые души; духовные ценности писателя — это те добрые чувства, то застенчивое дружелюбие, с которым принимают повседневную жизнь его герои, не задумываясь о будущем. Поэтому вполне естественна его горькая жалоба: «Двусмысленности, которыми наполнена наша литературная жизнь, приобрели такую силу духовного запугивания, что тот, кто осмеливается заявить, что поэзия может родиться лишь в результате связи с жизнью, а не бегства от нее, сразу же рискует прослыть автором «голубых» романов». Те, кто привык задавать писателям канонический анкетный вопрос: «Вы оптимист или пессимист?», могут закаталогизировать Кассолу как «прогрессивного», ибо он за «связь» с жизнью и против тех, кто «бежит» от жизни. Помимо того, что в литературе провести границу между прогрессивным и реакционным немного сложнее, вера Кассолы в окружающий мир с большим основанием может быть истолкована как мелкобуржуазная идиллия, ограниченность исторической перспективы. Во всяком случае, Кассола терпеть не может авангардистов, не признает и линию Витторини, так как непоколебимо верит в традиционные способы повествования (так же, как и социального общежития), но питает сильнейшее недоверие к идеям, идеологиям, культуре.

О других писателях-традиционалистах можно не говорить. Пратолини, которому в его лучших произведениях удается достичь такого изящества и легкости, какие другим традиционалистам и не снились, не участвует в литературных дискуссиях. Бассани полагает, что «Леопард» Томази ди Лампедузы — большое открытие, после которо-

* «Сумеречная поэзия» (poesia crepuscolare) — упадочническое направление в итальянской поэзии.

го «писать романы здесь, в Италии, стало гораздо труднее», тогда как не только неоавангардисты, но также и Витторини считают, что «Леопард» представляет собой самый явный пример псевдолитературы, утешительной и сентиментальной литературы, изготовленной из самых худших отходов литературной традиции и идеологического консерватизма: не бойтесь хода истории — вот мораль этой книги,— он извечен, и никогда еще ему не удавалось изменить мир. В заключение мы можем сказать, что вклад традиционалистов в происходящую в Италии литературную дискуссию незначителен именно из-за их неприязни к идейным поискам и стремлениям замкнуться в своей литературной работе — работе, судить о результатах которой не входит в нашу задачу (но каковые, несомненно, невелики).

Позиция традиционалистов предполагает один неоспоримый тезис: абсолют искусства, жрецами которого они являются. Именно этот тезис и ставят под вопрос неоавангардисты. Искусство может даже умереть, утверждают они, и более того, теперь все чаще говорят о «смерти искусства». Единственное достоинство нашего, «домашнего» неоавангардизма, пожалуй, в том, что он ставит под вопрос самое сущность искусства, высмеивает самодовольный оптимизм старых писателей, в какой-то мере расправляется с морализирующей банальностью. Более того — и здесь мы переходим к характеристике природы этого неоавангардизма,— его представителей даже можно упрекнуть в том, что они слишком умеренны. А слишком умеренны они в силу исторической необходимости. Несомненно, что по сравнению с направлениями «исторического авангарда» (дадаизмом, сюрреализмом и так далее) неоавангардисты — и не только итальянские,— хотя и выглядят непримиримыми бунтарями, в действительности являются всего лишь рассудительными чиновниками, осуществляющими бунт. Они прекрасные организаторы и отнюдь не отвергают институтов буржуазного общества, не становятся в позу богемы, как происходило в старые добрые времена, а атакуют «центры управления» в области культуры и захватывают посты в книгоиздательствах (самых буржуазных и чисто коммерческих, какие только существуют!), в редакциях, журналах, в университетах (среди неоавангардистов имеются серьезные исследователи, только в свободные от академической деятельности часы позволяющие себе авангардистские выходки и гримасы, при помощи которых им уже не удается эпатировать буржуа, готового восхищаться ими и охотно покупающего их книги). Крик отчаяния и мятежа против всех и вся, звучавший в произведениях представителей старых авангардистских течений, у неоавангардистов становится криком шута (хотя и шут выполняет определенную социальную функцию и иной раз говорит правду), шута, который прекрасно знает себе цену. Одним словом, авангардизм механизировался, и не только потому, что промышленность поставила его себе на службу (разве возможна была бы, например, современная западная реклама без использования авангардистских технических приемов?), но и потому, что сами неоавангардисты сознают — и даже слишком хорошо,— какое место им принадлежит в диалектическом процессе развития искусства. И вот мы слышим, как один критик из «Группы 63», Барилли, заявляет, что вслед за всяким бунтом против «нормальности», обыденности, каждый раз неизменно вновь наступает период «нормальности», обыденности, отличающейся, однако, от той, которая ей предшествовала, и что неоавангардизм (а Барилли является одним из его теоретиков) ныне переживает период бунта, но уже намечается новая нормализация. Тезис Барилли, если хотите, совершенно правилен и давно известен. Характерная особенность неоавангардистов состоит в том, что они даже не могут тешить себя мыслью, что совершают «революцию», как могли еще думать, например, сюрреалисты, а знают, что «нормализуются», то есть изживут себя как авангардистское движение в течение нескольких лет (в течение целого литературного поколения было бы поистине слишком много при темпах современной жизни!). Короче говоря, между сменой одной модной линии автомобильного кузова другой и сменой одного авангардистского направления другим разница совсем не велика. В эпоху, когда в искусстве «все позволено» и новые формы устаревают с не виданной доселе быстротой, авангардизм в целом становится культурным явлением, включающим в себя определенные правы, моду и прежде всего рекламу, как недавно отметил поэт и один из самых тонких наших критиков Серджо Сольми.

Как традиционалисты, так и авангардисты исходят из той предпосылки, может быть, не всегда осознанной, что капиталистическое общество, в лоне которого они работают, обладает способностью к бесконечному совершенствованию: и те, и другие игнорируют возможность революционного пути развития. На горизонте не вырисовывается опасность каких-либо катаклизмов и апокалиптических катастроф, за исключением, быть может, атомной. Но даже эта возможность их по-настоящему не волнует; одни продолжают бесконечно воспевать старые формы, другие — изобретать все новые, которые, однако, успевают устареть прежде, чем появятся на свет. Есть, правда, в итальянском неоавангардизме одно направление, которое стремится подчеркнуть свой идеологический и социальный характер,— главным представителем его является Эдоардо Сангуинети, ассистент при кафедре итальянской литературы в Туринском университете и автор романа «Итальянское каприччо». По мнению Сангуинети, которого его товарищи недавно обвинили в том, что он сторонник социалистического реализма, Кассола — не более чем «Лиала 1963 года» (для советского читателя фамилию писательницы Лиалы, автора слащавых и сентиментальных популярных «дамских» романов, можно заменить именем Вербицкой), а «Леопард» — «пример плохой литературы, неудачное проявление д'аннунцианства», причем под д'аннунцианством подразумевается архаичное и претенциозное эстетство. В одном недавнем интервью Сангуинети заявил: «Я считаю, что прибегать к формам традиционного романа ныне означает автоматически принимать буржуазную идеологию и буржуазные мифы. По-моему, немногие имеющиеся примеры стопроцентного социалистического искусства (Брехт, Маяковский и в области кинематографии Эйзенштейн) показывают, чего можно достичь, если решительно поставить себя вне романтически-буржуазной традиции, критически используя средства авангардизма. Беда в том, что после Маяковского, Брехта и Эйзенштейна как в коммунистическом лагере, так и в лагере западного социализма в литературе и искусстве одержало верх направление, полностью солидаризующееся с буржуазной традицией. Ныне срочно необходимо продолжить прерванную линию». Разумеется, Сангуинети, как умный человек, понимает, что названные им художники черпали свое вдохновение в революционной ситуации, характерной для эпохи между двумя мировыми войнами, и как бы ни было для нас актуально их наследие, каждое историческое поколение должно само создавать свои духовные ценности, а не жить на ренту, паразитируя за счет духовных ценностей прошлого. Впрочем, сам Сангуинети замечает, что буржуазная публика «сделала своим» даже Брехта, и ныне ставят в театрах «теперь уже с огромным успехом Брехта, превращенного в ходкий товар, в музейный экспонат, набальзамированного, как мумия». Что же остается делать? «Для деятелей культуры быть революционерами сегодня означает, во-первых, подвергнуть исследованию, которое было бы свободно от всякой предвзятости и старых мифов, условия нашего существования как человеческой личности. Мы пришли после банкротства неореализма с его гражданской «завербованностью», после краха множества иллюзий, нашедших выражение в наивном и сентиментальном социализме... который в лучшем случае выливался в наивную риторику. Сегодня задача состоит в том, чтобы решительно порвать с этими иллюзиями, как бы благородны они ни были, и найти новые средства «изменения» действительности».

Откровенно говоря, я не думаю, что Сангуинети и его друзья смогут дать нам эти новые средства «изменения» действительности, так как их творчество не принесло литературных результатов, которые были бы не только интересными, но — что гораздо важнее — значительными и убедительными. В отличие от многих своих товарищей по литературной группе Сангуинети, однако, сознает ответственность писателя перед обществом: старые формы, в которых эта ответственность претворялась, его искренне не удовлетворяют, но найти новые формы ему не удается.

Третья — и последняя — группа, на которой мы остановимся, это группа журнала «Менабо». Позиция Витторини, как нам кажется, наиболее интересная и плодотворная, заключается в критическом отношении и недоверии к существующим формам повествования — он считает их не адекватными современному уровню развития технико-промышленного общества. Даже Джойсу и Музилю не удалось создать новую форму выражения, которая была бы на высоте эпохи: они были не в состоянии изменить порядок, систему, структуру романа. Они лишь ввели некоторые

варианты в старые каноны художественного выражения и таким путем их даже укрепили. Если заниматься литературой означает работать в старых условиях, тогда вряд ли стоит ею заниматься. Витторини кроме того искренен, но чрезмерно самокритичен: «Я не думаю, что до сих пор мне удалось что-нибудь создать, стоящее на уровне того трудного и ужасного времени, в которое мы живем. Даже если некоторые из моих книг и могли казаться «новыми» для того периода, когда они вышли в свет, их новизна была иллюзорной. Когда я начал писать, еще существовал фашизм, и на внешней, политической ситуации в стране лежала печать упадка и разложения». Витторини поражен бурным и все ширящимся развитием науки и техники, изменением социальных и промышленных условий во всем мире. Целые области знания — от этнографии до психологии и лингвистики, не говоря уже о физико-математических науках,— их методы и результаты ныне коренным образом меняют наши представления о человеке, человеческой жизни; так же и процессы, происходящие в области общественной, организованной жизни, не отстают от этих изменений в науке. Требование «нового» в литературе возникает именно отсюда, оно порождено этим глубочайшим ощущением «нового» в окружающей действительности. Поэтому Витторини готов предпочесть смелый литературный поиск добротному литературному произведению, новое «открытие» в области культуры — результату. Только если мы будем стремиться изменить существующие условия в области культуры, на свет смогут появиться произведения, которые не представляли бы собой ненужные музейные экспонаты. С неоавангардистами Витторини расходится в вопросе о том, должно ли обновление происходить в рациональной сфере культуры или должно оставаться связанным с эстетическими концепциями старого авангардизма и декадентства. Задача состоит в том, чтобы преодолеть литературу «утешения» и прийти к современной «социально активной» литературе. В области европейской литературы Витторини с интересом следит за французским «новым романом», от окончательной оценки которого он пока что воздерживается, не считая его уже законченным и подлежащим регистрации опытом. Недавно «Менабо» — литературный журнал, живо откликающийся на проблемы современности, редактируемый Витторини вместе с Кальвино, опубликовал «международный» или, точнее, «трехнациональный» номер в сотрудничестве с наиболее передовыми группами французской критики — от Бланшо до Барта и немецкой литературы — от Ганса М. Энценсбергера до Уве Йонсона. Эти группы литераторов из трех стран, столь глубоко различных по своим социальным и культурным условиям, сближает общее стремление к «иной», современной литературе. Но надо честно признать, что плоды этого сотрудничества, по крайней мере в настоящее время, весьма неоднородны и малоудовлетворительны. Витторини следит с интересом также и за развитием советской литературы и хотел бы посвятить специальный номер «Менабо» поискам советских литераторов.

Беспокоиться о судьбах романа как жанра нет нужды: потребность в романе на книжном рынке достаточно велика, и во всех странах трудолюбие производителей не отстает от спроса. Что же касается судеб литературы и искусства (и писателя и художника), то они должны вызывать у нас если не беспокойство (этому мешает слишком много других серьезных проблем!), то, во всяком случае, живой интерес. И этот интерес один из многих (а лично для меня — один из главных) способов осознания тех различных перспектив общественной жизни, которые открываются перед человеком в нашу эпоху социальной и технической революции.

Проблему романа не разрешить при помощи наивных рецептов, предписывающих изготовлять смесь «реализма» с «модернизмом», или охранять непорочную чистоту «реализма» от «модернистских» искушений, или же провозглашать программный «модернизм» как панацею от всех бед. Почти всегда именно эти носящие академический характер, то есть оторванные от жизни вопросы и порождают пустые схоластические словопрения. Задача состоит в том, чтобы, объективно исследуя реальный литературный процесс, постичь пути развития общества и культуры и способствовать тем самым утверждению будущего, которое несмотря на все трудности уже началось,— способствовать, другими словами, созданию общества, свободного от всякой эксплуатации и угнетения.

ВИТТОРИО СТРАДА
МЫСЛИ ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ РОМАНЕ

ПЬЕР ГАМАРРА
(ФРАНЦИЯ)

ЗАМЕТКИ РОМАНИСТА

Я не открою вам ничего нового, если скажу, что трудно рассуждать о литературных явлениях, не учитывая определенные экономические условия или базу.

Об этом порой забывают.

Но вот пример, который сразу же внесет ясность. Внук одного знаменитого французского писателя рассказал мне следующую историю. Некий весьма активный издатель обратился к нему за разрешением на переиздание одного небольшого и малоизвестного произведения его деда. Внук дал разрешение, но потом ему пришло в голову выяснить, сколько экземпляров этого произведения было продано в течение пятидесяти лет: оказалось, примерно три тысячи... Однако нынешний издатель распространил двадцать пять тысяч за три месяца... Чем это объяснить? Внезапным успехом произведения? Нет. Просто-напросто упомянутый издатель — ловкий коммерсант и располагает «торговыми точками». Он предоставил публике возможность приобрести эту книгу, и книга была распродана (к тому же это была хорошая книга).

К значительным событиям последнего периода относится появление «карманных книг» (livre de poche), отличающихся удобным форматом и дешевизной. В настоящее время вы можете найти их почти повсюду — в книжных лавках старого типа, в табачных киосках, в бакалейных и универсальных магазинах... Они издаются очень большими тиражами.

Один весьма серьезный, на мой взгляд, журнал, занимающийся проблемами воспитания, дает следующую информацию: «В 1964 году было продано 87 миллионов карманных книг. Пальма первенства принадлежит трем произведениям: «Слава моего отца» Паньоля (135 000), «За закрытой дверью» Сартра (130 000), «Орленок» Эдмона Ростана (100 000)».

Тот же журнал добавляет (вам также будет интересно это узнать): «После огромного успеха, который имел у критики и публики «Толстой» Анри Труая, в издании «карманная книга» выйдут «Казаки» и «Смерть Ивана Ильича».

Относится ли «карманная книга» к числу полезных явлений? Разумеется. Она предоставляет в распоряжение читателя сотни очень хороших произведений. Это культурное орудие первостепенного значения.

Нужно, однако, внести уточнения. Ловкие капиталисты, пустившие в обращение «карманную книгу», отнюдь не являются филантропами чистой воды и страстными защитниками культуры. Они рассчитывали, что эти недорогие книги, занимающие так мало места и воскрешающие произведения, которые до сих пор было так трудно достать, станут приманкой для публики.

Но «карманная книга» в разных своих сериях распространяет не только значительные произведения искусства. Она распространяет — и притом широко — весьма сомнительные книги, проповедующие насилие, ненависть, расизм. Читатель не должен терять голову перед этой лавиной, он обязан отнестись к ней критически.

Не следует также забывать, что в наших вокзальных киосках, универмагах и бакалейных магазинах уже много лет распространяется так называемая популярная литература, издаваемая зачастую огромными тиражами: полицейские, научно-фантастические и шпионские серии, книги для девушек и для женщин. Это «произведения» достаточно убогие и отупляющие, но, повторяю, тиражи огромны (от 80 000 до 200 000 или 300 000).

Все, о чем говорилось выше, необходимо принимать во внимание, когда речь идет о французской культуре, критике и публике. Здесь всегда нужны уточнения и оговорки. Учебники литературы, например, никогда не принимают в расчет так называемую популярную коммерческую литературу, всю эту массу «душещипательных», полицейских, загадочных или шпионских романов, которыми наводнены некоторые книжные магазины. Учебники принимают в расчет только небольшую часть книжной продукции — так сказать, приличную и благовоспитанную, они представляют и изучают «литературную» литературу.

Между тем «нелитературная» и «неблаговоспитанная» литература существует, у нее миллионы читателей, она формирует вкус — точнее, дурной вкус — общества.

Мы обнаружим также, что газетная и журнальная критика на самом деле играет куда менее важную роль, чем прежде. Ус-

пех книги — осмелюсь ли сказать: какова бы она ни была? — зависит прежде всего (увы!) от возможностей распространения, которыми обладает издатель, от количества торговых точек. При каждом издательстве существует особый аппарат, связанный с книжными магазинами, библиотеками и различными покупателями и играющий основную роль в распространении книг. Если дело хорошо организовано, тысячи и тысячи книг будут проданы. Если же распространение плохо налажено, читатель тщетно будет искать книгу. Как говорится, все очень просто...

Чтобы дополнить эту весьма печальную картину, прибавим, что в настоящее время во Франции происходит концентрация и слияние издательств (классический процесс: крупные предприятия поглощают более мелкие, или же издательства объединяются для совместного сбыта). Известно также, что финансовые группы и банки осуществляют все более непосредственное вмешательство в издательское дело. Эта старая литературная профессия приобретает все более и более коммерческий характер. Все труднее становится сохранить ту прекрасную традицию, когда издатель выступал в роли открывателя талантов (в духе Гетцеля, выдвинувшего в прошлом веке Жюль Верна и стольких других).

Таков, в общих чертах, фон нашей литературной жизни. Да и сама литература, как вы знаете, тоже изменилась.

Впрочем, так ли уж изменилась, если взглянуть с позиции подавляющего большинства? При ближайшем рассмотрении окажется, что широкая публика по-прежнему любит традиционные рассказы и романы старого типа. И это совершенно нормально. «Карманная книга» воскрешает и открывает множество старых классических произведений. По-прежнему постоянно читают и любят Золя. Любят Толстого, Бальзака, Достоевского, Ростана (вспомним пример, который я привел вначале). Среди «открытий», сделанных современными издателями, назовем еще Конан Дойля, Эжена Сю, а также авторов полицейских романов, имевших успех полвека назад,— Мориса Леблана и Гастона Леру.

Совсем недавно нам показали телепостановку «Бельфегор» по роману некоего «народного» писателя еще более низкого уровня, чем Леру и Леблан. Передача имела огромный успех. Все газеты широко откликнулись на нее. И не только потому, что в ней участвовали такие знаменитые актеры, как Жюльетта Греко. Она доставила удовольствие публике. Зрители вновь испытали — или открыли — то наслаждение, которое может доставить искусно построенная, ловко закрученная история, удовлетворяющая их вкус к таинственному и заставляющая напряженно следить за тем, «что будет дальше»...

Разумеется, современная литература не может ограничиться рабским подражанием этим старым романам и рассказам. Но нужно учитывать вкусы широкой публики, иначе неизбежно произойдет разрыв между отдельными художниками и этой публикой.

Мы не должны под предлогом авангардизма (а нередко авангардизм — лишь маска, прикрывающая старый литературный хлам) отвергать скопом все богатства прошлого.

■

Обратимся к писателям, которых несколько произвольно объединяют под общим названием «нового романа». И признаем, что они искренни и исполнены добрых намерений. Их не удовлетворяет традиционная последовательность изложения, традиционное раскрытие действительности, традиционный язык, который представляется им избитым и невыразительным. Они изменяют хронологию, ломают, дробят повествование и язык (что не так уж ново после Джойса и Фолкнера, но не будем об этом говорить), они стремятся, как Натали Саррот, самым тщательным образом исследовать сокровенные тайны сознания.

Конечно, стремление открывать новое, исследовать, экспериментировать вполне законно. Более того, оно необходимо. Классическое правило говорит: если ты хочешь быть моим последователем, не подражай мне..

Но при этом надо учитывать, что:

1) значительная часть публики еще далека от иных экспериментов, которые резко разрушают традиционное течение повествования и лишают ее удовольствия следить за последовательным рассказом;

2) дороги, открытые — или обретенные вновь — после Джойса, Кафки, американских романистов и т. д., не являются единственно возможными. Существует, разумеется, множество других.

ПЬЕР ГАМАРРА
ЗАМЕТКИ РОМАНИСТА

Художник должен быть очень честолюбивым, но вместе с тем и очень скромным, он не должен стремиться во что бы то ни стало отвернуться от своих отцов. Да и возможно ли это? В ходе недавно состоявшегося в Париже коллоквиума, посвященного Бальзаку (материалы которого опубликованы в журнале «Эроп»), прекрасный романист и критик Жан-Луи Бори отметил:

«Когда молодые писатели, опубликовавшие одну книгу, читают отзывы критиков, то, даже если эти отзывы благосклонны, ссылка на Бальзака заставляет их чувствовать себя обиженными и морщить нос. Потому что великие шедевры, принятые в Пантеон современной литературы, — это Джойс, Кафка, Пруст, Фолкнер и т. д., и многие молодые писатели полагают, что Бальзак целиком принадлежит литературе наших дедушек. Следовательно, когда вы ставите их под знамя Бальзака, это вызывает у них защитный рефлекс и даже раздражение. А между тем совершенно очевидно, что, если вы пишете роман — даже в 1965 году и даже избрав в наставники Фолкнера, Джойса, Кафку и Пруста,— вы, едва взявшись за перо, невольно обратитесь и к более далеким истокам. И если вы начнете описывать героя, то этот процесс сам по себе, можно сказать, вынудит вас в современных условиях работать по-бальзаковски, хотите вы того или нет...»

Молодой художник возразит мне: «Неужто я должен отложить свои творческие искания до тех пор, пока все не согласятся со мной и поймут меня? Порой необходимо, чтобы художник смело рвал с некоторыми традициями и привычками, утвердившимися вследствие умственной лености». Нет сомнения, что литературе сегодняшней Франции не пристало идти на поводу у тех многочисленных читателей, которые увлекаются пошлыми полицейскими историями или романами, настоенными на розовой водице... Эта публика покорилась низкопробной литературе. Мы хотели бы дать ей нечто другое.

В самом деле, нужно перенимать опыт достойных и сильных писателей, а не следовать примеру дешевых писак. Труд и профессиональная добросовестность — вот главное, чему учат нас великие мастера и классики. Не все следуют этому завету.

У нас немало начинающих романистов, которые воображают, будто можно писать что угодно и как угодно. Они забывают о старых и обязательных задачах художника — серьезной работе над композицией, серьезной работе над языком. Иначе может получиться лишь бесформенное и легковесное произведение, черновой набросок, эскиз. Джойс произвел революцию в языке (как в свое время Гюго или Малларме), но он упорно работал, чтобы подготовить эту революцию. В своем предисловии к «Красному кувшину» итальянский романист Элио Витторини очень проницательно судит о нашей сегодняшней литературе, когда говорит:

«Сегодня у французов процесс интеллектуализации дошел до той крайней степени, которой только может достичь язык, сформировавшийся и развивавшийся под знаком поэзии. В течение последних десятилетий французы превратили роман в некую разновидность эссе... где вместо персонажей — отчеты о чувствах, вместо реальной жизни — отчеты о реальной жизни».

Я мог бы поспорить с Витторини по поводу причин: мы имеем дело не только с определенной степенью интеллектуализации, но с известного рода коммерческим снобизмом, а также с отрывом от публики и одновременно от подлинной жизни. Если учесть эти оговорки, то можно сказать, что конечные выводы итальянского писателя точно раскрывают некоторые аспекты литературного творчества в сегодняшней Франции или некоторые тенденции, которые могут стать гибельными.

■

Выше я говорил о различных традиционных течениях. Это важные течения литературы, хотя их оставляют без внимания и не изучают. Существует традиционное направление большого бальзаковского романа, обновленного Золя, Мартен Дю Гаром, Ромен Ролланом и Арагоном в «Коммунистах». Но существует также традиция провинциального, или крестьянского, романа, давшая Перго, Шарля-Луи Филиппа, Маргариту Оду, я назвал бы это направление доброкачественной литературой для широких масс. Критика слишком мало говорила в этом году о превосходном молодом французском писателе Роже Шатонё, который в своем романе «Пламя», написанном прекрасным, очень свежим и богатым языком, блестяще возобновил традицию, изобразив жизнь рабочих на индустриальном Севере Франции.

Возможно, мы теперь переживаем период исканий, но плоды уже намечаются, и вовсе не обязательно, чтоб эти плоды росли на одной ветке. Искания и достижения таких писателей, как Бютор и Натали Саррот, до-

полняются исканиями и находками другого порядка. Последний роман Эльзы Триоле, выдающейся французской писательницы, находящейся в расцвете своего таланта, доказывает, что можно сломать традиционные формы, сохраняя манеру изложения и музыкальность, ласкающие слух читателя. Ее роман «Великое Никогда» свидетельствует также о том, что можно касаться важнейших проблем цивилизации и человеческой совести, не нарушая ритма повествования, являющегося незаменимым средством выразительности.

Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы осуществлять педантичный надзор над литературой, запрещать художнику поиски и эксперименты, убивая — или пытаясь убить — его плодотворное устремление к открытиям и новаторский дух.

Однако слишком многие из наших художников отгораживаются — сознательно или невольно — от реальной действительности, от надежд и трагедий, сотрясающих современный мир. Подумать только! В то время, как народы страдают и добиваются свободы; в то время, как над человечеством нависла угроза самой грандиозной и жестокой войны; в то время, как могучие силы вступают на дорогу надежды; в то время, как человек шагнул в облака,— находятся художники, в творчестве которых никак не отражается ни эта заря, ни эта ночь; художники, забывающие о реальности этой жизни, этой угрозы, этой победы и создающие непонятные и туманные произведения, лишенные человеческого смысла, вместо того чтобы способствовать пробуждению масс. Как и всякий художник, писатель должен стремиться к вершинам творческого совершенства. Но ведь он не только художник — он человек и гражданин, и его человеческое достоинство должно быть соразмерно честолюбию творца.

Как быть? Увы! Рецептов нет (если б они были, достаточно было бы обратиться к кибернетической машине). Существует лишь обязательное правило — человечность, старый и благородный долг мастеров культуры.

Культура и современность

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

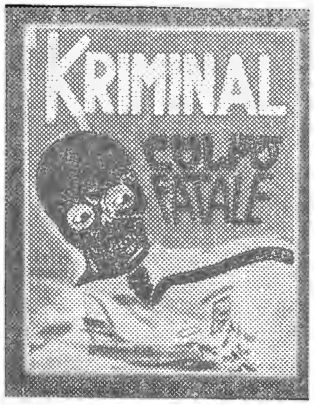
БАРБАРЕЛЛА И ЛЕТЧИКИ С НАПАЛМОМ

В этом году дотоле мало кому известный итальянский городок Бордигера в тридцати километрах от Монте-Карло стал предметом живейшего интереса деятелей культуры, предпринимателей, прессы многих стран.

В этот городок съехались художники, писатели, кинорежиссеры, издатели, социологи, психологи, критики и журналисты из Италии и Франции, Бельгии и ФРГ, Испании и США, Англии, Швеции, Уругвая... Всех их объединяло одно: интерес и причастность — творческие, научные или чисто коммерческие, деловые, профессиональные или просто любительские — к комиксам и ко всему, что с ними так или иначе связано. И не удивительно, что знаменитости этого жанра вроде Эла Кэппа, Ли Фолка и Поля Жиллу привлекали внимание собравшихся не менее, чем приехавшие в Бордигеру Федерико Феллини и Ален Рене.

Все это объяснялось тем, что в Бордигере впервые был открыт «Международный салон комиксов» — большая ретроспективная выставка, на которой широко демонстрировались и новинки этого жанра. Там же состоялись встречи, беседы, дискуссии — своего рода двухдневный форум, посвященный комиксам и получивший в западной прессе, быть может, излишне громкое название «Конгресса». Эти «два дня Бордигеры» проходили в горячих спорах, в весьма напряженной полемике, отголоски которой слышны в зарубежной печати и поныне.

Почти половина десятого номера итальянского журнала «Вие нуове» занята подробнейшим отчетом о «Салоне» и «Конгрессе» в Бордигере. В том же номере помещена большая статья Джанни Тоти «Мендрейк в университете, а Стив Кеньон — во Вьетнаме», сочетающая яркий сатирический репортаж о «курьезах Бордигеры» с анализом тех серьезнейших проблем, которые возникают в связи со все более ширящимся распространением комиксов, с их усиленным продвижением на «культурный рынок».



«Барбарелла, новая вамп комиксов».

Комиксы — истории, рассказанные графически и с минимальным количеством предельно упрощенного текста или даже (сверхкомиксы) совершенно без текста, сюжеты, «раскадрованные», если выражаться языком кинематографистов, с помощью рисунков. В этом, в частности, их особое своеобразие, отличающее комиксы от иных форм рассказа в рисунках, таких, например, как история сотворения мира и Адама и Евы у Эффеля или рисованные «новеллы — моментальные снимки» у Бидструпа. В комиксе каждый эпизод развивающегося сюжета, все его фазы развернуты в «ленте» рисунков с предельной обстоятельностью и в строжайшей последовательности.

Нужно заметить, что до самого последнего времени серьезные исследователи не обращали особого внимания на этот графически-повествовательный жанр. И хотя всегда отдавали должное талантливости ряда художников — создателей комиксов, сама по себе форма считалась слишком примитивной, чтобы заниматься ею всерьез.

И действительно, основа фабул в комиксах исключительно проста и непритязательна, мотивировки поведения персонажей, как правило, весьма условны, а сплошь и рядом отсутствуют вообще. Все, что случится впоследствии, почти всегда задано наперед какой-то специфической особенностью героя или двумя-тремя чем-либо примечательными чертами его характера. Так, например, один из самых популярных комикс-персонажей, созданный Элом Кэппом Ли'л Эбнер, многоверстная лента похождений которого не прерывается на страницах американской печати вот уже больше тридцати лет,— этакая милая, неотесанная деревенщина, чудаковатый простак, всему верящий, все принимающий всерьез, готовый в любую минуту разинуть рот от изумления, вечно попадающий впросак и выходящий сухим из воды лишь потому, что от растерянности прет напролом, не разбирая, что к чему. Этим, собственно, и предрешено раз навсегда то, как развернутся похождения Ли'л Эбнера в любом случае — столкнется ли он с нечистой силой или угодит, незваный-непрошеный, на какое-либо торжество, где поймет все шиворот-навыворот, нарвется ли на пройдоху, возьмется ли за незнакомое дело или вздумает жениться. В каждой из этих историй на рисунках будет неизменно фигурировать неуклюжий верзила, с отменнейшей любезностью и старательностью оказывающий всем медвежьи услуги, с бестолковой решимостью куда-то устремляющийся, вытаращив глаза, или, схватившись за голову, удирающий без оглядки смешными, нелепыми скачками... Так же точно и все приключения Мендрейка, другого не менее известного комикс-героя, детища художников Фолка и Дэвиса,— это простейшая реализация его искушенности в черной и белой магии, его дара гипнотизера и чудотворца. Общую характеристику этих приключений можно дополнить лишь тем, что, когда «королю всех волшебников» «великому Мендрейку» нужна помощь грубой мускульной силы, крушащей и ломающей все преграды, под рукой у него неизменно оказывается его верный слуга и спутник, «черный геркулес» Лотар. Еще проще сквозная фабульная линия другого комикс-героя, который и сам по себе сведен к полнейшему примитиву,— Супермена. Это — помесь «белокурой бестии» и сверхсовременного «странствующего рыцаря», не имеющая, однако, ничего общего с великим Рыцарем Печального Образа, монстр, скитающийся по белому свету в поисках, кого бы победить и что бы сокрушить, вооруженный до зубов всеми, до каких только успела додуматься научная фантастика, видами «сверхоружия» — от сверхпулеметов и сверхгранат, умещающихся в карманах брюк, до луча смерти. Собственно, каждый новый узел фабульной нити и

определяется в его приключениях главным образом неожиданной демонстрацией очередной новинки подобного рода.

«А потом-сюжеты» — такими словами современные западные специалисты по «сюжетосложению» определяют обычно простейшую, «низшую» форму образования сюжета, по принципу простого, так сказать, чисто арифметического сложения событий: сначала было вот что, а потом случилось то-то, а потом — еще что-то и т. д. Комиксы по праву считались идеальным образцом «а потом-сюжетного» повествования. Из этого следовало, что они не могли претендовать на серьезное внимание ученых. И если иногда все же предпринимались исследования, например, фольклорных мотивов в комиксах с Ли'л Эбнером (что-то в нем — от популярных на юго-западе США устных рассказов, побасенок, присказок о чудачествах «хиллбилли» прежних времен — лесных и горных бродяг, осваивавших неосвоенные земли), то главным образом с целью доказательства неистребимой живучести фольклорной традиции, не умирающей и в «век атома».

...И вдруг, словно по мановению волшебной палочки «великого Мендрейка»,— новое понимание старой формы комиксов. В них внезапно обнаруживают глубочайший философский, эстетический, социологический, психологический смысл, которого не замечали прежде. Вот как, например, оценивает комиксы французский еженедельник «Ар»: «Долгое время рисованные полосы служили лишь тому, чтобы позабавить детишек. В наши же дни ими увлекаются и взрослые. Не тоска по невозвратной поре и не воспоминания о прошлом заставляют взрослых обращаться к комиксам. Взрослые любят рисованные полосы за их содержание, ибо последние являют собой современный способ изображения мечты, соединение пластического образа и слова, проникновение фантастического в повседневность. Они наряду с рекламой, приключенческими фильмами, научной фантастикой принадлежат к тому же миру образов, в котором рождаются новые мифы нашей эпохи... И социологи изучают рисованные полосы как верное отражение сущности нашей цивилизации, говорящее о бессмертии древнейших мифов, этих проекций человеческого подсознания, и о появлении на свет наряду с ними «легенды о грядущем» — космической по замыслу, по масштабам».

Возникает вопрос: откуда взялись эти всемирно-исторические категории, эта космическая фразеология в разговоре о... всего-навсего комиксе?

Что это — очередное порождение моды, эксцессы которой не всегда объяснимы? Да, конечно. Но лишь отчасти. Следствие ли это появления новых, «серьезных» разновидностей старого жанра? Наверняка нет.

Предметом всех нынешних комикс-дебатов и комикс-исследований, комикс-сговоров и комикс-разногласий становятся не изощренные образцы комиксов, а «комикс как он есть» — в простейшей, самой грубой и наиболее доходчивой форме.

И это не случайно. Ибо определяющая основа обостряющегося интереса к комиксам достаточно ясна.

Комикс — один из самых боевых жанров так называемой «массовой культуры». Его сегодняшний удельный вес в «культуре для масс» чрезвычайно велик. И уже этим, собственно говоря, сказано достаточно, чтобы понять, почему главными героями «двух дней Бордигеры» стали не столько создатели комиксов, чьи творения экспонировались «Международным салоном», сколько исследователи и теоретики, обсуждавшие на своем форуме такие, например, вопросы, как «массовая поэзия», «социология альбомов с картинками», «идеограмма с «облачком» и «полосы, рисованные в космосе».

Сам термин «массовая культура», как известно, в общем двузначен. Он подразумевает, с одной стороны, культуру, основу распространения которой составляют массовые средства общения — кино, радио, телевидение, печать,— культуру, на которую специфика массовых средств общения налагает особый отпечаток. Но в капиталистическом мире с этими понятиями сливается также и представление о культуре, предназна-

ченной для масс,— для того, чтобы удерживать их сознание на определенном уровне, внушать им мысли и настроения, выгодные правящим классам. И не удивительно поэтому, что состояние «массовой культуры» последнее время внушает самые серьезные опасения все большему числу крупнейших деятелей культуры на Западе. И они все чаще выступают с заявлениями о том, что «массовая культура» в ее нынешнем состоянии представляет собой большую угрозу — обществу, человеку, разуму, культуре. Это, разумеется, относится и к комиксам.

Спору нет, комиксы — не только популярный, но и многообещающий жанр. Возможности, заложенные в нем и пока еще недостаточно выявленные, действительно велики, многообразны и интересны. Однако все решается тем, как используются эти возможности, целенаправленностью комикса, его, так сказать, «прицелом».

В цитированном нами выше номере французского еженедельника «Ар» целая полоса посвящена рождению новой «звезды» «рисованных полос», детища известного рисовальщика Жана-Клода Форе — Барбареллы и похождениям этой эротоманки в космосе, ее бесконечным любовным приключениям с роботами, слепыми ангелами, чудовищами с неизвестных планет. «У нее нет морали, но есть принципы»,— не без гордости сообщает творец этой Барбареллы. Вся посвященная ей полоса помещена под кричащей шапкой: «Барбарелла, новая вамп комиксов,— француженка». И это весьма типичный образец самого современного, самого новомодного комикса.

Следует добавить, что на полосы комиксов продвигаются не только героини вроде Барбареллы, но и такие герои, как созданный Френком Робинсом Джонни Хейзерд, «летчик с напалмом», воинственность которого становится день ото дня все неумеренней.

Поэтому Джанни Тоти прав, подчеркивая в своей статье, что сейчас наиболее актуальны не проблемы стиля — хотя они тоже представляют интерес,— а вопросы об идеологическом аспекте, предпочитаемом теми, кто создает и издает комиксы, о курсе, принятом ими.

Тоти отмечает, что выставка и съезд в Бордигере прошли «на волне бума комиксов», который начался в Европе еще в середине пятидесятых годов. Заметим попутно, что история вопроса дана автором несколько обрывочно, явно в расчете на читателя, более или менее постоянно следящего за событиями, которые происходили в «царстве рисованных полос», а потому эта часть его статьи нуждается в некотором комментарии. Вкратце суть дела сводится к следующему:

Сегодняшняя «комиксография» возводит зарождение «комикс-формы» ко временам чуть ли не доисторическим, находя образцы этого жанра уже у ацтеков и на античных греческих и римских барельефах. Но популярным жанром комиксы становятся в конце XIX века, когда в США укрупняются газетные монополии и резко обостряется конкуренция между ними.

«...Основные черты рисованной истории,— пишет Тоти,— ее первоначальное появление лишь в воскресных выпусках газет и не в черно-белой печати, а в цвете, невероятная быстрота и колоссальные масштабы распространения комиксов в дальнейшем, рост периодичности их публикации — все это порождено той беспощадной междоусобной войной, которую объявили друг другу в конце XIX века крупнейшие газеты Нью-Йорка. Самым непосредственным образом влияя на популярность газеты, комикс, в сущности, и поныне остается тем же средством завлечения читателя, тем же способом обеспечить тираж, каким он был в восьмидесятых годах прошлого столетия, во времена борьбы между такими магнатами печати, как Херст и Пулитцер».

И все же положение комикса на страницах больших газет, а впоследствии их издание отдельными выпусками постепенно начинает определяться не только чисто коммерческими соображениями. И, как правильно отмечает Тоти, решающим в этом смысле этапом определения «курса комикса» становятся конец двадцатых и начало тридцатых годов нашего века, время депрессии, пора кризиса: «Комиксы родились, когда американское общество было еще не полностью «интегрировано», и в свое время в графических рассказиках еще можно было встретить грустное, наивное и искреннее изображение конфликтов между человеком и обществом. Но по мере индустриализации, приводящей ко все большему отчуждению личности, наиболее популярные американские комиксы, особенно после «великой депрессии» 1929—1930 гг., скатываются к чистой развлекательности, все более строго контролируются, обезличиваются и стандартизируются в соответствии с требованиями, которые выводятся из исследования коллективной психологии. Живая фантастика и непосредственность первых комиксов превратились в грубый способ изготовления одурманивающей пищи для изголодавшейся по сказкам толпы».

Мысль, высказанная Тоти, нуждается, однако, в существенном уточнении: крайне сомнительно, чтобы резкое огрубление и стандартизацию техники комиксов, как и становящуюся обязательной подгонку их под рецептуру «фабрики грез», можно было целиком отнести только за счет индустриализации и тем более объяснить желанием масс отвлечься от ставшей в годы депрессии и кризиса особенно жестокой и безрадостной реальной действительности. Ведь если сегодня на Западе «массовую культуру» называют «наркотической культурой», то ее одурманивающее, отупляющее воздействие — не просто механическое следствие поточного метода ее производства, расчета на массового потребителя и подлаживания под самый низкий культурный уровень, под самые грубые вкусы. Нет, дело обстоит гораздо сложнее: превращение «массовой куль-

туры» в «наркотическую культуру» имеет вполне определенный социальный смысл. Некогда известный американский драматург Торнтон Уайлдер заметил, что в Америке массы вынуждены сами платить правящему классу за развлечения, которые действуют на них подобно веселящему газу. Это полностью относится и к комиксам.

Уместно, пожалуй, вспомнить и то не отмеченное Тоти обстоятельство, что расцвет комиксов в США, создание Фолком и Дэвисом, Кэппом, Андриолой действительно великолепных образцов этого жанра, остающихся и поныне непревзойденными, совпадает со второй половиной тридцатых годов, со временем рузвельтовского Нового курса, с заметной — правда, оказавшейся временной — демократизацией американской печати.

В Европе комиксы до середины пятидесятых годов не пользовались таким успехом, как в США. Зато начавшееся в эту пору увлечение ими сразу же приняло организованные формы. Теперь в Европе имеется широкая сеть различных организаций по собиранию, изучению, распространению и пропаганде комиксов.

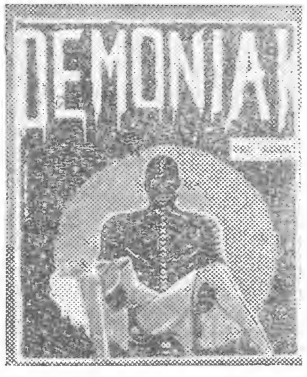
В 1962 году французский кинематографист Франсис Лакассен основывает «Клуб рисованных полос», в который вошли наряду с интеллигенцией видные представители делового мира. В настоящее время этот «Клуб» издает собственный еженедельник «Жифф уифф». За это время во Франции возникало соперничающее с «Клубом» «Добровольное общество» по изучению «рисованной литературы» с собственным журналом «Монго». В ближайшее время по французскому телевидению начнутся постоянные передачи телефильмов, героями которых будут наиболее популярные персонажи комиксов. Подготовкой их сейчас занята целая группа видных работников кино и телевидения во главе с Ф. Лакассеном. В кругах, близких к «комикс-клубам», оживленно дебатируется слух о предстоящей постановке Аленом Рене фильма о комиксах или по мотивам комиксов. Примерно то же происходит в Италии и других странах Западной Европы.

За спорами о комиксах, за их пропагандой идет скрытая борьба интересов, самых различных. Отчасти ее могут пояснить следующие факты.

Основанный Лакассеном «Клуб» поначалу объединял интеллигенцию, значительная часть которой пользовалась репутацией нонконформистской и составляла, так сказать, «культурную оппозицию» тому беспринципному коммерциализму в деле изготовления и распространения комиксов, который господствует ныне в издательской практике; эта интеллигенция ратовала за то, чтобы издание комиксов брали в свои руки люди мысли, сознающие свою ответственность за судьбы культуры. Ее в той или иной мере поддерживали также вступившие в «Клуб» французские промышленники, издатели, финансисты, которых не устраивал захват США абсолютной монополии на «рынке комиксов» и которые стояли за распространение, в противовес американцам, «отечественных комиксов». Иное дело «Добровольное общество» по изучению комиксов. Оно возникло при поддержке могущественного американского треста «Кинг фичер синдикат» и сейчас все больше укрепляет и расширяет свою связь с американцами. И, наконец, издательство Филиппаки и крупный французский издательский концерн «Опера мунди» начинают совместную борьбу за вытеснение американских комиксов с французского рынка и одновременно яростную войну между собой за монополию на комиксы не только во Франции, но и во всей Западной Европе.

В этих сложных условиях, подчеркивает Тоти, «подлинная культурная оппозиция становится делом все более трудным», нонконформизм большинства «бунтарей», намеревающихся реформировать комикс, уже «полностью утратил заряд какого бы то ни было протеста».

На встречах в Бордигере, отмечает Тоти, раздавались голоса, утверждавшие, что художник, создающий комиксы, при нынешних условиях достаточно свободен. Правда, при этом имелось в виду весьма своеобразное понимание «свободы». Так, например, Эл Кэпп, один из крупнейших современных мастеров комикса в США, а к тому же и фигура весьма видная в «промышленности комиксов», заявил:



«Да, конечно, я абсолютно свободен в своих сатирах на американскую Словоббию (Словоббия — выдуманная страна, аллегория, в которой пародируется — в общем, довольно безобидно — современная американская жизнь.— *В. Н.*) и могу говорить все, что хочу. Однако, что бы ни сказал издатель, он всегда прав, и если его что-то не удовлетворяет, то, поскольку интерес у нас общий — деньги, мы с ним сами и осуществляем цензуру. Впрочем, я почти всегда знаю заранее, что ему поможет делать деньги без хлопот, а потому...»

Разумеется, при столь практичном понимании свободы не страшны никакие цензурные рогатки. Не страшны они и для Лосфельда, издателя такого «смелого» альбома «интеллектуальных комиксов», как «Барбарелла».

Зато совершенно иначе обстояло дело, когда знаменитый американский рисовальщик Альфред Андриола задумал цикл комиксов, посвященных революционной Кубе: стена, воздвигнутая негласной цензурой, оказалась на сей раз настолько высокой, что создателю комиксов, получивших мировую известность, не удалось найти себе издателя. Но это уже политика. А именно вопрос об отношении комиксов к политике не только не уточнялся, но и всячески обходился на дискуссиях в Бордигере, ибо было принято за аксиому положение, что создатель комикса свободен лишь постольку, поскольку он остается «незавербованным», то есть не участвующим в политической борьбе, не занимающим определенной политической позиции. («Разумеется, символ вашей веры — «незавербованность»,— заметил председательствовавший на встрече Ален Рене, после того как Эл Кэпп изложил свое понимание свободы творчества.)

Сами же комиксы, однако, в подавляющем большинстве своем не несут в себе этой столь громко декларируемой «незавербованности». Герои их, отмечает Тоти, как правило, «завербованы», и притом сам характер их «завербованности» заметно меняется в соответствии с изменениями общего политического курса.

«Действительно,— пишет Тоти,—ведь уходил же Тарзан во время войны на фронт воевать против Гитлера. Человек в маске был мобилизован на войну с Японией, маг Мендрейк занимался контрразведкой, и все герои комиксов, как один, были антифашистами (хотя антифашизм их частенько бывал щедро приправлен расистскими выпадами по адресу «желтых макак», «азиатских карликов» и т. п.). Это верно, что Геббельс, узнав, что во время одного из своих приключений, еще до дня «Д», Супермен криптоновым лучом разрушил Атлантический вал, написал: «Этот Супермен — еврей»,— признавая тем самым, что антифашистский супергерой действительно имеет какое-то пропагандистское значение.

Когда же настала пора «холодной войны» и «грязных войн», то и «завербованность» героев комиксов приобрела иной характер. В частности, отмечает Тоти, весьма своеобразно изменилось, например, отношение Человека в маске к народам Азии: «Правда, Человека в маске нельзя назвать расистом в прямом смысле слова (его создатель рисовальщик Ли Фолк неоднократно протестовал против подобного обвинения), но столь же верно и то... что его союз с туземцами Юго-Восточной Азии, к которому он в конце концов приходит после своих свершаемых в одиночку подвигов, весьма похож на те союзы, которые заключал американский посол Максуэл Тейлор, помогавший генералу Кханю «освободиться» от собственных соотечественников, южновьетнамских патриотов... Попав в поток монополистического производства культуры, комиксы стали неотъемлемой частью гигантской машины, работающей не только на выколачивание прибылей, но и на идеологию, то есть — пропагандистски.

Даже Агент Х-9 и тот в своих последних приключениях превратился в ярого антикоммунистического агента. То же самое можно сказать и о Терри Ли, и о Стиве Кеньоне, и о Джонни Хейзарде, и о Мишеле Танги, и о прочих героях всех комиксов последних лет...»

Показательны не только эти образцы жанра, но и новейшие разновидности американского комикса — и «комиксы ужасов» (с вампирами, призраками и оборотнями в качестве самых безобидных персонажей), и так называемые «негро-комиксы». В комиксах свирепствует яростный антикоммунизм поджигателей войны, летчики в комиксах уже давно бомбят базы Северного Вьетнама. И, разумеется, не случайно одной из своих самых актуальных задач сегодняшние «комикс-клубы» и иные организации по изучению, пропаганде, распространению этого жанра считают продвижение комиксов во взрослую аудиторию.

«Интересно,— пишет Тоти,— что как раз в то время, когда в Бордигере появился отпечатанный текст обращения директора Педагогического института при Римском университете Луиджи Вольпичелли, призывающего социологов, педагогов, эстетиков и писателей обратить внимание на «эту важную отрасль издательского дела, рассчитанную на детей, а также и на взрослых», итальянские газетные ларьки затопил поток альбомчиков и книжонок — комиксов явно «для взрослых» и с весьма красноречивыми заголовками: «Дьяболик», «Сатаник», «Демоньяк», «Спектрус», «Вамп» и т. д., разбитая на кадры мешанина невероятных ситуаций, эротики в духе бульварных романов с продолжением, суеверий, садизма и преступности. Одним словом, коммерческая спекуляция на настроениях тоски и отчаяния... и грубо схематичное изображение шизофренических состояний, выдаваемых за мечты и несбывшиеся чаяния миллионов «простых людей».

Тоти констатирует, что несмотря на массу добрых намерений и бурную деятельность «комикс-клубов», сколько-нибудь заметных сдвигов в положении с комиксами пока еще не наметилось. Тоти вынужден признать, что он сам не знает, что делать, чтобы достигнуть перемены к лучшему.

Но кое-что, замечает Тоти, все же изменилось — отношение к комиксам наиболее мыслящей части интеллигенции, трезво оценившей за это время значение комиксов в «культуре для масс», потенциал их возможностей. И тем более важно, полагает он, чтобы интерес к комиксам и мысль об их будущем не замкнулась,— а такая опасность

вполне реальна — в рамках узкоакадемических, отвлеченно исследовательских. Потому что, пока, например, ученые в Риме скрупулезно исследуют «комикс-сагу» о Мендрейке с точки зрения социологии и эстетики, психологии и теории информации, лингвистики и «массового сознания», «летчики с напалмом» вроде Джонни Хейзарда и Стива Кеньона бомбят в американских комиксах мирные деревни Северного Вьетнама.

Эта мысль Джанни Тоти звучит тем более убедительно, что в наши дни американские летчики бомбят Северный Вьетнам не только на страницах комиксов.

В. Неделин

ЛИЦО ПЕРЕВОДЧИКА

Еженедельник «Леттр франсез» предоставил страницы двух мартовских номеров французским переводчикам и филологам, чтобы они высказались об искусстве художественного перевода и о практических условиях переводческой работы. Номера эти вышли как раз в те дни, когда в Москве правили корректуры очередного сборника «Мастерство перевода» и обсуждали книги, посвященные переводу стихов. Такое совпадение во времени — примета времени. В мире становится все больше и больше переводов и переводчиков, и понятно, что разнообразные проблемы этого вида литературы приобретают все больший и больший общественный интерес.

Вопросы анкеты касаются определения перевода и верности перевода, веса слова при переводе поэзии, прозы и драматургии, роли переводчика как пропагандиста лучших образцов классической и современной литературы, старения перевода. На эти вопросы отвечают Марта Робер, переводчица Кафки и редактор полного собрания его сочинений, переводчик английской литературы Роже Жиру, переводчик Шолохова Антонио Витес, переводчик современной итальянской литературы Нино Франк, профессор русского языка в Высшей школе переводчиков (Сорбонна) Леон Робель, переводчик Фолкнера Р. Н. Рембо. Кроме ответов на анкету «Леттр франсез» поместила статьи и интервью, посвященные отдельным, широким и узким, проблемам переводческого искусства, в частности статьи о французских переводах Данте и Эзры Паунда и о дубляже в кино.

Импозантное разнообразие этого перечня, разумеется, не исключает повторения одних и тех же мыслей, тем более что поводом для высказывания служит анкета. К тому же в общих рассуждениях относительно перевода полностью избежать банальностей не удается, кажется, решительно никому на свете. Оно и понятно: перевод — искусство, а самое убедительное и самое захватывающее в разговоре об искусстве — это конкретный разбор конкретных примеров, а не отвлеченное теоретизирование. И все-таки подборка «Леттр франсез» интересна и ценна не только тем, что она привлекает внимание и учит уважению к неотъемлемой от культурного прогресса человечества деятельности переводчиков — а это уже переоценить трудно,— но и чисто специально, как новая антология теоретических обобщений переводческого опыта.

Ladies first *, и, делясь своими впечатлениями от прочитанного в «Леттр франсез» (но вовсе не собираясь дать исчерпывающий отчет об этой дискуссии), начну с Марты Робер, которая на вопрос: «Не кажется ли вам, что даже хороший перевод устаревает?» ответила так: «Как это ни парадоксально — кажется. Я, право, не могу сказать, в чем тут дело, но это факт, что перевод устаревает почти независимо от тех достоинств, которыми он в свое время обладал. Похоже на то, что перевод, как спортивный рекорд, можно совершенствовать до бесконечности. Это странно, но такое чувство порой испытываешь. Может быть, лингвисты сумели бы найти этому объяснение». В этом же смысле высказался и Леон Робель, остроумно заметивший, что хороший перевод всегда стареет, а плохой не доживает до старости, потому что умирает в детстве.

Совершенно иного мнения Роже Жиру: «Хороший перевод не стареет». Жиру считает, например, что французский перевод «Улисса» Джойса является окончательным. Правда, для более далекого прошлого делается оговорка: француз — современник Шекспира, добавляет Жиру, не мог предложить окончательного перевода его произведений, потому что французская речь того времени не могла передать мироощущения елизаветинцев. «Планетарное сознание, к которому мы идем,— говорит Жиру,— расширяет границы разума и сулит переводческому делу все больший успех».

Не столь однозначно, как Марта Робер и Леон Робель, с одной стороны, и Роже Жиру — с другой, отвечает на вопрос о старении перевода Р. Н. Рембо. «Перевод,— говорит он,— устаревает по мере того, как устаревает сам язык, на котором он написан. Желание любой ценой оказаться «в духе времени» крайне опасно для переводчика. Но если сам перевод является художественным произведением, он не устаревает. Перевод Плутарха, сделанный Амьо, не устарел».

В аргументах Р. Жиру и Р. Н. Рембо много справедливого, но в выводах оба, по-моему, противоречат сами себе. «Планетарное сознание», как признает сам Жиру, еще

---

* Сначала дамы *(англ.)*.

не достигнуто, мы только «идем к нему». Но не следует ли из этого, что по мере приближения к «планетарному сознанию» устаревают переводы, сделанные на предыдущих, хотя бы и довольно поздних этапах движения к нему? Что же касается самой идеи планетарного сознания, то до тех пор, пока на нашей планете сохраняются классовые и национальные различия, пока на ней существуют разные экономические и социально-политические системы, «планетарное сознание» — это чистейшая иллюзия. Да и можно ли говорить о «планетарном сознании» без планетарного, то есть общего для всего человечества языка? А при наличии такого языка в переводе вообще не будет надобности, и этот вид искусства умрет естественной смертью.

Совершенно прав и Р. Н. Рембо, когда говорит, что перевод устаревает по мере устаревания языка переводчика. Но когда чуть ниже Р. Н. Рембо утверждает, что перевод, представляющий собой художественное произведение, устареть не может, согласиться с этим трудно.. Разве любое оригинальное произведение художественной литературы, даже самое долговечное, в каких-то своих частях не устаревает хотя бы в силу того же устаревания языка? Почему же художественный эффект перевода должен быть неизменным? Ведь и перевод от языковой оболочки неотделим.

Наиболее убедительно, на мой взгляд, высказался по этому поводу Антонио Витес. Его ответ на соответствующий вопрос анкеты в большой мере объясняет тот парадокс старения перевода, о котором говорила Марта Робер.

«Перевод,— пишет Антонио Витес,— устаревает всегда. Прежде всего потому, что даже самые лучшие переводы можно, с чисто лингвистической точки зрения, совершенствовать до бесконечности. Если десять хороших переводчиков переведут последовательно одно и то же произведение, причем каждый будет знаком с работой своего предшественника, то десятый перевод окажется лучшим, ибо перевод основывается на научном знании». Очень простое и очень верное объяснение! Ведь в самом деле, редактура подлинника — акт однократный, кончающийся до выхода книги, без участия автора невозможный и потому после его смерти немыслимый, как бы ни менялись эстетические нормы данного языка. Переписывать заново, например, «Дон Кихота» по-испански никто не будет. А на других языках появляются и будут появляться все новые и новые переводы «Дон Кихота», и при прочих равных условиях каждый последующий переводчик объективно находится в лучшем положении, чем его предшественник, чей опыт он может и даже обязан учесть. Так что аналогия со спортивным рекордом, проведенная Мартой Робер, в известном смысле, пожалуй, оправдана.

Но только в известном смысле, ибо это объяснение проблемы, конечно, не исчерпывает, и ниже Витес говорит о таких причинах старения перевода, как эволюция языка, а также изменение и обогащение литературного багажа читателя. Но начал Витес с самого простого, аксиоматически самоочевидного довода, способного, мне кажется, раз навсегда покончить с вопросом: «Устаревают или не устаревают?». Увы, устаревают, как это ни грустно нам, переводчикам, и не так уж, при всем своем максимализме, не прав Мишель Арно, заявивший в беседе с сотрудницей «Леттр франсез», что каждые пятьдесят лет нужно создавать новые переводы.

Другой вопрос, что далеко не все написанное живет пятьдесят лет и смеет претендовать на перевод вообще, не говоря уж о новом переводе. И эту сторону дела дискуссия «Леттр франсез» тоже не обошла. «На нас буквально обрушивается ливень падающих звезд,— пишет Р. Н. Рембо,— всех этих метеоров на один сезон, откровений на один день. Переводчик, сознающий свою роль, не может связывать себя подобной работой». Эти слова взяты из ответа на четвертый вопрос анкеты, который сформулирован так: «Как, по-вашему, действительно ли переводчики играют роль первооткрывателей? С одинаковой ли энергией борются они за издание классического произведения, имеющегося до сих пор в плохом переводе, и за издание современной книги, не известной во Франции?» Рембо говорит, что с тех пор, как перевод иностранной литературы стал во Франции отраслью торговли, переводчики в роли первооткрывателей встречаются все реже и реже и что переводчик может самое большее принять или отвергнуть предложение перевести книгу, которая, как надеются, станет бестселлером.

Если относительно долговечности перевода Р. Н. Рембо и Антонио Витес держатся разных мнений, то на вопрос о роли переводчика как первооткрывателя они отвечают очень сходно: «Первооткрывателями,— говорит Витес,— являются писатели, специалисты, критики, издатели, а в театре также режиссеры и директора. Некоторые из них являются также переводчиками; но мне кажется, что ваш вопрос не учитывает условий, в которых протекает труд профессионального переводчика. Это скверные условия. Бороться за издание классического произведения, не нашедшего пока хорошего перевода, или за издание книги, еще не известной у нас,— это роскошь, которую могут позволить себе лишь немногие переводчики-профессионалы. Первооткрыватели (переводчики или нет) — это как раз те, кому такая роскошь доступна».

Эти высказывания французских коллег очень интересны и поучительны. Мне кажется, что при совершенно разных установках наших и французских издательств — ведь бестселлерность, доходность книги не является у нас главным, решающим мотивом ее издания — наши переводчики выступают в роли первооткрывателей не чаще, чем французские. Дело тут, видно, не столько во внешних обстоятельствах, сколько в лице переводчика. Стать первооткрывателем по заказу, на договорных началах нельзя — нельзя по самой природе первооткрывательства. Чтобы им стать, нужно, как ми-

нимум, быть специалистом в определенной литературе, то есть следить за всеми ее событиями и обладать способностью к критическому их разбору, а следовательно, нужно быть не только переводчиком, но и потенциальным или даже активным (второе еще лучше) критиком-литературоведом. Удивительно ли, что и у нас первооткрывателями оказываются чаще всего не переводчики, а представители профессий, перечисленных Антонио Витесом?

Границы между вопросами любой анкеты часто бывают условны. И когда Марта Робер, отвечая на вопрос о том, что такое верность перевода, говорит, что эта верность зависит от верности оригинала определенному стилевому замыслу, она, в сущности, затрагивает уже и тот вопрос о качестве подлинника, который возник в связи с проблемой первооткрывательства и который так важен для достоинства переводческой работы (во всех значениях слов «достоинство» и «работа»). Еще яснее видна связь двух этих вопросов в рассуждениях Мишеля Арно: «Разумеется,— говорит Арно,— нужно как можно глубже проникнуть в главную идею автора. А главная идея автора выражается не только словами, но и стилем. Поэтому настоящая трагедия для переводчика — отсутствие у автора определенного стиля... Легче переводить автора, стиль которого труден, чем автора, у которого нет стиля». Пожалуй, было бы вполне логично пойти еще дальше и сказать, что автора, у которого нет определенного стиля, переводить вообще не стоит, поскольку идея художественного произведения неотрывна от стиля... Но не будем пускаться в безбрежное море эстетики и изложим еще некоторые суждения, высказанные на форуме «Леттр франсез».

Нино Франк, не считающий себя, правда, профессиональным переводчиком, полагает, что иной раз предпочтительнее, чтобы в роли переводчика, например, с итальянского на французский выступил итальянский писатель, хорошо знающий французский язык, а не писатель-француз, владеющий итальянским. Можно ли согласиться с Нино Франком? Спору нет, в каком-то конкретном случае сравнительная оценка обеих кандидатур может подтвердить справедливость такого мнения. Но принципиально, по-моему, Франк не прав. Наиболее удачный перевод на любой язык, вероятнее всего, сделает, мне кажется, все-таки человек, думающий на этом языке и живущий в его стихии.

Меня несколько озадачил один из вопросов анкеты, который сформулирован так: «Синтаксис и звучание французского языка, ритм французской фразы порождают специфические проблемы при переводе с того или иного языка. Каковы, по вашему мнению, эти проблемы?» Точнее сказать, меня озадачила сама постановка вопроса. Что может ответить пианист, если его спросить, каковы специфические проблемы игры на рояле (а не на скрипке). Думаю, что он либо заговорит о своем понимании искусства фортепианной игры — а это разговор долгий и далеко ведущий,— либо ограничится несколькими общими замечаниями об очевидных и для неспециалиста отличиях фортепиано от скрипки. Поэтому я сочувственно улыбался, читая ответы Р. Н. Рембо и Антонио Витеса. «Специфические проблемы? — переспрашивает Рембо.— Их нет. В переводе все является проблемой, но все сводится к одному. Перевод должен прежде всего хорошо звучать по-французски». А Витес, к своему удивлению, констатирует, что никогда не задавался этим вопросом.

Закрывая номера «Леттр франсез», чувствуешь, что вот и еще раз тебе удалось взглянуть на дело, которым ты занимаешься, шире, трезвее и строже, так сказать, отстраненнее, чем это обычно удается в насущных заботах буден. Не нужно обольщаться, переводы не живут долго. Если оригинал недолговечен, перевод умрет вместе с ним, а если подлиннику суждена долгая жизнь, он будет красоваться в чужой стране в новой одежде, а старую сбросит, как бы прекрасна она некогда ни была. Когда перевод доживает до возраста какого-нибудь долгожителя-горца, это уже удача огромная. Но и падать духом тоже не нужно. Каждая эпоха заслуги переводчиков все-таки признает, и признает по-своему, со своей точки зрения. Если Пушкин называл переводчиков почтовыми лошадьми просвещения, то современный поэт сравнивает переводы с пехотой, штурмующей вражду между народами, а пехота как-никак — царица полей... Это объективная сторона дела, его, если можно так сказать, честь. Но еще у него есть сторона субъективная, профессиональная, технологическая, неиссякающий источник творческих радостей. Что же касается людей, соприкасающихся с областью художественного перевода только по-читательски, то материалы «Леттр франсез» несомненно ответят им на вопрос, кто и с каким трудом делает их достоянием мировую литературу. А вопрос этот, судя по заголовку анкеты и по щедрости, с какой на полосах двух номеров было отведено место делам переводческим, очень интересует широкого читателя.

С. Ant

ХУАН МИГЕЛЬ ДЕ МОРА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САНТО-ДОМИНГО

(Раздумья писателя)

Новое преступление империализма Соединенных Штатов, злодейски напавшего на маленькую латиноамериканскую страну — Доминиканскую Республику, население которой едва превышает три миллиона, вызвало законное возмущение всего человечества.

Североамериканский империализм бросил свои вооруженные силы против доминиканского народа, поднявшегося на борьбу за свободу. Еще раз Соединенные Штаты разоблачили себя перед всем миром как душители свободы народов.

Известный мексиканский писатель Хуан Мигель де Мора, автор многих романов, повестей, пьес и публицистических книг, недавно побывал в Санто-Доминго. По просьбе нашей редакции он написал для «Иностранной литературы» публикуемое ниже эссе.

— Потрогай, вот здесь у меня пуля. Скажи им, пусть ее вытащат. Скажи им, пусть ее вытащат!

Голос звучит монотонно, слова — настойчиво.

— Потрогай, вот здесь у меня пуля. Скажи им, пусть ее вытащат. Скажи им, пусть ее вытащат!

Один из тех, кто стоит рядом с ним, пытается пояснить:

— Похоже, у него не совсем ладно с головой...

А пуля действительно тут — с левой стороны нижней челюсти, ее можно даже прощупать.

— Скажи им, пусть ее вытащат!

Голос звучит монотонно — и столько тоски в этом голосе, столько тоски на этом лице...

Кажется, это человеческое существо обретается в абсолютнейшем космическом одиночестве. Частица необъятного одиночества тех, у кого черная кожа. И эта частичка сейчас стонет, жалуется.

— Скажи им, пусть ее вытащат!

Кажется, этот еще маленький человек остался наедине с бесконечностью; по крайней мере так должно казаться ему, ведь никто не откликается на его мольбу:

— Скажи им, пусть ее вытащат!

Трудно, очень трудно объяснить моему раненому другу, почему до сих пор не вытащили из его челюсти пулю. Конечно, проще всего подыскать какое-то специальное, медицинское объяснение. Но не такого ответа он ждет. Он спрашивает не об этом. Он вопрошает, почему люди, другие люди выстрелили в него этой пулей и почему до сих пор ее не вытащат.

Раненый — подросток, почти ребенок, чернокожий, страдающий, жалующийся.

— Скажи им, пусть ее вытащат.

Только это. Единственно это — и больше ничего. Чернокожий ребенок просит, чтобы у него вытащили пулю. А кому до этого дело в Алабаме?

Черный мальчик на белой простыне. Белые зубы, белки глаз. Черный мальчик с бе-

лыми ладонями. В белом зале госпиталя падре Биллини на улице Сантомэ Нового города, района Санто-Доминго, столицы Доминиканской Республики.

В древнем Теночтитлане, столице ацтекской империи, павшей под ударами испанских конкистадоров, были сложены слова песни:

Лишь это твердит мое сердце
и мысли только об этом:
Ни у кого из нас нет счастья.
Поэтому скорблю я, плачу...

Плакать? Плакать — детское это дело. А быть может, и самое лучшее, что взрослый сохраняет в течение всей своей жизни, лучшее, что остается от детских лет. И то, что остается в нас от детства, созвучно мысли Антуана де Сент-Экзюпери: только сердцем можно увидеть невидимое для глаз. Плакать — не детское это дело. Взрослые понимают, насколько это необыкновенное, насколько это значительное дело — плакать, и потому они плачут так редко.

— Скажи им, пусть ее вытащат. Вот здесь пуля, пощупай. Скажи им, пусть ее вытащат.

И хотя сейчас я уже далеко, мне все еще слышится этот голос.

Здесь, в Санто-Доминго, я встретился с девочкой, которая хотела, чтобы ее подняли. А почему бы и в самом деле не поднять ее?

Когда речь идет о парализованной девочке, когда она — это надо представить себе — всю свою короткую жизнь прожила в кресле с колесиками, воображение — столь могучее у детей — уносит ее далеко-далеко. Вероятнее всего, лифт это нечто магическое, нечто особенное и очень важное, даже главное во вселенной этой девочки.

Белая девочка, живущая в доминиканской столице, на авениде Пастер, в доме № 28, хочет подняться на лифте к себе домой. Но это ей не так легко, как ловко приспособляющейся совести тех, чьи взлеты и падения чередуются без конца — и без лифта.

Девочка спрашивает, почему ее не поднимают на лифте. И перед проблемой лифта я чувствую себя в полнейшем бессилии. В это доминиканское лето лифт превратился в нечто такое, что поражает воображение. Трудно, очень трудно сказать парализованной девочке, что военные большой страны, называющейся United States of America, оккупировали последний этаж здания этого дома № 28 по авениде Пастер и запретили жильцам пользоваться лифтом. Ни одна парализованная девочка в мире не сможет этого понять. Ни один взрослый не сможет объяснить это ребенку, тем более что военным из этих самых USA нечего делать в Доминиканской Республике.

Мне снова слышится голос маленького негритенка в белом зале госпиталя:

— Пощупай. Вот здесь пуля. Скажи им, пусть ее вытащат.

Я говорю с женщиной, на лице которой отразилась вся ее жизнь, все ее жалкое существование. Лицо простой женщины — ей приходилось много трудиться, мало радоваться. Лицо сухое, отмеченное печатью скорби, кожа, разъеденная потом. Стоит лишь взглянуть на эту женщину, и вы в одно мгновенье сможете восстановить все этапы ее жизненного пути, начиная с детства, отравленного голодом и печалью; единственным утешением в ее жизни была церковь, надежда на потустороннее.

— Сеньор, вы журналист? Сеньор, я ведь причащаюсь каждую пятницу. Я католичка, принадлежу к римско-католической и апостолической церкви...

Нервным жестом она вытаскивает что-то из-за выреза кофты, со своей высохшей груди, и показывает мне:

— Смотрите, вот мои ладанки! Смотрите, вот мои святые! Разве я могу быть коммунисткой?

Было бы интересно поглубже проникнуть в сознание этой бедной женщины, которая воспитывалась еще в детские годы на катехизисе, а почти всю свою жизнь прожила в «эру Трухильо»,— чтобы узнать, что понимает она под словом «коммунист».

— Это ложь, когда говорят, что вторглись к нам в страну из-за того, что мы коммунисты. Расскажите всем.

Женщина кричит. Дыхание у нее прерывается, она на несколько секунд смолкает, чтобы передохнуть, и снова кричит:

— У нас господствует не коммунизм, у нас господствует голод! Если они называют голодных коммунистами, значит, я коммунистка! Расскажите всем, чтобы все на свете узнали это!

Я нахожусь в «зоне конституционалистов», среди патриотов этой истекающей кровью, подвергшейся злодейскому нападению Доминиканской Республики. Женщина выкрикивает свою правду. К нам подходят другие женщины и другие мужчины и тоже выкрикивают свою боль, свою тоску, свое недоумение, свое возмущение неслыханным преступлением, жертвами которого они стали.

Более всего переживает женщина-католичка. Она — сама скорбь. Рухнуло то, что до сих пор было ее прошлым, ее мирком. Разрываемая отчаянием, она не знает, как высказать все, что ее мучает. Я смотрю на нее, слушаю ее, и невольно в памяти воскресают слова Франсуа Вийона из «Баллады о повешенных»:

Frères humains qui après nous vivrez.
N'ayez les coeurs contre nous endurcis...*

Братья, что будете жить после нас... И в самом деле, что-то в лице и в голосе этой женщины — от холодного отчаяния обреченных на гибель, для которых уже не существует ничего вокруг.

— Если голодных они называют коммунистами, значит, я коммунистка.

Я должен сообщить миру: эта женщина — не коммунистка, не коммунисты и те, кто с ней.

---

* Братья, что будут жить после нас,
Да не будут сердца ваши ожесточены
против нас.

Какой неминуемый рок подталкивает эту женщину в лагерь тех, кто прозван в Америке «коммунистами»? Ведь в Америке это слово вообще не употребляется в точном значении; наоборот, его применяют только в том значении, которое тщится придать ему пропаганда, заинтересованная в том, чтобы сбить с толку народы.

Рок обходится более жестоко с доминиканцами, чем с героями трагедий древней Эллады. Почти всю свою жизнь Эдип чувствовал себя счастливым, пока не познал глубину своего несчастья. А какое счастье видели доминиканцы, с чрева материнского обреченные на нищету и голод?

Перефразируя известное изречение Шекспира о том, что храбрый погибает только однажды, тогда как трус умирает тысячу раз, можно сказать: лишь один раз умирает от голода человек, долгое время остававшийся без пищи, а доминиканцы, всегда живущие впроголодь, умирают от истощения тысячу раз. Сколько же раз умирала на протяжении своей трагической жизни эта женщина, показывавшая мне свои ладанки? Разумеется, кто-то может посчитать, что эти факты ничтожны.

Покинув «зону конституционалистов» и распростившись с Санто-Доминго, я мог бы забыть все, мог бы, скажем, пройтись мокрой губкой по грифельной доске памяти. Так, кстати, поступали и поступают многие мои сородичи. Я мог бы совсем не вспомнить о доминиканской женщине-католичке или вспомнить о ней случайно, как о чем-то преходящем, забыв существенное, раз и навсегда искоренив то, что проникло в мое человеческое существо, достигнув сердца, а сердцем — вспомните Антуана де Сент-Экзюпери! — можно видеть невидимое для глаз.

Писатель, конечно, хотел бы быть богом, обладающим безграничной властью, чтобы иметь возможность все создавать и все разрушать, как все создают и все разрушают сказочные волшебницы. Однако он отдает себе отчет в том, что его реальная сила не имеет ничего общего с силой волшебниц из сказок.

Перед писателем открываются два пути — действие или пассивное созерцание,— и какой он изберет, зависит от того, сколько человеческого заложено в нем.

В Санто-Доминго 1965 года тоска — навязчивая муха, непрерывно жужжащая летняя муха, от которой никак нельзя избавиться. Она преследует нас, пикирует сверху, атакует сбоку, становится нестерпимой, и если на какие-то мгновения отдаляется, давая легкую передышку, чрезвычайно мимолетную передышку, так только затем, чтобы с еще большим ожесточением возобновить настойчивое жужжание, непрерывное преследование. И эта тоска вовсе не отвлеченная, не смутная. Нет, это тоска конкретная, общая, коллективная. Будто в доминиканском воздухе носятся слова хора из Софоклова «Царя Эдипа»: все обречено на гибель, и нет такой счастливой мысли, что помогла бы нам избавиться от зла, и не достигают поры созревания плоды этой славной земли...

Эта славная земля... «Та, которую так любил Колумб»,— гласят завлекающие туристов афиши в городе Санто-Доминго. Славная земля — это правда. Именно здесь генуэзский адмирал открыл новый континент. И вновь слышны слова хора, хотя я не могу уточнить, хор ли это вчерашних Фив или сегодняшнего Санто-Доминго: лежат, взывая к жалости, непогребенные трупы на земле, где воцарилась смерть; молодые супруги и поседевшие матери плачут у подножия алтарей, испрашивая спасения от столь страшного бедствия; отовсюду доносятся скорбные моления, смешанные с криками горестными. О прекрасная дщерь Зевсова, даруй нам избавление! И от Арея жестокого, напавшего без щита и железа...

Арей и в самом деле ныне уничтожает без щита и железа. Женщины плачут, матери взывают к небесам, но это не в Фивах седой древности, а в Санто-Доминго сегодня...

— Скажи им, пусть ее вытащат...

— Я хочу подняться в лифте...

— Вы считаете, я могу быть коммунисткой?..

Но все это — только минимальнейшая, незначительная доля того, что я видел в Санто-Доминго.

— Вы знаете, у меня двое детей...

Ей примерно лет двадцать восемь. Большие черные глаза, светлая кожа и несмываемый отпечаток горя на лице — будто она хочет впитать в себя горе всех людей, горе своей родины, все вместить в своем сердце и умереть, унося горе с собой. Но ведь никто не сможет унести с собой столько боли и столько печали. Я сам чувствую, как много накопилось у меня в груди — тяжкого, жгучего...

— Двое детей. Один шестилетний, другому восемь лет. К счастью, они были в доме одной моей родственницы. Если бы все это случилось на их глазах, я покончила бы с собой, но прежде убила бы их.

Сколько я читал и слышал о беспредельной печали материнской? Сколько метафор, сколько образов, сколько прекрасных слов, трогательных, нежных или жестоких, посвящено материнской скорби? Матери — прекрасны. И она тоже, эта доминиканская молодая женщина, но красота ее омрачена страшным горем. Красота удрученная, безутешная, униженная, опустошенная. Да и можно ли словами описать все то, что говорят ее глаза, о чем кричит ее тело, что выражают ее руки, ее судорожно стиснутые пальцы?

— Я покончила бы с собой, но прежде убила бы их.

Неправда: убивая их, она уже была бы убита. Мать, такая, как эта преисполненная любви мать, неминуемо погибнет, подняв руку на собственных детей. Я понимаю, она может умереть при одной мысли о том, что случилось бы, если б дети тогда были дома.

ХУАН МИГЕЛЬ ДЕ МОРА
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САНТО-ДОМИНГО

Бывает ощущение неописуемого ужаса, сверхчеловеческого кошмара, необъяснимого, поскольку он алогичен, поскольку лишен смысла, поскольку его можно назвать следствием без причины, хотя все мы знаем, что причина есть, тошнотворная и отвратительная.

— Я ждала мужа... Внезапно они ворвались, взломав дверь... Они были большие, рыжие, грубые, жестокие... Меня избили... а потом...

И снова у меня вспыхивает неодолимое желание повторить слова фивского хора: возьми огонь святой, огонь победный, сокруши среди богов презреннейшего бога!

Возьми огонь святой, огонь победный... А ведь тебя назовут коммунистом. Они всегда утверждают, что коммунисты — поджигатели. И они заявят, что ты — коммунист, они всегда заявляют, что все, кто против них,— коммунисты. Все, кто не одобряет их разбойничьи вторжения, кто не одобряет их варварство, кто не одобряет предлогов, под прикрытием которых они присваивают непринадлежащее им или навязывают другим свою волю,— бесспорно, коммунисты. И неважно, какой идеологии придерживаются эти «коммунисты», кто они на самом деле. Неважно, что на груди у них ладанки и что они посещают мессу. Неважно, что они — мальчики с черной кожей, неважно, что они — парализованные белые девочки, желающие подняться на лифте, неважно, что они — честные женщины, матери семейств, в ожидании спутника своей жизни павшие жертвами похоти и разврата людей, носящих форму армии США.

Я пришел к выводу: такие события, как события в Санто-Доминго, уже не оставляют места творческому воображению; художественный вымысел бледнеет перед действительностью, увиденной писателем. И прямой, непосредственный долг писателя — разоблачать подобные преступления против человечности, публично обвинять преступников.

Действительность и воображение тесно переплетаются в истории бедного негритенка, просящего вытащить из его челюсти пулю. Ведь это символично. Мальчик-негр, как и его народ, стал жертвой, объектом нападения вооруженных сил великой державы, хотя ни этот народ, ни этот негритенок ничем не заслужили, чтобы с ними так поступали, чтобы их убивали, чтобы их порабощали. Доминиканцам отказывают в праве на национальное самоопределение, в праве на собственное решение своих судеб. В челюсть мальчика и в сердце Санто-Доминго попала пуля, made in USA. Это Санто-Доминго просит, чтобы у него из сердца вытащили пулю. А между тем негритенок — действительность.

Действительность — девочка из дома № 28 по авениде Пастер, где лифт только для солдат-оккупантов. Нет, в самом деле нет никакого творческого вымысла в описании того, что происходит в Доминиканской Республике. Сообщая о фактах, только лишь о конкретных фактах, писатель выполняет свой долг по отношению к народу и родине.

Не придумаешь искренние, горячие слова старой женщины-католички, которую оккупанты, вторгшиеся на ее родину, окрестили «коммунисткой», чтобы под этим предлогом оправдать неоправдываемое.

Тем более выходит из рамок какого-либо литературного вымысла мать семейства, ставшая жертвой насилия со стороны варваров в форме армии США. Они напали на нее в стране, с которой их страна не находится и не находилась в состоянии войны,— и ничем, абсолютно ничем нельзя не только оправдать, но и объяснить совершенное ими злодейство. Да, вампира теперь узнали, он известен всем, известно и его логово. И это не вампир из древних легенд Центральной Европы, а наш современник во плоти и крови; пользуясь своей силой, он порабощает, грабит, насилует более слабые народы.

Народ Санто-Доминго лишь мечтал о более справедливом порядке, при котором едят все, а не только избранные. Народ Санто-Доминго, нищего островка в Латинской Америке, начал бороться за свое право на лучшую жизнь. Он вступил на тот путь, который в условиях вечной тирании стал единственно возможным,— на путь вооруженной борьбы. После этого доминиканцев назвали коммунистами, в пределы их страны вторглись вооруженные силы Соединенных Штатов, оккупировали остров.

Еще ранее — с 1916 по 1924 г.— Доминиканская Республика находилась под гнетом военной оккупации Соединенных Штатов. В ту пору Латинская Америка была отсталой, да и положение во всем мире было иным: не требовалось подыскивать какое-либо оправдание для вторжения в более слабую страну (без всяких объяснений тогда были осуществлены агрессии и против Гаити, и против Кубы, против Никарагуа и против Мексики). Закон сильнейшего царил неоспоримо. Ныне же мир в значительной степени изменился. Теперь для агрессивной акции нужен предлог. А что удобнее в качестве предлога, нежели коммунизм? Соединенные Штаты оккупировали Доминиканскую Республику в 1965 году во имя того, «чтобы воспрепятствовать проникновению коммунизма». Соединенные Штаты даже опубликовали список коммунистов — чем не доказательство правоты утверждений госдепартамента! В этом списке... 58 фамилий. Пятьдесят восемь коммунистов—это, должно быть, пятьдесят восемь колоссов, пятьдесят восемь сверхчеловеческих существ невообразимой мощи, ведь Соединенным Штатам пришлось бросить против них в общей сложности 45 813 человек — морскую пехоту, парашютистов, вспомогательные службы армии, экипажи истребителей, авианосцев и других военно-морских судов!

Сказки о коммунизме в моде у вашингтонских джентльменов, но мы, в Латинской Америке, очень давно и чересчур близко знаем тех, кто слагает эти сказки. А Мексика, очевидно, лучше всех их знает: сосе-

ди! В 1847 году в Мексике не было ни одного коммуниста, а североамериканцы напали на нашу страну, отхватили у нас половину национальной территории. В 1914 году в Веракрусе не было коммунистов, а этот наш порт на Мексиканском заливе был оккупирован янки. В 1916 году коммунистов не было в Чиуауа, однако и в этот штат на севере нашей страны нагрянул генерал-янки Першинг со своими солдатами...

Политика разбоя и грабежа, проводимая Соединенными Штатами в Латинской Америке,— старая история, насчитывающая столько же лет, сколько лет нашим государствам. Относительно новое в полуторавековой истории то, что агрессии совершаются под предлогом «борьбы с коммунизмом». Это, разумеется, проще, чем сражаться с голодом.

Народы Латинской Америки выступают за демократию, подлинную демократию. Соединенные Штаты пытаются искоренить стремление наших народов к демократии, насаждая и поддерживая всюду тиранов типа Сомосы и Трухильо, не говоря уже о Стресснере и Перальте. Разглагольствуя о «защите демократии», Соединенные Штаты подавляют демократию на нашем полушарии. Они воспевают так называемую «представительную демократию», а на самом деле препятствуют проведению демократических выборов в Гватемале, явно опасаясь, что их кандидат потерпит фиаско; свергают конституционные правительства в Бразилии и в той же Доминиканской Республике (я имею в виду правительство Хуана Боша), а затем и совершают акт прямой агрессии против этой страны. Что же это за демократия? Куда ведет такой путь, если не к неофашизму?

Перед алчным взором новых ахейцев, made in USA, Латинская Америка предстает как бы новой Троей, годной для нападения, грабежа, разгрома. Однако мы, латиноамериканские писатели, отнюдь не собираемся разыгрывать роль Гекубы, склоняющейся под ударами неумолимого рока и рыдающей.

Мы знаем, что за все время существования человеческого рода история никогда не двигалась вспять. Мы знаем также, что ночь наиболее черна как раз незадолго до рассвета.

Мы, писатели Латинской Америки, принимаем на себя нашу долю ответственности за происходящее. Мы обязаны ответить доминиканскому негритенку, который просит, чтобы у него вытащили пулю. Мы должны дать объяснение парализованной девочке, которая хотела бы подняться на лифте. Нам надлежит сообщить миру, что женщины Санто-Доминго, католички и не католички, требуют хлеба, свободы, счастья.

Если мы не сумеем выполнить наш долг, если мы по меньшей мере не поможем доминиканскому народу найти ответы на волнующие его вопросы, вправе ли мы говорить, что любим свободу? Свободу нельзя любить равнодушно, она — взыскательная любимая, требующая постоянного внимания и полной верности. Нельзя любить ее мгновениями и забывать на года. Нельзя любить ее, не будучи готовым отдать за нее все, вплоть до собственной жизни, а жизнь не всегда можно отдать одним махом — всего труднее отдавать ее час за часом, день за днем...

Мы любим свободу и не верим, что существует роковая судьба, какое-то фатальное предопределение, согласно которому слабые страны должны заискивать перед могущественными. Мы любим свободу и считаем, что голодающий не должен заискивать перед сытым. Мы любим свободу, отдавая себе отчет, что только в условиях мира и независимости человеческое существо может полностью проявить свой творческий гений и достигнуть подлинного счастья.

Поэтому мы, мексиканцы, отстаиваем неизменное право народов на самоопределение и принцип невмешательства одних стран во внутренние дела других.

Соединенные Штаты противопоставляют нам дикую, звериную силу, вторгаются к нам со своей морской пехотой, декларируя, что все это ими делается ради того, чтобы уничтожить у нас коммунизм. А на основании какого права Соединенные Штаты присваивают себе роль опекуна Латинской Америки? На основании какого права они пытаются навязать нашим народам такой режим, который по вкусу лишь Соединенным Штатам?

Мы верим, что человек не для того рождается и живет, чтобы влачить цепи рабства.

И мы, писатели Латинской Америки, не уподобимся Гекубе, заплаканной, скорбящей о лучших временах.

Мы уверены, что лучшие времена еще наступят. Нет, нельзя согласиться с Хорхе Манрике, что «какое-либо время из прошлых времен было лучшим».

Мы смотрим в будущее, верим в будущее. Мы — за демократию на деле, а не за демократию на словах, а «демократия» штыков неприемлема для нас.

Сегодня на доминиканской земле особенно остро ощущаешь, что писатель не имеет права на бегство от действительности, от народа, от суровой жизненной правды.

Трагедия доминиканского народа заставляет писателей Латинской Америки еще раз продумать, каковы наиболее эффективные пути борьбы против тех, кто хочет, чтоб мы утопили правду в мутном потоке лживой пропаганды, кто пытается навязать нам чужеземное иго.

Санто-Доминго — Мехико,
лето 1965 года.

Перевод Юрия ДАШКЕВИЧА

ОЧЕРКИ

ЭРИК ЛУНДКВИСТ

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод со шведского Л. ЖДАНОВА

Подъезжая к деревне, где предполагался отдых, мы заметили, что происходит что-то необычное. Вдоль дороги то и дело попадались полицейские и военные: верный признак того, что ждали прибытия высокопоставленных лиц.

Выяснилось, что в деревню должен приехать министр. Полиция и военные обязаны обеспечить его безопасность.

— Эти министры в копеечку обходятся,— заметил я.

— Беда! Вот увидишь, наш постоялый двор забронировали для него.

Так и было. Свита уже приехала, сам министр ожидался позднее, к ужину, назначенному на десять вечера.

— Значит, полицейские должны стоять полдня и половину ночи?

— Если он приедет. А то и всю ночь простоят.

Окончание. Начало в № 8.

Он не приехал в тот вечер. Свите было не впервой. Хуже досталось полиции и военным, которые ежились от ночного холодка.

Мы все-таки отвоевали себе маленькую комнатку на двоих. Камин с уютно горящими дровами и привезенная тайком бутылка виски помогли нам скоротать ночь.

Министр явился на следующий день, приветствуемый местными жителями, которые наконец-то дождались высокого гостя.

Он и сопровождающие его прикатили на пяти вместительных американских автомашинах.

Министр намеревался провести несколько суток в тиши, отдохнуть от забот и тревог. Приветливого вида тучный мужчина лет сорока, ровный голос, неторопливые движения, одет в традицион-

ный для политических деятелей костюм, тот самый, который носил Неру.

Мы, как говорят в народе, начхали на него и, сидя перед камином, повели беседу с деревенским учителем, который явился приветствовать министра, но тоже начхал на него. Учитель увлекался политикой; правда, он не принадлежал к партии Индийский национальный конгресс, которая находится у власти в Индии со времени освобождения.

На следующее утро, когда взошло солнце и стало теплее, мы увидели на веранде министра в окружении свиты. Он прял белую шерсть, в точности на такой прялке, какую носил с собой в свое время Ганди. Простой человек. Прял и разговаривал с местными деятелями.

— Для чего это он прядет? — спросил я.

— Жульничество,— фыркнул лесничий.— Обман. Дескать, вот я какой простой. Политический маневр. Когда Ганди так поступал, в этом был смысл. Некоторые политиканы до сих пор используют этот прием. Но теперь это липа.

— Может быть, ритуал?

— Назови ритуалом, если ты такой добрый. Он получает больше двух тысяч в месяц, зачем ему прясть...

— Две тысячи для министра не так уж много.

— Ганди считал, что министры должны получать не больше пятисот рупий в месяц.

— Можно прожить на такое жалованье?

— Отлично, если захочешь. И не воображай, что двумя тысячами все ограничивается! Министр получает бесплатную квартиру, свет, воду. Бесплатные услуги и так далее. Кстати, недавно этот вопрос обсуждался в парламенте.

— Кажется, я читал что-то в газете. Это в связи с министром, который решил сам платить за электричество?

— Министр внутренних дел. Он много хорошего сделал. Настоящий человек, за что коллеги его и невзлюбили. Прежде он был министром транспорта, очень дельным к тому же. Но тут произошло несчастье — обрушился мост вместе с поездом. И он взял вину на себя. Мол, должен был исключить возможность такой катастрофы. И ушел со своего поста.

— Все бы министры были такие!

— Мы могли бы чудеса творить, если бы вместо вот таких прядущих ханжей страной руководили лучшие люди.

К сожалению, этакий министр-прядильщик, который заставляет людей сутками ждать себя, типичен для высшего чиновничества Индии. Порядочных и честных мало, а при таком соотношении сил трудно искоренить коррупцию.

Из газет и бесед с индийцами я уяснил себе, что в Индии сейчас всем заправляет крупный капитал, которому коррупция на руку. Финансовый капитал пожинает все плоды развития свободной Индии. Денежные тузы открыто похваляются тем, что правительство и политики послушны им, что чековая книжка — всему голова.

Как же, свобода печати существует. Но сам Неру заявил в парламенте, что вся печать принадлежит крупному капиталу.

Гонка вооружений из-за конфликта с Китаем принесла финансовым тузам огромные прибыли и потребовала чувствительных жертв от широких масс. Это всем известно. Всюду говорят, что капиталисты, заправляющие промышленностью Индии, ее производительными силами,— воры.

Рядовой гражданин не может побывать за границей, не может вывозить валюту (да и откуда она у него?), а промышленники разъезжают в свое удовольствие, выкачивают огромные ценности из страны, ежегодно обкрадывают государство на миллиарды рупий путем налоговых махинаций, контрабанды и других фокусов. И это происходит в демократическом государстве.

Справедливости ради скажем, что правительство кое-что предпринимает. Недавно произвели расследование дел концерна «Далмия-Джайн». Комиссия разоблачила жульнические методы концерна. Ее доклад был напечатан в левом еженедельнике «Блиц». Люди читали и пожимали плечами: почему пишут только об одном концерне? Они все такие.

«Блиц» писал: «Если государство не ударит беспощадно, и не по одному мошеннику, а по всем, они низведут правительство на роль орудия в руках заправил промышленности и экономики».

Обо всем этом известно, разумеется, лишь немногим из числа привилегированных классов. Широкие неграмотные массы ничего не знают. Пока.

РИКШИ МАДРАСА

Мадрас — ворота, сквозь которые проникло в Индию европейское влияние. Здесь уже в семнадцатом веке обосновалась английская Ост-Индская компания. Отсюда начался ее рост, и мало-помалу она, точно плесень, всю страну пронизала своими нитями.

Одиноко бредущий по улице белый сахиб — редкое зрелище в любом индийском городе. Нищие осаждают его, рикши семенят следом, уличные торговцы зазывают и убеждают.

У меня порвался ремешок сандалии, а раскаленный асфальт нещадно обжигает босую ступню. Не беда: сапожники — эти вооруженные дратвой и гвоздями исцелители обуви из презираемой касты неприкасаемых — сидят здесь чуть ли не на каждом шагу.

ЭРИК ЛУНДКВИСТ
МАТЬ-ИНДИЯ

Парень лет восемнадцати, по-английски не говорит, не понимает и тех немногих слов хинди, которые я заучил. Знает только тамильский язык. Но ведь тут все ясно без слов, он берет мою сандалию и принимается зашивать. О чем говорить? То есть как это о чем: о плате, например! Я уразумел это, когда один из рикш, которые следовали за мной, подошел ближе и заговорил на хорошем английском языке:

— Я потолкую с ним, чтобы не заломил. Четверть рупии — и хватит. Сам я заплатил бы одну ану.

А я думаю о том, что мне не жаль дать парню не то что четверть, а даже целую рупию. С ветвей раскидистого дерева на нас сыплются красные цветочные лепестки: знак расположения к измученному жарой чужеземцу. Да в благодарность за эти лепестки я готов пожертвовать и полторы рупии. Мне хочется быть добрым.

Рикша берет из рук парня сандалию и внимательно разглядывает ее.

— Ничего, сахиб! Дайте ему четверть рупии.

Я расплачиваюсь, дело обходится без торговли. Обуваюсь и шагаю дальше, сопровождаемый невозмутимым рикшей. Все другие отстали, только этот не сдается. Выступает рядом со мной, толкая свою трехколесную коляску велосипедного типа — усовершенствованный образец прежних колясок с оглоблями, в которые впрягался человек. Новая конструкция более человечна. Тот, кто бежит, изнашивается быстрее того, кто крутит педали велосипеда. Но есть в Мадрасе и немало старых колясок.

Рикша больше не пристает, но терпеливо следует за мной, не сомневаясь, что в конце концов мне придется довериться его попечению.

— Вы здешний?

— Родился здесь, но с двадцати лет ушел в армию. Еще во времена англичан. Я слышу, сахиб не англичанин. Мы с вами одинаково скверно говорим по-английски, оттого и понимаем друг друга. При англичанах солдату было лучше. Они не были такие скупые и мелочные, как индийские офицеры. Я почти все время служил денщиком. От моего офицера и научился английскому. Когда страна стала независимой, я уже дослужился до отставки.

— И получили пенсию?

— Нет, только единовременное пособие — за двадцать лет службы пятьсот рупий. К тому времени я уже женился, но детей не было. Как получил деньги, задумал новую жизнь начать, лавку открыть или велосипедную мастерскую.

— Не вышло?

— Тогда пятьсот рупий были большие деньги, а спиртное стоило дешево. У меня было много друзей, я не привык скупиться, вот и гулял с друзьями, пока хватало денег. Не так уж долго это продолжалось.

— А потом?

— Ходил без работы, не помню уж сколько. Что там говорить, тяжелое время. Потом мне помогли арендовать коляску. Трудно становиться рикшей, когда тебе за сорок. Если бы не военная служба, не мое здоровье, я бы уже добегался, как многие другие.

— Коляска была такая, в которую человек впрягается?

— Да, сахиб! Только через несколько лет мне удалось арендовать велосипедную коляску.

— Сколько стоит аренда?

— Три рупии в день. Мой товарищ арендует ее на ночь и тоже платит три рупии. Итого шесть рупий в сутки. В Дели, говорят, восемь платят. Здесь в Мадрасе все дешевле, чем в Дели.

— Это же получается сто восемьдесят рупий в месяц! Сколько стоит новая коляска?

— Около двухсот. Но владелец, конечно, платит еще за ремонт, за лицензию. Ремонт попроще за наш счет.

— Почему же вы не обзаведетесь собственной коляской? Заняли бы денег! Что вам мешает?

— Пробовал несколько раз, да ничего не получалось. Тогда еще не ввели сухой закон, вино продавалось свободно, и стоило мне раздобыть немного лишних денег, как они тут же уплывали. Сами подумайте, сахиб: целый день бегаешь или педали крутишь, и как придешь вечером домой, нет сил даже улыбнуться жене. И кажется, вся жизнь впустую, хоть в речку прыгай. Одно спасение — рюмка-другая. До того устаешь, что без этого уснуть невозможно. Жаль жену, а прыгни в реку, ей слаще не станет. Она старается, помогает мне. Скверная жизнь, сахиб. Отвратительная.

— Ну, а теперь? С тех пор как ввели сухой закон?

— Да, теперь запретили продажу. И все деньги на детей уходят. Двое сыновей в школе, дочь уже закончила. В месяц за каждого парня плачу по пяти рупий, итого десять. Добавьте еще десять на книги и прочее. Столько у меня оставалось бы, если бы ребята не ходили в школу. Не будь сухого закона, не учиться бы им. Я и теперь не прочь выпить, да не хочу покупать на черном рынке. Это хорошо, что закон приняли, хоть многие и жалуются. Дети в школу ходят. А мне-то, конечно, не жизнь, ад кромешный. Мне уже за пятьдесят. Взгляните — совсем седой! Сахиб моложе меня и не знает, что значит быть рикшей, когда тебе пятьдесят с лишком! И еще сколько таких лет впереди...

— Потом дети о вас позаботятся.

— Как бы не так! Вы не слыхали, как трудно получить работу тем, кто учился? Только в Мадрасе тысячи безработных с высшим образованием. И родители, как могут, стараются прокормить их, хотя столько лет убили на то, чтобы выучить детей. Нет, на них я не

рассчитываю. Но и не хочу, чтобы они стали рикшами. Потому и продолжаю. Потому и не покупаю вина на черном рынке. Буду тянуть лямку, покуда не свалюсь. Это единственное, что я могу для них сделать. Но до чего же иной раз хочется выпить...

Мы двинулись в обратный путь, к вокзалу. Разговор сблизил нас, и я прескверно чувствовал себя на месте седока. На крутом подъеме, где ему пришлось слезть и подталкивать коляску, я тоже сошел.

— Я справлюсь, сахиб, садитесь!

— А дочь, что с ней будет? Выдадите замуж?

— Надо. Сахиб знает, сколько это стоит? Я должен тысячу рупий занять, чтобы пристроить ее. У меня есть товарищи, у них по нескольку дочерей. Наказание какое-то. Тысяча рупий! С таким долгом в жизни не разделаешься, только успевай проценты вносить. Если вообще удастся занять. А не займу, позора не оберешься... Да нет, найдутся люди, выручат, только процент будет высокий.

— Выходит, чтобы выдать дочку замуж, можно занять денег, а на покупку коляски нельзя?

— Сахиб этого не поймет. Если не пристроишь дочь, это позор. Моя каста поможет. Может быть...

Мне уже рассказывали, что, если отец не раздобудет нужной суммы и не выдаст дочь замуж, девушке не миновать публичного дома. Другого выхода нет.

Он поглядел на меня так, словно прочитал мои мысли, когда я спросил:

— А как здесь в Мадрасе с проституцией?

Он помедлил с ответом.

— Сахибу нужна девушка?

— Нет, я просто спрашиваю.

— Никогда не везу седоков к девушкам, если сами не попросят. А вообще-то раньше было больше порядка. Никаких там запретов, штрафов, скандалов. Приехали, сахиб.

Я дал ему пять рупий вместо двух. Он не поблагодарил, а просто посмотрел на меня и чуть улыбнулся, как улыбаются другу.

ИНДИЙСКАЯ ЖЕНЩИНА

Как амазонка, как воительница, стояла она рядом с мужем на его боевой колеснице, укрощая поводьями рвущихся вперед коней. Равноправная, гордая, свободная, не скованная догмами о неполноценности женщины.

Индийская женщина!

Это было несколько тысяч лет назад...

Кончился золотой век, и всё — под уклон. Священный союз церковников и светских деятелей, опираясь на религию и законы, отнял у женщины свободу, сделал ее рабой мужчины.

Прекраснейшая в мире женщина стала самой угнетенной и приниженной. Чего стоит в таком случае красота?

Во всем — почти во всем — мире женщина в последние тысячелетия все больше унижалась мужчиной, которым руководил врожденный инстинкт. На Западе и в Индии он, прибегая к помощи религии и закона, угнетал более слабых физически. Христианство в своем рвении зашло настолько далеко, что объявило женщину бездушной тварью.

У меня осталось впечатление, что в Индии особенно трудно решать проблемы, они как-то выскальзывают из рук. Но передовые женщины решительно берутся за дело. Они вышли из средневекового заточения и успешно добиваются равных прав с мужчиной. К сожалению, такие женщины составляют лишь малую долю огромной массы.

Важный шаг был сделан в конце сороковых годов, в разгар борьбы за освобождение от английского владычества. Женщина во многих областях стала наравне с мужчиной — как политическая деятельница, участница демонстраций и кампаний неповиновения. Она шла вместе с мужчиной в тюрьму. И мужчины были поражены неожиданным проявлением мужества и активности женщин. Они не ожидали ничего подобного от своих одушевленных, тщательно сохраняемых под запором сокровищ. Несмотря на все унижения, женщина из «Махабхараты» продолжала жить и была готова стать рядом с мужчиной на боевой колеснице.

Неру рассказывает, как одного за другим бросали в тюрьму руководителей освободительного движения и как на их место становились жены, дочери, продолжая борьбу с таким рвением, что к ним проникались уважением и друзья, и враги.

Ныне для женщин не считается грехом учиться. Хотя ортодоксы осуждают студенток, но их становится все больше, в первую очередь на факультетах медицинском, юридическом, общественных наук.

Если спросить современную женщину Индии (иностранец может разговаривать только с теми женщинами, которые отказались от былых условностей), вы узнаете, что больше всего для женского равноправия в свободной Индии сделали Ганди и Неру. Без них многое оставалось бы по-старому.

Когда слушаешь современных индийских женщин, можно подумать, что вся общественность уже поднялась. К сожалению, это далеко не так. Лишь очень незначительное меньшинство сумело сбросить оковы. Но и это, разумеется, чрезвычайно важно как предвестие той бури, которая должна разразиться.

ЭРИК ЛУНДКВИСТ
МАТЬ-ИНДИЯ

...Случайно мне довелось заглянуть в ад, в котором обитает большая часть деревенских женщин. Если бы не случай, я, несмотря на то, что год колесил по индийским деревням, наверно, так ничего и не узнал бы.

Это было в Западной Индии.

Вместе с двумя лесничими я сидел на веранде постоялого двора.

Метрах в пятидесяти от веранды находился деревенский колодец, к нему по утрам и вечерам устремлялись все женщины. Смуглые, тощие, с худыми ногами и широкими ступнями, на голове — огромный пузатый бронзовый сосуд, начищенный до ослепительного блеска.

Колодец здесь глубокий — метров в тридцать. Гнутся худые спины, едва прикрытые изношенными темными сари. Голоса тонкие, крикливые, улыбок не видно. Несмотря на раннее утро, воздух загустел от зноя и пыли: засуха еще не кончилась. Скрипит ворот, ведро за ведром поднимается вверх, сосуд за сосудом наполняется и с помощью соседки водружается на голову владелицы.

Мужчины пригнали на водопой коров и буйволов, другие мужчины несут белье для стирки. Вдруг — страшный переполох. Бросив все, люди сгрудились у колодца, смотрят вниз, перегибаясь через край. Истошно кричит осел. Любопытных детей гонят прочь. Ведро остановилось, ворот смолк.

— В чем дело? — спрашиваю своих товарищей.

— Не знаю, похоже, кто-то свалился в колодец. Но почему они не выручают его? Пошли посмотрим.

Один из местных рассказывает моему спутнику, что произошло. Прошу перевести.

— Там кто-то лежит. Видно, давно лежит. Я велел им раздобыть веревку попрочнее и спустить кого-нибудь вниз проверить.

Мы допили чай, еще через час управились с завтраком. К этому времени из колодца подняли женщину и двоих детишек. Две маленькие голые девочки двух и трех лет... Женщина невзрачная, изможденная.

— Как же они упали туда? — спрашиваю я.

— В такой колодец не падают, сами прыгают. Поехали...

Мы возвратились уже в сумерках. Окатили распаренные тела водой. Из того же колодца? Другого в деревне не было. Смываем пыль водой, в которой утопились мать и двое детей.

Слуги лесничих, приглушив голоса, поведали о случившемся. Кое-что мне перевели:

— Единая семья виновата, свекровь и муж обижали ее. Так уж повелось, и ничего не изменишь при такой бедности. Говорят, муж пропивал деньги, ходил к другим женщинам, а свекровь его защищала. Эта несчастная, что утопилась, никогда досыта не ела. А развестись нельзя. Вот и не осталось у нее другого выхода. В этой части Индии обычно сжигают себя заживо, это лучше, чем осквернять колодец. У ней, у бедняги, должно быть, даже на бензин не было денег. Да и как детей жечь... Двух маленьких девочек, которые никому не нужны.

— И часто так бывает?

— Здесь-то часто. Здесь все еще малолетних замуж отдают, хоть это запрещено законом. Многоженство тоже запрещено, но с этим никто не считается. Родители спешат выдать дочерей замуж, не дожидаясь совершеннолетия, а за мужа надо платить, и немало. Тут уж не до того, чтобы выяснять, что он за человек. Семья мужа принимает девочку ради денег. Дескать, там видно будет, что с ней делать.

— А как понимать «единую семью»?

— Единая семья — это значит, что муж живет у своих родителей или они у него. И другие члены семьи тут же. Свекровь заправляет в хозяйстве, жена сына для нее — рабочая сила, которую надо полностью использовать. Не всегда так бывает, конечно, но чаще всего. А раз муж взял жену ради денег, чего она может от него ждать? Он думает только о том, как от нее избавиться. Свекровь охотно помогает отравлять ей жизнь, чтобы ушла. А как женщине оставить мужа? Это почти невозможно. Выбора нет, только смерть.

— Значит, не женщина кончает самоубийством, а мужчина убивает женщину?

— Пожалуй, так.

В ту ночь мне плохо спалось. Осел кричал так, словно оплакивал погибших.

■

Впоследствии мне попал в руки издаваемый в Бомбее еженедельник «Блиц» со статьей как раз по этому вопросу. Автор писал о страшной участи многих женщин. Я и не подозревал, что существуют такие отвратительные социальные установления. В современной Индии, где официально запрещены браки малолетних, запрещена полигамия, девочек по-прежнему выдают замуж против их воли, мужчины заводят по нескольку жен, и несчастные женщины нередко вынуждены кончать с собой, а то и погибают от руки мужа. Согласно статистике, говорилось в статье, только в штате Гуджерат ежедневно происходит три-четыре самоубийства.

Сати — самосожжение вдов — запрещено законом. Но как назвать то, что происходит?

Еженедельник утверждал, что не все учтенные самоубийства действительно являются самоубийствами. Если нелюбимая жена сама медлит отправиться на тот свет, мужчина иной раз помогает: убьет, обольет бензином, подожжет,

а потом сообщает в полицию о самоубийстве.

Восемь монахов сожгли себя заживо во Вьетнаме. Весь мир пришел в ужас. В Индии ежедневно происходит самосожжение женщин. Никто не замечает этого.

Официально сати не существует.

СТРАШНОЕ ЗЛО

Расовая и кастовая дискриминация несомненно приносит больше бед, чем любой иной из пороков человечества.

По-моему, кастовая система — одна из главных причин того, что нынешнюю Индию приходится называть слабо развитой страной. Она повинна в культурном и материальном застое за последнее тысячелетие. Она же, в конечном счете, повинна в унижении женщины, угнетении ее мужчиной, отравленным ядом кастовых предрассудков. Неру писал, что положение женщин служит мерилом цивилизации и культуры страны.

Достаточно провести несколько дней в Индии, чтобы столкнуться с кастовой системой.

Слуга, который по утрам приносил мне чай в гостинице в Дехра-Дуне, почему-то не явился. Может быть, заболел. И я обратился к другому слуге, который убирает номер и ванную, попросил его сходить за чаем. Он отказался. Я не мог понять, в чем дело, пока мне не объяснил сосед, индийский коммерсант:

— Он шудра, понимаете, неприкасаемый. Не должен касаться вашей пищи.

И коммерсант рассказал, что до недавнего времени шудры, низшая каста, были неприкасаемыми. Ганди добился того, что они официально стали полноправными людьми. Но такие перемены не совершаются ни за сутки, ни за десять лет, нужно время.

Один индийский лесничий, с которым я подружился, объяснял:

— Эта нелепая вера в превосходство своей касты — как яд. И как привидение, которое никак не поймать. Вот послушай!

Мы сидели, беседуя, в домике на Декканском нагорье. Весь день ездили по сухой, пыльной равнине, где от дерева до дерева далеко. Бурая, красная, черная земля, голые скалы, дрожащее марево, раскаленное добела небо. Пятый месяц засухи, скот истребил последние травинки и теперь гибнет. Истощенные смуглые люди, низкие желтые лачуги, глубокие колодцы.

Мой друг продолжал:

— Ты знаешь, официально касты отменены. И слава богу. Кое-кто отваживается выступить против догм, перейти границы. Но ведь нас четыреста пятьдесят миллионов. Послушай, как обстоит дело у нас в городке, где я член муниципалитета. Большинство членов кшатрии, но есть и один неприкасаемый — богатый человек, которому удалось нажить состояние несмотря на то, что он шудра. Сам я брахман, но, как ты знаешь, не признаю всех этих границ. Ненавижу нашу кастовую систему и нашу религию. Я атеист. Ну так вот, благодаря новым законам мы на заседаниях муниципалитета должны общаться с этим неприкасаемым. Раньше достаточно было нечаянно задеть неприкасаемого — и уже надо идти к жрецу «очиститься». Я не сомневаюсь, что и теперь многие члены муниципалитета после каждого заседания идут к жрецу. Я-то нет, я этого шудру даже дома принимаю. Он меня иногда навещает. Возможно, мы держимся преувеличенно любезно друг с другом, и мне кажется, он слишком подчеркивает свою кастовую принадлежность. Своего рода комплекс неполноценности, от которого он не может избавиться. Но хуже всего, что я, не признающий никаких предрассудков, я чувствую себя как-то странно всякий раз, когда здороваюсь с ним за руку! Понимаешь теперь, как глубоко это засело — все эти касты, неприкасаемость!

ЛУЧШЕ ВСЕХ — ДЕТИ

Закончу книгу рассказом о детях. Не хочется, чтобы осталось слишком уж негативное впечатление от картин Индии, которые я нарисовал. Это было бы неверно. Чисто случайные обстоятельства привели к тому, что я, возможно, больше обращал внимания на безобразное, чем на прекрасное, за год, что колесил по стране. Можно очень много рассказать о положительном — о быстром техническом прогрессе, особенно же об энтузиазме и добрых намерениях многих руководителей.

Но я расскажу о детях.

В первый же день, придя на базар в Дехра-Дуне, я в удивительном конгломерате нужды и роскоши выделил детей. Мне помог фотоаппарат. Детям хотелось, чтобы я снял их, хотелось смотреть, как я снимаю других.

И повелось так, что, когда я направлялся к базару, ко мне непременно присоединялись ребятишки. Они старались всех познакомить с иностранцем-фотографом. Конечно, такое внимание ко мне затрудняло съемки, но я так много получал взамен! У меня появились друзья не только среди детей, но и среди их родителей.

Ребята вели меня к себе домой — в лачуги и глинобитные домики, протянувшиеся вереницей вдоль реки, которая пересекает город. Здесь жили преиму-

щественно бедняки, но в поселке гончаров я познакомился и с обеспеченными семьями.

Туда меня привел Ман, мальчуган лет семи-восьми. Он представил меня своей семье и тут же вылепил маленькую пиалу, чтобы показать свое умение.

Гончарный круг укреплен на вертикальной оси и помещен в яму в уровень с землей. В отверстие на краю круга вставляют палку-рычаг и раскручивают. Дальше круг вращается по инерции — нужно экономить «живую» силу.

Вся семья занималась гончарным ремеслом. Придать вращение кругу — лишь часть работы, нужно еще месить глину, лепить из нее изделия, обжигать их.

Они делали не только тяжелые кувшины для воды. Предметы роскоши, изделия, связанные с обрядами, скрашивали будни. Изящные маленькие храмы с башенками и колоколами приобретали теплый красный цвет после обжига. Из-под рук мастеров выходили ритуальные пиалы, из которых пьют один раз, и совсем маленькие сосуды, призванные услаждать глаз или обнимать цветы.

Я сразу заметил, что семья работает не ради одного хлеба насущного. Ремесло вовсе не было для них лишь источником дохода. Достаточно было поглядеть, как любовно эти руки обращались с глиной. Сильные, ловкие руки, руки художников, магическим прикосновением дарующие глине жизнь.

Стоило Ману сесть за гончарный круг и коснуться податливой глины, как он забывал об играх и смехе, забывал даже про фотоаппарат. Все отступало на второй план перед творчеством.

Эти гончары гордились своим умением и своей властью. Жизнь их была полна глубокого смысла.

Не знаю, распространяется ли это на других ремесленников — мастера, изготовляющего зонты, портного, сапожника, кузнеца. Впрочем, на кузнеца — наверняка.

Звонкий гул наковальни пел о гордости, рой искр над раскаленным норовистым железом говорил о магической силе. Мышцы и глаза кузнеца были исполнены радости от сознания своего могущества. Сокровенное тысячелетнее искусство оживало вновь, и появлялись лемеха, ножи, мотыги, мечи. Улыбка, которой кузнецы встречали чужеземца, говорила о чувстве собственного достоинства, о душевной твердости.

Здоровая и самоутверждающаяся Индия, которую я с помощью детей увидел в Дехра-Дуне, была Индией без кастовых предрассудков. Но ведь вообще это не так. Отсутствие дискриминации и кастовых ограничений в этих семьях объясняется просто: они все принадлежали к одной касте ремесленников. И все же мне не довелось увидеть среди них ни одного шудры. Мало вероятно, чтобы шудры вообще не занимались ремеслом. Незнание языка мешало мне, я не мог расспросить ни детей, ни взрослых о том, что меня интересовало. На жестах далеко не уедешь, а добровольные переводчики попадались редко. В Южной Индии гораздо больше понимающих английский язык, чем на севере. Там мне было легче объясниться, и я приобрел много друзей среди ребятишек. Жаль только, что знакомства оказывались слишком краткими. Больше, чем на день-два, я нигде не задерживался.

А ребятишкам, будь то на севере или на юге, хотелось так много рассказать мне. Они думали, что я быстрее пойму их, если они будут кричать. Сколько увлекательных историй я выслушал — и не понял...

...В Дехра-Дуне я часто возвращался со службы в гостиницу в обществе моего рассыльного. Весь рабочий день он терпеливо просиживал у моей двери, тщетно дожидаясь поручений. По всей Индии точно так же перед каждой второй дверью в учреждениях просиживают целые часы дремлющие люди. Большая армия...

На службе Рам со мной не заговаривал. Не положено. Зато по пути домой, когда мы вместе катили семь километров на велосипедах, он отводил душу. С начальником-индийцем это было бы немыслимо. Но я, как чужеземец, стоял вне индийского кастового общества.

Я очень скоро обнаружил, что Рам безумно влюблен. Как-то он попросил у меня взаймы десять рупий и признался, кто его возлюбленная.

Деньги были ему нужны на сари для любимой. На следующий день он собирался привести девушку домой и познакомить с родителями, а у нее не было хорошего сари.

— Разве не родители выбирают сыну жену?

— О, сэр, если бы вы знали, что делалось у нас дома. Родители требуют, чтобы я женился на девушке, которую они выбрали. А я не хочу.

Он тяжело вздохнул с удрученным видом. Красивый парень. И страшно сентиментальный. Меня даже удивило, что юноша с такой кроткой внешностью посмел восстать против родителей. Возможно, его вдохновили современные фильмы или журналы.

— Сэр, вы не понимаете самого главного. Девушка, которую я люблю, шудра.

И он добавил шепотом:

— Подметальщица.

Действительно, неслыханное дело! Он — ариец, она — неприкасаемая.

— Теперь иные времена, но мои родители этого не признают. Теперь каст нет. Я ходил с ней в кино, я очень люблю ее, купил ей сари, чтобы вместе пойти в кино. Она бедная, сэр, очень бедная.

— И ты решился привести ее домой?

— Сэр, я сказал, что убью себя, если она не станет моей.

— Я слышал про женщину-министра из касты брахманов. Она вышла замуж за шудру.

— Верно! Мы, современная молодежь, не считаемся с кастами. Но дело не только в кастах, сэр. Если я женюсь на той, которую наметили мои родители, ее родители заплатят нам много денег. А женюсь на любимой — мы ничего не получим.

— Она красивая?

— Как Радха, сэр! Вы знаете, кто такая Радха?

— Возлюбленная Кришны.

— Вот она такая же красивая. Если наденет нарядное сари, никто с ней не сравнится.

— Она и умная тоже? Как Радха?

— Сэр! Я люблю ее. Но она неграмотная. Ничего, я научу ее и читать, и писать.

Позже я узнал, что родители Рама уступили. Разрешили ему жениться на маленькой подметальщице.

Трогательная история — такие бывают в жизни. И если их будет достаточно много, отвратительная старая кастовая система затрещит по всем швам. Возможно, новые законы и современные фильмы придали молодым смелости прокладывать новые пути вопреки сопротивлению стариков. Хочется верить, всех этих детей, с которыми я познакомился, ждет более светлое будущее. Может быть, в Индии еще произойдут настоящие чудеса.

Хочется верить, всех этих детей, с которыми я познакомился, ждет светлое будущее.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Сборник стихотворных произведений Владимира Маяковского выпущен Государственным издательским институтом Польши.

Пьеса Максима Горького «Враги» поставлена на сцене французского театра Амандье.

«Александр Блок. Избранные стихотворения и поэмы» — книгу под таким названием в серии «Советские поэты» выпустило болгарское издательство «Народна култура».

Произведения Горького — «Детство», «В людях», «Мои университеты», «Мать» — выпущены во Франции различными издательствами.

Роман К. Паустовского «Дым отечества» вышел в Государственном военном издательстве Болгарии.

Повесть В. Липатова «Чужой» выпущена болгарским «Профиздатом».

Стихи узбекских поэтов под общим названием «Под сенью Тянь-Шаня» опубликованы софийским еженедельником «Литературен фронт». В числе авторов — Ташпулат Хамидов, Талиб Юлдаш, Рамз Бабаджанов.

Обложка отдельного издания рассказа М. Шолохова «Судьба человека», выпущенного болгарским Государственным военным издательством.

Роман К. Симонова «Живые и мертвые» вышел вторым изданием в Англии.

Повесть В. Аксенова «Апельсины из Марокко» выпущена издательством «Культур унд фортшритт — Фольк унд вельт» в ГДР.

В театре «Гера» (ГДР) поставлена пьеса Армина Штольпера по роману Д. Гранина «Иду на грозу».

Рассказ В. Богомолова «Иван» вышел в издательстве «Киндербух-ферлаг» (ГДР) под названием «Ракета над рекой».

Роман Ю. Бондарева «Тишина» вышел в Финляндии в издательстве Арви А. Калисто.

На страницах газеты «Борба» (Югославия) печатается роман В. Кожевникова «Щит и меч».

В Венгрии в издательстве «Эуропа» вышел сборник произведений советских писателей под названием «Талисман». В сборнике представлены: В. Гроссман, Е. Евтушенко, Г. Семенов, В. Максимов, В. Астафьев, А. Солженицын.

В США в журнале «Шорт стори интернэшнл» опубликован рассказ Ю. Рытхэу «Трубка Мира».

Чехословацкое издательство «Свет Совету» выпустило книгу «В скафандре над планетой», в которой рассказывается о полете космического корабля «Восход 2» с космонавтами Беляевым и Леоновым на борту и о выходе впервые в мире советского космонавта в открытый космос. В книге использованы рассказы участников полета, материалы АПН и многочисленные фотоснимки.

В том же издательстве опубликованы «Записки следователя» Л. Шейнина.

Роман Э. Казакевича «Дом на площади» вышел в Аргентине.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

СНОВА О «ТИХИХ» АМЕРИКАНЦАХ

«Мне приходится делать такие вещи, которых вы никогда не одобрите, а потому лучше, чтобы вы о них не знали. Мне приходится убивать мужчин и подкупать женщин... Если вы хотите успокоить свою совесть, выслушивая ложь, я могу позаботиться и об этом»,— с такими словами обращается в новом романе «Посол» известного католического писателя Мориса Уэста агент Центрального разведывательного управления Гарри Яффа к послу США в Сайгоне Максуэллу Эмберли. Послу вскоре предстоит убедиться, что совесть — непозволительная «роскошь» не только для Яффы.

События, описанные в романе, напоминают, по мнению рецензента газеты «Трибюн», то, что происходило в Южном Вьетнаме накануне падения режима Нго Динь Дьема; в образе Фан Ван Конга выведен сам марионеточный диктатор. Правда, Уэст приписывает Конгу патриотические порывы, в которых реального Нго Динь Дьема трудно было заподозрить, но именно это дает возможность подчеркнуть преступность действий «тихих» американцев. Когда Фан Ван Конг начинает подумывать об изгнании посланцев Вашингтона и о переговорах с Демократической Республикой Вьетнам, американская разведка устраняет его.

Не все среди сотрудников американского посольства безоговорочно соглашаются с внешнеполитическим курсом США. «Мне стыдно,— признается секретарь посольства Энн Белдон.— Мне стыдно, что мы так грубо и бессердечно распоря-

АВСТРИЯ

Этот плакат работы известного австрийского художника-графика Ганса Эшера назван «Помоги Вьетнаму!» Сбор от продажи этих плакатов поступает в фонд помощи вьетнамским патриотам, борющимся за национальную независимость своей родины.

(Газета «Фольксштимме»)

жаемся жизнями и судьбами людей, словно они — скот, который перегоняют с одного пастбища на другое... Я до сих пор не слышала ни слова о том, что нужно народу, чего он боится, чего жаждет,— о том, чтобы просто дать людям немного покоя и возможность увидеть, как подрастают их сыновья, не слыша выстрелов, не видя вооруженных людей на каждом перекрестке». Первый секретарь посольства Мэл Адамс подает в отставку в знак протеста против вмешательства США во внутренние дела суверенного государства. «Должна же где-нибудь, когда-нибудь проявиться в этом кровавом клубке политики и дипломатии простая человеческая порядочность, — заявляет Адамс.— Должен же кто-нибудь заявить, что китаец имеет такое же право есть, как калифорниец, что марксист совсем не обязательно чудовище... Мир не может управляться полицейскими и агентами разведки — или послами, если уж на то пошло».

«Мы запутались, Макс,— говорит один из чиновников госдепартамента послу.— Кровавая, безнадежная путаница. Мы называем это тайной войной, но на самом деле это гражданская война... Мы вовлечены в нее, потому что хотим сохранить военный плацдарм в юго-восточной Азии. Мы потеряли тридцать тысяч солдат и затратили бог знает сколько миллионов долларов...»

В финале романа, испытывая отвращение к самому себе, утратив душевное равновесие, Эмберли ищет «просветления» в буддистском монастыре...

Литературный обозреватель газеты «Сидней католик уикли», назвав роман «лучшим произведением» Уэста, заметил, что он может «вызвать раздражение у американцев». Ведь интерпретация Уэстом целей и методов политики США в юго-восточной Азии явно расходится с возвышенными декларациями о стремлении ко всеобщему миру.

Недавно Морис Уэст прислал в редакцию «Сидней католик уикли» письмо, в котором решительно высказался против посылки австралийских войск во Вьетнам.

АНГЛИЯ

ПРИСТЛИ: «ТАКОЕ ОБЩЕСТВО НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ЗДОРОВЫМ»

Еженедельник «Нью стейтсмен» опубликовал статью «Мишура и шумиха» Дж. Б. Пристли, в которой писатель высказывает довольно горькие мысли по поводу коммерческого, развлекательного «искусства» и его пагубного влияния на «таланты» и их «поклонников».

Для того чтобы сделаться знаменитостью телевизионного экрана, кино и прессы, вовсе не обязательно обладать талантом, пишет Пристли. И это даже лучше, потому что, попадая в объятья «мишуры и шумихи», талант почти неизбежно гибнет, «постепенно стирается всякое различие между большим талантом, средней одаренностью и отсутствием таланта...»

Молодежь вступает в общество, подчеркивает Пристли, в котором серия романов о «супермене» Джеймсе Бонде почитается вершиной литературы, певцы легкого жанра котируются выше, чем замечательные музыканты, где на переднем плане кумиры телевидения, а художники, философы, ученые остаются в тени, где начинающая кинозвезда или манекенщица значит больше, чем тысяча врачей или медсестер... Такое общество нельзя назвать здоровым. Я думаю, что все это — результат долгого правления тори. Но если лейбористское правительство не изменит в корне такого положения вещей, мы скоро будем не в состоянии спасти наше общество от упадка и гибели...

«БУКМЕЙКИНГ»

На обложке очередного, специального выпуска приложения «Таймс литерари сапплмент» изображен примитивный печатный станок, из которого выходит вполне современная телеграфная лента. Так художник решил представить состояние книжной промышленности в Англии в настоящих условиях. Специальный выпуск «Таймс литерари сапплмент» носит название «На весах — книги» и посвящен издательскому делу на Британских островах. Сам факт его появления — событие знаменательное.

Помещенные в выпуске материалы, статьи различных авторов дают представление о том, как делаются в стране книги. По словам автора предисловия выпуска, английские издательства превратились ныне в «книжные фабрики», где «свежие литературные фрукты превращаются в приторный джем». Наиболее важное во всем процессе книжного производства заключается в том, что писатель перестал быть основным творцом книги, его функции в значительной мере перешли к издателю и редактору.

В ходу выражение «букмейкинг», что в узком смысле слова означает изготовление книги. А в более широком — то, что издатель и только он решает, какого рода книги следует печатать. Широкое распространение получили книги на заданную тему, которая также определяется издателем. Профессиональный писатель не должен отклоняться от требований заказчика. Все это, по свидетельству автора предисловия, сплошь и рядом приводит к созданию дешевой «литературной макулатуры».

Существует также множество других причин, препятствующих развитию современного книгопечатания. Это — ограниченный тираж, таможенные рогатки, которые мешают импорту и экспорту книг, запрещение и удорожание зарубежных изданий. Однако основное препятствие — в наличии строгой цензуры и в «нежелании властей различных стран и полиции допустить, чтобы люди читали определенные издания». Примером могут служить Испания и Португалия, где цензура особенно свирепа. Однако,

подчеркивает автор предисловия, даже в таких «либеральных» странах, как Англия и Франция, в последние годы требования цензуры стали более строгими.

АРГЕНТИНА

К ЮБИЛЕЮ РАУЛЯ ГОНСАЛЕСА ТУНЬОНА

В связи с шестидесятилетием Рауля Гонсалеса Туньона аргентинская прогрессивная печать посвятила многие статьи юбиляру, творчество которого хорошо известно и в Советском Союзе. Тепло приветствовал Рауля Гонсалеса Туньона журнал «Куадернос де культура». Другой буэнос-айресский журнал «Ой эн ла культура» опубликовал статью о поэте, написанную известным аргентинским литератором Улисесом Петит де Муратом. Поделившись воспоминаниями о первой встрече с Гонсалесом Туньоном в 1926 году, когда тот только что опубликовал свою первую книгу «Скрипка дьявола», Улисес Петит де Мурат подчеркивает роль и значение выдающегося поэта-коммуниста в литературе Аргентины.

БОЛГАРИЯ

ИНТЕРВЬЮ С МЛАДЕНОМ ИСАЕВЫМ

— Я вижу долг писателей, наш неоплатный долг,—сказал Младен Исаев в интервью корреспонденту еженедельника «Литературен фронт»,— в том, чтобы создать книги о нашем недавнем прошлом, книги о суровой романтике антифашистской борьбы, которые способствовали бы воспитанию подрастающего поколения. Проблемы воспитания молодежи, ее моральной чистоты и патриотизма волнуют меня и как гражданина, и как поэта. Больше десяти лет я вынашиваю один сюжет, ищу форму для его выражения. Мною задумана пьеса об антифашистском восстании в сентябре 1923 года. Я сам был участником этого восстания и сохранил о нем живейшие воспоминания — дорогие и светлые для меня...

Наше поколение было удивительным! — продолжал писатель.— Сначала мы не умели стрелять: прежде мы не держали в руках винтовку, но без колебаний пошли в бой... Я считаю, что моя моральная обязанность — попытаться передать правду этой борьбы.

— Какие творческие проблемы стоят перед вами? — спросил у Исаева корреспондент.

— Прежде всего — проблема изобразительных средств,— сказал писатель.— Я хочу показать глубокую конфликтность нашего времени. Тревогу человека за будущее человечества. Нашу общую тревогу за судьбы мира. Эта тревога должна найти соответствующую художественную форму. Передо мной стоит также проблема создания как можно более простых стихов, понятных и взрослым, и детям. Речь идет о той художественной простоте, с которой писали Толстой, Пушкин, Горький. Почему, например, юноши понимают «Войну и мир» Толстого, а не могут понять многих современных стихотворений? Думая о высоком мастерстве, я вспоминаю слова Горького, что именно в простоте заключается величайшая ценность литературы.

ВАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В издательстве Болгарской академии наук вышел второй том сборника «Советская литература в Болгарии 1918—1944» (первый том вышел четыре года назад). В сборнике рассказывается о влиянии советской литературы на культурную жизнь Болгарии, об истории литературных связей братских народов Болгарии и Советского Союза.

Во втором томе предпочтение отдается архивным документам и воспоминаниям современников. Здесь представлены и такие уникальные материалы, как досье людей, осужденных фашистами за чтение и хранение советских книг, журналов и газет. Впервые освещена борьба цензуры с проникновением в страну советского кино и театра.

Воспоминания многих прогрессивных писателей, а также рядовых читателей дают представление о распространении советской литературы в Болгарии в те трудные времена и о чрезвычайно дружественном отношении к ней широкой болгарской общественности.

В годы, предшествовавшие победе народной власти, в стране были запрещены книги В. И. Ленина, Г. Плеханова, М. Горького, А. Толстого, Н. Крупской, К. Симонова, Н. Тихонова, Я. Коласа и многих других.

«Одно из самых главных достоинств сборника — раскрытие огромной роли советской литературы в формировании и росте нового героя нашей эпохи — борца против капитализма и фашизма»,— говорится в рецензии на второй том сборника.

БОЛИВИЯ

ПОЭТ В ССЫЛКЕ

Молодой боливийский поэт Феликс Роспинглиоси, которого корреспондент уругвайского еженедельника «Марча» называет «одним из самых интересных голосов современной боливийской культуры», как стало известно, сослан в район глухих, малодоступных джунглей с очень нездоровым климатом.

Военная хунта Боливии, находящаяся у власти, арестовала тридцатидвухлетнего поэта, творчество которого развивается под непосредственным влиянием Сесара Вальехо и Пабло Неруды, по обвинению в «заговоре с целью свержения существующего правительства».

Корреспондент еженедельника «Марча» сообщает, что многие литературные организации Латинской Америки направляют хунте требования об освобождении талантливого поэта.

ВЕНГРИЯ

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В начале нынешнего года журнал «Таршадалми семле» опубликовал в дискуссионном порядке статью «О некоторых вопросах социалистического реализма». Статья обсуждалась в писательских организациях, редакциях журналов, издательствах. Она же послужила основой состоявшегося недавно большого совещания по проблемам социалистического реализма в будапештском университете имени Лоранда Этвеша.

С докладом «Современность социалистического реализма» на совещании выступил доктор филологических наук, член ЦК Венгерской Социалистической рабочей партии и руководитель отдела культуры ЦК ВСРП Бела Кепеци. В докладе был дан многосторонний анализ понятия современности в литературном творчестве. Центральное место в докладе занял вопрос о партийности литературы.

С трибуны совещания прозвучали содержательные выступления видных венгерских критиков и литературоведов.

Известный венгерский художник, лауреат государственной премии имени Кошута Дюла Хинц побывал недавно в Демократической Республике Вьетнам. Сейчас в Венгрии вышла книга его путевых заметок и зарисовок. Здесь воспроизводится рисунок Хинца из серии, посвященной детям.

(Газета «Мадяр немзет»)

ГДР

«ПОЛКОВОДЕЦ ИЩЕТ СВОЮ МАТЬ»

Герой новой повести Герберта Нахбара, вышедшей под таким названием,— девятилетний мальчик, потерявший мать весной 1945 года. Он ищет ее по деревням острова Рюген. В мечтах он — «полководец», в действительности — маленький беспомощный человечек. За семь дней, которые он проводит в поисках, разбиваются его мечты. Он видит, что нацисты — люди, которых ему надо бояться. Он уже не хочет быть «полководцем», на его глазах рушится гитлеровская Германия. Настоящих друзей он находит среди солдат Советской Армии.

Нахбар показывает судьбу маленького немецкого мальчика на фоне исторических событий 1945 года. Перед читателем проходит галерея самых разных людей. «Новая повесть Нахбара — вклад автора в литературу, посвященную 20-летию освобождения от фашизма,— пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг».— Она заставляет нас еще раз вспомнить о том страшном времени, которое мы пережили».

ФРГ

«МЕДОВАЯ ХИЖИНА»

Бруно Глюховский — один из старейших рабочих-писателей Западной Германии, основателей «Группы 61» и активных ее членов.

Свою литературную деятельность Бруно Глюховский начал в 1930 году, когда в газете «Дортмундер генеральанцейгер» появился его рассказ «Последняя смена». В последующие годы писатель создал десятки рассказов и роман «Люди во чреве земли». Нацисты запретили его роман «Угольные кули. Мятеж в Руре». Та же судьба постигла его пьесу «Прорыв», в которой рассказывалось о гибели 1125 немецких горняков в 1936 году.

Недавно западногерманское издательство «Паулюсферлаг» выпустило новый роман Бруно Глюховского «Медовая хижина». По замыслу автора — это первый том трилогии о судьбе рабочей семьи из Дортмунда. События первого тома начинаются с мартовской стачки рурских горняков в 1912 году. «Медовая хижина» — это мечта молодого героя романа рурского горняка Ганса Дёринга о собственном домике.

В беседе с корреспондентом демократического еженедельника «Зоннтаг» Бруно Глюховский поделился мыслями о своем новом произведении. Содержание первого тома может показаться некоей идиллией, отметил писатель, но он умышленно прибегнул к такому приему, чтобы позднее читатель мог правильно оценить последующие события. Второй том, сказал Бруно Глюховский, начнется с массового увольнения рабочих-металлистов в 1928 году и окончится событиями 1945 года. Третий том расскажет о судьбе героя в послевоенные годы. Здесь речь пойдет об «экономическом чуде» в Западной Германии. Повествование доводится до наших дней.

«Бруно Глюховский принадлежит к тем, кто знает, насколько важно для Западной Германии, чтобы рабочие писали о своей жизни. В ходе широких дискуссий по их произведениям обсуждаются возможности разрешения современных проблем рабочего класса»,— пишет корреспондент еженедельника «Зоннтаг».

Дрезденский художник Гейнц Ломар создал несколько картин, рассказывающих о справедливой борьбе вьетнамского народа за свою свободу и независимость. Мы публикуем фотоснимок корреспондента газеты «Националь-цейтунг», на котором Ломар запечатлен в момент работы над своей картиной «Бомбы на Донг-Хой».

ДРВ

ГЕРОЯМ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Последние номера журнала «Ван нге куан дой» («Литература и искусство армии») целиком посвящены борьбе патриотов Севера и Юга Вьетнама против американских империалистов. Здесь опубликованы стихи Суан Тхи Ем «Эту землю и это небо мы отстоим для тебя, малыш!», а также стихотворение южновьетнамского поэта Хюинь Ан Тюйен «Партизаны». Последнее стихотворение перепечатано из журнала «Ван нге зиай фаунг куан» («Литература и искусство освободительной армии»), который издается в освобожденных районах Южного Вьетнама. Здесь же напечатано присланное с Юга стихотворение Тхань Хоанга «Да здравствует героический Север!»

Особого внимания заслуживают, по мнению критики, «Репортажи с Кон-ко» Нгуен Чаунг Оаня. В них рассказывается о мужестве солдат и командиров военного гарнизона и мирного населения небольшого острова у побережья Северного Вьетнама, отражающего налеты американских стервятников.

ПИСЬМА С ОГНЕВЫХ РУБЕЖЕЙ

Творческая интеллигенция Демократической Республики Вьетнам — писатели, художники, композиторы — вместе с армией и народом участвуют в отражении атак североамериканских воздушных пиратов. Как сообщает корреспондент журнала «Ван нге», многие представители интеллигенции выехали в наиболее опасные районы страны, подвергающиеся постоянным атакам военно-воздушных сил США. Они ведут пропагандистскую работу в воинских частях, на предприятиях, в сельскохозяйственных кооперативах.

В последних номерах журнала «Ван нге» печатаются их письма с огневых рубежей, в которых рассказывается о том, как сбивают самолеты врага, с каким подъемом трудятся вьетнамские патриоты, чтобы дать армии все необходимое для победы над империалистами. Среди авторов этих писем — Генеральный секретарь Союза писателей ДРВ Нгуен Динь Тхи, драматург Хаук Фи, прозаики Буи Хиен, Ву Ту Нам, Дао Ву, поэт Те Лан Виен, композитор До Нюан, художник Фан Ке Ан (см. его рисунок на стр. 280).

НОВОСТИ ТЕАТРА

Героическая борьба вьетнамского народа за национальную независимость против американского империализма находит свое отражение и в репертуаре театров в городах ДРВ. Так, труппа Ханойского городского театра поставила пьесу драматурга Зыонг Линя «Июльская ночь», посвященную последним важным событиям в жизни страны. Недавно коллектив театра выехал с этой пьесой на гастроли на металлургический комбинат в Тхай-нгуене.

Драматический театр Ханоя осуществил постановку пьесы «Нгуен Ван Чой», названную так по имени южновьетнамского патриота, казненного карателями за покушение на американского командующего в Южном Вьетнаме. Готовится к

Солдаты вооруженной народной милиции в Хам-жонге. Рисунок вьетнамского художника Фан Ко Ана.

(Журнал «Ван нге»)

постановке опера «Звезда» композитора До Нюана. Она написана на исторический сюжет и посвящена освободительной борьбе вьетнамского народа против французских колонизаторов.

ИЗРАИЛЬ

НОВЫЙ МУЗЕЙ

В Иерусалиме построен музей древней и новой культуры. В нем имеется подземное книгохранилище, созданное по проекту австрийского архитектора Кислера, где находятся манускрипты Мертвого моря.

В саду музея представлены скульптуры Мура, Родена, Арпа, Архипенко, Марино Марини, Этьена Мартена, Майоля, Липшица.

Основное здание музея выстроено по проекту израильских архитекторов Д. Гад и А. Мансфельда.

Здесь расположены три отдела: археологический, иудейского религиозного культа и современного искусства. В секции современного искусства собраны полотна Де Кунинга, Ротко, Бисьера, Алешинского, Вазарели, Пикассо, Брам ван Вельда; здесь также много второстепенных картин главным образом работы американских художников, ценность которых, по мнению искусствоведов, невелика.

На торжественном открытии музея была устроена выставка «Великие художники, вдохновленные библией», на которой были представлены творения Рембрандта, Рубенса, Мантени, Ван-Дейка, Пуссена. Отдельно был оформлен «кабинет эстампов», где экспонировались 47 гравюр и рисунков Рембрандта на темы Ветхого завета, а также выставлены работы Шагала и Липшица.

ИНДИЯ

ПОСТАНОВКА ПЬЕСЫ АХМАДА АББАСА

Небывалый успех выпал на долю нового спектакля «Возвращение Красной розы», премьера которого состоялась в Бомбее. Автор пьесы и режиссер постановки — видный писатель Ахмад Аббас.

Красная роза для индийцев — священный символ мужества и надежды. Она придает им силы, поддерживает в них веру в справедливость и лучшую жизнь.

Открывается занавес... У автобусной остановки — очередь. В ожидании машины люди рассказывают друг другу о своем житье-бытье, о повседневных трудностях и лишениях. Близки и понятны зрителю эти простые индийцы со своими маленькими радостями и большим горем. Они такие же земные, как и сами зрители.

Около автобусной остановки появляется продавец цветов, и кто-то осмеливается попросить у него красную розу. Цветочник удивлен: Красную розу? Но ведь в наше время никто не выращивает этот цветок! Да и нужен ли он людям, которым приходится вы-

стаивать в длинных очередях перед пустыми продуктовыми лавками или у городских водоразборных колонок, где подолгу нет воды? Им не до цветов. Их одолевают заботы, надежда покинула их, они не верят больше в добро...

Но какой-то ребенок приносит откуда-то Красную розу. При виде цветка измученные люди расправляют плечи, их лица загораются надеждой. Красная роза дает им новые силы, рождает в них новую веру...

Рецензент еженедельника «Блиц» высоко оценивает мастерство известных профессиональных актеров Балраджа Сахни, Манмохана Кришны и других, воплотивших в пьесе реалистические образы простых людей современной Индии, отмечает игру талантливой молодежи и успех массовых сцен. Режиссеру и исполнителям удалось создать «подлинную симфонию жизни», заключает критик.

ИТАЛИЯ

КИНОФЕСТИВАЛЬ СВОБОДНОГО КИНО

В городе Пезаро на побережье Адриатического моря состоялся носивший неофициальный характер I Международный фестиваль свободного кино, организованный по инициативе группы итальянских прогрессивных молодых кинематографистов. Участвовать в фестивале были приглашены режиссеры, которые заняты творческими поисками новых путей развития киноискусства. В ходе фестиваля демонстрировалось 14 конкурсных и 8 внеконкурсных художественных фильмов, а также много короткометражных картин. Свои работы показали кинематографисты Чехословакии, Венгрии, Польши, Югославии, Англии, Канады, США, Ирана, Японии и других стран. Советский Союз был представлен демонстрировавшейся вне конкурса кинокомедией Э. Климова «Добро пожаловать!». Главная премия фестиваля в Пезаро присуждена фильму чехословацкого режиссера Яна Немеца «Алмазы ночи».

В ходе фестиваля состоялся «круглый стол» итальянских и иностранных кинокритиков и было прочитано несколько докладов о современном положении кино и его проблемах.

Участники дискуссии решительно высказались против догм и схем в киноискусстве, против превращения кино в средство «бегства от окружающей действительности» и обогащения «торговцев успехом». Принято решение устраивать фестиваль в Пезаро ежегодно.

Прогрессивная итальянская печать уделяла новому кинофестивалю большое внимание, особенно отмечая успехи, достигнутые молодыми кинематографистами социалистических стран.

Сцена из спектакля «Возвращение Красной розы». *(Еженедельник «Блиц»)*

«В 1946 ГОДУ»

Прозаик и поэт, исследователь-филолог и не менее известный кинорежиссер, Пьер Паоло Пазолини дебютировал как драматург. Теперь, как шутят в Италии, этому многогранному художнику осталось проявить себя лишь в области изобразительного искусства. Поставленная в римском театре «Сатири» пьеса Пазолини «В 1946 году», по словам автора, была задумана им в том же году, который значится в ее названии. Тему этой сложной по форме драмы, в которой реальное действие переплетается со снами и видениями ее героя, провинциального школьного учителя Джованни, Пазолини определяет как «первые проблески демократического сознания в человеке, личность которого подавлена католицизмом».

Вместе с тем Пазолини не оставляет и своей литературной, кинематографической и научной деятельности. Он работает над сборником статей, в которых анализирует взаимоотношение между современным итальян-

Известная итальянская киноактриса Клаудиа Кардинале в новом фильме режиссера Лукино Висконти «Далекие звезды Большой Медведицы». Картина Висконти — семейная драма из современной итальянской жизни.

(Бюллетень «Униталия»)

ским литературным языком и различными диалектами и другие лингвистические проблемы, продолжает писать сценарий своего нового фильма «Птицы-птички». Главную роль в этой кинокартине будет играть один из известных итальянских комедийных актеров, а все другие роли Пазолини поручит, как обычно в его фильмах, подобранным им лично непрофессиональным исполнителям.

В одном из интервью Пазолини сообщил, что одновременно он пишет роман в стихах «Проклятие».

ПРЕМИЯ «БАГУТТА»

Присуждаемая в 29-й раз литературная премия «Багутта» в этом году досталась Биаджо Марину — 74-летнему поэту из Триеста, пишущему на венецианском диалекте, а точнее, на диалекте острова Градо, который представляет собой ответвление венецианского диалекта. Творчество этого поэта высоко оценивается критиками и не впервые удостаивается литературной премии. Последние сборники стихов Марина—«Песни острова», «Одиночество», «Двенадцать стихотворений», «Истрианские эллегии» — пользуются большим успехом. Премия «Багутта» присуждена поэту за опубликованный в этом году сборник «Не время выходить в море». Марин посвящает свои стихи природе и простым людям—крестьянам и рыбакам Градо — островка не только в географическом, но и в лингвистическом смысле, на севере Адриатики. Прогрессивная печать приветствует присуждение премии Марину — одному из старейших и виднейших представителей триестинской культуры.

ЛИВАН

ПИСАТЕЛИ — «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» ОБЩЕСТВА

Под заголовком «Реквием нашей литературе» еженедельник «Ориан» поместил статью известного ливанского писателя, драматурга и поэта Юсуфа Гассуба. С горечью Гассуб говорит о положении дел в национальной ливанской литературе. «В Ливане фактически не существует литературы на арабском языке. Авторов, пишущих на своем родном языке, можно перечесть по пальцам,— рассказывает он.— Писатели—«бедные родственники» нашего общества, в котором только деньги являются критерием уважения и почета. Смертный грех литературы в том, что она не приносит дохода.

Культурная элита читает французские и английские книги и пренебрегает книгами, выходящими на арабском языке».

Сложны и условия жизни писателей в Ливане. В год здесь издается не более 3—4 романов и нескольких рассказов. Поэзия не выходит за пределы замкнутого круга; молодые поэты подражают модным европейским поэтам.

Писатель отмечает, что свободу мысли тормозит и огромное число запретов. Каждый писатель вынужден жить «с цензором в душе» — он боится даже говорить на темы, которые интересуют всех.

«В ближайшем будущем я не рассчитываю на изменения к лучшему»,— заключает Гассуб.

МЕКСИКА

СЛОВО О ТОЛСТОМ

Видный мексиканский поэт и прозаик Хаиме Торрес Бодет выступил в Мехико с двенадцатью публичными лекциями о жизни и твор-

честве Л. Н. Толстого. Лекции Бодета, по сообщению еженедельника «Мехико эн ла культура», вызвали большой интерес общественности мексиканской столицы.

ПОЛЬША

ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

В Сопоте, городе на польском побережье Балтийского моря, который известен своими международными фестивалями песни, состоялась всепольская выставка молодых художников. По словам критика Ежи Олькевича, статья которого об этой выставке опубликована в еженедельнике «Культура», представленные там работы красноречиво свидетельствуют о переменах, происшедших в молодом польском изобразительном искусстве, и о начале нового этапа его развития.

Условия конкурса были довольно жесткими: каждый участник выставки должен был представить пять, и уж во всяком случае не менее трех, картин, причем срок был дан весьма ограниченный — два месяца. По замыслу организаторов, выставка должна была стать смотром творчества постоянно работающих художников. Возраст участников не должен был превышать 35 лет.

Критик отмечает разносторонний характер выставки, выделяет некоторые специфические особенности искусства молодых художников. Прежде всего, по его словам, на выставке не было представителей формалистического направления в искусстве. «Здесь не было картин, выполненных в стиле геометрической абстракции,— пишет Олькевич,— не было ни одного представителя «холодного», умозрительного искусства. Основой искусства молодых является эмоциональность, проявляющаяся и в очень тонком ощущении фактуры, плоскости полотна, в склонности к беспокойным, динамическим композициям, к выразительности».

На сопотском смотре проявилась такая недооцениваемая, по мнению критика, до сих пор черта в искусстве, как связь с фольклором. Другая, не менее характерная особенность — лиризм, проявляющийся сдержанно и скупо.

Всего на выставке в Сопоте участвовало 126 художников, и это, по словам критика, несомненно был смотр творческих индивидуальностей. Среди лауреатов выставки — Кейстут Березницкий, Казимеж Глаз и Янина Жемойтель.

«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»

Популярная повесть о войне Януша Пшимановского под таким названием скоро обретет новую жизнь — на телевизионном экране. Под руководством режиссера Конрада Наленцкого в настоящее время снимается многосерийный фильм, который будет состоять из 15 новелл продолжительностью тридцать минут каждая. В фильме будет рассказано о военных приключениях четырех главных героев повести. Основная тема всех этих новелл — польско-советская дружба, окрепшая в общей борьбе с фашизмом. Будут здесь и другие герои — предприимчивый повар, советская санитарка Маруся, командующий польским корпусом, отец Янека — одного из четверки танкистов, поляка, который рос среди сибирских охотников и добровольно вступил в Войско Польское на территории Советского Союза. Герои фильма на своем танке участвуют в операции по освобождению Варшавы, атакуют гитлеровские «тигры», ведут ночные бои в окружении, выходят на побережье Балтийского моря, которое теперь уже навеки стало польским...

Режиссер Конрад Наленцкий рассказал корреспонденту еженедельника «Экран» о своей работе над фильмом следующее: «Мне хочется создать интересный приключенческий фильм. Книга Пшимановского, положенная в основу сценария, пользуется огромной популярностью у молодежи. Война в фильме будет показана очень правдиво, во всей своей жестокости... «Четыре танкиста и собака» — первая моя работа для телевидения. Я занят поисками новых форм. Возникают новые технические проблемы, новые решения...»

Фильм по книге Пшимановского выйдет на экраны после того, как будут отсняты все 15 его новелл.

Кадр из многосерийного телевизионного фильма «Четыре танкиста и собака».

(Еженедельник «Экран»)

РУМЫНИЯ

ГУМАНИЗМ НОВОГО МИРА

В своем романе «Наследство» писатель Штефан Лука изобразил жизнь трансильванского села, становление социалистических форм ведения хозяйства. Предыдущие произведения Луки: «Бал интеллигенции», «Записки учителя» и другие, как пишет рецензент газеты «Скынтейя», привлекли читателей умением автора оперировать событийным материалом, верностью жизненной правде.

...В центре романа — семья Нисторов в поворотный момент ее существования: умирает Тоадер, зажиточный крестьянин, который при жизни не давал сыновьям раздробить хозяйство.

Предстоящий раздел наследства, внезапная вспышка собственнических чувств у сыновей Тоадера показаны в романе Луки параллельно с процессом преобразования деревни. Автор насыщает события элементами того, что рождается буквально на глазах: взаимное доверие, коллективизм. После острой и драматической ссоры Нисторы обретают наконец душевное равновесие — под воздействием новой действительности.

На фоне старых обычаев, традиционного уклада жизни деревни, заключает рецензент, Лука убедительно изобразил новые устремления румынского крестьянства.

В Нью-Йорке на восьмидесятом году жизни скончался известный художник-график Фред Эллис. Рисунки и гравюры Эллиса, посвященные борьбе рабочего класса и важнейшим событиям эпохи, публиковались в таких печатных органах, как «Либерейтор», «Мэссиз», «Уоркер», и в других прогрессивных изданиях США. Воспроизводимая здесь работа художника называется «Сакко и Ванцетти» и имеет подзаголовок «Разве это свобода?»

(Еженедельник «Нэшнл гардиен»)

США

ВРАГ МНИМЫЙ И ПОДЛИННЫЙ

Известный негритянский артист Гарри Белафонте, выступая на собрании по сбору средств для «Детройтского Комитета за прекращение войны во Вьетнаме», заявил, что президент Джонсон лгал американскому народу во время своей избирательной кампании, обещав бороться против нищеты и за всеобщий мир.

Белафонте высказался также против требования пресловутой комиссии палаты представителей по расследованию «антиамериканской деятельности» предоставить ей 50 тысяч долларов на... «изучение» состояния умов тех, кто борется за гражданские права негров! Требования о предоставлении 22 миллионам американских негров элементарных гражданских прав изображаются как «козни мирового коммунизма». Белафонте заявил: «Наш враг не коммунизм, а тот, кто отказывается разговаривать с нами по-человечески».

Белафонте призвал всех честных американцев помочь Комитету, а также поддержать идею организации антивоенного похода на Вашингтон в октябре 1965 года.

ВОПРЕКИ НАЖИМУ ГОЛЛИВУДА

Обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Босли Краудер выступил со статьей, посвященной деятельности небольших так называемых «независимых» киноКомпаний. Автор рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются небольшие киностудии при постановке кинофильмов, не отвечающих «духу Голливуда». Так было, например, с фильмом «Ростовщик», повествующим о судьбе еврея-лавочника, бывшего узника фашистского концлагеря, а ныне — обитателя Гарлема.

Первоначально предполагалось, что фильм будет ставиться могущественным киноконцерном «Метро Голдвин Мейер». Однако стало известно, что художественный совет этого концерна собирается в корне изменить сценарий фильма, и продюсеры Р. Льюис и Ф. Лангнер начали переговоры с небольшой киностудией «Эллайд артистс», которая согласилась осуществить постановку.

И тут выяснилась немаловажная деталь: «Эллайд артистс» — формально независимая компания — входит в состав Ассоциации кинопромышленников, которой, естественно, заправляет Голливуд. Ассоциация начала нажим на «Эллайд артистс» с целью задержать постановку фильма. В ход были пущены даже такие доводы, будто «фильм противоречит нравственным устоям общества». Потребовалась необыкновенная изобретательность и энергия всех заинтересованных в постановке лиц, чтобы обойти многочисленные рогатки, искусно расставленные Ассоциацией кинопромышленников.

Фильм вышел на экраны. Тема его — чудовищные преступления в гитлеровских концлагерях и положение иммигрантов в современной Америке — привлекает зрителей своей злободневностью. Неудивительно, что это вызвало явное неудовольствие у многих столпов американского киномира, предпочитающих обходить молчанием такую «опасную» тему.

«Создается впечатление, что за последнее время все мало-мальски значительные фильмы были созданы вне студий Голливуда»,— пишет обозреватель.

ФРАНЦИЯ

ФИЛЬМ О ЛЕНИНЕ

Группа молодых французских кинематографистов работает над созданием короткометражного фильма, посвященного В. И. Ленину. Фильм предназначается для телевидения. В работе над фильмом принимают участие и советские работники кино. Директор фильма Семен Спивак, главный режиссер— Робер Дестанк, ассистент Ян Лемассон — создатель фильма «Горький сахар». В фильм войдут совершенно новые для большинства французских зрителей документальные кадры: о событиях Октября 1917 г., о жизни императорского двора и другие, снятые кинолюбителями тех лет. Особо важное значение авторы фильма придают кинорассказу о современной жизни советских людей в тех местах, где прошли детство и юность великого вождя русской революции, о могучем воздействии ленинских идей на современность. В фильм войдут интервью с поэтом Андреем Вознесенским, со скрипачом Коганом, с режиссером Козинцевым, с космонавтом Комаровым, с рабочими Путиловского завода и с колхозниками.

Работа над фильмом о В. И. Ленине близка к завершению.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЬЕТНАМСКИХ АВТОРОВ В ЖУРНАЛЕ «ЭРОП»

В 1952 г., в самый разгар колониальной войны Франции во Вьетнаме, в журнале «Эроп» были напечатаны поэмы вьетнамских писателей в переводе Мадлен Риффо, которая уже тогда побывала в этой стране. В 1961 г. журнал посвятил целый номер литературе Южного и Северного Вьетнама. В начале этого года Мадлен Риффо провела два месяца среди патриотов Юга и регулярно печатала свои репортажи на страницах газеты «Юманите». Журнал «Эроп» в одном из последних номеров опубликовал в ее переводе два стихотворения и две новеллы — литературные произведения, дошедшие непосредственно из партизанского подполья Южного Вьетнама.

Журналистка рассказала, что написаны они молодыми писателями после выполнения очередных боевых заданий в «доме творчества» — соломенной хижине в освобожденной части джунглей. Авторам этих произведений нет и тридцати лет; когда началась война, они были еще детьми. Они пишут о жизни и борьбе своего народа, о Фронте национального освобождения, объединившем всех патриотов страны. Ненавистью к интервентам, болью за родину пронизаны их произведения.

Поэт Зианг Нам в стихотворении «Родная страна» делится своим горем: любимую им девушку убили враги.

Писатель Ан Дюк в новелле «Дым» повествует об искусной тактике Народной армии, атакующей и побеждающей превосходящего по силе и численности врага. В этой новелле рассказана и трогательная история любви юной партизанки Кэй и офицера-комсомольца Хью. Герой второй новеллы Ан Дюка «Два брата» — патриот Кам — называет имя ненавистного врага, принесшего горе и смерть на вьетнамскую землю: «Американские агрессоры! Это они пришли сюда с оружием и принесли столько разрушений, столько горя. Вот уже семь или

Скульптор Франсуаза Сальмон создала для музея на месте концлагеря в Нейен-Гамме близ Гамбурга выразительную скульптуру узника. На нашем снимке: Ф. Сальмон со своей работой.

(Газета «Юманите»)

восемь лет, как они опутали Кама и его брата, весь народ гигантской сетью, поработили их, толкают к гибели. Кам выскользнул из этих сетей. Теперь пришла очередь его брата. Но сколько еще молодых людей бьются изо всех сил в этих сетях? И скольким еще людям во всем мире угрожают американские агрессоры? Издали эти люди следят за нашей борьбой и радуются новым победам Сопротивления Южного Вьетнама!..»

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПАМЯТИ ЯНА ГУСА

Когда в 1915 году исполнилось 500 лет со дня сожжения выдающегося вдохновителя национально-освободительной борьбы чешского народа Яна Гуса, правительство Австро-Венгрии запретило каким-либо образом чтить его память. Ныне, когда исполнилась 550-я годовщина этого события, великому предку воздается должное.

Печать Чехословакии помещает публикации, посвященные Яну Гусу. Под названием «Правда побеждает» издательство «Свободне слово» выпустило памятный сборник, включающий отрывки из выступлений и писем Яна Гуса, рассказы его друзей и последователей.

Южночешский театр, по сообщению корреспондента газеты «Руде право», осуществил к юбилею постановку пьесы Йозефа Каэтана Тыла о Яне Гусе.

Выпущена памятная медаль с изображением Яна Гуса работы скульптора академика Иржи Прадлера.

Медаль, выпущенная в 550-ю годовщину сожжения Яна Гуса. *(Газета «Руде право»)*

ЯПОНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ ЯПОНСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ

Недавно прошла конференция Ассоциации японских литераторов.

Конференция приняла резолюцию с требованием прекратить агрессию США во Вьетнаме и высказалась за решение вьетнамского конфликта путем мирных переговоров. Мы обязаны всеми силами добиваться сохранения и упрочения мира в Азии, подчеркивается в резолюции. На конференции также состоялись выборы руководящих органов Ассоциации. Президентом Ассоциации вновь избран старейший японский писатель Ясунари Кавабата, вице-президентами — Сэй Ито и Кодзиро Сэридзава.

КНИГА О ВОЙНЕ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ

Как уже сообщала «Иностранная литература» (№ 8, 1965), в Южном Вьетнаме побывал известный японский писатель Такэси Кайко. Он находился там в качестве корреспондента еженедельника «Сюкан Асахи». В еженедельнике печатались его репортажи из этой страны. Сейчас писатель возвратился в Японию и выпустил свои репортажи в издательстве «Асахи симбунся» отдельной книгой, названной «Записки о войне во Вьетнаме».

Критика считает «Записки» несомненной удачей писателя, сумевшего правдиво рассказать о событиях в этой стране, вскрыть их причины и наглядно показать, что только вывод американских войск из Вьетнама приведет к окончанию войны, к устранению напряженности в этом районе земного шара. По свидетельству Кайко, политика США в Южном Вьетнаме, направленная на дальнейшее расширение войны, встречает активное сопротивление вьетнамских патриотов.

Авторы этого номера

ЗИАНГ НАМ — GIANG NAM

Наши читатели уже знакомы с поэтическим творчеством южновьетнамского поэта и прозаика Зианг Нама (см. «Иностранную литературу» № 5, 1963 г.), перу которого принадлежит сборник стихов «Завтрашний Август» и другие произведения.

Стихи поэта, помещенные в этом номере, получены редакцией в рукописи.

ДЮЛА ФЕКЕТЕ — FEKETE DJULA (род. в 1922 г.)

Свою литературную деятельность венгерский писатель Д. Фекете начал как поэт в 1953 году, затем он обратился к прозе. За первый сборник рассказов «Теория» («Eszmélet») ему присуждена премия Аттилы Йожефа. Наиболее значительные его произведения: роман «Деревенская красавица» («A falu szépe», 1961) и повесть «Верная жена и дурная женщина» («A hü asszony meg a rossz nö», 1963).

Публикуемая в этом номере повесть «Старый доктор» («Az orvos halála») вышла в 1963 году.

ЭЖЕН ИОНЕСКО — EUGENE IONESCO (род. в 1912 г.)

Известный французский драматург, автор многих пьес, среди них: «Плешивая певица» («La cantatrice chauve», 1950), «Урок» («La leçon», 1951), «Стулья» («Les chaises» 1952), «Жажда и голод» (La soif et la faim», 1965) и др.

В нашем журнале о его творчестве писал Я. Фрид в статье «Фарсы-кошмары Эжена Ионеско» (№ 6 за 1960 г.).

«Носорог» («Le Rhinocaros», 1959), одна из наиболее популярных пьес Ионеско, публикуется с послесловием критика Н. Наумова.

ДУМИТРУ МИКУ — DUMITRU MICU (род. в 1928 г.)

Румынский критик, автор книги «Современный румынский роман 1944—1959» («Romanul romanesc contemporan 1944—1959», 1959), за которую ему присуждена премия Румынской академии за 1960 год, и многих других. Думитру Мику уже выступал на страницах нашего журнала.

НИКОЛАЕ МАНОЛЕСКУ — NICOLAE MANOLESCU (род. в 1939 г.)

Молодой румынский критик, преподаватель университета в Бухаресте. В настоящее время в содружестве с Д. Мику работает над книгой о современной румынской литературе.

Фрагментом из этой книги является публикуемая в номере статья.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.)

Советскому читателю хорошо знакомо творчество английского писателя и публициста Джеймса Олдриджа. Его романы пользуются у нас большой популярностью, писатель часто выступает на страницах нашей прессы. Наиболее крупные художественные произведения последнего времени — романы «Последний изгнанник» («The Last Exile», 1961) и «Пленник в стране» («Captive in the Land», 1962). В настоящее время писателя волнуют проблемы литературного творчества и наиболее значительные явления современного литературного процесса. В нашем журнале, например, публикова-

лась его статья «Писатель и мораль» (№ 9 за 1963 г.).

В этом номере Олдридж принимает участие в обсуждении проблем романа, его статья получена редакцией в рукописи.

■

ВИТТОРИО СТРАДА—VITTORIO STRADA

Страда — итальянский литературовед, специалист по русской и советской литературе. Последняя его крупная работа — «Советская литература 1953—1963 гг.» («Letteratura sovietica 1953-1963», 1964).

Статья, публикуемая в номере, прислана автором в рукописи.

■

ПЬЕР ГАМАРРА — PIERRE GAMARRA (род. в 1919 г.)

На русский язык переведены несколько романов и многие рассказы французского писателя Пьера Гамарра, его статьи периодически публикуются в нашей печати. Недавно читатели «Иностранной литературы» познакомились с повестью «Пиренейская рапсодия» («Rhapsodie des Pyrénées», 1963), вслед за которой писатель опубликовал роман «Соло» («Solo», 1964).

В этом номере мы печатаем его выступление по проблемам романа, материал прислан в рукописи.

■

ХУАН МИГЕЛЬ ДЕ МОРА — JUAN MIGUEL DE MORA (род. в 1921 г.)

Мексиканский писатель, журналист Хуан де Мора является автором романов «Впереди заря» («Al frente está la aurora», 1947), «Задание 317 — Опасность» («Misión 317 — Peligro», 1956), многих пьес и публицистических книг.

Статья, которую мы поместили в этом номере, получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **В. Ф. Лактионов.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 11186 Сдано в производство 13/VII-65 г. Подписано к печати 28/VIII-65 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66. Зак. 1655.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПУБЛИКУЕТ НА СВОИХ СТРАНИЦАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ — РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ — ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН МИРА.

В 1966 ГОДУ РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАПЕЧАТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

ДЖОВАННИ АРПИНО (ИТАЛИЯ) — **Тень от холмов** (Роман)
МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС (ГВАТЕМАЛА) — **Незаконнорожденный** (Роман)
МОНГО БЕТИ (КАМЕРУН) — **Исцеленный король** (Роман)
МАКС ФОН ДЕР ГРЮН (ФРГ) — **Светляки и пламя** (Роман)
ИМРЕ ДОБОЗИ (ВЕНГРИЯ) — Новый роман
ХОРХЕ ИКАСА (ЭКВАДОР) — **Злоключения Ромеро-и-Флореса** (Роман)
П. СИЛЬВА КОРОНЕЛЬ (ФРАНЦИЯ) — **Как терпеливое зерно** (Роман)
КОБО АБЭ (ЯПОНИЯ) — **Женщина в песках** (Роман)
ИВЕРИА КОДИНА (АРГЕНТИНА) — **Вслед за криком** (Роман)
ТРУМЭН КЭПОТ (США) — **Поющие травы** (Повесть)
САРА ЛИДМАН (ШВЕЦИЯ) — **Пять бриллиантов** (Роман)
ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ (ВЕНГРИЯ) — Новый роман
ГЭБРИЕЛ ОКАРА (НИГЕРИЯ) — **Голос** (Роман)
ЯН ОТЧЕНАШЕК (ЧЕХОСЛОВАКИЯ) — **Хромой Орфей** (Роман)
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР (ФРАНЦИЯ) — **Испания, первая любовь** (Повесть)
ЧАРЛЬЗ П. СНОУ (АНГЛИЯ) — **Коридоры власти** (Роман)
ЖАН-ПОЛЬ САРТР (ФРАНЦИЯ) — **Дьявол и господь бог** (Пьеса)
ХОСЕ СОЛЕР ПУИГ (КУБА) — **Крушение** (Роман)
ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ (ФРАНЦИЯ) — **Великое никогда** (Роман)
МАКС ФРИШ (ШВЕЙЦАРИЯ) — **Homo Faber** (Роман)
АГУСТИН ЯНЬЕС (МЕКСИКА) — **Плохие земли** (Роман)

РЕДАКЦИЯ РАССМАТРИВАЕТ ТАКЖЕ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Питера АБРАХАМСА, АРАГОНА, Марио БЕНЕДЕТТИ, Генриха БЁЛЯ, Николаса ГИЛЬЕНА, Грэма ГРИНА, Марии ГРУБЕШЛИЕВОЙ, Алехо КАРПЕНТЬЕРА, Франсиско КОЛОАНЕ, Хуана Хосе МАНАУТЫ, Альберто МОРАВИА, Р. К. НАРАЙАНА, Пабло НЕРУДЫ, Джеймса ОЛДРИДЖА, Феликса Питы РОДРИГЕСА, Богумила РАЙНОВА, Эльвио РОМЕРО, Алана СИЛЛИТОУ, Андре СТИЛЯ, Рауля Гонсалеса ТУНЬОНА, Сембена УСМАНА, Сида ЧАПЛИНА, Вислявы ШИМБОРСКОЙ и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
НА ГОД — 9 РУБ. 60 КОП.
НА 6 МЕС. — 4 РУБ. 80 КОП.
НА 3 МЕС. — 2 РУБ. 80 КОП.

На страницах журнала будут регулярно публиковаться статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур и творчеству писателей обоих полушарий. Редакция будет также систематически знакомить наших читателей с новинками литературы, публикуя краткие рецензии на книги, как вышедшие за рубежом, так и переведенные на русский язык.

Читатели найдут в «Иностранной литературе» статьи об искусстве, о кино и театре, репродукции наиболее интересных работ зарубежных живописцев, графиков, скульпторов. Широкая информация о литературной и культурной жизни печатается в разделе **«Из месяца в месяц»**.

Журнал иллюстрирован.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.